

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

1970

3

1970

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVI

№ 3

Март, 1970 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЕГИШЕ ЧАРЕНЦ — Из литературного наследия, стихи. Перевела с армянского М. Павлова	3
Е. ГЕРАСИМОВ — Олонецкие дали, повесть	9
МАРГАРИТА АЛИГЕР — Семь стихотворений	55
ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ — Из лирики. Перевела с калмыцкого Юлия Нейман	62
А. СУЛИМОВ — Начало Магнитогорска	64
КУРТ ВОННЕГУТ — Бойня номер пять, или Крестовый поход детей, роман. Перевела с английского Р. Райт-Ковалева	78

ЛЕНИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

И. КОН — Диалектика развития наций. Ленинская теория наций и современный капитализм	133
---	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Э. КОЛЬМАН — Вспоминаю Ленина	150
А. НОВИКОВ — В небе Ленинграда. Окончание	155

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ВСЕВОЛОД ОВЧИННИКОВ — Ветка сакуры (Рассказ о том, что за люди японцы). Окончание	192
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Е. ДОБИН — Сюжетное мастерство критика (Штрихи к портрету К Чуковского)	223
---	-----

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
М. Блинкова. Перед бурей.— Э. Кузьмина. Разорвать круг.— В. Кардин. Смеяться, право, не грешно...— В. Кантор. Никанозов против Москалева.— Г. Красухин. «И разговор у нас совсем иной пошел...»	240
<i>Политика и наука</i>	
Г. Лисичкин. В. И. Ленин — теоретик товарного производства при социализме.— О. Лацис. Научно-техническая революция и рабочий класс.— М. Волков. Под личиной социализма.— А. Каждан. Традиция и новизна.— Ф. Мильков. Художественное ландшафтоведение.	255
КОРОТКО О КНИГАХ — В. Моисеев. — В. В. Яновский. Человек и Север. ♦ И. Третьяков. — Александр Перегудов. Роман. Рассказы. Воспоминания. ♦ Б. Козенко. — Филип С. Фонер. История рабочего движения в США. ♦ А. Берзер. — А. Шаров. Мальчик Одуванчик и три ключика. ♦ Ю. Шрейдер. — Г. М. Добров. Прогнозирование науки и техники. ♦ Анатолий Жигулин. — Игорь Шкляревский. Фортуна. ♦ В. Тришин. — М. И. Скаржинский. Труд в производственной сфере. ♦ С. Норильский. — Владимир Лазарев. Хожение не за три моря. ♦ В. Френкель. — Рукописное наследие академика Алексея Николаевича Крылова ♦ И. Лисовой. — А. Немировский. Этрусское зеркало. ♦ В. Шеворошкин. — А. М. Кондратов. Погибшие цивилизации. ♦ Б. Яранцев. — Эм. Виленская. Худяков. ♦ Ю. Дмитриевский. — Географическое общество Союза ССР. 1917—1967. ♦ А. Винниченко. — Мигель Анхель Астуриас. Глаза погребенных. ♦ Ю. Мопсеев. — Г. Мак-Кормик. Т. Аллен, В. Янг. Тени в море. ♦ С. Бернадский. — Краткий англо-русский философский словарь	276
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ЕГИШЕ ЧАРЕНЦ

★

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

С армянского

ARS POETICA

Ленин! Ленин — но не митинговый,
Не литавры марша, не плакат,
Ленин — как вершина, как обхват
И как построенье темы новой,
Зреющей в тебе не как трава,
А как сталь, как воля. Эта тема —
Как начало жизни, как поэма,
Созиданья первые слова...

Еще не мало пронесется мимо
Великих бурь, и грома, и огней,
Но это зданье будет нерушимо
Стоять в мечтах грядущих светлых дней.

Останется величье духа, мысли,
Стремленье изменить пути судьбы,
И эта новая дорога к жизни,
Бескрайний путь раздумий и борьбы.

1929.

ВСЕПОЭМА

(Фрагменты)

.
По трупам солдат смердящим
От Лондона до Капутан
Шел дьявол — железный ящур
По имени Капитал.

Из Парижа он шел, из Берлина,
С севера шел, с Карпат,
Двигался через Наири
По направленью в Багдад.

Сиял, как солнце, гордый,
 Пурпурный и золотой,
 С улыбкой на жирной морде
 Вел с песней победной в бой.

И песней его зачарованы,
 Стекаясь с разных сторон,
 Гибли армии бронированные,
 Миллион убивал миллион...

И так, оставив молот и плуг,
 Продолжали бы люди
 Схватки жестокие,
 Если б армия наша,
 Оглянувшись вокруг,
 Не закричала бы: «Стойте!»

Армия. В армии люди,
 Привыкшие к борьбе иной,
 Призывали солдат повернуть орудья,
 Войну победить войной.

И вернулись
 В свои хибарки и избы,
 И своими руками
 Разожгли огромное пламя
 из искры,

И подняли красное знамя...
 И понесся огненный ураган,
 На пути своем все сметая...
 И раздался клич:
 — Пролетарии всех стран,
 Со-е-ди-няй-тесь!

Этот зов, как пожар, зажег всю планету,
 Всколыхнулись многочисленные армии...
 И грозное эхо прокатилось по свегу:
 — Соединяйтесь... пролетарии...

Москва волновалась. Развевалась,
 Точно багряный флаг,
 Протянув в горящий мир эту алость,
 Красной улыбки знак.

И тогда, поднявшись из огненных грез,
 Чтоб покончить со всем, что охвачено тленем,
 Как поводырь,
 Встал во весь рост,

Вырос горою
 Ленин.

.
 В те дни
 Из красной Москвы,
 Голоса другие заимив,

Голосом громовым
Кричало радио в мир.

И восторженный голос бессонный
Повторял свой пламенный зов:
— Вставай, проклятьем заклеяменный,
Весь мир голодных и рабов!

На Ближний Восток и на Средний
Летел этот зов громовой:
— Это есть наш последний
И решительный бой...

И вот с молчащих века
Полей Армении вдруг
Донесся броневика
Далекий первый звук...

Броневик звенел в тишине,
И тот звон, как ветер, крепчал,
В Наири, древней стране,
Ярко-красно, грозно звучал...

И буря росла и росла,
Рождая в душах восторг,
И, проснувшись от долгого сна,
Улыбнулся
Красный Восток...

1921.

* * *

Горит далекая любовь,
Все стало пеплом и золою.
Не возродится чувство вновь —
Сейчас я опьянен землею.

Я сжег те песни, что в крови
Рождали в грусти беспредельной
Усталость призрачной любви,
Дремоту песни колыбельной.

Есть муки творчества во мне,
Поджег я крыши зданий синих,
И все, что в пепле и в огне,
Благословляю я отныне...

Есть в сердце звонкая струна,
И песни точно свежий ветер.
Я вижу: новая страна
Уже встает из тьмы столетий.

1920.

* * *

Мне часто снится светлая река,
 Над ней дворцы, и у воды, по дугу,
 Проходят девушки, в руке рука,
 Рассказывая жизнь мою друг другу.
 Уже прошла столетий череда,
 С ней звуки строф моих и песен ясных
 Дошли, как эта плавная вода,
 До берегов Грядущего прекрасных.
 Мне часто снились эти берега,
 И шествие, и этот день весенний...
 О, эта величавая река —
 Прекраснейшее из моих видений!

1931 (?).

БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

В тот день, когда умру, затихнет неба даль
 И ляжет тишина на город в тусклом свете,
 Как туча темная, как старая печаль,
 Как весть о бедствии, прочтенная в газете.

Подобно женщине, оставшейся вдовой,
 Подобно той, кому боль замутила взоры,
 Побродит эта весть сперва по мостовой,
 Потом войдет в дома сквозь двери и заборы...

Как продавец газет, полуслепой старик,
 Что, шаркая, придет и под окошком встанет,
 Она зайдет в любой закуток и тупик,
 Пройдет по всем домам, во все дворы заглянет.

Как тень, из дома в дом скользящая, она
 Невидимо скользнет неясною надеждой,
 Как зимней полночи немая тишина,
 Над городом моим повиснет тучей снежной.

И в этот час ночной, борясь со властью сна,
 Во всех сердцах блеснет и на момент застынет
 Уже туманное, как бледная луна,
 Лицо мое, навек угасшее отныне.

И те, кто никогда не знал меня в лицо,
 Те, для кого я был песчинки неприметней,
 Кого я потешал, как острое словцо,
 И для кого я был легендой или сплетней,

И тот, кто на земле был эхом дней моих,
 Смотря на жизнь мою, как равнодушный зритель,
 Кто думал, что меня давно уж нет в живых,
 Не знал стихов моих и книг был не любитель,

Все, все они, узнав, что больше нет меня.
Опустят головы, дивясь внезапной дрожи,
И в ту минуту я, не друг и не родня,
Им многих покажусь роднее и дороже...

И на земле, как пыль, завившаяся в смерч,
И в душах, словно тень прошедшего, предстанет,
Восстав из праха дней и побеждая смерть,
Неясный призрак мой и снова в сумрак канет.

И в городах больших, и в деревнях глухих
Весть облетит дома, скользнет в сених, в прихожих,
И боль такую же, как и в груди у них,
Прохожие прочтут в глазах других прохожих...

И будут их глаза безмолвны и сухи,
Так, словно скорбь одну сердца их затаили,
И люди, позабыв про все мои грехи,
Простят меня, как мне стихи мои простили...

И книгу с полки взяв, раскроют наугад,
Прочтут мои слова и, медленно листая,
Задумаются вдруг, во тьму уставив взгляд,
И память обо мне овеет грусть живая...

И, может быть, одна, в час поздний и глухой,
Взяв карточку мою, без драмы и без позы,
Посмотрит женщина в глаза мои с тоской,
На снимок выцветший роняя молча слезы.

И снова прошлое на время оживет,
И осветятся вдруг судьбы погасшей грани,
И жизнь моя опять пройдет за годом год
В неясном зеркале ее воспоминаний.

То, чем я был, и то, что раньше было мной,
Уж не воскреснет вновь и в самом кратком мире,
Не повторится, нет, ни в песне ни в одной
И ни в одной уже на свет рожденной книге.

1936.

ПАМЯТИ АРПИК

Баллада

Когда она пришла ко мне впервые,
Весна любви, и я в сиянье дня
Ее цветы увидел полевые,
Раскрывшиеся словно для меня,
Как маленький ручей, весны глашатай,
Как струны лиры, тронутой слегка,
Журча, из жизни навсегда ушла ты,
Любовь моя, бездонная тоска...

Как ключ невидимый, чей звук хрустальный
Как будто к нам из-под земли проник,
Чтоб в тишине торжественно-печальной
Звучать, не умолкая ни на миг,
Так ты поешь в душе моей смущенной,
Невидима и вместе с тем близка,
Зовешь меня, манишь в тиши бессонной,
Любовь моя, бездонная тоска...

Ты мне поешь, и нет для сердца слаще
Той муки, что разит острее клинка,
Поешь не песню жизни уходящей,
Любовь моя, бездонная тоска...
Все та же песня — вечная тревога,
Глубокая, звучит в моей груди,
Она как бесконечная дорога,
Что будет новой, сколько не иди...

И нет тебе, как времени, предела,
Твоя неизмерима глубина,
Тебя объять не хватит жизни целой,
Ты, словно небо, не имеешь дна.
И каждую весной как будто снова
Ты ту же книгу, за строкой строка,
Читаешь мне, и смысл в ней вечно новый,
Любовь моя, бездонная тоска...

И знаю я, что в час мой похоронный,
Когда я в землю возвращусь назад
И кипарисов траурные кроны
Над свежую могилу зашумят,
Твой голос зазвучит в их стройном хоре,
И будет на земле звучать века
Та песня, бесконечная как море,
Любовь моя, бездонная тоска...

1936.

Перевела М. Павлова.



Е. ГЕРАСИМОВ

★

ОЛОНЕЦКИЕ ДАЛИ

Повесть

Я думал, куда бы нынче летом поехать, чтобы сменить обстановку, отдохнуть от всего повседневного, день ото дня отличить, — соби-
рался на юг, но поехал на север, и вот как это случилось вдруг.

Идя в лес посмотреть, не пошли ли уже ранние грибы, я заглянул по дороге к Данилу Ивановичу, который живет на краю нашего поселка, уже почти в лесу, и застал его сидящим на корточках под забором, вдоль которого густо выросли елочки, березки и осички.

— Поглядите, какой молодец забрел к нам на участок, — сказал он, показывая мне белый грибок-боровичок с маленькой шапочкой на почти шарообразном корне, и мы с ним завели разговор о грибах — какие, где и в какую пору растут.

— А у нас вот на севере больше всего рыжиков. В бору красные растут, а на шогре, то есть в сыром ельнике, зеленые подъялыши, — сказал он, вертя в руке своего толстоногого молодца.

— Где это у вас на севере? — спросил я.

— На родине у меня, в бывшей Олонецкой губернии.

Мать моя тоже олонецкая уроженка, и когда я сказал об этом Данилу Ивановичу, он заинтересовался, какого она уезда, волости, села.

К сожалению, моя мать сама этого не знает: метрику свою давно потеряла и в паспорте с ее слов записан только город, в который родители увезли ее девочкой.

— Позвольте, а родственники какие-нибудь должны же у нее быть, — сказал Данил Иванович.

Конечно, должны быть, но, таскаясь с родителями, а потом со своей семьей из города в город, мать моя давно уже потеряла всякую связь с олонецкими родственниками. В своем родном селе она помнит только палисадник с кустом сирени и деда, моего прадеда, деревенского священника, который, будучи уже стариком, с чего-то вдруг потерял веру в бога и повесился. И помнит еще, что ее увезли оттуда на пароходе по какому-то большому озеру и реке.

— Да, пораскидало в наше время людей по свету так, что многие уже не могут докопаться до своих корней, — заметил Данил Иванович и заговорил о своей родной деревне Терешки, где было тринадцать дворов, а осталось только три.

Сам он, как это выяснилось из разговора, в деревне прожил тоже недолго: мальчиком еще ушел на лесопилку, потом бурлачил, водил баржи с лесом в Питер, после революции, когда земли в хозяйстве отца стало побольше, вернулся в Терешки, но скоро ушел на гражданскую войну, и военная служба, сперва срочная, потом бессрочная, вовсе оторвала его от деревни — приезжал только на похороны отца, затем матери. И с тех пор больше не навещался, хотя соби-
рался не раз, — все что-ни-

будь мешало: служба, война, а теперь больное сердце. Три инфаркта перенес он, за калитку уже боится выйти один.

Сначала мы разговаривали с Данилом Ивановичем, похаживая по его усадебному участку, на котором когда-то посаженная клубника уже выродилась и растет в диком состоянии, как земляника на травяной поляне в лесу, а потом — в просторных и светлых, с большими окнами комнатах его дачи, где, как в картинной галерее, все стены сплошь увешаны произведениями современной и классической живописи, преимущественно пейзажной — он большой любитель, знаток и давний собиратель ее. Каждый раз, когда я захожу к нему, он показывает мне какое-нибудь новое приобретение.

Детей у Данила Ивановича нет, всю жизнь прожил с женой бездетно. Он полковник в отставке, доктор наук, преподавал в военной академии. До академии он много лет пробыл на строевой службе, но когда он у себя на даче в своей старомодной шляпе из натуральной жесткой соломки с негнушима, опущенными вниз полями, какие в старину носили сельские учителя и попы, в широких, мешковатых, по-деревенски крашенных синькой полотняных штанах и такой же курточке, — его уже трудно представить себе военным человеком. По своему внешнему облику он скорее похож на тех толстовцев, что некогда рядились под мужиков, или на художников, которые в нашем поселке заселили целую улицу и сильно омужились в загородных условиях.

Любит Данил Иванович все деревенское. И человек он исключительно гостеприимный. Зайдешь к нему на минутку мимоходом, но он не отпустит тебя, пока не отведаешь у него грибков, которых жена его маринует специально для гостей — сама она их не ест, а мужу строго-настро-го запрещено врачами все острое.

Приятный Данил Иванович собеседник, но не надо только затрагивать при нем какие-нибудь больные общественные вопросы — он может умолкнуть на полуслове, глаза его потемнеют, на лице и шее выступят красные пятна, а это опасно после инфарктов-то. Поэтому обыкновенно мы говорим с ним преимущественно о своих дачных делах.

— Так, значит, все же можно считать, что мы с вами в некотором роде олонецкие земляки, — сказал Данил Иванович, усаживая меня за стол.

Засуетившись у буфета, он заторопил жену с грибками, наполнил мне рюмочку и, капнув себе в стопочку величиной с наперсточек, только чтоб чокнуться с новоявленным земляком, довольно потер руки и огладил свою лысую голову — так он всегда, затащив к себе гостя, начинает с ним застольный разговор.

Не раз Данил Иванович наполнял мне рюмку, а свой крошечный наперсточек передвигал с места на место нетронутым, рассказывая мне о родной ему глухой лесной деревне Терешки — какая там пропасть черники, брусники, голубики, ежевики, морошки, клюквы и красных рыжиков, которых бабы собирали и солили бочками, а мужики санными обозами возили в Питер, откуда они, говорят, попадали даже в рестораны Парижа.

— А сиги копченые на палочках! Помните? Их тоже от нас возили в Питер... Свидь, Петеньга, Пилемка, Тихманьга, Ковжа, — называл он свои родные, неведомые мне реки и речки.

Больше сорока лет не бывал он у себя на родине, но все ему там хорошо памятно.

— Ну, а озеро-то Лача, наверно, знаете? — спросил он, должно быть несколько огорченный тем, что названия перечисленных им рек и речек ничего не говорят мне.

— Как будто что-то знакомое, — сказал я.

— Помните, у Даниила Заточника: кончаю свою жизнь плача на озере Лача?.. Большое озеро, пароход по нему ходит из Каргополя на Свидь.

Не на этой ли самой Лаче и кончил свою жизнь мой потерявший веру в бога прадед? — подумал я.

— Съездили бы, поинтересовались своими корнями,— не без укора сказал мне Данил Иванович.

А ведь действительно вдруг да нападуг на следы своих потерянных родственников, может быгь, найду и могилу прадеда. подумал я. Где только не бывал я за долгие годы газетной работы, а вот на родине матери никогда не приходилось бывать — всегда она как-то оставалась в стороне от моих журналистских маршрутов.

— Надо, обязательно надо вам съездить,— наставлял меня Данил Иванович.— Нельзя нам забывать о предках.

Он принес большой атлас командира, прихватив с собой и лупу. Попеременно передавая ее из рук в руки, мы долго просидели с ним над картой северной европейской части СССР, разглядывая реки, озера и населенные пункты, где он советовал мне побывать, чтобы получить представление об олонецком крае.

— Вот станция Няндомы,— показывал мне Данил Иванович.— Сойдете здесь с архангельского поезда и можете уже считать, что вы на олонецкой земле. Вот старый тракт на Каргополь. На похороны матери я шел по нему пешком — день, ночь и еще полдня. Подводы не найти было, и в пути никто не нагонял. А теперь, племянница пишет, автобусы несколько раз в день ходят и до Каргополя всего три часа езды. Говорят, в Каргополь сейчас много туристов наезжает, древний город, познакомьтесь с нашей северной стариной, к племяннице моей зайдете. А потом на пароход сядете и увидите Онегу, озеро Лача, реку Свидь. На Сви-ди погостите у моих сестер и у другой племянницы, которая с ними живет в Терешках.

Так и случилось, что неожиданно-негаданно поехал я на север по маршруту, намеченному Данилом Ивановичем. Перед отъездом я зашел к нему за письмами, которые он обещал заготовить своим родным. Письма уже были выстуканы им на машинке. Перед тем как вручить их мне, Данил Иванович в каждое письмо вложил по две-три новенькие десяти и сказал:

— Это старушкам и детишкам на гостинцы.

Прощаясь, он очень жалел, что не может поехать со мной — хотелось бы ему побывать еще в родной деревне, ох как хотелось бы, но врачи не разрешают: тяжелая, опасная для него дорога.

На станции Няндомы я сошел с поезда в три часа белой, как день, ночи. За деревянным, стародавней постройки вокзалом на далеком небосклоне, располосованном длинными темно-сизыми облаками, занималась заря. Первый автобус на Каргополь отходил в шесть часов. В ожидании его я сидел на привокзальном скверике с большим квадратным прудом, обсаженным молодыми березками. Разгораясь, заря все ярче и ярче освещала щели между облаками, которые, казалось, застыли, как рыбы иногда стаями застывают на солнечном пригреве. Краски на небе быстро менялись, а облака все стояли и стояли, как на страже.

Когда первые лучи солнца упали на пруд, я увидел посредине его на островке двух мальчиков в черных плавках. Бледно-розовые и глянцеви-тые в свете зари, они, сидя на белых лошадях, купали их в пруду. По своей близорукости я не сразу разглядел, что передо мной не живые фигуры, а изваяние, украшающее привокзальный пруд. Странно и даже

как-то жутко было, что эти мальчишки и кони так же неподвижны, как и застывшие в небе облака.

Заглядевшись на эту натуралистически раскрашенную скульптуру, я чуть было не прозевал автобус.

Дорога из Няндомы в Каргополь сначала поднимается на гору, а потом спускается с увала на увал к лежащим в глубоких лощинах озерам и уходящим за горизонт лесам, где Данилу Ивановичу в свое время приходилось встречать топающего через тракт медведя. К сожалению, я мог поглядеть в окно только урывками и краешком глаза. Причиной тому было боковое место у дверей, которое досталось мне в автобусе. Когда он подсказывал на глубоких выбоинах дороги, пассажиры хватались друг за друга, а мне не за что было ухватиться, и я не столько сидел, сколько летал с зажатым между ног спиннингом и рюкзаком на коленях.

После полутора часов лихой езды водитель остановил жалобно дребезжащую машину у большого деревянного моста. Выбравшись из автобуса и кое-как утвердившись на ногах, я увидел речку, быстро текущую из-под моста широким каменистым руслом с островками и отмелями, крупные, гладкие валуны в траве на берегу, за речкой стену темного леса, а по другую сторону дороги — одиноко стоящую избышку с вывеской «Столовая» и собаку, которая сбегала с пригорка к автобусу, помахивая хвостом, как флагом.

Все это в свете солнечного утра показалось мне чрезвычайно милым, особенно после того, как я, слегка подкрепившись, вышел из столовой. Еще раз оглядев с пригорка окрестность и приметив невдалеке уютно укрывшуюся под лесом деревеньку, я подумал, что, может быть, и не стоит дальше трястись — зачем, раз это уже олонецкая земля и все тут есть, чтоб хорошо отдохнуть: речка, лес, глушь, тишина, безлюдье и к тому же столовая под боком.

Может быть, я и остался бы здесь, если бы не письма Данила Ивановича с вложенными в них десятирублевками старушкам и детишкам на гостинцы.

Встретившая нас на остановке собака сидела у дверей автобуса и, когда пассажиры стали занимать свои места, каждого провожала внимательным взглядом, а потом, встав передними лапами на подножку, заглянула в дверь, словно сочла необходимым проверить, все ли сели на свои места. Автобус отошел, а она все сидела на дороге и смотрела ему вслед печальным, как казалось мне, взглядом.

Наискосок от меня сидел высокий мужчина в голубой капроновой шляпе, прибывший из Москвы тем же поездом, что и я, с не по-дорожному нарядной женой и дочкой. Из разговора этой семьи можно было понять, что люди ехали в деревню навестить какую-то бабку Нюшу, которая будет с утра до вечера поить их чаем с целиком запеченными в пирогах зубастыми щуками.

Должно быть, заметив, что встретившая нас на остановке и проводившая с трогательной заботливостью собака привлекла мое внимание, он обернулся ко мне:

— Между прочим, если есть показатель, по которому Каргополь занимает первое место, то разве что только собаки. Стаями бегают по улицам, огромные, как волки. — И спросил: — Не приходилось еще бывать в Каргополе? Нет? Ну, побывайте, побывайте, — загадочно улыбался он.

И всю дальнейшую дорогу, которая после остановки стала полегче, так что можно было и в окно поглядеть, голубая шляпа время от времени оборачивалась ко мне с такой же улыбочкой. На дороге, кроме полосатых верстовых столбов и стеной стаявшего по обе стороны ее смешанного, преимущественно хвойного леса, пересеченного кое-где просека-

ми с лежневками, ничего больше не видно было, и вдруг лес остался позади, а впереди дорогу преградила река, и за ней, словно из воды, поднялась громоздкая гряда белых многоглавых церквей с зелеными и синими куполами. Эта мощная панорама церковной древности Каргополя появилась так неожиданно, что у меня вырвалось громкое «ах», и тотчас же в ответ на мое невольное восклицание голубая шляпа, склонившись ко мне, пробубнила:

— К нам, к нам, сиротам... Будем, будем, не забудем.— А затем пояснила, что было время, когда так перекликались с одного конца города на другой звонари двух каргопольских монастырей, мужского и женского, а звонари других двадцати трех церквей, пока с них не сняли колокола, вызванивали иначе, каждый на свой лад.— У Николы попы воры... У Пятницы попы пьяницы...

Автобус протарахтел по заколыхавшемуся под ним наплавному мосту, и панорама слившихся в одну массу белых церквей скрылась из виду. Пошли старые домики под черными тесовыми крышами, покосившиеся набок деревянные тротуары, заборы, а за ними длинные и широкие грядки огородов.

Автобус остановился на неогороженном, голом, с вытопанной травой дворе, на задах которого были видны каменные стены приземистой церквушки, открытой сверху зеленой кущей. Можно было и не заметить эту церквушку, но голубая шляпа, сойдя с автобуса следом за мной, поспешила обратить на нее мое внимание:

— Может быть, интересуетесь церковными древностями — тогда начинайте с этого исторического памятника, только смотрите под ноги, а то не знаю, как сейчас, а раньше некоторые позволяли себе ходить туда в кусты по нужде.

Были годы, когда соборы, церкви, монастыри интересовали меня только с одной точки зрения — каким способом можно быстрее сокрушить эти каменные громады, чтоб навсегда выкинуть их из памяти людей, а потом, когда их стали понемногу приспособлять под клубы, гаражи, мастерские, и этот интерес пропал. А сейчас вот, устроившись в гостинице и выйдя на улицу, я вскоре обнаружил, что нахожусь на зеленой, поросшей муравой площади перед белой колокольней. С высоты этого охраняемого законом памятника древности глядели вниз суровые двуликие ангелы, а вокруг них с жалостным писком, суматошно кидаясь из стороны в сторону, словно неприкаянные души грешников, носились гнездившиеся под карнизами колокольни ласточки. Ну как тут не вспомнить было о своих предках и родичах, может быть живших и умерших в этом городе. Подумав о них, я невольно остановился перед этой величавой колокольней, охранная надпись на которой говорила, что в нынешнем году колокольне стукнуло двести лет. Третий век пошел ей, а стоит как новенькая. Подивившись этому, я обернулся к другому стоящему по соседству с колокольней памятнику церковного зодчества — кубической громаде храма Иоанна Предтечи, окруженного шаткими дощатыми лесами, — и увидел человека, казавшегося снизу крошечным. Задрав голову, я глядел на него как на спустившегося с небес, потом подошел ближе, чтобы посмотреть, на чем он там в поднебесье держится, и тут в глаза мне бросилось объявление, предупреждавшее граждан, что подходить к лесам опасно для жизни. Конечно же, мне пришлось поспешно отойти назад от этого отважного верхолаза, с риском для жизни обновляющего то, что в свое время нам не удалось сокрушить.

От одного храма я ходил к другому — все они теснятся тут на небольшом пространстве в центре города у реки Онеги — и погружался во все

более глубокую древность: от восемнадцатого века в Каргополе несколько шагов до семнадцатого, а от семнадцатого не дальше того до шестнадцатого, представленного собором Рождества Христова — невысокого сооружения времен Ивана Грозного со стенами крепостной мощности и таким низким сводчатым притвором, что при входе невольно склонишь голову.

Пройдя дальше, я скоро наткнулся на высокие горы винных ящиков, целых и разбитых, преграждавших подступы к какому-то другому древнему храму. Все они находятся здесь под охраной закона, но некоторые используются райпотребсоюзом под товарные склады.

На этом я и закончил свое знакомство с памятниками церковного зодчества Каргополя, после чего вышел на набережную Онеги. Издали манила она меня своей аллеей старых берез, которые, как природные северянки, царствуют здесь над всеми породами деревьев, намного обгоняя в росте украшающие центр города старые ели.

На пологом каменистом берегу Онеги мне прежде всего бросилось в глаза множество лодок. Одни лодки лежали вверх дном, другие были наполовину вытащены из воды на камни, но больше всего их вереницами стояло на цепях у дощатых причалов, с моторами в железных коробах, замкнутых на увесистые замки, как заключенные в казематы узники. На плаву не видно было ни одной лодки.

Только далеко в запани, где у моста задержался большой кошель сплавного леса, чуть заметно было какое-то движение, а все остальное пространство огражденной боками реки пребывало в неподвижности. В стоявшей кругом тишине слышен был только тихий говорок прибрежных родничков, многочисленными струйками стекавших в реку. Казалось, что земля изнемогает здесь от обилия влаги — на каждом шагу выцеживает она из себя, как из губки, кристально чистую воду. Прислушиваясь к тихому говорку родничков, я медленно шел берегом, заглядывая по пути в маленькие колодезные избушки. Они стоят тут у самого среза берега. Избушка как избушка, но пустая — в ней ничего нет, кроме бревенчатых стен и колодца с родниковой водой, которую рукой можно зачерпнуть нагнувшись. Вода прозрачная, на дне видны светлые пестрые камешки. Встречаются такие же избушки, но побольше — крытые водоемы для полоскания белья.

Дойдя до березовой аллеи, я присел на скамейку возле новенькой танцевальной площадки с раковиной для оркестра. Сидевший по соседству старик задумчиво глядел на реку, на изредка пролетавших над ней чаек. Поодаль один от другого на скамейках сидело еще несколько человек, тоже смотревших на реку.

Онега здесь берет начало из озера Лача. Самого озера отсюда не видно, но что оно близко и велико, это заметно по расходящимся, исчезающим вдаль берегам и далеко открытому за ними горизонту, где небосвод спускается в озеро. День был жаркий, но мерцавшая на солнце река казалась холодной. Наверно, потому, что весь берег тут усыпан острыми, режущими ноги камнями, купающихся на набережной было всего два-три человека. Медленно, нехотя как-то раздевались они под березами, медленно шли по камням к воде, войдя в воду, еще медленнее продвигались дальше и долго стояли по пояс в воде, не решаясь окунуться или броситься вплавь. Несколько оживленнее было только в стороне, на большом причале, с которого мальчишки прыгали в воду, вылезали и снова прыгали, да у схода с причального мостка, где на открытой террасе пивного павильона стояла небольшая очередь с бидонами.

С набережной я свернул к центру города и вышел на улицу, где сегодняшний день Каргополя зазывно кричит с ярко раскрашенных вы-

весок промтоварных и продовольственных магазинов, носящих, как это нынче повсеместно повелось, собственные имена одно романтичнее другого — «Чайка», «Весна», «Волна», «Рассвет», «Незабудка». Заглянув в магазины, убедившись, что в Каргополе все можно купить, подойдя к прилавку без толкотни и очереди, пообедав в столовой, где тоже было свободно, выпив пару кружек пенистого, как пиво, хлебного кваса, нацуженного из огромной бочки, я вышел на темную еловую аллею, что напротив белой колокольни, и присел на скамейку рядом с насквозь просвечиваемым солнцем газетным киоском. Здесь было совсем как в лесу. Редко протарахтит за елями по бульжной мостовой машина, прошагает по бетонному тротуару одинокий пешеход, или пробегут гуськом двести рослые собаки, которые на здешних малолюдных улицах действительно как-то особенно заметны.

Небольшой город Каргополь: несколько центральных кварталов с памятниками церковной старины, с двухэтажными деревянными домами, среди которых попадаются и каменные, в большинстве старой кирпичной кладки, — вполне современным, если не считать газетного киоска, выглядит, пожалуй, только кинотеатр из бетона и стекла, — а дальше мелкие домишки, заборы, огороды, и вот уже открытое поле.

Далеко куда-то вела дорога, по которой, выйдя из города, я зашагал обочинной, чтобы познакомиться с его окрестностями. Дорога широкая, щебеночная, но на ней не видно было ни машин, ни пешеходов. Некоторую живописность придавали ей только лежавшие на полях лобастые валуны, черные стаи воронья да какие-то серые, с белым исподом птицы, сидевшие тут и там на телефонных столбах.

Маленьким, жалким, затерявшимся в мире существом чувствуешь себя, когда так вот шагаешь один и не на чем тебе остановить свой взгляд, кроме как на птицах и валунах, которые, как допотопные окаменевшие животные, лежат на голых полях.

Приметив вдаль появившуюся из-за складки местности шатровую колокольню, я свернул на уходившую в ее сторону полевую тропинку. Впереди там и тут высились груды когда-то свезенных с поля валунов, черных от обсевшего их воронья. Я шел, и встревоженные мною птицы шумно подымались с камней, оглашая поле сердитым криком.

Полевая тропинка привела меня прямо к стоящей на отшибе от деревни шатровой рубленой церкви с такой же колокольней по соседству — архитектурному памятнику семнадцатого века, как свидетельствовала об этом вывеска на стене колокольни. Впервые увидел я в натуре прославленную ценителями древнего зодчества шатровую деревянную церковь с крытыми дранкой куполами, которые серебрились на солнце, как рыба чешуя.

По сравнению с городскими храмами Каргополя эта деревенская церковь Иоанна Златоуста показалась мне какой-то очень домашней, уютной, особенно с той стороны, где к ее темным бревенчатым стенам притулился куст черемухи. В Каргополе черемуха в этот на редкость сухой для здешних мест июнь всюду выглядывала из-за заборов без единого листка, вся в грязно-белой, кишевшей червями паутине, а тут она была зеленая, свежая, как после дождя.

Присев на большой плоский валун в зарослях чертополоха и лопуха-репейника, я смотрел на этот молодой зеленый куст, тянувшийся к маленьким темным окнам пустой церквушки, и думал, что вот в таком простеньком деревенском храме, а может быть, даже, что тоже не исключено, в этом самом, мой прадед отправлял службу и, если приход его был бедный, свозил камни со своей полоски, пахал землю, а на старости лет с чего-то вдруг покончил с собой, и, может быть, где-нибудь здесь, по-

даль от церкви, его, как преступившего божий закон, зарыли в землю без обряда и могилу завалили камнем.

Мои мысли спугнул подъехавший с противоположной стороны церкви трактор с тележкой на прицепе. Выйдя из-за угла и увидев людей, выносивших из притвора церкви на плечах набитые чем-то мешки, я почувствовал себя здесь человеком, забравшимся на чужой двор, и поспешил уйти, чтобы меня не спросили, чего мне тут нужно.

Вернувшись в город, я зашел в районную библиотеку, чтобы почитать там, что найду, по истории Каргополя. К сожалению, ничего такого в библиотеке не нашлось: была одна-единственная старая, затрепанная книжонка, но и та уже давно куда-то запропастилась, как мне сказали. Посетовав на это, я вышел на улицу, и следом за мной выбежала девушка с портфелем, слышавшая мой разговор с библиотекарем.

— Идите все прямо и прямо по этой улице,— сказала она мне.— Там спросите Калерию Семеновну. Она у нас живая история города.

Извинившись, что очень торопится, девушка, взмахнув портфелем, побежала назад. Последовав ее совету, я пошел прямо и в конце улицы спросил, где тут живет Калерия Семеновна. Мне сразу же показали на старенький домик с осевшей набок крышей и велели стучать погромче.

Я громко постучал, но никто не отозвался на мой стук, постучал еще громче — и опять безответно. Между тем дверь была не заперта. Долго стучал я в нее, потом зашел в сени и там барабанил, пока не набрался смелости войти в чужой дом без позволения.

В первой, кухонной, комнате никого не было, а в следующей, большой, за столом, покрытым вязаной скатертью, сидела маленькая седая старушка и что-то старательно писала, низко-низко опустив голову, казалось, водила не пером или карандашом, а носом по бумаге. Поздоровавшись, я начал извиняться, что зашел без приглашения. Но старушка продолжала писать, а когда я еще раз громко поздоровался, подняла голову и ласково сказала, словно только и ждала меня:

— Здравствуйте, голубчик. Садитесь поближе, а то я не вижу вас.

Совсем не похоже было, что Калерия Семеновна слепая: глаза ее, казавшиеся намного моложе, чем она сама, смотрели на меня живо и очень добросердечно.

Я пододвинул стул, сел, еще раз извинился и стал объяснять Калерии Семеновне, что меня привело к ней, но она быстро перебила:

— Плохо слышу. Говорите громче. Какие вас песни интересуют — старинные, обрядовые или, может быть, современные частушки?

Снова принялся я объяснять, что мне нужно, и Калерия Семеновна снова недослушала меня.

— Хорошо,— сказала она.— Я спою вам все, что знаю, а вы уж сами выбирайте, что вам надо.

Глаза ее сразу потеряли живость, лицо застыло, как маска, и она тихим голосом запела в быстром темпе какую-то народную песню, из которой я уловил только припев:

Ой, лю-люшеньки лю-лю...

Пропев одну песню, она запела другую, за ней третью. Ну, подумал я, заскучав, не иначе как приняла меня старушка за ученого-фольклориста, которые, наверно, часто наезжают в Каргополь за русскими народными песнями со своими магнитофонами, и как только Калерия Семеновна закончила третью песню, наклонившись, крикнул ей в ухо:

— Простите, но меня интересуют не песни, а история Каргополя.

— А, вы хотите послушать мой сказ о Каргополе — хорошо, я сей-

час прочту вам,— сказала она и с тем же неподвижным выражением лица, с каким пела, заговорила былинным речитативом, будто у себя дома была на службе, по которой ей вменялось в обязанность петь песни или сказывать былины — кому что нужно.

Из сложенного Калерией Семеновной сказа о Каргополе я узнал, что в те времена, когда этого города еще не существовало, на его месте было каргово, или ворошь, поле, названное так потому, что после кровавой битвы новгородцев с племенем чудь, которая произошла на этом поле, сюда слетелись черные тучи воронья. Закончив свой сказ основанием новгородцами города на карговом поле, Калерия Семеновна пожаловалась мне, что хочет продолжить его, но вот беда — легенды сохранились, а исторические источники разворованы и растащены по всему свету.

— Как же это так случилось? — спросил я.

— Очень просто,— сказала она.— Исторические источники все у нас тут были церковного происхождения — при закрытии церквей все поисчезали куда-то, что разворовали, а что припрятали. Докапывайся сейчас где что — и зрячему не докопаться, не то что мне, слепой.

Значит, и до моих олонецких предков не докопаться, подумал я и высказал свое огорчение этим в предупредительно подставленное Калерией Семеновной ухо.

— Да,— посочувствовала она.— Большая была Олонецкая губерния. Не знаю уж, по каким архивам рассортировали ее.— И заговорила о том, из какой губернии в какую и когда переходил Каргополь, пока не попал в Архангельскую область, и сколько раз его села и волости переходили из одного уезда или района в другой.— А вы тоже, видно, уже немолодой человек? — спросила она вдруг.

— Давно уже немолодой,— сказал я.

— Ну, вот я так и подумала. Раз вспомнили своих предков, значит, немолодой. Может быть, даже в гимназии учились?

— До пятого класса.

— А я успела еще получить гимназический диплом,— сказала она и стала рассказывать, как ей это удалось.

Когда ее отца, хлебопашца, призвали на войну, ей пришлось самой землю пахать. Осенью она посеяла рожь, а зимой с обозом в Питер пошла и там нянечкой нанялась работать в госпиталь, ночью на дежурствах за учебниками сидела, на сестру милосердия готовилась, разохотилась учиться и к концу войны экстерном сдала за гимназию.

— Вот какая я была! — сказала она и долго еще рассказывала о себе — какую большую, интересную жизнь прожила в Каргополе после революции, как хочется написать о ней и как это очень трудно: пишет, но забывает, на чем остановилась, и не знает, что получается, потому что сама не может прочесть написанного, а больше прочесть дома некому — раньше студентки приходили из педучилища то одна, то другая, но давно никто больше не приходит.

Торопливо, сбивчиво, перескакивая с одного на другое, рассказывала Калерия Семеновна о себе, словно боялась, что я уйду и она не успеет рассказать мне всего, о чем хочет написать. И вдруг, словно по секрету, сказала мне на ухо:

— Младшая моя дочка пишет, что не ужилась с мужем, разводится и думает, не вернуться ли домой. Может, и вернется.

Муж Калерии Семеновны давно уже умер. Все дети разъехались, и, конечно, если младшая дочь вернется, то это будет большой радостью для одинокой, старой, полуслепой и полуглухой женщины. Эта невольная прорвавшаяся радость смутила Калерию Семеновну, и она сказала:

— Вы уж простите меня, что я о своих личных делах заговорила,

Раньше со мной этого не случалось, личные дела у меня всегда были на последнем плане. Всю жизнь горела на работе по общественной линии.

Несколько раз прощался я с Калерией Семеновной, сначала в комнате, поднявшись из-за стола, потом на кухне, в сенях, на дворе — она провожала меня и все рассказывала. Выйдя со мной на улицу и снова заговорив об архивных делах, с которых у нас с ней начался разговор, она вспомнила о пропавшей рукописи местного историка учителя Докучаева, Карпа Андреевича, под названием «Город Каргополь, его князья, наместники и воеводы».

— Разыскать бы ее,— сказала она.

— А где эта рукопись может быть? — спросил я.

— После смерти Карпа Андреевича в нашем районном архиве хранилась, а погом какой-то заезжий прокурор заинтересовался ею и увез ее куда-то с собой, так она и пропала — ни рукописи, ни прокурора не найти уже теперь. А между прочим, Ленин пользовался трудами Карпа Андреевича и ссылается на них в своей книге «Развитие капитализма в России»... Вот как еще бывает у нас,— сказала Калерия Семеновна.

Этим и ограничились мои изыскания по части истории города Каргополя. Уходя от Калерии Семеновны, я показал на осевшую крышу ее старенького домика и спросил, не течет ли. Она махнула рукой:

— Надо бы сходить в горсовет, но знаете, как-то неудобно беспокоить. Вот если дочь приедет, тогда уже придется.

Вечером я долго ходил по мосту через Онегу, смотрел, как многочисленные здесь удильщики всех возрастов таскают из реки рыбешку за рыбешкой, а потом вспомнил, что где-то за мостом, в заречном поселке, живет племянница Данила Ивановича Галина Егоровна, матрос речного флота, которая, как он говорил, доставляет ему истинное удовольствие своими письмами, пересыпанными старыми олонецкими словечками,— вспомнил и свернул с моста на заречный берег. Вскоре мне показали на один из деревянных домиков, стоящих на заваленном бревнами берегу Онеги в конце поселка. Чтобы подойти к этому домику, мне пришлось прыгать с одной втопанной в торфяную грязь доски на другую. Он стоит у самой реки, окнами в сторону города.

Дверь домика была открыта, и хозяйка его стояла в сенях — стригла черную, дрожавшую и дергавшуюся овцу, которую мальчик лет десяти и две девочки поменьше держали за ноги, сидя на ступеньках крыльца. Никто не заметил, как я подошел и остановился немного поодаль от крыльца с письмом в руке, чтобы подождать, пока Галина Егоровна управится с овцой. Маленькая, верткая, с шелушившейся на носу кожей и потрескавшимися губами, она крутилась на овце верхом, торопливо отхватывая домашними ножницами шерсть то тут, то там, где под руку попадет не остриженный еще клочок. Когда она наконец управилась с овцой, выпустила ее из-под своих ног на волю голой и принялась собирать с пола шерсть, все еще не замечая меня, я подошел к крыльцу и сказал:

— От вашего московского дядюшки письмо позвольте передать.

— Ах! — воскликнула она, взяла письмо, посмотрела на конверт, потом на меня. Усомнилась в чем-то, должно быть, не могла понять, с чего это Данил Иванович послал ей письмо не по почте, а с каким-то посторонним человеком.

Чтобы она не приняла меня за посыльного, который ждет благодарности, я поспешил сказать, что Данил Иванович — мой приятель и живем мы с ним на даче по соседству. Тогда она крикнула кому-то, сидевшему в лодке у берега, вычерпывая из нее воду:

— Пашка, давай сюда! Товарищ приехал из Москвы с письмом от Данила Ивановича.

Из лодки вылез кто-то в одних штанах, показавшийся мне издали мальчиком-подростком. Подтянув штаны, он медленно подошел к крыльцу с виноватой улыбкой, словно натворил что-то и боится, что ему будет за это трепка.

— Муженек мой, Павел, попросту Пашка,— представила его мне Галина Егоровна.

Он такой же маленький, как и она, на вид еще моложе ее, обоих не сочтешь за родителей троих детей. Проведя меня в дом, Галина Егоровна вскрыла письмо, уронив при этом выпавшую из конверта десятку. Муж метнулся поднять, но она живо перехватила ее и, обернувшись ко мне, спросила, показывая десятку:

— Это что такое?

— Данил Иванович на гостинцы детям вложил,— сказал я.

— Балует нас дядя. Не знаю уж, как и отблагодарить его за все, что он делает для нас,— сказала она вздохнув, помолчала, задумавшись о чем-то, и стала размышлять вслух, что бы такое послать ему, чего в Москве нет: — Хорошо бы рыжиков бочоночек, да лонесные все поели, а селетошные еще не пошли. Разве что щук соленых или сухих ершей на уху?

Испугавшись, как бы не кончилось тем, что мне придется тащить из Каргополя в Москву куль соленых щук и сухих ершей, я стал уверять Галину Егоровну, что ее дядя ни в чем не нуждается, тем более что врач посадили его на голодную диету.

— Бедненький! — пожалела она его и спохватилась: — Ах, да что же это я! Время-то уже позднее, скоро магазины закроются.

Велев мне посидеть и подождать, пока сбегает в магазин, а мужу ставил самовар, она схватила сумку и побежала. Поглядев в окно, я увидел ее уже сидевшей в лодке и запускавшей мотор. Миновав проход в бонном заграждении, лодка помчалась напрямик к городскому берегу.

Павел, попросту Пашка, поставив на кухне самовар, вернулся в комнату, тоже посмотрел в окно и сказал:

— Рано у нас магазины закрываются, боюсь, что уже не успеет.

После этого на его лице снова выступила виновато-смущенная улыбка, он сел на лавку и застыл в такой напряженной позе, словно не у себя дома был, а в милиции, задержанный за что-то.

Разговор у нас с ним никак не вязался, и вскоре, затамившись в ожидании Галины Егоровны, я вышел из дома, чтобы поговорить хотя бы с оставшимися во дворе детьми. Но на дворе их уже не было. Толкнувшись в калитку, которая вела на огород, я увидел их там всех троих, занимавшихся поливкой грядок. Как взрослые, серьезно, молча таскали они ведрами воду из колодезной ямы под забором и разливали ее кружками по лункам с капустной рассадой.

— Чего смотрите, дяденька? — спросила меня самая бойкая из них, малышка, тащившая полное ведро, сильно откинувшись набок, чтобы оно не вслочилось по земле.

— Не тяжело тебе?

— Чего тяжело? — сказала она, поставив ведро между грядок.— Осенью я уже в школу пойду. Мы с мамкой соревнуемся: у кого капуста будет лучше. Это вот моя грядка, та Танькина, та Сережкина, а та вон мамкина.

— А папкина где же? — спросил я.

Девочка скорчила недоуменную рожицу и развела руками: верно, мол, почему же папку оставили без грядок?

— Папка нам плохой помощник,— сказал мне мальчик.

Галина Егоровна вернулась из города с бутылкой «московской» и кулком конфет, которые она высыпала в вазочку, и, когда дети прибежали с огорода и уселись рядышком у края стола, пододвинула им.

— Это вам от дедушки, угощайтесь,— сказала она.

«Московскую» Галина Егоровна сначала поставила под стол и вытащила ее оттуда только после того, как подала самовар, и, сев возле него, сказала:

— Ну что ж, сяко надо маленько выпить за здоровье дядюшки. Если бы не он, до сих пор бегала бы я в магазин лесом, три километра туда да три назад. В жару оводы заедят, пока добежишь.

Она принесла стопки и сама наполнила их — мне, себе и мужу, сидевшему за столом с безучастным видом. Выпили по одной, закусили ржаным рыбником с целиком запеченным в нем лещом, выпили по второй, за здоровье супруги Данила Ивановича. Галина Егоровна стала вспоминать, как перетаскивала сюда с мужем свою избу из деревни.

— Ох, и намаялись же мы тогда с Пашкой. Три километра до воды возили на лошади, а где и сами в одной упряжке с ней, после шестьдесят километров тащили на буксире за кошелем леса. Посреди озера буря захватила, чуть кошель и избу нашу вместе с ним не пораскидало...— Тут у нее вырвались словечки, за которые она извинилась, однако нисколько не смутившись, а только посмеявшись над собой, и заговорила о Даниле Ивановиче: — Благодарить нам с Пашкой дядю и благодарить. Без него бы не выбратся нам из Терешек — и денжат подкинул, и письмо написал капитану, чтоб взял нашу избу на буксир. И вот девятый год уже здесь. Удачно построились — сядешь в лодку и считай, что уже в городе.

Забеспокоившись вдруг, не гонит ли пастух стадо в лес — пора уже, солнце заходит, оводы попрятались,— Галина Егоровна послала детей, молча сосавших за столом конфеты, на улицу постеречь пастуха. Дети убежали, и вскоре со двора донесся их крик:

— Серка! Белка!

— Ох, не прозевали ли стадо?! — Выскочив из-за стола, Галина Егоровна выбежала из дому.

На дворе поднялась суматоха: из окна видно было, как мечутся туда и назад черная овечка и белая козочка, а за ними бегают Галина Егоровна с детьми.

Павел, и слова не проронивший за столом, ожил.

— Может, еще по стопочке? — сказал он, но себе плеснул не в стопочку, а в чайную чашку и подлил в нее крепкой заварки из чайника.— Так лучше берет,— сказал он и, выпив, доверчиво пожаловался мне на самого себя: — Пока слесарил в гараже, все нормально было, а как сел на машину, потянуло на калым, а раз калым, значит, поллитра-то уже обязательно... Вы только, пожалуйста, очень прошу вас, не говорите об этом дяде, не огорчайте его.

Я, конечно, пообещал ему ни в каком случае не огорчать Данила Ивановича.

— Раз так, то спасибо,— сказал он и заговорил о рыбалке, на которую в выходные дни ездит на Лачу с женой, если она не уходит в рейс на теплоходе.— Одного не пускает, боится, что на озере насажусь с кем-нибудь в компании и случится, что вывалюсь из лодки,— сказал он.

— Случалось такое? — спросил я.

— Все может случиться, если человек насадится до зеленой пули,— ответил он меланхолично.

Когда Галина Егоровна, выгнав овечку с козой в лес на ночную пастьбу, вернулась домой, Павел украдкой убрал с ее глаз пустую

бутылку под стол. Заметив этот нехитрый маневр своего муженька, Галина Егоровна потрепала его за волосы, потом по-матерински пригладила их и вздохнула.

— Эх ты, бажоня головушка! Отвернуться не успеешь, как вылакает все. Ну что ж, сяко чай пить будем.

За чаем опять зашел у нас разговор с Даниле Ивановиче. Галина Егоровна показала мне две его фотографии — маленькую, давнюю, унаследованную от своего покойного отца, на которой Данил Иванович еще совсем молодой, в гимнастерке с «разговорами», с тремя кубиками в петлицах, и другую — большую, на которой он уже в полковничьих погонах и при всех своих орденах.

— Узнала бы я его по этой карточке? — спросила она. — Родной дядя, а в лицс никогда не видела. Каждый год собираемся с Пашкой съездить к нему, а то ведь умрет, так и не увидим, какой он из себя. И нынешним летом думали поехать, да кое-что пришлось купить в кредит и еще не выплатили. Только вы уж не говорите дяде, неудобно нам будет перед ним, подумает еще, что денег ждем на дорогу.

Время было позднее, и я поднялся из-за стола, сказав, что завтра собираюсь на Лачу и Свидь — обещал Данилу Ивановичу побывать в Терешках у его сестер.

— А может, сначала с нами съездите на Лачу? — предложила Галина Егоровна. — Как вы насчет рыбалки? Послезавтра суббота, у Пашки два выходных. Днем из рейса вернусь, и закатымся сразу на озеро до утра, а в воскресенье в рейс пойду и захвачу вас с собой на Свидь.

Так мы и договорились, условившись, что послезавтра я встречу Галину Егоровну на городском причале, туда же подъедет на лодке ее муж, и мы сейчас же отправимся на озеро, потому что времени у нее будет в обрез.

В Каргополе приезжий человек на примете. На другой день, когда я зашел в столовую, буфетчица, встретившая меня с улыбкой, сказала, что она из одной деревни с Галиной Егоровной и знает уже, что я приятель ее московского дядюшки. И продавщица магазина, в который я зашел потом, тоже улыбнулась мне — оказалось, что она живет по соседству с Галиной Егоровной и видела, как я вчера вечером выходил от нее.

Приятно, когда в чужом городе почувствуешь себя как бы своим человеком. Весь день ходил я по Каргополю с этим чувством, пока под вечер не забрел на мусорную свалку у древнего городища, от которого сохранился только заросший травой, затянутый тиной и ряской ров и где, засмотревшись на уток, полоскавшихся в луже застоявшейся с весны воды, услышал вдруг за спиной голос своего автодорожного попутчика в голубой капроновой шляпе.

— Каргопольскими древностями любуетесь? Достопримечательнейшее в своем роде место, — усмехнулся он, показывая на громоздившиеся вокруг кучи мусора, затем спросил: — А дальше куда намереваетесь путь держать?

— На Лачу, — ответил я.

— В таком случае, может быть, еще встретимся, — сказал он и заторопился: — Извините, у меня тут куча родных, и всех надо навестить проездом, иначе потом обиды не оберешься.

Это напомнило мне, что и у меня, может быть, есть родные в Каргополе, но я подумал, что они-то не подозревают о моем существовании и поэтому не будут в обиде, если я вместо того, чтобы разыскивать их по всей бывшей Олонецкой губернии, поеду с Галиной Егоровной рыбачить на озеро Лача.

Когда маленький белоснежный теплоходик типа речного трамвайчика, на котором Галина Егоровна работает матросом-кассиром, пришвартовался к причалу, ее муж уже направлялся к нему на своей моторке с противоположного берега Онеги. Галина Егоровна стояла у трапа в белой шелковой кофточке, но на причал она сошла с теплохода, переодевшись на рыбалку — в штанах, в сапогах, с закинутым за плечо ватником, висевшим на согнутом крючком пальце.

— Ну вот, теперь я на двадцать четыре часа свободная птица,— сказала она.

— А на кого же детей оставили? — спросил я.

— Не маленькие, сами себя обиходят. Это за Пашкой нужен глаз да глаз, а они у меня надежные, третий год уже без бабушки живут.— Поглядев на реку, она сложила руки рупором и крикнула: — Пашка! Огнева тебя возьми!

Муж ее чего-то вдруг застрял на середине Онеги: его лодка с заглушенным мотором, покачиваясь на легкой волне, терлась о борт другой лодки, а сам он и кто-то подъехавший к нему сидели рядышком, склонясь над бортами голова к голове.

— Видите, что делается?! — возмущенно сказала Галина Егоровна.

— А что такое?

— До озера не успеет доехать, как наклюкается со своим дружком. Вспугнутый ее окриком, Павел оттолкнулся от лодки своего дружка, и оба они запустили моторы. Подъехав к нам, он сказал:

— С Сашкой договорился, вместе поедем на озеро, а то боюсь, как бы у меня не забарахлил мотор.

Галина Егоровна, вскочив в лодку, наотмашь звонко хлопнула его ладонью по спине.

— Знаю, как вы договаривались! Сяко утопишь ты меня когда-нибудь со своим Сашкой на Лаче.

Она порылась в стоявшей на корме корзине, потом в носовой каморке, забитой тряпьем, — должно быть, проверила, все ли, что нужно, взял с собой на рыбалку ее непутевый муженек, — и мы поехали вслед за каким-то умчавшимся вперед Сашкой.

Быстро исчезли из глаз все каргопольские церкви и соборы, будто их смыло поднятой лодкой волной. Павел сидел, склонившись над мотором, с зажатым под локтем концом длинного, соединенного с рулем багра, а Галина Егоровна беспечно лежала, откинувшись навзничь и забросив под голову руки, на крытом носу лодки, с которого, как мне казалось, ничего не стоило соскользнуть в воду.

Онега все шире распахивала свои низкие, бегущие назад берега. На переливающимся в солнечном блеске зеркале реки ничего не видно было. И вдруг впереди появилась быстро растущая спортивная, словно из бронзы отлитая фигура голого по пояс мужчины в кепке козырьком назад, несшегося навстречу нам. стоя во весь рост в пенисто режущей воду лодке с высоко задранном носом.

Поравнявшись с нами, он крикнул:

— Ну, как ваш московский гость чувствует себя на воде?

Галина Егоровна, приподнявшись на локте, погрозила ему кулачком:

— Ох, Сашка, сяко намылю я тебе голову.

— А я, Галочка, не против того. Сам баньку истоплю. Сяко придешь как-нибудь вечером! — крикнул он в ответ уже издали, оставив нас далеко за своей кормой.

Лихо развернувшись, он подошел к нам с другого борта, подмигнул Галине Егоровне, мужу ее сделал рожки и снова вырвался далеко вперед, стоя во весь рост посреди лодки, с рукой, опущенной на удлинненный багор руль.

— Дьявол у него, а не мотор,— сказал Павел.

— И сам чисто дьявол,— проговорила Галина Егоровна.

Она сладко потягивалась на спине, то забрасывала руки назад, то закидывала их в стороны, словно места не находила им, а потом повернулась на живот, подперла голову руками и долго лежала так на носу лодки, молча глядя вперед. Задумалась, наверно, о чем-то. Может быть, о детях, которые второй день хозяйничают дома одни, а может быть, об этом дьяволе, который соблазняет ее мужа, и только ли его одного?

Когда выедешь из тихой Онеги на озеро Лача, увидишь впереди одну бесконечную, как небо, воду, набегающую на тебя высокими пенистыми гребнями, с непривычки кажется, что большая лодка, в которой ты сидишь, вдруг превратилась в утлый челн. И ветра как будто нет, а волны все выше и выше. Недалеко еще мы ушли от берега, а он уже был виден только с гребня волны: скатится с него лодка вниз — и берег исчез.

Павел, все время сидевший перед раскрытым коробом мотора, не то прислушивался к его стуку, не то разглядывал в нем что-то. Он поднимал голову и брался за зажатый под мышкой конец багра-руля лишь время от времени, когда лодка поворачивалась бортом к волне и казалось, что волна вот-вот захлестнет ее. Я уже подумывал, не разуться ли мне на случай, если придется добираться до берега вплавь, но Галина Егоровна по-прежнему беспечно лежала на носу лодки, подставляя разбивавшимся о нее волнам свое лицо. Рушась, они фонтанами обдавали ее, но она не отворачивалась, а только мотала головой и громко, с удовольствием фыркала.

Потерявшийся среди бежавших по озеру белых барашков, Сашка-дьявол снова вынырнул, как со дна. Тенью скользил он с волны на волну, все так же неподвижно и прямо стоя в лодке, будто прирос к ней, превратился из человека в человека-лодку.

— Ну, как мотор? — крикнул он, проносясь мимо нас в лодке, как на качелях.

— Стучит,— отозвался Павел так, что я не понял, хорошо ли это, что мотор стучит, или плохо.

Описав большую дугу, Сашка вернулся, пронесся с другого борта, крикнул:

— Погодка в самый раз на шуку, готовьте дорожки и санки, продольник после будем ставить.— Провалился по пояс между волнами, поднялся во весь рост, снова провалился, снова поднялся, все дальше и дальше, а потом опять стал быстро расти, возвращаясь назад.

Несколько больших кругов сделал он на виду у нас, словно разрезавшийся водяной зверь, появлялся то с правого борта, то с левого и каждый раз кричал:

— Ну, как? Тарахтит?

— Тарахтит,— уныло отвечал Павел.

Галина Егоровна занялась снастями, всеми этими дорожками, санками, продольниками, которые она вытаскивала из большой корзины, разбирала и распутывала, пробирая мужа за то, что он свалил все комом, и приговаривала со вздохом:

— Бажоная головушка... Бажоная ты моя головушка, Пашка...

Надо было и мне братья за свой спиннинг, хотя бы только для бодрости духа, но тут заглох мотор. Павел, принявшийся копаться в нем, вовсе пустил лодку на волю волн, и они стали кидать ее сверху вниз, снизу вверх, с одного бока на другой так, что, забыв о спиннинге, я стал хвататься за борта.

Черной, бездонной казалась мне клокочущая под лодкой пучина.

И вдруг—что такое: берега не видно, а над этой жуткой пучиной покачивается, пригибаясь и разгибаясь, зеленая гибкая березка.

— Да тут, оказывается, мелко, березка вон растет,— сказал я, страшно обрадовавшись ей.

— Сашка натыкал. По всему озеру уды свои расставил. Я же вам говорю — суший дьявол, не то что мой пулеватик,— сказала Галина Егоровна в сердцах на своего супруга, который никак не мог запустить заглохший мотор.

Исчезнувший впереди Сашка появился позади — или это волны повернули к нему нашу пущенную на их волю лодку? Заглушив мотор, он подъехал к нам борт о борт, поднял над головой, показывая свою добычу, одну за другой несколько больших белобрюхих щук, кинул Галине Егоровне гремящую цепь, которую она подхватила на лету, и шагнул из своей лодки в нашу, как через порог своего дома переступил.

— Ну, что у тебя сотряслось, мое дите? — спросил он у Павла, подсев к нему.

— Сам не пойму,— сказал тот, почесывая затылок.

С минуту Сашка молча сидел над мотором, потом показал на что-то в нем пальцем Павлу, обернулся к Галине Егоровне, попросил у нее кусок хлеба и щепотку соли.

— Когда-то еще ухи похлебаем, а аппетит у меня уже зверский разыгрался на воде.

Это было видно по тому, как он быстро умолот чуть ли не полбуханки черного хлеба, отламывая и макая кусок за куском в воду за бортом и посыпая солью. Насытившись и удовлетворенно утерши рукой рот, он так же быстро наладил мотор, а потом, прежде чем перейти в свою лодку, посмотрел на мой спиннинг и сказал:

— А ну-ка покажите лесу.— Глянул и махнул рукой:— Спрячьте подальше, чтоб наши щуки не хохотали над вашей капроновой жилкой. На смех она им.

Как не похож рыбак, оснащенный современным мощным мотором, на рыболова, который удит рыбу с бережка, сидя на тихой вечерней зорьке в укромном местечке под кустом, где никто не помешает ему созерцать текущую воду и свой неподвижный поплавочек. Рыбак с мотором — не созерцатель. Я убедился в этом сразу же, как только Сашка, проверив все свои расставленные у березовых вех уды, начал ловить щук на дорожки и санки. Одну за другой закидывал он эти снасти с огромными блеснами, сверкавшими в воде за кормой его быстроходной лодки, как мечи, и щуки, эти акулы пресных вод, кидались на них, словно мухи на мед. Белобрюхие, как поросята, они, казалось, бежали вдогонку за его моторкой и сами заскакивали в нее, торопясь, как на пожар. Это был какой-то стремительный круговорот воедино слившихся движений рыбака, его лодки, бега волн и выпрыгивающей из воды рыбы — круговорот, перемещавшийся с места на место так, что я, следя за ним, едва успевал поворачивать голову.

Вскоре я потерял Сашку из виду, потому что Павел, тоже начав рыбачить, завозился со своими снастями, и лодка стала переваливаться с борта на борт. Не усидев на банке, я сполз на днище, и это очень сузило круг моего зрения.

Нехитрая снасть стародавняя дорожка — крепкий шнур со стальным поводком и блесной,— но если лодку гонит мотор, а рыбак закидывает на коротком удилище не одну дорожку, а сколько у него их есть, и не меньше так называемых санок — тех же дорожек, но уже не с одной блесной, а с несколькими и с большими деревянными, бегущими по воде, как санки, поплавками,— то нужна и ловкость и сноровка, чтобы упра-

виться со всеми этими снастями, которые цепляются одна за другую крючками, поводками, грузилами и блеснами.

Павел, не успев закинуть все свои многочисленные дорожки и санки, запутался в них, а щуки между тем не дремали. Одна, сразу заглотнув блесну, натянула шнур, и если бы Галина Егоровна, сидевшая у руля, не бросилась к мужу на помощь, щука самого его утащила бы в воду со всеми его снастями. Я был не в счет, потому что, сидя на днище лодки, не решался подняться на ноги, чтобы принять участие в этой опасной на волнах кутерьме.

— Пулеватик... Бесчиленник ты мой... Жолвы капаны тебя возьми¹, — беззлобно, сожалеючи поносила Галина Егоровна своего муженька.

Но когда он, распутав с ее помощью и забросив все свои снасти, стал кидаться от одной к другой и, вытаскивая шук, упускать их из рук в воду, она уже не выдержала и перешла со своего деликатного олонецкого языка на грубый русский.

Щучий жор продолжался недолго.

— Вот и Тихманьга, сейчас будем уху варить, — объявила Галина Егоровна.

Павел уже выбирал снасти, и волны затихли, словно они только и ждали этого, чтобы улечься на покой.

Поднявшись с днища лодки на банку, я увидел, что бурное озеро осталось позади, за четко обозначенной чертой, которая, как граница двух враждебных миров, отделяла его от устья Тихманьги, медленно текущей почги вровень со своими луговыми берегами, местами сплошь покрытыми зологистыми коврами цветущих лютиков.

— Вот где бы поудить рыбу! — невольно вырвалось у меня.

После бурной Лачи Тихманьга с ее цветистыми берегами и кустами прибрежного ивняка, тень которых черными барашками преломлялась на ее зеркально сверкающей глади, показала мне на редкость тихой, привлекательной, ласковой речкой.

— А мы с вами поудим здесь у Дома рыбака, — пообещала Галина Егоровна и сказала, что она тоже для своего удовольствия больше любит ловить рыбу с берега на червячка — окуньков, ершей, подъязков, сорожку.

Из этого я понял, что на Лачу она ездит с мужем рыбачить не для удовольствия и отдыха. Заглянув в корзину со щуками, я прикинул на глаз, что килограммов десять она потянет. А ведь Павел больше в снастях путался, чем рыбу ловил. Так вот почему в Каргополе лодок, пожалуй, больше, чем домов, подумал я, — рыбалка тут не баловство, а привычное дело.

Тихманьга — речка небольшая и, как все такие речки, особенно хороша своими излучинами, открывающими все новые и новые полиноводные плесы. А между тем, пока мы подымались от устья Тихманьги к Дому рыбака, белая колокольня церкви, сначала маячившая впереди между новыми купами, много раз появлялась с разных сторон то тут, то там, так же как большое стадо черно-белых, одна в одну, коров.

Когда Дом рыбака был уже на виду, от его причала отвалил навстречу нам беленький катерок, должно быть рыбадзора, потому что Павел, увидев его, стал суетливо и поспешно, как попало засовывать свои снасти в мешок, который Галина Егоровна потом сунула в носовую каморку лодки. Благополучно разминувшись с катером, мы причалили у большого, закрытого на замок сарая. С одной стороны сарая висели

¹ Малоумок... Сопляк... Золотуха тебя возьми.

растянутые на кольях сети, с другой—сидел на чурбане седой дед, чинивший невод. Поодаль, за поросшим бурьяном пустырем, одиноко торчала высокая, как башня, двухэтажная изба, на нижнем этаже которой было только одно крошечное, как бойница, окошечко. Кроме деда, вокруг никого не видно было. Да и он быстро куда-то исчез, оставив на берегу сложенный во много рядов невод. Галина Егоровна предложила мне прилечь на него отдохнуть, пока она очистит рыбу, а муж разожжет костер.

— Дед вернется — не задаст мне? — спросил я.

— Не бойтесь, не вернется—гулять пошел в волость. Завтра троица, по-новому — праздник песни и труда. Тихманьга два дня гулять будет.

Вытянувшись на сложенном кипой неводе, я лежал на спине и смотрел на облака. Все эти дни мне казалось, что они стоят на одном месте, и я не понимал, отчего это — то ли в небе полное безветрие, то ли облака такие высокие, что движение их с земли не заметно. Когда по озеру ходили волны, эта неподвижность облаков пугала, но здесь, на ласковых зеленых берегах Тихманьги, было так же тихо, как и в небе, и, глядя на неподвижные облака, я думал, что хорошо было бы пожить тут, в этой одинокой и высокой, как башня, избе, половить рыбу с этим самым дедом, который, бросив чинить невод, пошел гулять на праздник...

Выскочив из лодки, ко мне подсел задержавшийся на озере Сашка.

— Может, смогаемся с вами быстренько в село, чтобы было чем подкрепить уху? Тут недалеко, на лодке живо прошмыгнем.

Галине Егоровне мы ничего не сказали, но, увидев нас в лодке, она сама все поняла и крикнула:

— Только не очень увлекайтесь в магазине!

На лодке мы доехали до первых изб деревни, дальше нельзя было: полноводная в устье Тихманьга, разделившаяся потом на протоки, превращается здесь в ряд ручейков, которые бегут дальше широким, но мелким каменистым руслом, загроможденным огромными валунами.

Сашка боялся, что магазин вот-вот закроют, и шагал так широко, что я едва поспевал за ним трусцой. Мы шли деревней, вытянувшейся по обоим берегам Тихманьги двумя порядками изб, между которыми река течет улицей: с одной стороны на другую можно перейти только по узкому, длинному, перекинутому на козлах мостику. У этого мостика я остановился, заглядевшись вокруг, и Сашка, обернувшись, нетерпеливо крикнул:

— Без вас я бы быстрее сходил. Давайте лучше деньги на свой пай и ждите меня тут.

В деревне было пусто, наверно, потому, что все ушли гулять на праздник песни и труда в село, или в волость, как говорят здесь, хотя волостей давно уже нет. Может быть, какая-нибудь старушка и смотрела на меня из своей избы, но я не видел ее. Долго стоял я один на мостике, глядя на гладкие серые валуны, которые, казалось, как живые, разбрелись по речке и улеглись по всем ее травянистым островкам, а некоторые залезли в воду — из нее торчали только их сутулые спины. Как живые, сплелись и расходились на отдельные струйки и все прозрачные ручейки, из которых состоит здесь Тихманьга летом. А какой она бывает весной, в большую воду, показывала мне веревка с лоскутками, протянутая от берега до берега выше моста.

Перейдя мост, я прошел немного другим берегом и снова увидел церковь, которая, когда мы плыли к Дому рыбака, долго белела перед нами то справа, то слева, а потом исчезла из виду. Чтобы подойти к ней из деревни, надо было только подняться на зеленый бугор. Она стоит на нем, обнесенная жиденькой, как поскотина, изгородью,— когда-то пятиглавая, искалеченная: две главы как ножом срезаны.

Выйдя на бугор, я хотел было перелезть через изгородь, чтобы по-

смотреть на церковь с другой стороны, но позади меня залаяла собака, я оглянулся и увидел старушку, появившуюся на краю деревни вместе с собакой. Я издали смотрел на церковь, а старушка издали смотрела на меня; несколько раз оборачивался я и каждый раз встречал ее настороженный взгляд. Должно быть, к церкви уже много лет никто не подходил близко, и старушке интересно было, подойду ли я. Мне показалось неловко перелезть через изгородь на глазах у этой старушки, и я повернул назад.

Когда я проходил мимо нее, все еще выжидательно стоявшей посреди улицы, она спросила:

— Вам куда?

— К Дому рыбака, — ответил я.

— Тогда вам туда. — Она показала на тропинку, протоптанную мимо церкви через желтый от лютиков луг.

И хотя мы с Сашкой условились встретиться у моста, я пошел по этой тропинке, решив, что доберусь до нашей стоянки и без него, а он, конечно, долго искать меня не будет.

Я шел и думал, когда же это и где я все это видел — точно такую же, как Тихманьга, загроможденную валунами речку, белую церковь на зеленом бугре, луг в желтых цветах, высокую, как башня, избу, что виднелась впереди за приречными зарослями ивняка и ольшаника. Или мне только кажется, что я это когда-то видел?

Луговая тропинка привела меня прямо к Дому рыбака. Наши рыболовы уже расположились у костра и хлебали уху. И Сашка был тут.

— А мы головы ломаем, куда вы могли деваться? Знакомых, думаем, у вас в Тихманьге не должно быть, — сказал он.

— Знакомых нет, а родные, может быть, и есть, — ответил я, но все уже выпили и поэтому поняли меня в высшем смысле — все мы, мол, у себя на родине, значит, родные.

На разостланном у костра плаще лежали крупно нарезанные ломти хлеба, стояла миска с вареной рыбой, пустые кружки, большой, закопченный дочерна чайник и недопитая бутылка «московской».

— Давайте. Мы свое уже вылакали без вас, — сказала Галина Егоровна, опорожнив в кружку бутылку до доньшка.

Потом она подлила в миску ухи из чайника, в котором та варилась, ополоснула в нем ложку и дала мне.

— Что же я один — поделимся, — сказал я и потянулся с кружкой, чтобы отлить всем понемногу.

Сашка решительно отвел мою руку.

— Не будем мелочиться, — сказал он, поднялся, подошел к лодке, вернулся с непочатой бутылкой и плеснул из нее во все пустые кружки.

Павел не успел донести свою до рта — Галина Егоровна перехватила, перелила из нее себе в кружку, выпила и только губы утерла рукой, а потом разъяснила мне, что ей эта мерзкая гадость безвредна, а Пашка слаб, и потому ей приходится пить, чтобы ему меньше досталось.

Вылив остатки ухи в миску, Галина Егоровна зачерпнула в чайник воды из речки, подвесила его на рогатине у костра и легла рядом с мужем, обвила рукой его шею, притянула к себе, стала утешать:

— Сугрева ты моя теплая, обездолила я тебя, беденького, но ты, Пашка, свое еще возьмешь, не горюй, давай лучше поиграемся с тобой.

Не хотел или стеснялся Павел играть со своей супругой, конфузился, но она живо загнула ему салазки, и он понемногу разыгрался. Они забегали, наскакивали друг на друга и отскакивали, катались по земле в бурьяне у сарая. Потом их уже не видно было — исчезли за сараем.

— Хорошо у нас тут, главное — простору много, человеку свободно, — заговорил Сашка, когда мы с ним остались одни у костра. — Даже в Казахстане не стало уже того.

— Бывали там?

— Куда меня только не носило. Как отслужил на флоте на катере, десять лет без малого мотался по сухопутью. Год-другой поработаешь, опять тебя тянет куда-нибудь. Три специальности имею — механик, электрик и радист, вся техника в моих руках. Может, и в космосе побывал бы, да режим у космонавтов не по мне. А с парашютом прыгал, и вообще данные к тому, как говорят, есть.

— А в Каргополь откуда вас занесло? — спросил я.

— Из Средней Азии. В самом богатом по всему СССР колхозе механиком работал. Там сейчас уже люди, как при полном коммунизме, живут. Думал, довольно мне мотаться, женюсь на узбечке и останусь здесь навсегда. А тут вдруг получаю письмо от матери, пишет, что совсем плоха стала, помирает и не знает, кто ее похоронит, — мужиков нет, три старухи только в деревне остались. Приехал и на третий же день похоронил ее. Забил избу, вернулся в Каргополь, встретил тут одного нашего деревенского земляка, в гараже у нас работает, на другой день на рыбалку поехали, и там, то есть вот тут, на Тихманьге, на этом самом месте, где мы сейчас сидим с вами, решил, что как ни хороша Средняя Азия, а на Лаче у нас лучше.

Галина Егоровна вернулась к костру одна. Потирая обожженные крапивой руки, сказала:

— А ну его — умаялся уже, бедненький.

Чай был разлит по кружкам, а Павел все не появлялся. Не откликнулся и на зов. Галина Егоровна послала Сашку посмотреть, куда он девался. Вернувшись, Сашка сказал:

— Дите сладко спит.

Попив чая, он уехал один на озеро ставить продольник, Галина Егоровна пошла за мужем, принесла его на руках в охапке, положила на кипу невода и прикрыла ватником.

— Пусть проспится, а мы с вами пока половим на червячка.

Солнце давно уже погасло, на все легла бесцветная серость, только река светилась. Звучно лопалась в тишине гладкая поверхность воды, когда выдернутый из нее окунек, изогнувшись дугой, взлетал в воздух. Громко шлепалась в траву и прыгала в ней пойманная рыбешка.

Пока продолжался клев, Галина Егоровна слова не обронила, точно одна была, меня совсем не замечала. Потом, когда далеко загромыхала гроза и клев сразу прекратился, она, сматывая удочки, как сама с собой заговорила:

— Радиолу купила, думала Пашку приохотить к музыке, чтобы дома больше сидел, — не помогает, зря деньги ухлопала. Видно, придется снять его с машины, на какую-нибудь другую работу определять, не знаю только куда.

Гром прогремел, но гроза прошла стороной. Павел спал под ватником, свернувшись клубком. Галина Егоровна прилегла поодаль от него на другом краю сложенного невода, сказала, что нужно заснуть на часок, а потом поедет на озеро и попробует еще половить на дорожку. Но ей не спалось. Повертевшись под ватником, она откинула его, села, обхватила руками колени и, уткнувшись в них подбородком, долго сидела так молча, время от времени прислушиваясь, не возвращается ли Сашка. Я вскоре заснул. Когда проснулся, уже загоралась заря. Галина Егоровна и вернувшийся с озера Сашка сидели на корточках друг против друга у костра и задумчиво подкидывали в огонь по щепочке из кучи собранной тут кем-то щепы — то один подбросит, то другой, словно какую-то мол-

чаливую игру вели. Заметив, что я проснулся, Галина Егоровна поднялась, закинула руки за голову, потянулась на цыпочках, потом подошла к спящему мужу и постучала носком сапога по его заду.

— Довольно тебе дрыхнуть, вставай, поедем.

Когда мы выехали из устья Тихманьги на Лачу, солнце уже краешком поднялось из озера на другом его конце, которого не видно было в распространявшемся по зеркальной воде свете. Лодку покачивало на пологих, беззвучно и незаметно накатывавшихся волнах. Казалось, что ее поднимают не волны, а глубокое дыхание еще не проснувшегося озера.

Долго бороздили мы сонную Лачу, таская за собой дорожки и санки вдоль ее низкого, заросшего тростником берега, но улова не было ни у нас, ни у петлявшего неподалеку Сашки, словно щуки, жадно хватавшие вчера блесну, тоже еще не проснулись.

Солнце уже начало пригревать, пора было возвращаться в город, чтобы поспеть на теплоход, на котором Галина Егоровна должна была идти в очередной рейс, а я ехать на Свидь, когда Сашка, подкатив к нам, крикнул:

— В лахте тростна горит, надо тушить, а то как бы огонь не перекинулся на лес.

Развернув лодку, он устремился к мысу, за которым на берегу залива свечой подымалось над лесом бездымное пламя. Последовав за ним, мы вылезли из лодки на болотистом берегу и долго хлюпали по колено в грязи, пока выбрались на сухое тростниковое крошево, сплошным настилом покрывавшее берег до опушки леса. Невзрачен и дик этот берег. Все тут гниет: и лежалый тростник, и забитый буреломом, сухостоем и валяжником лес. Продираясь сквозь сплетения колких ветвей засохшего подроста, спотыкаясь о сгнившие на земле березы, от которых уцелела только белая, сохранившая форму стволов кора, набитая древесной трухой, я вскоре потерял из виду сначала Сашку, а потом и Галину Егоровну с мужем. Выбирая один из этой чащобы мертвого или умирающего на корню леса, я натолкнулся на большой покрытый и высланный тростником шалаш. Тут же у потухшего костра с закопченным на нем чайником и всаженным в обгоревшее бревно топором на раскиданном по земле тряпье валялись кружки, пустые бутылки, на сучьях деревьев висели сумки и корзины.

И вчера и сегодня мы не встретили на озере ни одного рыбака. Только далеко на горизонте изредка появлялись и исчезали чуть заметные черточки будто по воздуху плывших лодок. И на Тихманье Дом рыбака пустовал всю ночь. А тут вот, в этой гиблой, гнилой лесной трущобе, ночью, видно, былолюдно. Когда я наконец выбрался на открытый берег, где горела тростна, пожар уже был потушен. Сашка добывал огонь срубленной березкой, как веником, а Галина Егоровна с мужем приптагивали тлевшую на земле тростну.

— Похоже, что мы каких-то дикарей спугнули. Шалаш, сумки на дереве висят, а никого нет, и на озере не видно лодок,— сказал я.

— И не увидите,— засмеялась Галина Егоровна.— Хоронятся в тростнике где-нибудь, сети тащат или продолжник выбирают на три тысячи крючков.

— А чего хоронятся? — сказал Сашка, кинув прочь обгоревшую березку.— На наше озеро людей тут капля в море.

Мы пошли обратно к лодкам. Сашке нужно было еще выбрать поставленный им где-то на ночь продолжник, и, когда мы выехали из тростника в открытое озеро, он подъехал к нам и сказал:

— Подставляй, Галочка, корзину, подкину тебе немного щук.

Наши лодки с заглушенными моторами терлись борт о борт, гремя связывающими их цепями. Сашка кидал щук в подставленную Галиной

Егоровной корзину, накидал ее дополна и все еще продолжал подкидывать уже прямо в лодку, выбирая тех, что покрупнее.

— Хватит,— говорила Галина Егоровна.— Хватит, себе-то оставь.

Сашка будто не слышал. Потом вытер руки о штаны, заулыбался и сказал:

— Вот заведу хозяйку да детишки пойдут, тогда уже ты не попользуешься моей рыбой, а сейчас на что она мне? Только для собственного удовольствия ловлю.

— Продавал бы кому-нибудь по соседству.

— Вот еще, буду я мараться. Абсолютно не из-за чего пока. А за будущее, конечно, не ручаюсь.

Галина Егоровна бросила Сашке цепь, он подхватил ее на лету, оттолкнулся ногой от нашей лодки, и мы с ним разъехались в разные стороны.

— Ну, вы как хотите, а я заваливаюсь спать, иначе на теплоходе за штурвалом буду клевать носом,— сказала Галина Егоровна и, кинув ватник на нос лодки, улеглась на нем калачиком, положила под голову локоть и быстро заснула в высоком, колыхавшемся на волнах гнездышке.

Мы вернулись в Каргополь за два часа до отправления теплохода на Свидь. Сойдя с лодки в заречном поселке, я едва успел добраться до гостиницы, рассчитаться там, переодеться и, подхватив рюкзак, добежать до пристани. Галина Егоровна встретила меня у трапа теплохода уже в своем форменном обликии — короткой черной юбке и белой шелковой блузке, такая непохожая на ту, какой была дома и на рыбалке, что если бы не обожженная солнцем кожа, шелушившаяся на носу, то просто не узнаешь — стюардесса международной линии, а не матрос мелкого речного флота. Тут же у трапа Галина Егоровна представила меня стоявшему рядом с ней на причале капитану-механику, немолодому уже человеку, который тоже в своей черной форменной фуражке и белой сорочке с черным галстуком выглядел так, словно вместе с Галиной Егоровной собрался на воскресную прогулку.

— Товарищ из Москвы, сосед моего дядюшки,— сказала она, на что капитан ответил двумя словами: «Очень приятно», посмотрел на часы и тотчас, поднявшись по лесенке на палубу, к штурвальной кабинке своего маленького нарядно-белого теплоходика, дал гудок отправления.

— Мы с ним еще на старике «Никитине» ходили,— убирая трап, сказала мне Галина Егоровна о своем капитане.

Про «Никитина» я слышал от Данила Ивановича, рассказывавшего мне, как в конце прошлого века этот товаро-пассажирский колесник, начав курсировать на Свиди, переполошил своим зычным голосом целую волость — из всех деревень люди бежали на реку посмотреть, кто это поднял такой страшный крик на реке. Оказалось, что этот громкогласный старик немного не дожил до наших дней, таская на буксире кошелю леса, а вместе с ними и избы тех, кто перебирался из деревни в город. Это он, «Никитин», притащил в Каргополь избу Галины Егоровны. И на нем-то она и начала свою матросскую жизнь.

— На «Никитине» нас было человек двадцать команды, а сейчас нас двое: я и капитан-механик,— говорила Галина Егоровна, провожая меня в свою служебную каюту.— Ну ладно, устраивайтесь — вот постель, подушка. А вот ваш спиннинг — забыли его в лодке. И зачем таскаете с собой? Отдыхайте, а я побегу — билеты надо выдавать, как на озеро выйдем — сменю капитана за штурвалом. Мы с ним по очереди — один за штурвалом стоит, другой чай пьет,— посмеялась она.

Должно быть, ей это очень нравится, что она вдвоем со старым капитаном все делает по очереди.

Вслед за Галиной Егоровной я поднялся из каюты вверх, чтобы купить билет. Она бегала по крутым, узеньким лесенкам вверх и вниз, из одного пассажирского отсека в другой, приглашая людей к кассе. Пассажиры не торопились, их было мало, они сидели вразброс, тут и там в разных углах, и вели общий разговор, как старые знакомые или соседи по дому.

— Сейчас, сейчас, Галочка,— сказал кто-то и потянул ее за руку, приглашая присесть на минутку.

Она присела, вступила в общий разговор. Какой-то молодой человек подошел к ней, что-то сказал, она засмеялась, оттолкнула его, вскочила, поднялась по лесенке, у которой я стоял, спросила на ходу, не хочу ли я чаю, открыла каморку камбуза, зажгла керосинку, поставила на нее чайник.

Все тут просто, по-домашнему. Билет можно купить, подойдя к окошечку кассы, но не возбраняется и заходить по одному в ее крошечное помещение. Когда я зашел туда, Галина Егоровна подсчитывала выручку и была недовольна ею.

— Всегда так мало пассажиров? — спросил я.

— Пока отпуски не появятся.

— А когда они появляются?

— Когда ягоды да грибы пойдут, охота откроется. Наезжают к нам люди в отпускной сезон из Архангельска, Мурманска, Ленинграда и даже из Москвы — и туристы, и наши бывшие деревенские. Сегодня вот один наш со Свиди едет уже с женой и дочкой. Говорит, что везет их на ягодках попасться. Счетоводом работал в колхозе, а сейчас в Москве аж на двенадцатом этаже живет.

Это был он, мой неотвязный попутчик в голубой шляпе. Поднявшись на палубу, я увидел его. Стоя в открытых дверях штурвальной каюты, он разговаривал с капитаном.

— Как же это так не повезло тебе — институт окончил, а все на Лаче плачешь?

— Кто это сказал, что я плачу? — спросил капитан, крутивший штурвал, не оборачиваясь к своему собеседнику.

— Потому и Лача, что тут заплачешь.

— Отчего тогда едешь?

— Мамашу-то надо навестить.

— Взял бы ее к себе в Москву.

— Квартирные условия не позволяют.

Увидев меня, голубая шляпа воскликнула:

— Везет же нам с вами на встречи! Куда сейчас? Не на Вонявку ли?

— Что это за Вонявка?

— Самое достопримечательное место на Свиди — целебный родничок. Было намерение курорт построить на нем, но поостереглись — уж очень вонючий, подойти нельзя. Однако некоторые старухи выдерживают — подолгу сидят в нем, заткнув нос. Обязательно полюбопытайтесь, очень советую,— сказал он и, смерив меня насмешливым взглядом, стал спускаться с палубы по лесенке, передергивая на ходу плечами, должно быть показывая этим, как ему смешно, что находятся чудачки-туристы, которых что-то привлекает здесь.

Я стоял у раскрытых дверей рубки. Мне хотелось поговорить с капитаном, но я не решался отвлекать его от штурвала. Между тем кто-то боком прошел мимо меня в рубку, ничего не сказав капитану, уселся там на скамеечке позади него, а потом и другой зашел, тоже сел, оба закурили и заговорили. К разговору их я не прислушивался, глядя

на капитана, думал, что он уже много лет возит пассажиров по одному и тому же маршруту из Каргополя на Свидь, наверно, всех уже давно знает, и поэтому-то все пассажиры чувствуют себя тут, как дома. Сначала капитан будто не замечал сидевших за его спиной, потом обернулся к ним и спросил:

— За сколько же ты, Афанасьевич, покупаешь свой дом обратно?

— Да вот окончательно еще не поладили, дорожится Савельич, просит за мой дом...

— Не за твой, а за мой,— поспешил поправить Афанасьевича Савельевич.

— Заладил одно — «не твой, а мой». Какая разница, твой или мой? Толкуем о цене, а не о том, чей дом,— рассердился Афанасьевич.

— А если разницы нет, зачем говоришь «мой»? — возразил Савельевич.

Оба были пожилые, схожие своим обликом, низкорослые, крепкие, аккуратно и чисто одетые мужички в тесноватых для их плеч пиджачках. Я не понимал, кто из них у кого покупает дом, и, когда Галина Егоровна, управившись с делами, поднялась на палубу, показал ей на них глазами и тихонько спросил об этом. Она толкнула меня локтем, весело подмигнула и, обернувшись к ним, сказала:

— Товарищ вот интересуется, чей ты дом покупаешь. Афанасьевич?

— А чего вам? — спросил меня Афанасьевич.— Я свой собственный дом обратно покупаю.

Сдержанный капитан только головой помотал, а Галина Егоровна прыснула.

— В какой раз уже ты, Афанасьевич, продаешь и покупаешь свою избу в деревне, второй или третий? (Афанасьевич промолчал.) Или со счету уже сбился? — И Галина Егоровна стала объяснять мне, какая у Афанасьевича и Савельевича бестолочь идет с покупкой и продажей одной и той же избы, и все потому, что по очереди сбегают из деревни в город, никак не могут решить, где им лучше: сейчас вот Афанасьевич опять решил, что в деревне лучше стало, а Савельевича опять что-то разочаровало там.

— Разные бывают обстоятельства, заранее всего не учтешь, — сказал Афанасьевич.

— Все от обстоятельств зависит. Сегодня они одни, а завтра, смотришь, другие,— подтвердил Савельевич и вздохнул: — Нет еще у нас твердой устойчивости в деревне. Были колхозы, эмтээсы, а сейчас у нас совхоз, и порядки пошли иные — кому нравится, кому нет.

Это уже что-то новое: бывало, если человек вырвется из деревни всеми правдами и неправдами, то избу бросает или продает на дрова, потому что только на дрова и мог найти покупателя, подумал я и спросил о нынешних ценах на избы в Каргопольском районе.

— А что, хотите приглядеть себе домик на Лаче или Свиди? — засмеялась Галина Егоровна.— Если так, то торопитесь, а то дорожать у нас стали избы. Савельевич вот купил за четыреста, а продает за пятьсот.

К штурвалу встала Галина Егоровна, велел капитану идти чай пить. Афанасьевич с Савельевичем потянулись за ним, наверно, тоже чтобы почаевничать. Я сел на освободившуюся в рубке скамеечку за спиной Галины Егоровны.

— Попили бы чаю и завалились спать,— сказала она.— Как в Свидь войдем, разбужу, а на озере чего увидите — вода и вода.

— Хочу все-таки посмотреть,— сказал я.

— Ну, тогда смотрите,— сказала она.

На открытой палубе за отделявшим нас от нее стеклом рубки никого не было, лежал голько груз — несколько фанерных ящиков и мешки с

печеным хлебом. Тишина стояла такая, словно все немногочисленные пассажиры, попив чаю, уснули, растянувшись на своих скамейках, да и капитан тоже, наверное, прилег у себя в каюте. Галина Егоровна, замечая капитана, молча священнодействовала, перекладывая руки с одного рожка штурвала на другой. Эти однообразные движения ее рук, солнце, припекавшее сквозь стекло, мерцавшие на водной ряби блики нагнали на меня дремоту.

Когда я очнулся, теплоход стоял уже у высокого берега с церквушкой и сельским магазином наверху. Капитан, опираясь о поручни палубы, смотрел вниз на запряженную в телегу лошадь, которая, громко шлепая по воде, подходила к борту. Галина Егоровна подсаживала старушку с узелком в руке. Осторожно переставляя ноги по узкой, спускавшейся в воду доске, старушка вдруг взмахнула руками, уронила узелок и соскользнула вниз на руки парня, стоявшего по колено в воде. Парень передал ее и подхваченный им узелок другому, тот третьему, и третий уже доставил старушку на берег. Больше тут никто не сошел. Эти же парни стали сгружать мешки с хлебом. Один скидывал их с теплохода, другой подхватывал и укладывал на телегу, третий удерживал за вожжи рвавшуюся к берегу лошадь, а когда все мешки были уложены, хлестнул ее, и она потащила воз, выгибая спину и распластываясь, как лягушка.

— Где это мы? — спросил я у капитана.

— Пристань Нокоты, — ответил он.

А мой попутчик в голубой шляпе, стоявший на палубе, не упустил случая, обернувшись ко мне, добавить с улыбкой:

— Пристань, которую второй век уже не соберутся построить.

Вскоре высокий берег исчез позади, впереди начал приближаться другой, низкий, весь в зарослях тростника. Галина Егоровна, протиравшая тряпкой поручни палубы, подошла ко мне.

— Сейчас войдем в устье Свида, — сказала она. — А там вон, видите, справа, где камыши, Петеньга впадает в озеро. Если ехать из Каргополя на лодке, то прямо к нашей деревне можно подъехать. Язь к нам на Петеньгу заходит нереститься: перегородить речку сетью — и рыбы набьется столько, что не вытащишь. А рыжиков! Выйдешь из дому с ведром и собирай. Летом у нас хорошо, только оводы жить не дают.

— Значит, из-за оводов и переехали в город? — спросил я шутя.

— Главное, из-за Пашки, — сказала она. — Не для того, говорит, в армии набирался культуры, чтоб в деревне жить. Мы с ним на «Никитине» познакомились. Он с военной службы возвращался, а я из города — за хлебом ездила. Сидели на палубе рядом, разговорились и сразу же решили, что мы очень подходим друг к другу, — засмеялась Галина Егоровна.

Пройдя тряпкой по поручням до конца палубы, она позвала меня в каюту почаевничать. Потягивая из блюдечка чай, сказала вдруг:

— Смотрите, Данилу Ивановичу чего лишнего не сболтните про Пашку. Исусик он, несчастный. Спаивает его шоферня и этот Сашка, дьявол. Между прочим, как он вам нравится?

— Кто? — не понял я. — Дьявол?

— Дьявол. А в технике, между прочим, бог. В гараже у Пашки — главная техническая сила.

— Но почему же дьявол?

— Силен и бабьей слабостью пользуется, жениться не желает, — сказала она, крепко, по-мужски выразившись, и вернулась к разговору о муже. — Не хочется, а придется, видно, мне на другую работу переходить, а то уйдешь в рейс и боишься, как бы он чего-нибудь не натворил. А я ведь еще молодая, для себя хочется пожить. — Она вздохнула и стала рассказывать, как ей с матерью тяжело было в военные и послевоенные

годы, когда без хлеба и керосина сидели в деревне, лучину по вечерам жгли, ждали отца, но он с войны не вернулся домой — другую жену нашел в городе и вестей не подавал до позапрошлого года.

— А в позапрошлом году, представьте себе, только я мать похоронила — и он явился домой умирать. Приехал в деревню и тогда только узнал, что мы в городе, а мать померла на днях. Едва добрался до нас, лица на нем не было, один голый череп — болезнь всего изглодала. До весны дотянул и помер... Ну, вот в Свидь уже вошли, собирайтесь, скоро вам сходить, — объявила Галина Егоровна, поднявшись из-за столика.

Собравшись, я вышел на палубу посмотреть на реку Свидь. Как и у Тихманьги, берега Свида в устье низкие, луговые, но Тихманьга — речка маленькая, годная только на то, чтобы ворочать жернова мельниц, к сожалению давно уже отживших свой век, а Свидь — сплавная река, и это сразу видно по множеству застрявших в затончиках у берега бревен, и такая полноводная, что курсирующий по ней теплоходик может подойти к срезу берега вплотную, в чем мне тоже представился случай сразу же убедиться.

Вчера на Лаче гроза прогремела далеко стороной, а сегодня под вечер она внезапно настигла нас, как только мы вошли в Свидь. Темная туча с белым клубящимся, как дым, валом впереди быстро надвигалась с горизонта. Не успела она еще поглотить низко горевшее над рекой солнце, как почти одновременно с громовым ударом полыхнула молния, прорезавшая небо слепящим огнем с одного края до другого.

Галина Егоровна, выбежав на палубу, перекрестилась.

— Слава тебе богу! С весны сушь такая, что боялась, как бы без картошки не остаться на зиму, — сказала она. Увидев кого-то, замахавшего с берега рукой, сунулась в рубку к капитану: — Подверни-ка, Пантелеймонушку возьмем, просится дед.

Капитан подвернул, теплоход подошел к черному срезу торфяного берега, прижался к нему носом, и Пантелеймонушка, маленький старичок с корзиной и пучком несмотанных удочек в руках, мигом перевалился на животе через борт. Пока он сматывал все свои удочки, река закипела под звучно хлынувшим ливнем, и по ней пошли вспухать пузыри.

Мы с Галиной Егоровной укрылись в рубке, а потом и Пантелеймонушка, бросив на палубе корзину и удочки, ввалился к нам и стал весело отряхивать ручьями стекающую с него воду, радуясь, что вовремя вчера подгадал высадить у себя на огороде капустную рассаду. И даже молчаливый капитан, который, ничего не видя впереди сквозь бьющие в стекла рубки потоки, озабоченно крутил головой, и тот порадовался, что огороды поправятся.

— А хлеб? — спросил я.

— О хлебе сейчас нам не приходится думать, — сказал он. — Даже в сельском магазине теперь всегда можно купить.

Гроза еще не прошла, когда мы причалили у заболоченного берега с маленькой часоventкой на бугре, откуда мне надо было добираться до Терешек пешком.

— А чего ради вам мокнуть под дождем? — сказала мне Галина Егоровна. — Переночуйте на теплоходе, утром пойдем обратно, тогда и сойдете. Все равно в Терешки вам сегодня не попасть.

Конечно, я предпочел переночевать на теплоходе. Пантелеймонушка, который, порывшись в своей корзине, выбросил Галине Егоровне с капитаном парочку больших окуней на уху, сошел на берег, сошли за ним и Афанасьевич с Савельевичем. Втроем запрыгали они по болоту с кочки на кочку и исчезли в дождевой пелене.

Скрылась и деревня с часоventкой на бугре. Теплоход вскоре вышел из дождя на солнце, и засветившаяся в его огне Свидь далеко открыла

свои пологие берега. Постепенно от излучины к излучине они становились выше, мелкий прибрежный ивняк сменило глухое чернолесье, а потом пошли луговые косогоры с отдельно стоящими на склонах к реке густыми елками, нижние тяжелые лапы которых лежат на траве, а вершины зелеными пирамидами вздымаются одна над другой. На этих омытых, освеженных грозой берегах тут и там громоздились горы приготовленного к сплаву леса, и бревна, обращенные торцами к реке, светились на закатном солнце, как золотые.

Долго стоял я на палубе, глядя на эти золотые горы сваленного леса и зеленые конусы уцелевших на косогорах елей. Берега сближались, становились все выше и круче, но когда солнце опустилось за горизонт, все сразу потеряло свои живые краски, помертвело, и при свете, долго оставшемся дневным, все начало приобретать сонный вид. Не похоже было, что день кончился, — казалось, что он обомлел в тишине, уснул, только одна река бодрствует, беззвучно катит и катит серую массу воды.

Свидь течет в Лачу из озера Вожа, такого же большого, как Лача. Некогда на ней были шлюзы, река была судоходной на всем своем течении. На ней-то Данил Иванович и начал бурлачить в свое время — таскал барки с товарами каргопольских купцов со Свида на Вожу и обратно. Глушь, как говорил он, была там страшная, только по воде и можно было добраться туда, посуху не проедешь — сплошные болота, — но все же люди в деревнях на Воже жили и купцы торговали. Сейчас шлюзы на Свида не действуют, давно уже заброшены, и река судоходна только до деревни Свидь-Боры, где раньше шлюзовались суда.

Узнав об этом у Галины Егоровны, я спросил ее, как же теперь люди добираются со Свида на Вожу.

— В прошлом году видела, как туристы поднимались на байдарках по Свида, а добрались ли они до Вожи, не знаю, — сказала она. — А кроме туристов, кому туда надо. И до Боров-то пока теплоход дойдет, хорошо, если два-три пассажира останется.

Да, малолюдны берега Свида. Остановится теплоход у дереvушки, приткнется носом к берегу, сойдет кто-нибудь, но никто не сядет на него и никого вокруг не видно, словно сошел человек в пустой, брошенной людьми деревне, один здесь живет. Только в Борах, куда мы прибыли поздним вечером, я увидел нескольких старушек. Сгрудившись у причала, они взволнованно бегали глазами по подходившему к берегу теплоходу.

— Митенька! — закричала одна из них, и все закричали, замахали руками: — Митенька! Митенька! Митенька!

Глянув с палубы вниз, чтобы посмотреть, кого это старушки встречают, я увидел голубую шляпу своего попутчика, которой он помахивал над головой, стоя с женой, дочкой и чемоданом в руке у дверки носового пассажирского отсека в ожидании, пока Галина Егоровна сбросит сходни.

Не знаю, кто встречал Митеньку, кроме матери, может быть, его тетки или старшие, давно уже вдовье, сестры, но мать, когда она метнулась к сброшенным на берег сходням, нельзя было не узнать — так счастливо светились ее глаза сквозь текшие из них слезы. Как с войны вернувшегося, встретила она на берегу своего Митеньку: ткнулась ему в плечо, замерла и вдруг громко разрыдалась. Редко, должно быть, наезжает сынок из Москвы, а жену и дочь, видно, впервые привез показать ей. Робко, смущенно подошла она к ним, сначала только руку протянула, а потом неловко обняла и поцеловала одну и другую, к обеим, как к иконе, приложила.

Галина Егоровна убрала сходни, теплоход прошел еще немного и остановился у крутого откоса с магазином наверху. Кто-то, должно быть

продавец сельмага, поднявшись на палубу, начал сгружать на берег большие фанерные ящики.

— Вы как, на теплоходе ночевать будете или, может, со мною в деревню пойдете? — спросила меня Галина Егоровна. — Сегодня ведь троица еще... Ну, если не хотите посмотреть, как у нас на Свиди гуляют, так оставайтесь с капитаном, он тоже не пойдет, а я пойду, подеру горло с девками и у них ночевать останусь. — Уходя, она сказала: — Уха готова, чайник на керосинке, а все остальное зависит от вас самих с капитаном.

Сойдя на берег, она взбежала на крутой откос и скрылась за ним, предоставив мне гадать, что теперь зависит от нас самих с капитаном. Когда все ящики были перетащены на берег, капитан, вернувшись на палубу, сказал мне:

— Ну что ж, пойдете чаевничать.

Я спустился за ним в его полутемную каюту. Молча застилал он газетой столик, нарезал хлеб, доставал тарелки, ложки и все прочее.

По всему видно было, что сдержанность — неотъемлемая черта капитана, что и дома он всегда такой же спокойный, молчаливый. Простота в обращении сочеталась у него с некоторой официальностью, и я подумал, что это в какой-то мере, наверно, присуще всем капитанам малых судов речного флота, которые из года в год курсируют по одним и тем же родным им рекам и озерам, — они все время как бы и у себя дома, и на службе.

— Неплохо у вас на Свиди, — сказал я, когда мы принялись за уху.

— В смысле природы? — спросил он.

— Да и вообще. Тишина!

— Да, конечно, не шумно живем. Автотранспорт отчасти перехватил у нас пассажиров и грузы.

— А вот на Вожу, говорят, посуху дорог нет.

— Про Вожу ничего не скажу вам. Раз шлюзов на Свиди не стало, то Вожа нам уже ни к чему.

— А почему их не стало?

— Причин к тому много.

— А все же?

Капитан подумал и сказал:

— Экономика края изменила и административные границы. Вожа отошла к Вологодской области, а Свидь и Лача с Каргополом — к Архангельской. Старые связи между ними порвались, грузопоток на этом пути иссяк, и на Свиди не стало нужды в шлюзах. Так, надо думать. — Немного погодя он сказал: — Когда-то собирались соединить Вожу каналом с Кубинским озером или с Шексной, и на Онеге проектировали шлюзы...

— Ну и что же?

— Пока лишь дело будущего

На этом у нас и оборвался разговор. Покончив с ухой, капитан принялся за чай, пододвинул ко мне кулек с сахаром и сказал:

— Давайте пейте и укладывайтесь у Гали в каюте. Я тоже сейчас лягу. Утром хочу пораньше встать, поудить с борта. Подъязки тут хорошо берут на зорьке.

Под утро сквозь сон, в котором чудовишно переплелись все впечатления этих дней, я услышал громкие шлепки над головой, вспомнил, что капитан собирался поудить на зорьке, подумал, что это, наверное, пойманная им рыба шлепается, хотел встать, выйти на палубу, постоять рядом с капитаном, посмотреть, как он таскает подъязков, но не смог открыть глаз.

Галина Егоровна разбудила меня, когда теплоход, идя обратным рейсом, уже подходил к деревне, где я должен был сойти.

От причала, на котором я сошел с теплохода, до родной деревни Данила Ивановича, где живут его старушки сестры, километров шесть, но случилось так, что я добрался туда только к вечеру.

— Вон видите, часовня на горушке, идите прямо к ней, там в деревне спросите, и вам покажут дорогу на Терешки,— наказывала мне Галина Егоровна.

Поднявшись к часовне, я оказался на развилке двух дорог, выходивших из деревни в поле. Деревня маленькая: с десяток жилых изб, двести полуразобранные, должно быть на своз, и одна окруженная пустым, заросшим крапивой и лопухом двором, с наглухо заколоченными окнами. Единственный человек, которого я увидел здесь на улице, был лысый толстячок городского, вернее дачного, вида — в золотых очках, полосатой пижаме и шлепанцах на босую ногу. Решив, что этот человек приезжий, я не стал спрашивать у него дорогу, прошел мимо, но, дойдя до конца деревни и не встретив больше никого, обернулся. Он стоял на том же месте в раскрытой калитке, под свисавшими на нее ветками плакучей березы и смотрел на меня, видимо, гадая: что за человек, куда идет, чего вдруг затоптался? Пришлось вернуться и обратиться к нему.

— Терешки? — переспросил он. — А чего вам там надо? — Видно, з толк не мог взять, что и кому может понадобиться в Терешках.

Чтобы долго не объяснять, я вынул из кармана конверт с письмом Данила Ивановича и вслух прочел выстуканные им на машинке имена и отчества его сестер — Глафиры Ивановны и Елизаветы Ивановны.

Толстячок уставился на меня, удивленно вскинув брови.

— От кого же это им такое послание?

— А вы знаете их? — спросил я.

— Как же не знать, когда я сам родом из Терешек.

— Так, может быть, вы и Данила Ивановича знали?

— Данила Ивановича? — переспросил он. — Кто же это? — И воскликнул: — Ах, так это вы от Даньки?! А что? Где он? Жив?

Услышав, что Данил Иванович живет под Москвой на даче по соседству со мной, он тотчас взял меня под локоть и строго, как милиционер, сказал:

— А ну-ка, давайте заходите.— И затащил к себе в палисадник, где между двумя березами висел гамак, а рядом стоял свежеструганный, видно только что сколоченный, садовый столик со скамеечкой.

Присев и велел мне сесть, он сразу начал высчитывать, загибая один палец за другим, сколько лет они с Данилом Ивановичем кашу ели, сначала из одной бурлацкой миски, а потом из одного солдатского котелка:

— В семнадцатом году, когда мы лес сплавляли на баржах в Питер, в июньскую демонстрацию против министров-капиталистов вместе под гармошку шагали до Марсова поля, в восемнадцатом году вместе допризывную подготовку проходили в своей волости, в девятнадцатом под Винницей в одном окопе боевое крещение получили.— Заложив четыре пальца, он сжал кулак и, разжав его, сказал: — А после того боевого крещения меня в госпиталь без задних ног увезли, и больше я не видел Даньку... Значит, жив, здоров и благоденствует на даче под Москвой?

— После трех инфарктов,— заметил я.

— Без них до смерти не доживешь,— сказал он и, спохватившись, что мы с ним еще незнакомы, представился: — Федот Иванович... Кавторанг в отставке.

Мы с ним церемонно поздоровались, и Федот Иванович принялся расспрашивать меня о Даниле Ивановиче — как поживает, до чего дослужился. Потом он покрутил головой и усмехнулся:

— Скажите пожалуйста -- до полковника допер, да еще доктор наук! А ведь лопух лопухом был, когда мы на допризывной подготовке в

волости колоды и колошматили друг друга деревянными винтовками. Сила медвежья, а бойкости ни на грош. Перед начальством, как девица, краснел. Типичная была наша северная лесная деревенщина.

Я сказал, что и сейчас Данил Иванович любит все деревенское и не забывает свои родные Терешки, хотел бы побывать там, но здоровье не позволяет.

— Да, на легковой машине туда не проедешь,— сказал Федот Иванович,— я вот тоже никак не соберусь в Терешки — далеко для меня, одышка мучает, да и оводы, боюсь, заедят по дороге — ихнее там царство.

— Гостите здесь у родных или на дачу приехали? — спросил я.

— Прошлым летом гостили с женой у сестры, а нынче жена тоже вышла на пенсию, так вот мы и решили с ней, что нечего нам в Архангельске тесниться, когда сестра одна живет, а у нее, посмотрите, вон какие хоромы.

Хоромы не хоромы, но дом, укрытый с улицы березами и черемухой, действительно большой — двухэтажный, или двухжирный, как здесь говорят: первый, низкий этаж — зимняя изба, поземка, второй, высокий — летнее жильё, но из таких же толстых бревен.

— Ну что ж,— показав на свои хоромы, заговорил Федот Иванович весело,— зайдем, сестра самоварчик поставит, выпьем чайку для знакомства. Чего вам торопиться в Терешки-то — до вечера еще успеете добраться.

Конечно, торопиться мне нечего было, и я не отказался заглянуть в двухжирный деревенский дом, каких у нас под Москвой не увидишь, да и здесь, на Севере, уже мало их осталось.

Мы поднялись по лестнице на большое, подпертое толстыми столбами крытое крыльцо второго этажа, откуда, как с балкона, видна деревня, река до излучины, заречный луг и недалекий лес. С крыльца Федот Иванович провел меня в светлые, с окном, сени, которые по своей площади равны по крайней мере трехкомнатной городской квартире и где ничего не было, кроме покрытой марлей кадки с водой в углу. Отсюда Федот Иванович предложил мне зачем-то спуститься по внутренней лестнице куда-то вниз, и я оказался в обширном, чистенько подметенном крытом дворе с поветью наверху и летней горенкой сбоку от нее. Тут тоже было голо и пусто.

— Сестра к нашему приезду порядок навела, теперь остается только хозяйством обзаводиться,— сказал он, скребя затылок, то ли озабоченный, то ли смущенный этой предстоящей ему перспективой — обзаводиться деревенским хозяйством.

Показав двор со всеми его загородками для скота и кур, Федот Иванович провел меня наверх через сени в жилое помещение летней избы, разделенное на две половины огромным шкафом высотой до потолка, а шириной от одной стены почти до другой, у которой оставался только небольшая, закрытый занавеской проем, заменявший дверь из передней половины избы в заднюю. В задней половине, должно быть, была спальня супругов, а в передней — столовая. Не один шкаф, а все тут было огромное — старинный буфет, стол, широкие лавки у стен, но все же в избе казалось пусто — так просторна была она.

С этого и начался у нас разговор с Федотом Ивановичем, после того как он, не дождавшись, пока окликнутая им супруга выйдет из-за шкафа, сам быстренько выставил на стол четвертинку и предложил выпить перед чаем по стопочке под соленые рыжички.

— В городе все углы забиты людьми, а в деревне такие хоромы пустуют,— сказал он, поведя глазами по потолку и стенам.— Сестра после смерти мужа шестнадцать лет одна жила в зимней избе, сюда и не

заглядывала. Девять детей вырастила, семеро живы, под праздник вспоминают мать, пишут, но кто откуда, сестра запомнить не может, путает, кто в каком городе живет... Вот она, сестрица моя, Татьяна Ивановна, познакомьтесь,— сказал он, когда в избу тихо вошла и робко оставилась у порога, сложив руки на животе, маленькая сухонькая старушка в белом платочке, со светлым, благодным личиком.— Помнишь, Таня, крестника своего Даньку, сына Ивана Сапожкова? — прокричал он ей.

— Крестник?! Дяди Ивана сынок?! — встрепенулась старушка, обернувшись ко мне.

— Не крестник, а товарищ крестника,— поправил ее Федот Иванович.

Но она недослышала и, приняв меня за своего крестника, прослезилась на моем плече:

— Ах, батюшки-светы! Сколько же это лет не видела тебя, голубчик!.. Да что же это вы так, стоячи, наспех? — забеспокоилась она потом.— Сели бы, сяко самоварчик надо подогреть.

Появилась и супруга Федота Ивановича. Откинув занавеску, она вышла из-за шкафа в узеньких спортивных брючках, в цветастой кофте домашнего покроя и сама как маков цвет, здороваясь, крепко тряхнула меня за руку и с игривой улыбкой сказала:

— Надя.

— А по батюшке? — спросил я.

— По батюшке никто в жизни никогда не называл меня, даже начальство на работе. Нет, вру, один раз председатель месткома назвал, когда меня на пенсию провожали. Такая уж я, для всех — Наденька. По образованию экономист-плановик, а по призванию домашняя хозяйка и теперь могу сказать это не стесняясь. Чего стесняться, раз я уже на пенсии... А вы как в наши края, насовсем или погостить у родных? — спросила она, принявшись хозяйничать у буфета и стола.

— Только погостить,— ответил я.

— Мы тоже в прошлом году приехали только погостить к Татьяне Ивановне, а вот видите, что получилось! — сказала она, поглядев вокруг так, словно сама была в изумлении от того, что оказалась в деревенской избе.— Конечно, и у нас с Федотом Ивановичем были сомнения, как будем жить без водопровода, без электричества. А вот в прошлом году месяц прожили и сейчас уже второй месяц живем, и знаете, я окончательно решила, что в нашем возрасте только в деревне можно сохранить свое здоровье. Так что если вы уже на пенсии и хотите подольше прожить — не сомневайтесь, поскорее перебирайтесь в деревню.— И она стала перечислять все преимущества деревенской жизни: и для здоровья полезно, и много дешевле, особенно если в хозяйстве будет свое молоко, яички, овощи, рыба, грибы и ягоды.— Конечно, если с утра, как только магазин откроется, бежать за беленькой, то от всех этих преимуществ мало что останется,— вздохнула Наденька, посмотрев на четвертинку.

Накрывая на стол, она не умолкала, расхваливая деревенскую жизнь. Потом присела к столу, стала делиться своими планами хозяйственного обзаведения и очень смутила Федота Ивановича, объявив, что, кроме кур, собирается завести кроликов, козу и, может быть, даже не козу, а корову, так как корова дает молока гораздо больше. Куры, кролики, коза как будто не вызывали у Федота Ивановича никаких возражений, но как только Наденька сказала, что она, может быть, даже корову заведет, он протестующе замотал головой.

— Да брось ты! — отмахнулась Наденька.— Это раньше корова глаза людям колола, а сейчас не такое время.

— Какое бы время ни было, а увлекаться личным хозяйством нам

не пристало, — сказал Федот Иванович и объяснил почему: — Мы тут не одни — вся деревня на нас смотрит.

— Смотрит, только никого не видно что-то, — снова отмахнулась Наденька от мужа, и он примолк — Лук у нас уже свой, скоро и редиска будет своя, — продолжала она разговор о своих хозяйственных перспективах. Увлечлась и воскликнула: — Ах, знаете, как это приятно самой что-нибудь выращивать! Утром встанешь и прежде всего идешь на грядки посмотреть. Вчера только несколько росточков было, а сегодня, смотрю, после дождя вся грядка сплошь зазеленела. Ужасно люблю огородничать! Это еще во время войны страсть такая появилась. С тех пор у меня всегда был свой огородик в ящиках на балконе — на четвертый этаж ведрами таскала землю, торф и, представьте себе, даже навоз! Это у меня, наверное, наследственное. Сама я в деревне никогда не жила, но дедушка и бабушка у меня из крестьян... Сейчас на огородах у нас в деревне одну картошку, капусту и лук сажают, а я, как приехала сюда, сразу решила, что у меня все, что нужно к столу, будет свое расти, даже лимоны. Чего смеетесь? Вон какая изба у нас! Внизу жить будем, а здесь, наверху, я оранжерею устрою. Посажу в кадочки косточки, и будут у нас расти лимоны, абрикосы, персики. Знаете, как раньше у помещиков-то было!

Старенькая сестра Федота Ивановича, принявшая меня за своего крестника, принесла подогретый самовар, присела к краешку стола и снова пролила слезу, глядячи на меня:

— Ах ты батюшки-светы! Сколько же это лет...

Как было сказать ей, что я не тот, за кого она сочла меня? Недослышала старушка, до Федота Ивановича это не дошло, а Наденьке и вовсе было не до того — размечталась, как будет выращивать у себя в избе лимоны. Потом она принялась потчевать меня чаем с пирожками:

— Попробуйте, свеженькие, только что из печки. Эти вот с рыбой, эти с луком и яйцами, а эти с грибами и луком. Сын из Архангельска пишет, что как вспомнит мои пирожки с грибами, так и меня сразу вспомнит. Со дня на день ждем его, как только отпуск получит, приедет к нам с женой и детьми. Хорошо им теперь: и в квартире свободнее стало, и летом есть куда приехать на дачу, а захотят на юг — детей к нам могут забросить хоть на все лето.

Федот Иванович помалкивал и только вздохами давал мне понять, что такого уж его участь — ничего не поделаешь, надо терпеть: пока жена не выговорится, слова никому не даст сказать. Но в конце концов не выдержал и, когда я попросил у Наденьки разрешения закурить, поспешил предложить мне:

— А может быть, лучше выйдем на крылечко?

А как только мы вышли и я закурил, он сейчас же потянул меня с крыльца вниз и вывел за калитку явно для того, чтобы увести меня подальше от своей сунруги, которая, хотя ей нравится жить в деревне, видно, сильно соскучилась здесь по людям.

Мы прогуливались по улице, но подававшей никаких признаков жизни — даже собак не видно и не слышно было. Остановившись у избы с окнами, наглухо заколоченными досками, Федот Иванович сердито заговорил:

— Видите? Дом бывшего колхозного бригадира, а где он, бригадир этот? В Архангельске и пятый год уже на пенсии. Сам он, старуха его, дочь с мужем и ребенком — все ютятся на каких-то двадцати пяти метрах. Дочь ждет не дождется, когда он со старухой уберется к себе в деревню, а он все тянет и тянет. Недавно приезжал, покрутился вокруг своей избы, крыльцо в порядок привел, забор подправил, два бревна купил у одной старухи — столбы подгнили, новые надо ставить. Хозяй-

ственный мужик и здоровый, крепкий еще. Пятиметровое бревно взвалил на плечо, встряхнул и пошел. Столбы-то купил, а ставить их не стал. «Не к спеху мне, погожу еще», — говорит. «Чего тянешь? Что тебя держит в городе?» — спрашиваю. «В городе, говорит, я всегда подработать могу по плотницкому и столярному делу, да и льготные месяцы имею, когда у себя на заводе работаю, и пенсия мне идет». — «А тут что, работы для тебя нет?» — «Работа нашлась бы, да вот начальства не найдешь», — говорит он. Спрашиваю у сестры: «Кто у вас тут начальство?» — «Бригадир, говорят». — «А где он?» — «Кто его знает, он не из нашей деревни». Пошел искать по соседним деревням. Из одной в другую посылают, из другой в третью, и там говорят: «Начальство в совхозе ищите». — «А совхоз где?» — «До совхоза пешком-то не дойдете». — «А проехать как?» — «Никак тут не проедете, дороги летом нету — болото». — «А как же вы это без начальства живете?» — «А зачем нам начальство, когда мы все тут на пенсии».

Поговорили мы об этом, и Федот Иванович сказал, что ему, видно, всерьез придется заняться совхозными делами, но для этого надо сначала стать здесь на партийный учет — пока он состоит еще на учете в Архангельске, хочет это лето отдохнуть от висевшего на нем вороха партийных нагрузок по домоуправлению и в райкоме. А может быть, все-таки не решил еще окончательно вопрос о перемене места постоянного жительства?

Когда мы вышли на край деревни, Федот Иванович предложил мне еще немного пройтись и, свернув на луговую тропинку в сторону леса, стал опять расспрашивать меня о Даниле Ивановиче — расспрашивал, крутил головой и приговаривал:

— Вот как! Смотрите-ка!

Не увязывался у него нынешний Данил Иванович, автор военно-научных трудов, любитель и знаток живописи, с тем Данькой, которого он когда-то считал типичной деревенщиной.

— А инфаркты с чего у него пошли — неприятности какие-нибудь были? — спросил он.

— Не знаю, — сказал я, — может быть, и были, но о неприятных вещах Данил Иванович избегает говорить. Здоровье приходится ему беречь.

— Да, Наденька вот тоже каждый день твердит мне, что надо беречь себя, но при моем характере это невозможно, — сказал он и с чего-то вдруг начал вспоминать своих товарищей по службе, с которыми еще в двадцать втором году пошел в военно-морской флот по комсомольскому призыву, — некоторые из них давно уже адмиралы, а он вот, не смотря на боевые заслуги, только и дотянул что до кавторанга и скоро уже пятнадцать лет как в отставке. Почему так случилось, он не стал распространяться, только рукой махнул — да что, мол, об этом говорить — и сказал: — Не любит у нас кое-кто критики и самокритики, забывать стали, что это движущая сила нашего общества.

Разговаривая со мной, он все время косился на меня и, казалось, недоверчиво приглядывался ко мне, словно боялся, не сказал ли чего лишнего, что может быть истолковано не так, как надо.

Должно быть, сам того не замечая, он увел меня далеко от деревни. Тропинка куда-то исчезла, и мы уже шли не лугом, а мелким мшистым разнолесьем, в котором было много крупных камней, лежавших длинными ровными рядами, а кое-где громоздившихся кучами.

— Что это такое? — спросил я.

— Была когда-то пашня, очищали ее от камней, одни свозили в кучи, другими выкладывали межи. Теперь пашня заросла лесом, а камни как лежали, так и лежат... Если не возражаете, присядем на этой кучке.

Мы присели, неподалеку от нас за мелкими, густо растущими елочками на другую грудку камней опустилась большая стая ворон, и Федот Иванович заговорил о воронах — что этой глупой, ленивой и вороватой птицы куда больше стало, чем трудолюбивых и умных грачей, и не потому ли это, что грачи по пашне привыкли ходить за плугом, а пашни в этих местах сильно поубавилось, так как некому пахать землю. Таким образом, мы снова вернулись к тому, с чего начался разговор. И конечно, мне пришлось согласиться с Федотом Ивановичем, что если пашня зарастает лесом, то нельзя со спокойной душой жить в деревне и лимоны выращивать в своей избе, как хочет того его супруга.

— А вот пойдемте, и я вам покажу, что у нас под носом в лесу делается,— сказал Федот Иванович и завел меня в глухой смешанный лес, в котором только старые деревья стояли живые, зеленые, полные сил, и они своими ветвистыми кронами наглухо закрывали от солнца гибнущий в тесноте подрост. Мы продирались сквозь него, пока не уперлись в колючую кущу мертвых лиственниц, плотно сомкнувшихся своими засохшими ветвями,— не прорежена молодежь, на корню засохла в тесноте, без воздуха и солнца.

Не знаю, случайно или с целью, но после того, как мы вышли из лесной чащобы, Федот Иванович привел меня проселочной дорогой к трем старым березам, одиноко стоявшим среди голого поля, над которым с криком носились черные стаи воронья. Остановившись у ямы, заросшей по краям крапивой, лопухом и желтым курослепом, он сказал:

— В межгвоние мы с Данькой ходили в эту деревню из Терешек к девкам на гостбище.

Оглядевшись вокруг и не заметив поблизости ничего, кроме опушки леса, придорожных берез, нескольких ям в бурьяне, двух-трех чахлах рябинок и розового куста цветущего шиповника, я спросил:

— Где деревня?

— Присмотритесь к ямам — увидите там,— сказал Федот Иванович.

Походив вокруг ям и присмотревшись, я увидел в них бревна, разбитый кирпич, осколки стекла, труху истлевших дранок — следы давно уже исчезнувшей с лица земли деревеньки.

Федот Иванович стоял возле одной из этих ям, почесывался под пижамой — в лесу сухой хвои насыпало ему за шиворот — и вспоминал, как он тут на посиделках крутил любовь с какой-то Манечкой, а Данька млея, глядя на свою Танечку, потому что был такой же мямлей, как и она.

— Мямля, а до полковника вот дослужился, дачку построил под Москвой,— сказал он с прорвавшимся вдруг в голосе раздражением и сразу же, спохватившись, примолк, запустил руку за шиворот, скривился и начал ожесточенно скрести спину.— Ну, пойдем, нечего тут смотреть, ничего не осталось,— проговорил он потом сердито.

Да, одни ямы остались от деревни. Мы прошли мимо них, немного постояв, как проходили в старину люди мимо придорожных безымянных могил с обвалившимися крестами.

Обратно мы шли проселком. Местность впереди была открытая, неподалеку от деревни, где я невзначай загостил, стояли на виду еще несколько таких же маленьких деревушек, разбросанных по большой поляне.

— И раньше здесь деревни все маленькие были? — спросил я.

— Да,— сказал Федот Иванович,— любили у нас мужики обособляться. Чуть человек посамостоятельнее станет, так у него уже появляется идеал на выселки уйти. Отец говорил мне: побурлачишь, набе-

ремся сил и уйдем из деревни в лес, распашем хорошую полянку и будем сами по себе жить, чтобы никто не мешал нам. Леса тут были удельного ведомства. За тот, что похуже, казна не держалась, продавала, сколько кто десятин может купить на свой пай. Многие покупали, расчищали полянку под сенокос, а кто побогаче был, тот и распахивал. Так вот и размножались у нас деревеньки. А теперь те, что остались, начали в кучу собираться. Один перевезет избу поближе к магазину, другой, третий — и деревня исчезла, одно название осталось, как в Каргополе говорят: до Чертович теперь на автобусе можно доехать, но Чертович-то уже нет. А почему? Потому что не в поле людям ходить, а только в магазин — все почти пенсионеры, в совхозе не работают, а только проживают на его территории.

Когда мы вернулись в деревню, Наденька, встретившая нас посреди улицы, накинулась на мужа:

— Ну разве так можно?! Я уже не знала, что думать. Вышли покурить и пропали... Беда мне с Федотом Ивановичем,— пожаловалась она мне потом.— Ужасно боюсь, когда он за калитку выйдет, особенно если к беленькой приложится,— пойдет тогда порядки наводить в деревне: то ему не так и это не так, будто он тут какой начальник, за все отвечает. Взял бы удочки и посидел на реке, так нет, это ему неудобно перед людьми — лучше целый день простоят у калитки, дожидаясь, пока кто-нибудь пройдет. Увидит человека и прицепится — куда? зачем идешь? Бригадир уже в нашей деревне не показывается — боится его как огня.

Пробирала Наденька своего мрачно потупившегося мужа, а потом, наверное, чтобы я не подумал о нем плохо, сказала:

— За все у него душа болит, а люди не понимают этого и бегают от него тут так же, как и в городе, когда он всех пенсионеров в домоуправлении донимал общественной работой.— Потянув Федота Ивановича к себе за шею, она потрепала его по щеке, приподняла сползшие у него на кончик носа очки и сказала мне: — Может быть, в шахматы с ним сыграете? Не с кем ему, бедняге, поиграть тут. Есть у нас один старикашка в деревне, предлагал ему сгонять партийку, но говорят, что он бывший сектант какой-то, странник или скрытник, как их называют, и Федот Иванович побоялся, что он тень на него может бросить.

Полдня прогостил я у этих дачных новоселов — не знаю уж, как их иначе и назвать,— пора было идти, чтобы успеть к вечеру добраться до Терешек.

Проводив меня до выхода из деревни, Федот Иванович показал на видневшуюся вдали церковь и велел, дойдя до нее, спросить, где мне повернуть, так как дальше я вряд ли кого-либо встречу до самых Терешек. Мы простились, чинно поблагодарив друг друга за приятное знакомство, и я пошел малонаезженной полевой дорогой, вилявшей из стороны в сторону, вико-пшеничным полем. Пройдя немного, оглянулся и увидел его стоявшего на том же месте, где мы с ним расстались, помаhal ему рукой, порядочно еще прошел дальше, снова обернулся — он все еще стоял у выхода из деревни. На меня ли он глядел или куда-то в пространство, задумавшись, а может быть, просто от нечего делать, не видно уже было из-за дальности расстояния. Видно было только, что стоит человек один и вокруг него пусто на дороге и в поле. Я шел и думал о нем, о его Наденьке, возгоревшейся вдруг желанием завести хозяйство в деревне,— чем это у них обернется? Не раз еще я невольно оглядывался: Федот Иванович все стоял и стоял на краю деревни, как постовой, поставленный здесь ради порядка.

Миновав стороной несколько маленьких голых деревушек, глядевших через поле окнами одна на другую, я вышел к каменной пятигла-

вой церкви с деревянными барабанами, которая стояла в стороне от деревни, у погоста. Здесь мне надо было спросить, где свернуть с дороги в лес, но вокруг никого не видно было. Между тем набежала тучка, закрапал дождь. Я укрылся от него под развесистой березой, которая одна только здесь под соседству с заколоченной церковью и могла предложить мне приют.

Сидя на рюкзаке, я переживал, пока тучка пройдет мимо. Она не торопилась. Дождь накрапывал, переставал и снова начинал накрапывать, грозился припустить, однако не припускал. Опасаясь покинуть свое убежище под березой, я посматривал вокруг, не появится ли кто-нибудь поблизости, и наконец появился мальчик, ехавший на велосипеде тропинкой в сторону леса, везя с собой две связанные и перекинутые через раму авоськи с хлебом. Схватив рюкзак и спиннинг, я кинулся наперез ему, замахал рукой. Мальчик остановился, прыгнул с велосипеда и, когда я, подбежав, спросил его, как попасть в Терешки, сказал:

— Я сам из Терешек, пойдемте вместе, мне не обязательно на велосипеде, я тоже больше люблю пешком.

Мы пошли вместе. Мой попутчик вел велосипед и объяснял мне, почему он больше предпочитает ходить пешком:

— С велосипеда-то что увидишь? А пешком идешь — и у муравейника постоишь, и у осинового гнезда, а то за белкой увяжешься. Мамка ругается, говорит, что меня в магазин нельзя послать, на целый день пропаду... А вы как, по утвержденному маршруту идете или просто так, диким порядком? — спросил он вдруг.

— Диким, — сказал я.

— Так я и думал. По маршруту туристы к нам не ходят.

— А с чего ты взял, что я турист?

— Скажете, что нет? — усмехнулся он. — Я сразу определил, что вы турист. Не смотрите, что я маленького роста — не маленький уже, в седьмой класс перешел. Два года проучусь еще и в совхоз пойду работать. Я бы еще учился, да мамке надо помогать. Она у меня безмужняя одиночка... Вас как звать? — спросил он, немного помолчав. — А, значит, Геня! А меня Коля. Хотите, дядя Геня, я вам святой родник покажу? Там часовня стояла, давно уже обвалилась на дно ямы, только крест торчит из нее. Давайте сходим, посмотрите, туристы интересуются.

— Нет, брат, давай сначала до Терешек доберемся, — сказал я.

— Да, — вздохнул он. — Надо домой идти. Мать с работы, наверное, вернулась, ругается, что я хлеб не принес.

С тропинки мы вышли на прямую лесную дорогу через палму, как здесь называют низкорослый корявый сосняк на болоте. Тут на меня напали несметные полчища оводов, и мне уже было не до своего попутчика. Его они мало беспокоили. Одной рукой ведя велосипед, другой он изредка коротко взмахивал перед носом и каждый раз после этого останавливался, извлекал из горстки пойманного овода, рассматривал его, разрывал на части и стряхивал оставшуюся от него грязь с пальцев. Но мне они дали жару, кидаясь на меня и сверху и снизу, как огнем, жгли со всех сторон. Тщетно я отмахивался от них, отказываясь внять совету Коли не злить попусту этих кровопийц, — они преследовали меня до тех пор, пока, выбившись из сил, я покорно не предоставил им себя на съеденье — после этого они как-то сразу поутихли.

Вскоре на смену редкому корявому сосняку пошел густой, но почему-то безлиственный ольшаник — печальная в разгар лета картина глубокой, догола раздевшей деревья осени. Я остановился, не понимая,

что тут такое произошло — каким это жаром так опалило лес, что все деревья превратились в скелеты?

— С самолета опыление было проведено, — объяснил мне Коля. — Сорного лесаросло много, и совхоз взялся расчищать его под пожню.

Терешки были уже на виду: три избы, вернее три крытых двора под черными тесовыми крышами, посреди небольшой, окруженной мертвым, на корню засохшим мелколесьем и кустарником поляны да две большие березы, которые одни только и оживляли зелеными метелками своих вислых ветвей этот унылый пейзаж.

Коля, оставшийся при своем убеждении, что я турист, поинтересовался, есть ли у меня с собой палатка, и предупредил, что если я боюсь комаров так же, как оводов, то лучше ночевать в избе. можно и у него — мамка пустит. А когда я сказал, что ночевать у меня будет где, потому что я иду в Терешки не просто так, а с письмами к родственникам одного своего московского приятеля, он остановился и озадаченно посмотрел на меня.

— Кому же это письма? Покажите-ка.

Я показал ему письма Данила Ивановича. Прочитав напечатанное на конвертах, он воскликнул в крайнем недоумении:

— Так что же вы не сказали сразу?! Это же нам от дедушки Дани! — сунул письма в карман, вскочил на велосипед и, ничего не сказав больше, покатил вперед.

Только порядочно уже отъехав, он обернулся и помахал мне рукой, чтобы я не мешкал — скорее, скорее шагал за ним.

Когда я вошел в Терешки, все немногочисленное население этой деревушки уже знало, что получены письма от Данила Ивановича. и из всех трех изб люди вышли под березы посмотреть, кто же это их привез.

У первой избы стоял древний дед с одним глазом, слезившимся сквозь узенькую щелочку красных век, — на месте второго глаза был только глубоко запавший в глазнице рубец. Позади него стояла немолодая уже женщина с грудным ребенком на руках.

Коля, встретивший меня посреди улицы, кивнув на одноглазого, сказал:

— Чудила дед. Байки рассказывает, как двадцать один раз погибал. Говорит, что ему уже сто лет, а в позапрошлом году женился. Четвертая уже жена у него. Трех пережил и вот еще одного ребеночка нажил.

У избы наискосок стояла другая пара: маленькая старушка и усатый бравый старик с орденом «Славы» и тремя медалями на пиджаке. Про усатого Коля сказал:

— До самого Берлина протспал и там «Славу» получил. В гражданскую войну комиссаром был в нашей волости. Данил Иванович знает его, в каждом письме привет передает.

У третьей, и последней в деревне, старенькой низкой избы с маленькими окнами, не имевшей крыльца и с выходом прямо на улицу, стояли обе сестры Данила Ивановича: Глафира Ивановна — глубокая старушка, согбенная в пояснице под прямым углом, глядевшая на меня, вывернув голову набок, и Елизавета Ивановна — высокая, статная старуха городского обличия, со строгим пытливым взором.

Неприветливо они встретили меня, молча поздоровались, ничего не сказали, и я уже готов был растеряться, но в ту же минуту из избы выскочила с радостными восклицаниями Анна Григорьевна, племянница Данила Ивановича, оказавшаяся матерью Коли, и стала рассыпаться передо мной в благодарности за то, что я, как она сказала, взял на себя

труд занести в Терешки письма дяди, а потом объявила, что самовар уже поставлен, скоро закипит, и позвала в избу.

И в избе Анна Григорьевна одна привечала меня, возбужденно рассказывая, как она с совсем еще маленьким Колей на руках ездила на дачу под Москву к Данилу Ивановичу и как ей там все понравилось, особенно картины на стенах, — так понравилось, что сказать не может. Не находя слов, она молитвенно поднимала глаза и, вскинув руки, проводила ладонями сверху вниз по лицу, показывая этим, что на ту красоту, что видела у своего дяди на даче, можно только молиться.

Елизавета Ивановна молча сидела на лавке у окна, курила папироску и разгоняла рукой табачный дым. По снисходительной улыбке, в которую складывались ее брезгливо поджатые губы, когда Анна Григорьевна не находила слов сказать, какая красота на даче у Данила Ивановича, видно было, что она отнюдь не склонна молиться на такую красоту.

— А вы бывали у Данила Ивановича в Москве? — попытался я заговорить с ней, когда Анна Григорьевна кинулась к закипевшему самовару.

— К сожалению, не имела случая, — ответила она.

Старшая сестра ее, Глафира Ивановна, присев на низенькую подножную скамеечку за перегородкой прилуба, выглядывала из этого полутемного кухонного закутка, как из подпола. Скосив голову, она смотрела на меня снизу вверх пустым бессмысленным взглядом. Похоже было, что она толком не поняла, кто я такой, чего пришел, а может быть, приняла меня за кого-либо из своих терешкинских родичей, уже много лет не заглядывающих в деревню, силилась, но никак не могла вспомнить, кто же это. А может быть, по старости лет, согнувших ее до пояса, она и брата своего, Данила Ивановича, смутно помнит — ведь последний раз видела его, когда еще молодой была.

Анна Григорьевна, водрузив на стол ведерный медный самовар, метнулась куда-то из избы, быстро вернулась, присела на лавку у дверей, вскинув руки, огладила растрепавшиеся волосы и опять заговорила о Даниле Ивановиче — как он ласково принял ее у себя на даче, апельсинами угощал и, войдя в ее положение безмужней матери, написал районному прокурору письмо с просьбой, чтобы ее не судили за стожок накошенного в лесу сена. Из-за этого стожка, как я понял, Анна Григорьевна и ездила к дяде, защиты у него искала от местной власти. Рассказывая о пережитых ею тогда волнениях, она то и дело оборачивалась, поглядывая в окно и наконец воскликнула:

— А вот и Коля прикатил. Садитесь к столу, чай будем пить.

Оказывается, она опять послала Колю в магазин. Войдя в избу, он сунул матери авоську с пачкой печенья, бутылкой красного вина и сел на лавку с таким серьезным лицом, словно здесь происходило какое-то важное собрание.

За столом хозяйничала Анна Григорьевна, и она одна выпила красненького со мной за здоровье Данила Ивановича: Елизавета Ивановна молча отодвинула от себя налитую ей рюмку, а Глафира Ивановна не вылезла из своего закутка — продолжала глядеть из его потемок одним поднятым вверх глазом. Выпив рюмочку, Анна Григорьевна принялась угощать меня запеченной в тесте рыбой, солеными рыжиками, сваренными в самоваре яичками — угощала и все приговаривала, что, слава богу, и на Свиди жить теперь можно, не то что раньше, когда в колхозе за одни палочки работали. Пододвинув вазочку с клюквенным вареньем, говорила:

— Сладко стали жить — чай с вареньем пьем, пироги с ягодами едим. Сахар у нас в магазине завсегда есть, сколько хочешь бери. Вот

черника пойдет — к Макарью с черникой будем пироги печь. И сравнить нельзя против прежнего... И с сеном опять же беспрепятственно стало. Что в лесу накопишь — все твое, а на совхозную пожню пойдешь — не десять процентов, а половину себе в стог мечи — чего уж лучше! Можно стало жить, вполне можно. Не стесняйтесь, закусывайте, чай пейте, варенье кушайте да рассказывайте, как там дядя поживает в Москве. Век свой кланяться буду ему в ноги. Не он, так засудили бы меня за тот стожок. Чтоб он сдох, этот бык бодучий!

— Какой бык? — не понял я.

— Наш бывший председатель, что в тюрьму меня хотел закатать. Он только одних уполномоченных представителей уважал, а бабу и за человека не считал. Вот изверг-то был — рожа кровью нальется, поглядит на тебя — и обомлеешь, аж ноги подкосятся. — Она зажмурила глаза, передернула плечами, потрясла головой, показывая, какой это был страшный бык. Открыв глаза, обернулась к Елизавете Ивановне: — А вы, тетя Лиза, что же это? Пригубили бы хотя за здоровье брата своего родного.

Елизавета Ивановна подняла рюмку, но не донесла ее до рта и далеко отставила от себя, словно машинально хстела выпить, но спохватилась и решила воздержаться. Анна Григорьевна, похоже, что недовольная этим, громко потянула носом и, смутившись, испуганно заморгала, вроде бы мошка попала ей в глаз. Поторопившись замаять неловкость, я заговорил о Даниле Ивановиче — что очень хотелось бы ему побывать в своей деревне, но больное сердце не позволяет пуститься в дорогу, и, между прочим, спросил, не в этой ли самой избе, где мы сидим, жил он в молодости.

— Это старый дом отца, — сказала Елизавета Ивановна. — Отец не успел достроить новый — старший покойный брат достраивал после его смерти. Теперь тот дом в Каргополе, племянница Галя перевезла. А тут все как при отце было, так и осталось без изменения — даже чугуны, сковородницы, ухваты те же. Вот и «Зингер» отца, — показала она на стоявшую в углу старинную громоздкую ножную швейную машину с каким-то незаконченным шитьем.

Переведя таким образом почему-то разговор с Данила Ивановича на отца, Елизавета Ивановна стала вспоминать, как он, бывало, осенью, управившись в поле и на гумне, засыпав зерно в засеки, отправлялся портняжничать по деревням, шить мужикам штаны и пиджаки, а потом спросила вдруг:

— А скажите, на какие это мельницы брат просит сводить вас? От нашей мельницы одни ступы остались, которыми овес толкли. Что на них смотреть — два камня с дырками лежат на берегу в бурьяне. — И она пожалала плечами, отказываясь понять, чего это брат вспомнил о мельницах на Петеньге.

Со слов Данила Ивановича я знал, что его старшая сестра всю жизнь прожила в деревне безвыездно, была рядовой колхозницей, а младшая долго жила в городе, одно время работала в исполкоме, потом заведовала пошивочной мастерской и в Терешки вернулась недавно, уже будучи на пенсии. По всему видно было, что Елизавета Ивановна чувствует себя здесь еще не совсем дома, а как бы у родственников в гостях. Опять она долго и неподвижно, как монумент, сидела за столом, сложив на груди руки, и снова заговорила только после того, как Анна Григорьевна вышла из избы подоить корову.

— Давно в Москве живете?.. По какой специальности работаете? — спрашивала она, вертя в руке папироску и постукивая мундштуком о стол. — Ах вот что! — сказала и вдруг спросила, не приходилось ли мне когда-либо встречаться с Луначарским Анатолием Васильевичем.

— К сожалению, не приходилось,— ответил я и, удивленный ее вопросом, поинтересовался: — А вам приходилось?

— На губернском съезде Советов, в двадцать пятом году сидела с ним в президиуме за одним столом.

Как я понял из дальнейшего разговора, встреча с Луначарским была большим событием в ее жизни. Единственной она была девушкой-комсомолкой во всей волости и, еще когда в ликбезе училась, однажды помогла продотрядникам найти припрятанный мужиками хлеб. За это ее потом, вскоре после окончания ликбеза, послали делегаткой на уездный съезд Советов, а с уездного съезда на губернский, и там она обратила на себя внимание Луначарского своим выступлением, в котором разоблачила волостное начальство, дававшее потачку кулакам и торгашам.

— Выступала и не боялась, все выложила про нашу волость,— рассказывала Елизавета Ивановна.— а когда кончила под аплодисменты, тогда вот испугалась, как бы в Терешках не узнали, о чем я наговорила, и мужики за волосы бы не оттащали за это меня. С испуга растерялась — мне хлопают, а я топчусь на трибуне, не знаю, куда идти, что делать, как теперь жить в деревне буду. Спасибо Луначарскому — поманил он меня рукой и посадил рядом с собой. Так вот оказалась я в президиуме,— сказала она и, потянувшись к своей далеко отставленной рюмке, опорожнила ее одним глотком, словно воспоминания так растревожили ее, что теперь она уже не могла не выпить. Выпила и сразу жадно закурила.

Неладно, должно быть, сложилась у Елизаветы Ивановны жизнь в городе. Может быть, поэтому только и вернулась на старости лет в деревню. А теперь и здесь чувствует себя не в своей тарелке и как будто на Данила Ивановича в обиде за что-то. Расспрашивать неудобно было. Я подумал, что, конечно, и Данил Иванович, выйдя на пенсию, тоже мог бы вернуться в свою деревню, но он хоть не забывает ее и свою оставшуюся в Терешках родню, а мать моя так даже не помнит, в какой она деревне родилась, и всех своих деревенских родственников давно пере-забыла.

Подойдя к корову, вернулась Анна Григорьевна, и вслед за ней в избу вошли двое: усатый бравоый старик с орденом «Славы» и медалями, за ним древний одноглазый дед с палкой.

— Дядя Митя и дедушка Агей познакомиться с вами пришли,— сказала Анна Григорьевна.

Дедушка Агей скромненько сел на лавку у дверей рядом с Колей и оперся на палку, а дядя Митя, поздоровавшись со мной за руку, сел к столу и сразу же принялся объяснять мне, что Данил Иванович, можно сказать, его воспитанник, потому что военное и политическое образование свое начал в девятнадцатом году на допризывной подготовке, которой он самолично руководил как волостной комиссар по военным делам.

— Вот Елизавета Ивановна, должно быть, помнит,— говорил он,— как я отставку дал старым рекрутским песням и наказал нашим допризывникам петь новые, революционные. Вся волость сбегалась послушать, как мы разучивали на выгоне «Отречемся от старого мира» и «Вихри враждебные веют над нами». С этими песнями ребята и поехали на лодках призываться в Каргополь. А как выехали на Лачу, поставили паруса и грянули: «Славное море, священный Байкал». Помните, Елизавета Ивановна, как брата провожали? Сколько уж годов с тех пор прошло-то? — Он подумал.— Да, как раз ровно полвека. Не помнишь, а я как сейчас помню. На лодках едем, новые песни поем, а бабы и девки берегом бегут, ревет и слезами обливаются по своей деревенской темноте... Ну что ж, Анечка, почтим Данила Ивановича.

Анна Григорьевна засуетилась — одна она по-прежнему принимала гостей, сестры Данила Ивановича только присутствовали при этом: млад-

шая за столом, отрешенная от каких-либо хозяйственных забот, а старшая — за перегородкой прилуба, где как присела на низенькую скамеечку, с которой, наверное, на печку залезает, так и сидела все время как неживая.

— Присаживайся, Агей Феоктистович, — позвала Анна Григорьевна.

Он поотнекивался, помотал головой, но все же уважил хозяйку и, подсев к потеснившемуся за столом дяде Мите, молча опорожнил налитую ему рюмочку, взял вилку и стал прицеливаться своим слезящимся глазом к рыжикам на тарелке.

Дядя Митя, почтив Данила Ивановича, поговорил еще немного о нем — как воспитывал его на строевой и политической подготовке, а затем начал степенно рассуждать о достоинствах человека — какие из них ценнее всего считает.

— Каждому дано свое время, и человек не должен обижаться на это, — говорил он. — Возьму, к примеру, себя. Три года прокомиссарил я в волости, и при моем двухлетнем сельском образовании тяжел мне стал мой портфель, отставать начал от жизни, как говорится. А раз так, думаю, не надо и держаться за него, отошел от военных дел и снова взялся я за топор, рубанок и лучковую пилу, к которым с ранних лет был приучен отцом.

В этом-то дядя Митя, как я понял, и видит свое главное достоинство — не держался за портфель.

— До колхозов плотничал я, в колхозе также все мирное время плотничал и, когда в совхоз перевели, еще два года вкалывал, чтобы дотянуть пенсию до шестидесяти рублей, — сказал он мне и добавил: — о военном времени не говорю, мои боевые награды сами говорят за меня.

Все, что полагал нужным для знакомства, выложил дядя Митя о себе: и что ему уже за семьдесят, однако на пенсию перешел только в прошлом году, и что одна у него обида, не за себя, за свою старуху — по хилости здоровья не могла уже работать в совхозе и пенсия ей поэтому идет как колхознице, всего двенадцать рублей.

— Как и Глафире Ивановне, — заметила Анна Григорьевна, и пошел у нее с дядей Митей разговор о пенсиях: несладно получилось с бабами, которые за пустые трудодни безотказно работали и в колхозе, и на лесозаготовках в войну, вся тяжесть на них тогда лежала, а с пенсией их оставили в обиде.

Поговорив о пенсиях, Анна Григорьевна глянула в прилуб на Глафиру Ивановну и, склонившись ко мне, тихонько сказала:

— Плоха стала тетя Глаша, совсем плоха. На огороде еще работает, по дому старается помочь, но мало уже что может. Покормит кур, забудет и снова кормит... Ах, что же это я! — воскликнула она. — Самовар-то уже остыл, подогреть надо. — Быстро подхватила его, поставила к вытяжной трубе печи, подкинула угольков, подожгла пучок загода заготовленной щепы, вернувшись к столу, утерла лицо тыльной стороной руки, как полотенцем, и продолжала: — Спасибо тете Лизе, что надумала вернуться в деревню. Теперь нам все же полегче, а то совсем замоталась, хоть с фермы уходи. Утром подоишь корову — и беги. До фермы от нашей деревни больше двух километров, запаришься, пока бежишь по росе, чтобы успеть напоить телят до выхода в стадо. Почистишь клетки, то да се и только к обеду вернешься, сготовишь что-нибудь, а поесть самой уже некогда — снова бежать к телятам надо. К вечеру с ног валиться... Да вот тоже несправедливо, считаю я, что летом у нас, телятниц, заработок наполовину меньше — другая половина пастуху идет, весь привес пополам у нас с ним. А беготня-то что зимой, что летом — все

одна. Только, конечно, зимой в темноте да когда метель сугробы навалит, бегать-то потяжелее.

— Так или иначе,— вставил к слову дядя Митя,— должно быть, тебе да и нам, пенсионерам, придется съезжать на совхозную усадьбу — кончатся Терешки, не устоять им по нынешнему времени против совхоза. Как ты полагаешь, Агей?

— Пожалуй что не устоять,— согласился Агей Феоктистович.— Краля моя зудит с утра до вечера — электричество желает, кино, молодая еще, сатана, привыкла в леспромхозе к культурным развлечениям.

Анна Григорьевна пояснила мне:

— Дедушка в дальнем леспромхозе бездетную вдовушку подцепил, на самолете вывез — пенсией своей соблазнил. С одним глазом, а сквозь землю все видит: двадцать лет в лесной охране прослужил. Вот ведь чуть не до ста лет дожил и снова женился, дите заимел — это же надо! В газетке про него бы написали, какие могучие старики у нас на Свиди живут. С детства пастухом был, а после войны в леспромхоз подался деньги загребать.

Агей Феоктистович помалкивал, довольно улыбаясь сквозь слезу, будто и действительно с одним глазом загребал большие деньги в лесной охране.

Усердно поила гостей Анна Григорьевна чаем, утоляя разгоревшуюся у всех жажду от сильно засоленных рыжиков, и разговор шел вперекидку от одного к другому.

Поговорили о больших заработках на сплаве и вывозке леса, о вербовщиках леспромхозов, отовсюду сманивающих людей. Поговорили о шабашниках, которых каким-то ветром занесло из Грузии в здешний совхоз строить овощехранилище,— какие они деньги дерут и как их там ублажают, только чтобы в срок уложились, иначе директору зарез будет в безвыходном его положении, как сказал дядя Митя, похвалившись, что директор без него как без рук остался — нет в совхозе плотников. Поговорили и о выходных днях — Анна Григорьевна пожаловалась, что не дают их ни телятницам, ни дояркам, и ничего не скажешь, потому что подмены неоткуда взять,— и об отпусках — тоже не дают, только приказы пишут, чтобы деньги за отпуск заплатить, и все опять потому, что всюду не хватает людей.

Засиделись мы за столом в сумерках начавшейся уже белой ночи. Елизавета Ивановна принесла керосиновую лампу, поставила ее возле себя, зажгла и взялась за шитье. Коля, сначала прислушивавшийся к разговорам с очень серьезным лицом, опершись локтями на колени, как взрослый, потом, соскучившись, начал развлекаться котенком, покручивая перед ним носком сапога, на который тот наскакивал, как на мышку. Агей Феоктистович, сморившись от чая, задремал: все ниже и ниже клонил он голову, пока наконец не положил ее на стол.

— Ну вот, дедушка уже уснул,— засмеялся Коля.

Дедушка, услышав это сквозь сон, приоткрыл свой слезившийся глаз и так хитро заулыбался, будто он и не спал, а только для забавы положил голову на стол. Развеселившийся Коля, подскочив ко мне, шепнул на ухо, чтобы я попросил дедушку рассказать о какой-нибудь своей гибели, которых у него на веку было будто бы двадцать одна.

— Обхохочетесь,— пообещал Коля.

Долго просить Агея Феоктистовича мне не пришлось — похоже, что он только того и ждал. Пододвинув стакан к самовару, чтобы ему еще чаю налили, он, посмеиваясь, стал рассказывать, как во время японской войны в запасном полку новобранцы душили друг друга на спор, кто дольше выдержит, и как его, Агея, удушили уже было насмерть — не успел знак дать, что сдается, глаза на лоб полезли, и на тот свет отпра-

вился, и как он там каким-то коридором долго блуждал, выхода искал, пока наконец попал в большой пустой зал, посреди которого стоял солдат-великан с усами, но без головы, нечистая, значит, сила, и как этот безголовый солдат взял его в железные тиски и долго, долго кутышкал, то есть щекотал, а тем временем на этом свете новобранцы в чувство приводили его.

В Терешках, конечно, все и не один раз слышали историю этой гибели Агея Феоктистовича, но он, видно, всякий раз освежает, обновляет, раскрашивает ее. Коля, слушая его, и качался, хватаясь за живот, и вскрикивал, подскакивая на лавке.

— Вот дает дед сегодня, вот дает-то!

Пока Агей Феоктистович сказывал с каким-то потаенным смыслом свою веселую сказочку, в избе прибавилось народу: не дождавшись дома загостившихся мужей, пришли и тихонько сели на лавку рядышком супруга деда Агея, вывезенная им на самолете из какого-то далекого леспромхоза, розовая, как после бани, рыхлая бабенка, и маленькая седая гладенькая старушка дяди Мити.

Вот и вся деревня Терешки собралась, и в избе не тесно, подумал я. Да, конечно, последние годы доживает она, и жалеть об этом нельзя. А все же как огорчится Данил Иванович, если сумеет еще съездить навестить своих сестер, а в Терешках к этому времени останутся одни заросшие бурьяном ямы.

Несколько дней прогостил я в Терешках, где меня поместили в примыкавшей к сеним горенке — каморке, в которой стояла старая деревянная кровать с сенником, а на стене висели сети с берестяными поплавками, тоже, должно быть, очень старые.

Маленькое окошечко горенки не открывалось, но комары все же как-то проникали в нее, и Коля каждый вечер приходил истреблять их: тех, что сидели тихонечко на переплете оконной рамы и на стекле, давил и размазывал пальцем, а тех, что летали, занудливо жужжа, без промаха бил звучными, как выстрел, хлопками.

Небескорытна была его забота о моем спокойном сне. Утром он бесцеремонно будил меня спозаранку:

— Вставайте, довольно вам спать. Пойдемте купаться, а то потом на Петеньге оводы заедят вас.

Напрасно было говорить ему, что не обязательно мне идти купаться, — он пропускал это мимо ушей и повторял: — Да ну пойдете же, Геня, — как комар, зудел над ухом, пока я не вставал, посочувствовав бедняге — единственному в Терешках мальчишке, истомившемуся за лето без товарищей и с чего-то вообразившему, что наконец-то нашел здесь себе приятеля в моем лице.

Он водил меня на Петеньгу лесом далеко от деревни — к бывшей мельнице, от которой сохранилось только несколько полусгнивших бревен да два «камня с дырками», как сказала Елизавета Ивановна. Петеньга бежит здесь в зеленых, пока еще не опыленных ядом глухих зарослях ольшаника, космы светлой речной травы далеко вытягиваются по ее быстрому течению, между ними, как через стекло, видна на дне пестрая россыпь мелких гладких камешков. Над водой тут и там клубятся темно-синие бабочки, которые на солнце кажутся совсем черными.

В нескольких шагах от бывшей мельницы — глубокий омут, над ним громоздятся большие валуны, из-за которых Коля и таскал меня сюда, далеко от деревни, чтобы покидаться с них в омут вниз головой. Он кидался, вылезал из воды и снова кидался, а я сидел на камне и ждал, когда оводы облезут на солнце и начнут меня заедать.

Потаскал меня Коля и по терешкинским мшистым болотам, порос-

шим редким корявым сосняком: обязательно хотел он показать мне обвалившуюся на дно ямы часовенку. Долго прыгал я за ним с кочки на кочку, пока он не привел меня к этой большой и глубокой, заваленной черными бревнами яме с прозрачной водой, из которой торчало некоторое подобие черного деревянного креста.

— Посмотрите,— сказал он, присев перед ямой на корточки.— Святой родник называется, говорят, что тут чудеса происходили когда-то, но сейчас их не бывает и вода мертвая — ни личинки, ни жучка. А в других ямах их полно, пойдемте, покажу.

Он запрыгал по кочкам дальше, оглянувшись, увидел, что я отстал, и нетерпеливо закричал:

— Давайте не бойтесь, трясин тут нет.

Неудобно было отставать от мальчишки, и я тоже запрыгал дальше. Вскоре мы сидели с ним на корточках в черной грязи у торфяной ямы с коричневой водой и глядели на шнырявших в них жучков-плавунцов.

— Смотрите, смотрите, как они смешно задними лапками гребут,— возбужденно толкал он меня локтем в бок.— А перестанут грести — и сейчас же наверх выскочат, как пузыри. Я за ними давно уже наблюдаю, любопытные жучки, в школе учительница нам рассказывала про них — и плавают, и ползают, и летают.

Наглядевшись на этих шустрых жучков, Коля потащил меня дальше в болото, чтобы показать, какие там в канаве удивительные личинки водятся. А когда, вымазавшись в грязи по колено, я отказался лезть в болото дальше, он огорченно вздохнул и сказал:

— Тогда пойдемте в большой лес, и я покажу вам гнездо коршуна.

Чем дальше уводил он меня от Терешек, тем более сухим и рослым становился лес, мох под ногами уже начал хрустеть, все выше вздымались макушки вольно растущих елей и сосен, все гуще, плотнее были зеленые ковры черничника и брусничника, забелели и цветки земляники.

Хорошо было бы посидеть на пеньке посреди цветистой и душистой полянки, но Коля в поисках запримеченного им где-то гнезда коршуна тащил меня все дальше и дальше. Гнезда мы так и не нашли, но коршуна увидели. Снявшись с макушки высокой ели, стоявшей у старой, заброшенной, заросшей кустарником лесной дороги, он полетел вдоль нее и сел на следующую высокую ель. Коля потянул меня за ним:

— Скорее, скорей давайте!

Несколько раз коршун перелетал с одной макушки на другую, и мы бегали за ним, пока я, запыхавшись, не сел на пень и не сказал:

— Ты как хочешь, а я больше бегать за коршуном не могу.

— Ну какие же вы! — подсадовал он, а потом вдруг решил: — Тогда зайдем домой, поедим чего-нибудь и пойдем рыбачить на Свидь.

Побывали мы с ним и на Свиди, поудили рыбу со стоявших в запани плотов, а там он окончательно замучил меня, заставляя прыгать с бревна на бревно, с плота на плот в поисках места, где клев лучше. На другой день я никуда не хотел идти с ним, надо было отдохнуть и кое-что записать на память, но под вечер он все же уговорил меня прогуляться с ним в соседнюю деревню, куда скоро переберутся все Терешки, потому что там усадьба отделения совхоза, магазин, школа, кино бывает и, когда на ферме коров доят, электрический свет дают, как сказал он.

Когда мы пришли с ним в эту деревню, мне на первый взгляд показалось, что она отличается от других деревень на Свиди, которые я видел, только тем, что немного побольше их и что поодаль от ее черных тесовых крыш светлеют шиферные кровли двух больших скотных дворов. Однако, пройдя по улице, нельзя было не заметить, что нет тут, как в других деревнях, пустующих изб с заколоченными окнами — все обитаемы и почти все хотя и старые, с почерневшими срубами, но чем-либо да

обновлены: или новым крыльчком, или новым нижним венцом, или накладными крашеными углами. Присмотришься к иной избе и увидишь по светлomu мху в пазах между темными бревнами, что ее недавно перевезли сюда откуда-то.

И на улице тут видно, что в деревне живут не одни старики и старики — вон девочка вышла из магазина с булками в авоське, вон мотоциклист подкатил к крыльцу. У этого крыльца мы постояли перед доской с плановыми заданиями по отделению совхоза, в которые, между прочим, входит и постройка здесь клуба не бог весть какого, но все же на шестьдесят мест в зрительном зале — очевидно, с расчетом, что население в деревне прибавится.

Зайдя в контору и узнав, что кино сегодня не привезут, Коля повел меня на ферму к своей мамке. Анну Григорьевну мы застали у ворот скотного двора, где она встречала вернувшихся с пастбища телят. Вместе с ней мы вошли в чистенько побеленный телятник и постояли там, глядя, как она бегаёт, сначала загоня своих подопечных в клетки, а потом, расставив в коридоре ведра с пойлом по деревянным гнездам, выгоняет их из клеток поить по очереди, кого лаская, кого браня, называя всех по имени.

— Нехороший у тебя, Зочка, становится характер, — ласково посердилась она на одну телочку, норовившую залезть в чужое ведро.

Сорок у нее их всего. И у второй телятницы сорок, но той помогала дочка лет десяти, весело и шустро бегавшая с ведрами в другой половине телятника.

— Мамке бы занять такую помощницу, — сказал мне Коля.

— А ты что же не помогаешь?

— Я бы помог, но мамка говорит, что это дело женское, а мне надо приучаться к мужскому, — ответил он.

Из телятника Коля повел меня в коровник и там показал корову Милку, которую приходится доить вручную, потому что она нервная, боится аппарата, а потом спросил у доярки, доившей эту корову, правда ли мамка говорит, что с переходом совхоза на круглосуточную пастьбу некоторые коровы стали уставать и меньше давать молока. Та в ответ засмеялась.

На обратном пути с фермы нам попался навстречу чумазый мальчишка-подросток, лихо мчавшийся на колесном тракторе с трясущейся за ним на прицепе тележкой, с которой по дороге рассыпалась свеженакосенная трава. Резко затормозив и остановив свою большеколесную, на резиновом ходу машину, он обернулся к Коле и крикнул:

— Эй ты, друг сердечный, таракан запечный, чего тут разгуливаешь? Поди-ка сюда! Дело у меня к тебе.

Коля подбежал к нему, они поговорили, и чумазый, кинув трактор, как коня, с места в карьер, крикнул:

— Ну смотри же, не будь лопухом.

Серьезным вернулся ко мне Коля, несколько шагов прошел молча, заложив руки в карманы, потом сказал:

— К директору совхоза надо будет съездить, лично поговорить с ним насчет механизированного звена. В прошлом году он обратил на меня внимание и сказал, что я у него на примете.

— Где это он приметил тебя?

— В конно-ручном звене, когда я с мамкой на сеноуборке работал, — сказал он и начал вслух подсчитывать, сколько теперь, при новых расценках, о которых ему только что сообщил чумазый, сможет заработать, если его возьмут подсобником в механизированное звено на уборку комбайном зеленой массы вики с пшеницей.

У него получилось, что в механизированном звене, раскидывая вила-

ми по тележке зеленую массу из-под комбайна, можно заработать кучу денег, и он тут же решил, что завтра утром пойдет на лесопункт, а оттуда на попутной машине доберется до центральной усадьбы совхоза.

— А то как бы директор не скомплектовал все механизированные звенья — тогда поздно будет разговаривать с ним, — сказал он.

Мне надо было уже возвращаться в Москву, и на другой день утром я вместе с Колей оказался на центральной усадьбе совхоза, где должен был сесть на автобус, идущий через Каргополь на станцию Няндома. До отхода автобуса оставалось часа два. Коля пошел к директору, а я коротал время, сидя на бревне возле конторы совхоза, и посматривал вокруг на новые, только что выстроенные здания клуба, школы, конторы, многоцветного детского сада, на вытянувшуюся дальше улицу старых, высоких деревенских изб с несколькими новыми, легкими, финского типа домиками, на стоявшую немного в стороне от деревни старую, превращенную в гараж или мастерскую церковь с комбайнами и тракторами на дворе, на людей, подъезжающих или отъезжающих от конторы, кто на мотоциклах, кто на машинах, — посматривал и думал о таких глухих, опустевших деревеньках, как Терешки, жизнь которых перемещается на новые места.

Коля вышел из конторы со светловолосым и голубоглазым, несколько уставшим уже на вид, несмотря на утреннюю пору, молодым человеком в летнем городском костюме, оказавшимся директором совхоза. Они вместе подошли ко мне, и директор, которому Коля, очевидно, считал нужным сообщить, что он приехал не один, а с гостем из Москвы, поздоровался со мной за руку молча, как со знакомым уже человеком, и спросил:

— Какими это судьбами занесло вас сюда?

— Да вот захотелось побывать на родине своей матери, — ответил я.

— Все понятно, — сказал он. — А то москвичи редко заглядывают к нам. Ничем особенно похвалиться пока не можем — только за дело взяли, а наследство досталось тяжелое.

Он торопился куда-то — у крыльца стоял поджидавший его «газик», — и разговор у нас с ним был короткий.

— Людей бы нам, людей! — несколько раз повторил он. — Заработать у нас сейчас можно неплохо, и из армии кое-кто возвращается уже в деревню, но удержать молодежь еще трудно — в леспромхозе заработки все же выше и к тому же рядом районы с льготами Крайнего Севера. Вот только что был у меня недавно вернувшийся из армии тракторист — за расчетом пришел. Битый час допытывался у него, в чем дело, чем недоволен, если трактором, то другой могу дать, выбор есть — по две, по три машины в совхозе на одного механизатора. Молчит, мнется, ничего не говорит и заявления обратно не берет. Ну что тут поделаешь — соблазнили парня леспромхозовские заработки. Как кусок сердца оторвал его от себя... На таких вот, как Коля, ребят вся надежда у меня, боюсь только, как бы тоже не ушли, когда подрастут. — Он похлопал Колю по плечу и, прощаясь со мною, задумчиво сказал: — Так, значит, ваша мать из Терешек!

— Да, в общем-то, из этих мест, — пробормотал я смущенно.

Не хотелось мне говорить, что мать моя давным-давно забыла деревню, в которой родилась, и что если бы не Данил Иванович, то я, может быть, никогда не побывал в этих местах.



МАРГАРИТА АЛИГЕР

★

СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

НОВЫЙ АРБАТ

Я больше не хочу возврата
вверх по течению реки,
где было весело когда-то
всем передрягам вопреки.

Я больше не хочу возврата
к истоку невозвратных лет,
в тот дом, где жили небогато,
правее Старого Арбата,
которого на свете нет,
где пролегла другая трасса,
другой маршрут в другую даль,
где все совсем другого класса,
и хватит сил — народу масса! —
а мы прошли, и нас не жаль.

Я больше не хочу возврата
за тот немислимый хребет,
где смолоду казалось свято
все то, к чему возврата нет.
И тем трудней теперь расплата,
и тем натруженнее взгляд.
Я больше не хочу возврата!

А кто зовет тебя назад?

Я больше не хочу возврата
в час орудийного раската,
в те дни, где что ни день, то дата,
и что ни дата, то утрата
непоправимо, навсегда...

Я больше не хочу возврата...

А кто зовет тебя туда?

Шагай вперед!
Конца не видно.
Он грянет вдруг, из-за угла...

Как трудно, горько и обидно.
 Как я горжусь, и как мне стыдно.
 И как я рада, что жила!

ИЗ ОКНА

С. Ермолинскому.

Я вижу в окно человека,
 который идет не спеша
 по склону двадцатого века,
 сухую листву вороша.

Куда он несет свою душу,
 ее нескудеющий свет?
 Но я его путь не нарушу.
 Я молча гляжу ему вслед.

Но я не вспугну его криком.
 Пускай он пройдет навсегда,
 великий,
 в покое великом.
 Мне только понять бы—куда?

СТРАННАЯ КАРТИНА

Злой художник Жика Мишков! —
 на его картине нет
 ни оттенков, ни излишков —
 серый цвет и черный цвет.
 В одинаковых могилах
 поле чистое в снегу...

Я понять его не в силах,
 переспорить — не могу.

Что за боль в его картине?

...А за дверью мастерской,
 золотой, зеленый, синий,
 спорит день с его тоской.
 Спорит небо, спорит лето
 на последнем рубеже...
 Мир чуть-чуть другого цвета
 Осень вроде бы уже.
 Начались занятия в школах.
 Возвращаются назад
 с Адриатики

на колах¹

¹ Коло — автомашина (сербскохорв.).

в старый город Новый Сад
люди — сербы и хорваты, —
старой Матицы сыны,
относительно богаты
и достаточно бедны.
Есть у них надежды, силы,
совесть, память, жар сердец...
Чьи же пишет он могилы?

Чей же видит он конец?
Что трясет его треножник?
Что кипит в его груди?
Добрый малый, злой художник,
что он видит впереди?
На кого он зол, однако,
славный, сильный человек?

У колен его собака,
черный пес по кличке Блек.
Длинные собачьи уши
гладит добрая рука...

Человеческие души,
ваша бездна глубока.
Мы мерила ей не знаем.

Сколько уж веков подряд
нарисован над Дунаем
старый город Новый Сад.
Как-то в нем живется людям?
Гром и буря?

Тишь да гладь?
Мы гадать о том не будем.
Все равно не угадать.
Все равно не счесть ударов,
потрясений и тревог,
и потраченных динаров,
и истоптанных сапог.

Злой художник, Мишков Жика,
в мире, полном красоты,
нет порою сил для крика,
есть суровые холсты.
Нет запретов, нет опаски,
никакой угрозы нет...
Есть палитра, кисть и краски —
серый цвет и черный цвет.

Есть судьба,
жена и дети,
мясо, ракия, табак...
Что ж ему не так на свете?
Что же все-таки не так?

И для меня ее восход —
как знак посадки для пилота
на той земле, где кто-то ждет...
Ах, в городе чужом суббота!

ГОРОД НАД РЕКОЙ

О, розовый и сизый камень
домов, растущих из воды!
Я хлопочу на все лады,
стараясь сделать их стихами.

Но, боже, как я мало значу
и как напрасно силы трачу —
дома стоят уже века,
как стихотворная строка,
и запросто мою задачу
решает старая река.

Не мудрствует, не колдует,
как будто вовсе без труда
все повторяет, все рифмует
почти стоячая вода.
Легко, естественно и просто,
как божьей милостью поэт,
река рифмует фермы моста
и с минаретом минарет.
Все только так и не иначе,
как рядом, около, вокруг...
Река рифмует руки прачек,
белье, летящее из рук,
цветные столики кафаны,
раскинутой на берегу,
и многолетние платаны...
А я так просто не могу.

Дома стоят, как к слову слово
в навек написанной строке,
и ровно ничего такого,
что минет и вернется снова
и то лукаво, то сурово
столкнет того, взнесет другого,
не отражается в реке.
Проходит где-то по-над нею...
Не добирается до дна...

А я, однако, не умею
быть равнодушной, как она,
не удивляться переменам
и видеть — сколько лет, бог весть! —
свой мир таким, каков он есть,
единственным и неизменным.

Навек — цветная черепица,
и камень розовый — навек.
И лишь на миг — взлетает птица.
На миг — проходит человек.

А мне уже не научиться
у старых и негромких рек
их величавому покою —
осталось слишком мало дней.
Я рада хоть в судьбе своей
случайно встать над той рекою,
случайно отразиться в ней.

ИЗЕТУ САРАЙЛИЧУ

Ну что ж, седеющий эффенди,
прощаться — вечный наш удел.
Поспешно, как на киноленте,
веселый праздник пролетел.
И снова каждый день недели
встречать в упор,
лицом к лицу,
и дотащиться на пределе
к ее короткому концу.
Теряя счет таким неделям,
живем в лучах слепых зарниц
и боль души своей не делим
условной линией границ.
Она одна для всей планеты,
и если бы землей людей
однажды правили поэты,
они управились бы с ней.
Но, может быть,
без этой боли,
что стонет в нас на все лады,
и вовсе никакой нужды
в поэзии не стало б боле?!

17 ИЮЛЯ 1968 ГОДА

Провожала Паустовского Россия
к тихому последнему порогу.
Принимались дождики косые,
обмывали длинную дорогу.

Широко, далеко, в тихом горе
день стоял неяркий, сизый, русский.
На высоком окском кособоре
хоронила Паустовского Таруса.

Паустовского Таруса хоронила,
на руках несла, не уронила,

криком не кричала, не металась,
лишь слеза катилась за слезою.
Все ушли, она одна осталась
и тогда ударила грозюю.

Над высокой свежеею могилой
застонало небо, гром загрохал,
польшнуло с яростною силой.

Отпевала Паустовского эпоха.



ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ

★

ИЗ ЛИРИКИ

С калмыцкого

СМОТРЮ НА МИР...

Созрело утро, словно ранний плод.
Прозрачно чист высокий небосвод,
Цветущий сад — в благоуханных вóлнах.
Передохнуть присел я на крыльцо.
Смотрю на мир... Старается подсолнух
Подставить солнцу круглое лицо.

Куда ни глянь, у всех — свои дела.
Собака — беспризорная дворняга —
Бежит с пригорка, не сбавляя шага,
Насторожилась, носом повела
И вновь трусцой тропе наперерез
Спешит, хромая: времени в обрез!

А на тропинке — полосатый кот,
Беззвучно мягкий, словно сшит из плюша.
Торопится и он... Прижавши уши,
Почти слился с дорогою... Ползет...
Видать, вдали его добыча манит.
Не трогайте его: он очень занят.

А меж травинок, у ноги моей
Гляжу — бежит трудяга-муравей.
Штурмует горы — иль комочки пыли, —
Он тащит, тащит, не щадя усилий,
Детишкам завтрак... Он устал в пути:
Кузнечий окорок легко ль нести?!

О, мир существ таинственно родных!
Слежу за ними взглядом восхищенным.
Они верны неписаным законам
И так послушно исполняют их,
Как будто бы любая тварь земная
Приходит в мир, свой долг священный зная.

А я? Я тоже — в честном их кругу.
Могу ли — старший! — быть у них в долгу?!

Сейчас я поработаю на славу!
И я берусь немедля за труды,
Прокладывая к яблоне кудрявой
Канавку для живительной воды.

* * *

Паренек на блеклом фото...
Взгляд, не знающий заботы,
На меня сверкнул из мглы.
Вот он — я, давнишний, прежний,
Трав зеленых безмятежней...
Я смотрю, и сердце кто-то
Колет кончиком иглы.

Как же так в туманной дали
Близкие не угадали,
Не прочел хоть кто-нибудь
За улыбкою веселой
Путь грядущий мой — тяжелый,
Горький, радостный мой путь?!

Так же, как во мне — бывалом,
Поседевшим и усталом, —
Юные мои друзья,
Вам не видится, конечно,
Паренек с душой беспечной,
Тот, что был когда-то — я.

* * *

Давным-давно залеченная рана,
Оставшаяся шрамом на груди,
Порой напомнит о себе неожиданно,
И это — знак, что близятся дожди.
Но за ненастьем вслед наступит ведро,
И — боли нет, и тело снова бодро.

А рана, что душе нанесена,
Открыта, и душа занять готова...
В предчувствии ненастья мирового,
Как лист осенний, задрожит она,
Едва дыханье бурь ее встревожит...
И долго,

долго

боль пройти не может.

Перевела Юлия Нейман.



А. СУЛИМОВ

★

НАЧАЛО МАГНИТОГОРСКА

Андрей Иванович Сулимов — коренной уралец, родом из Белорецка (на р. Белой, в Башкирии). Тринадцати лет он устроился учеником слесаря на Белорецкий металлургический завод, на котором работал его отец. В первой мировой войне он участвовал в составе 12-го автобронированного дивизиона; в 1917 году дивизион отказался подчиняться приказам Временного правительства, а после Октября сражался под Псковом, сдерживая наступление германских войск на Петроград.

По возвращении в Белорецк Сулимов, уже получивший некоторый опыт общественной работы в комитете солдатских депутатов своего дивизиона, был избран в фабрично-заводской комитет металлургического завода и в совет рабочего контроля Белорецко-Катайского горного округа. В то время организацией белорецких большевиков руководил старый русский марксист Павел Варфоломеевич Точисский, еще в 1885—1888 годах возглавлявший «Товарищество Санкт-Петербургских мастеровых»; он поддержал твердую позицию рабочих по отношению к правлению акционерного общества, тайно саботирующему советскую власть. По решению партийного комитета Сулимов вместе с другим членом совета рабочего контроля Землянским был послан в Москву за товарами и деньгами для рабочих. В Москве рабочие были приняты Лениным и В. Д. Бонч-Бруевичем. Просьбы уральцев были удовлетворены.

Гражданская война вновь оторвала Сулимова от завода: он пошел добровольно в Красную Армию, занимал командные должности в автобронированных войсках, игравших тогда очень большую роль, был ранен. Потом работал в Белорецком горкоме РКП(б), в ЧК Тамьян-Катайского кантона Башкирии. Потом проявил себя как способный руководитель рабочей кооперации. Когда еще только начиналось строительство Магнитогорского завода, Уралобком направил Сулимова в станицу Магнитную, чтобы подготовить жилища и бытовые условия для ожидающихся туда первых отрядов строителей. Поэтому Сулимова и называют «первым магнитогорцем».

В Магнитогорске Андрей Иванович Сулимов был помощником начальника Магнитостроя, заместителем начальника строительства и директора металлургического комбината по рабочему снабжению, начальником строительства 2-й плотины, начальником автоуправления, начальником Кусимовских марганцевых рудников. Сейчас ему семьдесят шесть лет. Десять лет он руководит общественной приемной в редакции газеты «Магнитогорский рабочий» вместе с другими ветеранами города, его строителями.

29 января 1929 года я был вызван в окружной комитет ВКП(б) города Златоуста. Секретарь окружка — кажется, Вдовин — сообщил мне, что по распоряжению Уралобкома я должен немедленно сдать дела в потребсоюзе и сегодня же выехать. Для какой цели и так срочно вызывали меня в Свердловск, он не знал. Вечером я был уже в поезде, а утром в Свердловске. Прямо с вокзала явился в Уралобком.

Поздоровавшись со мной, первый секретарь Иван Дмитриевич Кабаков сообщил, что Центральным Комитетом партии и правительством принято решение строить Магнитогорский завод. Организуется управление строительством. Уралоблпотребсоюзу предложено в станице Магнитной немедленно создать Центральный рабочий кооператив.

— Вас, — сказал он, — мы рекомендуем председателем этого Церабкоопа. Сейчас идите в Уралоблпотребсоюз, получайте документы, деньги,

решайте, как завезти необходимые продукты и товары. К пяти часам вечера вернетесь в обком, получите партийные документы. Выехать в Троицк обязательно сегодня. Билеты заказаны.

Работники Уралоблпотребсоюза уже знали, что меня посылают в Магнитную, и заблаговременно приготовили командировочное удостоверение с указанием, что я направлен в качестве уполномоченного Уралпотребсоюза на строительство Магнитогорского завода для организации рабочего снабжения. Было написано письмо Троицкому окружному потребсоюзу об отправке на Магнитную товаров и продуктов по моему выбору. В этом же письме предлагалось выделить в Магнитную необходимое количество торговых работников. Договорившись с председателем Уралоблпотребсоюза обо всем, что надо делать в Магнитной, я отправился в управление Магнитостроя, где также знали, что я должен ехать в Магнитную. Заместители начальника Магнитостроя товарищи Л. Г. Хращевский и В. А. Гассельблат познакомили меня с проектом города и завода. Завод будет металлургическим с мощностью в 656 тысяч тонн чугуна, а при заводе — поселок на 20 тысяч жителей. Меня попросили арендовать для Магнитостроя несколько квартир или домов. Выдали мне удостоверение, что я являюсь уполномоченным Магнитостроя. Так я стал уполномоченным двух организаций.

Гассельблат при разговоре со мной просил как можно скорее и лучше организовать снабжение, потому что без этого специалисты очень неохотно идут работать на Магнитострой.

Насколько большое значение придавал Уралобком строительству завода, видно хотя бы из того, что, направляя меня на место строительства, Кабаков вызвал в свой кабинет ответственных работников обкома, заместителя начальника Магнитостроя Хращевского, председателя Уралоблпотребсоюза Рабиновича, председателя облисполкома Ошвинцева и других. В их присутствии Кабаков сообщил, что на уральскую партийную организацию возложена задача — немедленно приступить к строительству Магнитогорского металлургического завода и построить его в кратчайший срок. Он сказал о величайшем значении этого строительства для страны, которая ежегодно все больше страдает от нехватки черных металлов, и указал на то, что все руководители областных организаций должны считать своей первой обязанностью оказывать этому строительству постоянную и максимальную помощь.

— Посылка Сулимова на место строительства, — сказал Иван Дмитриевич, — это уже практически начало строительства.

Вручая мне партийную путевку, Кабаков заявил:

— Вы счастливейший человек, что первый едете на такую величайшую стройку, равной которой не было и нет.

Он сказал, что строить придется в голой степи и рабочие вынуждены будут жить в тяжелых условиях, без учреждений культуры, без благоустроенного жилья, школ, и в связи с этим они будут сперва жить без семей. Чтобы хоть чем-то возместить такие трудности, мы обязаны организовать рабочее снабжение лучше и обильнее, чем в любом уральском городе. От того, как мы это организуем, будет зависеть настроение первостроителей и приток новых сил на стройку, а стало быть, и ход самого строительства. Особое внимание надо уделять снабжению специалистов: почти все они люди старой школы, привыкшие к полному достатку, к барским удобствам. Нужно сделать так, чтобы они на этой стройке не имели по крайней мере недостатка ни в продуктах, ни в товарах.

— Уралобком, — сказал товарищ Кабаков на прощание, — зная вашу работу в течение нескольких лет в Белорецком Церабкоопе и в Златоустовском потребсоюзе, решил организацию снабжения на этой строй-

ке поручить вам. Мы надеемся, что вы оправдаете доверие Уралобкома. Обо всем, что вам будет мешать, сообщайте в Уралобком. Помощь будет оказана. Помните, что все надо делать быстро, ни одного дня не откладывая, чтобы немедленно начать отpravку работников Магнитостроя на площадку строительства. Учтите и запомните: вам придется разворачивать дело в казачьей станице, где много зажиточного казачества, со стороны которого возможно сопротивление. Нужно, чтобы основное население — середняки и бедняки — видело, что строительство завода ведется для улучшения жизни всех советских людей. Партийным и советским организациям и вам необходимо в отношениях с местным населением проявлять вежливость и внимание.

Приступая в 1922 году к организации Белорецкого Церабкоопа, я не растерялся, так как был окружен товарищами, с которыми работал на заводе. Притом в городе я знал все магазины, склады и людей. Работая с 1925 года в г. Златоусте в потребсоюзе, я имел дело с уже существовавшими кооперативами. В этом смысле Магнитная была для меня чужим местом. Никого знакомых. И еду я туда один. Зато не чужой была сама Магнит-гора. Из ее руд была сталь, которую катали на прокате в Белорецке, где я ходил несколько лет в слесарях по перевалке. Кроме того, моя жена раньше жила летом на Магнит-горе, где ее отец был штейгером и взрывником заодно.

Очень трудно передать мое тогдашнее состояние. Я буквально не мог усидеть на месте. Сейчас не могу себе представить, на кого был похож. Наверно, производил впечатление не вполне нормального человека. Скажу совершенно откровенно, что я не отдавал себе полностью отчета в объеме предстоящей работы. Но я испытывал желание как можно скорее ехать.

В таком возбужденном состоянии я сел в вагон поезда Свердловск — Челябинск. Если в пути мне и удавалось на какой-то миг зачнуть, в голове непрерывно стояло одно: такое важное поручение я получил впервые в жизни. И вполне понятно, что я прямо скажу — в такие минуты трусил. Вместе с тем во мне крепла мысль, что наконец-то уралотельбесская (кузнецкая) проблема перестанет быть только проблемой.

Как долгов был путь к тому, чтобы поближе к богатейшим рудным месторождениям Магнитной и коксующимся углям Кузбасса началось строительство богатырских металлургических заводов! Меня, бывшего металлурга, волновала эта проблема. Я знал, что еще в материалах «Производительных сил России», в записке Совета съездов торговли и промышленности в 1915 году выдвигалась идея постройки у горы Магнитной металлургического завода на привозном кузнецком топливе. Конечно, для царской России это была, пожалуй, неосуществимая идея. А если бы она стала исполняться, то это было бы для нас национальным бедствием: хозяином Магнитной стал бы иностранный капитал. В Кузнецком бассейне, отданном за пять лет до революции в концессию тайному советнику Трепову и другой придворной камарилье, фактическими владельцами становились французские, немецкие, бельгийские капиталисты. А гора Магнитная уплыла бы к японским магнатам, не приди революция: уже велись переговоры о продаже им горы за 25 миллионов рублей.

Давным-давно о развитии производительных сил Урала мечтали великие умы нашей страны. В конце прошлого века эту необходимость прозорливей всех видели из революционеров В. И. Ленин, а из ученых — Д. И. Менделеев. Сразу после революции Ленин торопил национализацию промышленности на Урале, а чуть позже и в Сибири и постоянно заботился о том, чтобы предприятиям этих краев оказывалась финансо-

вая поддержка. Судя по программе, которую он выдвинул в «Очередных задачах Советской власти», прежде всего его внимание было обращено к гигантским запасам уральских руд и к угольным кладовым Западной Сибири.

В конце двадцатых годов Гипромез (Государственный институт проектирования металлургических заводов) издал свой коллективный труд, научное обоснование кооперации Магнитки с Тельбесом. И вот идея Урало-Кузбасса окончательно восторжествовала. Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление «О строительстве новых заводов черной металлургии». И я первым еду к месту, где в ближайшие недели начнется возведение Магнитогорского завода.

Приехав в Троицк, я явился в окружной комитет партии. Когда я, войдя в приемную, назвал свою фамилию, женщина, технический секретарь окружкома, сразу же повела меня в кабинет, заявив, что товарищ Варов ждет.

Я вручил Варову письмо Уралобкома. Не прочтя еще письма, Варов пригласил технического секретаря и просил вызвать всех необходимых лиц. Видимо, из Уралобкома о моем приезде и задании Варову было заранее сообщено. Вскоре в кабинет начали собираться руководители окружных организаций. Из них я знал лишь одного — председателя потребсоюза Николая Бусыгина.

На совещании обсуждали, что нужно делать неотложно. Бусыгину и мне поручили наметить, какие продукты и в каком количестве немедленно отправлять в Магнитную. Эта работа заняла почти два дня.

2 февраля на паре лошадей я выехал в Магнитную. Поздно ночью 3 февраля мы приехали в поселок Средне-Уральск, что в десяти километрах от Магнитной, где и заночевали. С вечера портилась погода. Подул сильный ветер. К утру он усилился. А нужно было двигаться дальше: ведь осталось ехать всего какой-то час. Хозяин дома, где мы ночевали, видя, что начинается сильная буря, стал отговаривать: ехать в такую погоду опасно. Об этом просил меня и ямщик. Но я настоял, чтобы ехать немедленно.

Мы сбились с дороги, отъехав от поселка два-три километра: видимость не более десяти шагов. Оказались в снеговороте — будто в котле кипит снег. Весь день мы блуждали по степи где-то на том месте, на котором позднее был построен Магнитогорский комбинат. Лошади выбивались из сил, останавливались. Хоть страшновато было стоять, мы дали отдых лошадям. Потом ямщик решил пустить их, чтобы шли самостоятельно: дескать, так они скорей выйдут к жилью. Поехали, таким образом, не управляя лошадьми, и попали вроде бы в овраг. Это было русло реки Урал. Лошади потянули наш возок вдоль кустарника. Ехали мы по реке около часа. Потом лошади встали. Смотрим — изгородь. Мы оказались у огородов станицы Магнитной.

Уже стемнело, когда мы подъехали к одному из домов. Тут нас пустили переночевать. Обогревшись и перекусив, я, не теряя ни минуты, отправился в районный комитет партии. Там, кроме сторожихи, никого не было. Попросил сторожиху позвать кого-нибудь из живущих поблизости работников райкома. Сторожиха спросила мою фамилию и ушла. Быстрой походкой в райком вошел заведующий культотделом Петров Василий Ильич. Вслед за ним пришли первый секретарь райкома Хвастунов и председатель райисполкома Крохалев.

Я был поражен, что так быстро появились руководители местных организаций. Оказалось, этому помогла моя фамилия: когда сторожиха сказала Петрову, что приехал из Свердловска Сулимов, он решил, что это председатель Совнаркома РСФСР Д. Е. Сулимов, и тут же послал сторожиху за Хвастуновым и Крохалевым. Каково же было разочаро-

вание Петрова, когда, придя в райком, он увидел человека, который совсем не был похож на предсовнаркома Сулимова.

Когда все собрались, я информировал их о цели своего приезда, о решениях партии и правительства относительно металлургического завода и заданиях Уралобкома. На заседании мы договорились с утра 5 февраля начать поиски подходящих складских помещений и квартир. В помощь мне был выделен местный коммунист Петр Иванович Парфентьев.

Мы исходили с ним всю станицу, все приветливо нас встречали и вежливо отказывали, заявляя, что сдать в аренду ничего не могут.

Несмотря на то, что вечером в райкоме было очень мало людей, жители станицы узнали, зачем я приехал. Богатые станичники развели агитацию, чтобы помещений в аренду не сдавать. Они совершенно открыто говорили: «Понаедут сюда, все у нас поедят, а никакого завода не построят — это, мол, очередная пустая затея, из которой ничего не выйдет. Получится так же, как со строительством железной дороги: деньги израсходовали, а дорогу бросили на полпути». (В 1920 году начиналось строительство узкоколейной железной дороги Белорецк—гора Магнитная. Но в связи с обнаружением руды на железнодорожной линии Белорецк — Запрудовка, вблизи Белорецка, строительство железной дороги на Магнитную было приостановлено.)

Утром 6 февраля нам удалось все-таки арендовать двор у одного казака. Во дворе были крытые сараи, в которые на первое время можно было сложить прибывающие товары. В этот же день сдали нам в аренду: две комнаты — гражданин Колбин; половину дома, комнату и кухню — казак Коршунов; но вечером Коршунов пришел с отказом: приезжают родственники, помещение нужно самим. Однако так как в договоре на аренду, который мы с ним заключили, была записана крупная неустойка, а Коршунов уплатить ее не захотел, договор остался в силе. К нему, конечно, никто не приезжал, и отказ, как после выяснилось, был вызван требованием богатых казаков. В этот день пришел первый обоз с товарами, они были разгружены в арендованном дворе — правда, под самую крышу. Если как-то удавалось сложить товары и продукты, то вставала новая проблема: никто из местных жителей не хотел работать в охране, брать же случайных людей было опасно. Выручили местные комсомольцы и коммунисты. Они охраняли товары до тех пор, пока не были наняты постоянные сторожа. Так постепенно мы начали свою работу.

Жил я в станице Магнитной на той же квартире, где останавливался 4 февраля 1929 года. Хозяин дома был зажиточный казак (зимой 1929 года был раскулачен), относился ко мне враждебно. Я дал телеграмму в Златоуст жене, чтобы выезжала в Магнитную, уже имея арендованную у казака Коршунова квартиру. Мои товарищи по Южно-Уральскому потребсоюзу, с которыми я работал в Златоусте, помогли ей упаковать вещи и отправили в Троицк. В то время у нас было трое детей: дочь девяти лет, сын трехлетний, дочь девяти месяцев. С этими малышами жена добралась из Троицка на санях к 20 февраля до Магнитной. Так мы, первая семья, приехавшая на стройку, стали постоянными жителями Магнитогорска.

По предложению Уралоблпотребсоюза и Троицкого окрпотребсоюза было решено объединить Магнитное и Средне-Уральское общества потребителей и назвать Центральным рабочим кооперативом. Для этого требовалось избрать уполномоченных от пайщиков потребительских обществ, а затем провести собрание уполномоченных — только оно было правомочно решить этот вопрос.

Выборы уполномоченных растянулись на весь февраль. Зажиточное казачество стремилось помешать объединению потребительских обществ.

Много раз срывались общие собрания пайщиков. Лишь в первых числах марта было проведено заключительное собрание уполномоченных и было принято решение объединить Средне-Уральское и Магнитное сельпо и именовать в дальнейшем Магнитогорский центральный рабочий кооператив. Так был создан рабочий кооператив, пока еще без рабочих.

Занимаясь организационной работой в Церабкоопе, мы все время получали в запас продукты и товары. В первых числах марта я дал телеграмму в Свердловск, что к приему рабочих мы готовы.

15—17 марта приехал уполномоченный Магнитоостроя Ефим Иванович Мартынов, а вскоре начальник геодезического отдела строительства инженер Сидоренко с двумя своими сотрудниками, которые приступили к отводу мест для временного жилищно-бытового строительства на территории будущего завода, названного «первым участком».

Приехали из Свердловска на постоянную работу бухгалтер Иван Васильевич Греков и первый прораб Иван Иванович Филин. Для работы в конторе по учету кадров была принята Мария Николаевна Плишкина, живущая сейчас в Магнитогорске, пенсионерка, проработавшая в отделе кадров Магнитогорского металлургического комбината до 1959 года. На должность мастера по заготовке леса в Абзелиловском районе Башкирии был принят Иван Михайлович Неудачин. В конце марта 1929 года Неудачину удалось начать вырубку леса, он отправлял его в Магнитную на лошадях: автотранспорта не было.

Наступала весна, дороги днем развозило, проезжать было можно только ночами или рано утром, поэтому леса мы получали мало. Его с трудом хватало на ремонт арендованного жилья. Думать о сооружении баз, хлебопекарни, столовой, склада, магазина и хотя бы небольшого количества жилья на месте строительства завода было невозможно. Мы стали скупать в округе старые крестьянские дома, разбирали их и вывозили на первый участок строительства, где их собирали.

Все это — заготовка леса, покупка домов — по существу мало что дало. Правда, мы заняли первых рабочих, которые к нам прибыли. В апреле же месяце слух о начале строительства разнесся и всколыхнул массы рабочих. Немалую роль в этом сыграло и хорошее снабжение продуктами и товарами, в продаже коих не было никакого ограничения.

Несмотря на распутье, в Магнитную прибыло много рабочих, главным образом плотников. Если на 1 апреля всех работников было только 35, то на 1 мая их было уже 256 человек.

Не забыть день Первого мая 1929 года. В райкоме партии было решено провести празднование на месте, где начали устанавливать первые домики. Утром все желающие праздновать на площадке строительства были переправлены на пароме из Магнитной на левый берег Урала и пешком отправились на площадку строительства.

День был солнечный, зеленела трава, поэтому праздник, хоть и немногочисленный, прошел очень хорошо: ведь это был уже праздник рабочих.

В конце мая вместо Мартынова начальником конторы строительства был назначен Григорий Дмитриевич Бессонов, член партии с 1905 года. Приехал Бессонов на легковом автомобиле нашего отечественного выпуска «АМО». Вскоре прибыли две грузовые полуприцепки нашего отечественного производства «АМО Ф-15», и теперь мы привозили товары и материалы из Троицка не на лошадях, а на автомашинах. Сразу все облегчилось: ведь вместо двух-трех суток езды до Троицка на лошадях порожняком, а с грузом до четырех дней на автомашине стали доезжать за пять-шесть часов и вечером того же дня с грузом возвращались обратно. Это было прямо удивительно! Но остро ощущалось отсутствие железной дороги, работа на стройплощадке не

улучшилась: по-прежнему не хватало строительных материалов. Рабочие постоянно прибывали, занять их было нечем.

С каким нетерпением мы ждали, когда строители закончат начатую в 1929 году железную дорогу Карталы—Магнитная! Ведь по решению ЦК партии и правительства Народный комиссариат путей сообщения должен был сдать дорогу в эксплуатацию к 1 июля 1929 года. Поэтому нас особенно интересовало, как продвигается укладка железнодорожных путей. Несмотря на то, что сообщения со строительства дороги были самые отрядные, троицкие окружные организации принимали все меры к ускорению работ. Бесперывно мобилизовались и посылались на стройку колхозники, и были даже высланы войсковые части.

Принятые меры быстро дали результаты. Укладка рельсов в удачные дни доходила до четырех километров. Чтобы представить себе, быстро ли это, можно сравнить с укладкой в то же время железнодорожных путей на Турксибе, где максимальная укладка была около двух километров в день. Все строительство дороги велось вручную, без какой бы то ни было механизации. Только огромным сознанием своего долга можно объяснить самоотверженный труд рабочих строительства дороги. Они работали, не считаясь со временем. Работали весь световой день.

Вслед за путеукладчиками двигались грузы для Магнитостроя. В конце мая или в первых числах июня на станцию Гумбейку в адрес Магнитостроя прибыло около десяти вагонов лесоматериалов, главным образом образцов пиловочника. Там вагоны и разгрузили. Оттуда на лошадях и быках лес перевозили на площадку строительства. Поступление этого леса дало возможность приступить к строительству временной конторы, пекарни, магазина и столовой на первом участке. Управление Магнитостроя придавало первостепенное значение сооружению этих помещений, и основная масса рабочих работала на этих объектах.

Появление на стройке леса, ежедневные новости о приближении железной дороги к Магнитке создавали у рабочих бодрое, приподнятое настроение. Дотемна они не хотели уходить с работы. Всем радостно было слышать, что ближе и ближе подходит железная дорога. Особенно радостно было, когда 28 июня мы услышали гудок паровоза в районе близ теперешнего поселка Доменный. И увидели в стороне от проложенных путей крытый товарный вагон грузоподъемностью двадцать тонн, к дверям которого приставили деревянную лесенку и на дверь повесили досочку с буквами, написанными черной краской: «Ст. Магнитогорская».

Еще отрядней было, когда стали приходиться вагоны с лесом, кирпичом и другими грузами. Ведь дорога не была еще закончена, а управление Магнитостроя закупало уже лес, кирпич, постельные принадлежности, спеходежду, мебель, разные инструменты и материалы, грузило все в вагоны и отправляло на станцию Магнитогорская, которой фактически не было: она не значилась еще ни в одном справочнике Народного комиссариата путей сообщения. Поэтому на всех станциях, начиная от Троицка, стояли до Магнитной груженные вагоны с назначением «Ст. Магнитогорская», «Магнитострой» и ждали, когда проложат пути. И вот только что уложили последние рельсы, еще как следует не забалластировав путь, начали подавать вагоны под разгрузку. Грузы сваливали около путей, в степи, под открытым небом. На площадке строительства не было никаких складских помещений. Начали сколачивать временные дощатые склады. Они еще не были полностью обшиты досками, а некоторые не имели и крыши, а в них уже везли на лошадях разные материалы и товары. По проекту склады должны были строиться в трех-четырех километрах отсюда, где разгружались первые вагоны, но к ним железнодорожные пути были проложены значительно позже.

Весть о появлении паровоза на площадке строительства завода и о

прибытии грузов для Магнитостроя быстро разнеслась по Магнитному, Верхне-Уральскому и Кизильскому районам. Как были посрамлены кулацкие элементы казачьих станиц, которые беспрестанно внушали населению, что ничего большевики не построят! Но большевики не только построили дорогу, но по ней пришли первые строительные материалы. Пришли настоящие паровозы. Середняки и бедняцкое население убедились в реальности строительства.

29 июня из Троицка сообщили, что 30 июня прибудет поезд с гостями троицких и карталинских организаций и состоится официальное открытие движения по построенной дороге.

Мы готовились к встрече гостей. Велико было наше удивление, когда мы увидели, что к тому месту, где был установлен крытый товарный вагон с надписью «Ст. Магнитогорская», задолго до вечера 29 июня стали прибывать жители из окрестных селений для встречи первого поезда. До сих пор не могу себе представить, как и через кого узнало население об этом событии. Радио здесь в то время не было, а приезжали не только из селений Троицкого округа, но и из деревень Абзелиловского района Башкирской республики.

Вечером к тогдашней станции съехалась масса народу. Многие прибывали целыми семьями, с топливом, кухонной посудой, самоварами. Вечером всюду уже горели костры. Казаки и башкиры варили в казанах бешбармак. Появился и музыка: курлыккал башкирский курай, заливались русские гармошки, весело тараторили татарские тальянки. Начались танцы, песни. Все это, особенно ночью, производило незабываемое впечатление. Это был своеобразный «бал в степи», никем не организованный, разноплеменный, радостный. Но как же он слаженно проходил! Веселье продолжалось всю ночь, и никто не слышал ни грубости, ни брани. Кстати сказать, в то время на строительстве не было ни одного милиционера.

У костров собирались группами казаки, башкиры, казахи, киргизы, нагайбаки, цыгане. Всюду только и были слышны разговоры о встрече поезда, о том, как быстро построили дорогу. Оживленно проходила эта ночь с 29 на 30 июня. Вернее, этой ночи как будто и не было. Ранним утром стали со всех сторон прибывать новые группы гостей. Почти никто из них никогда еще не видел паровоза.

Мы организовали торговлю продовольственными товарами, но гостей было так много, что все привозимое моментально распродавалось. Приходилось подвозить товары беспрерывно. Торговали прямо с повозок.

Пришли и рабочие-строители из поселков Магнитного и Средне-Уральского. За полтора-два часа до прибытия поезда встречающие начали выстраиваться вдоль линии железной дороги. Каждый спешил занять лучшее место, чтобы увидеть первым, как паровоз подойдет к красной ленте, протянутой через железнодорожную линию.

Стрелка часов подвигалась к двенадцати. В степи раздался гудок паровоза. Сейчас невозможно передать восторг людей в тот момент. Поднялся невероятный шум, крики «ура!», в воздух полетели малахаи, шапки, фуражки, тюбетейки. Среди людского коридора очень тихо, торжественно подходил к красной ленте поезд. Он состоял из нескольких пассажирских вагонов. Паровоз и все вагоны были украшены кумачом и цветами. Из окон вагонов, с паровоза улыбались и аплодировали люди, что вызвало еще больший восторг у встречающих.

Председатель Троицкого окружного исполнительного комитета Вторыгин, стоя на паровозе, разрезал ленту, и поезд вошел на путь временной станции Магнитогорская. Митинг. Вторыгин поздравил строителей и гостей с первой победой на строительстве гиганта черной металлургии — с вводом в действие железной дороги Қарталы—Магнитная,

связавшей стройку со всем Советским Союзом. После митинга опять начались песни и пляски. Народ веселился весь день, никто не хотел уезжать до позднего вечера.

На строительстве металлургического комбината и города Магнитогорска мне довелось быть участником многих празднеств. Я присутствовал на окончании строительства плотины и на приеме первого паводка, который начал наполнять весной 1931 года магнитогорский пруд, на закладке первой доменной печи и города Магнитогорска, на задувке первой домны и выдаче первого чугуна. Это были праздники, торжественность которых трудно описать. Но эти праздники были в то время, когда уже был создан многотысячный рабочий коллектив с партийными, советскими, профсоюзными и комсомольскими организациями, а праздник встречи первого поезда никто не организовывал. На строительстве не было тогда общественных организаций. Ведь на день встречи поезда работающих на строительстве было всего 412 человек.

Для нас, приехавших на стройку и проживших около пяти месяцев вдали от железной дороги, прибытие первого поезда было как необычайно яркое утро после темной ночи. Степь, которую мы ежедневно видели, как будто бы расширилась. Кругом стало как бы светлее.

По-настоящему строительство металлургического комбината начало разворачиваться с момента прибытия первого поезда. В начале июля приехали из Свердловска на постоянную работу в Магнитную начальник строительного отдела инженер Розенберг и его заместитель инженер Оболенский, начальник транспортного отдела инженер путей сообщения Майоров. Все — специалисты старой школы.

На первом участке спешно достроили бревенчатый домик, в нем разместилась контора строительства. Перебралось на площадку и правление Церабкоопа, оно теснилось в дощатом товарном складе.

Для усиления партийной работы были присланы и партийной конференцией избраны первым секретарем Магнитного райкома ВКП(б) товарищ Дудин и вторым секретарем товарищ Брызгалов.

Незабываем день первого партийного собрания строителей Магнитостроя. Коммунистов на этом собрании присутствовало чуть больше тридцати. Повестка: «Создание партийной ячейки строителей и выборы партийного бюро». Прямо в степи, вблизи конторы строительства, состоялось это собрание коммунистов-строителей. Из конторы вынесли стол и два стула для президиума. Все остальные уселись прямо на траве. Было приподнятое настроение: рождалась первая партийная организация на таком важнейшем строительстве. Честь открыть это собрание была предоставлена старейшему — члену партии с 1905 года Григорию Дмитриевичу Бессонову. Собрались днем, после работы, в первых числах июля 1929 года. Избрали партбюро и тут же, по желанию собравшихся, прямо на общем собрании избрали секретаря партбюро. Если память мне не изменяет, секретарем был избран товарищ Власов. На собрании было высказано пожелание создать ячейку комсомола и было предложено выявить всех комсомольцев, а в ближайшие дни провести их собрание.

Комсомольское собрание состоялось в середине июля, на нем было всего девять комсомольцев и пятнадцать—двадцать человек несоюзной молодежи. Несколько позднее из республик и областей приехали тысячи юношей и девушек, появились комсомольцы — инженеры, техники, организаторы, и Магнитострой, подобно Сталинградскому тракторному, стал комсомольской стройкой. В скором времени на общем собрании рабочих был избран первый комитет профсоюза строителей, председателем которого стал плотник, участник гражданской войны Садовщиков.

Начали мы думать и о создании поселкового Совета рабочих депу-

татов. (О городе в то время не было даже и разговора, хотя во всех важных проектных документах фигурировало название Магнитогорск.)

По проекту в первую очередь должно было строиться временное жилье рядом с площадкой будущего завода. Намечалось шить всего сто барачков, чтобы в каждом размещалось по сто восемь человек рабочих. Имелось в виду, что строители завода будут временные, без семей, поэтому ставили бараки общие, без комнат. Первые бараки строили близ Сосновых гор, неподалеку от теперешней ТЭЦ. На строительство в большом количестве прибывал круглый лес и пиломатериалы, это дало возможность начать строительство временного жилья прямо на промышленной площадке. Вначале строили главным образом бараки — здания типа сарая, обшито снаружи и изнутри досками двадцатипятимиллиметровой толщины.

В бараках устанавливали вместо коек топчаны. Топчаны изготовлялись прямо у барачков плотниками, строившими бараки. Делались они так: из деревянных брусков сбивались гвоздями два козелка высотой в обычную койку, поверх козелков прибывались три-четыре доски толщиной 25 мм — и топчан готов. Получалось что-то вроде широкой скамьи. Так и спали первые строители Магнитки. Каждому из них выдавались постельные принадлежности: одеяло, вместо матраца и подушки — матрацная и подушечная наволочки, которые набивали соломой или сеном.

Почему строились только общие бараки? В то уже далекое время — ведь прошло сорок лет — строили только летом. Рабочие приезжали главным образом из деревень, без семей, как говорили — «на строительный сезон», и называли их «сезонниками». Эти «отходники» были разных возрастов. Женщины и дети таких рабочих оставались дома, в деревнях, занимались сельским хозяйством.

На таких строительных рабочих рассчитывали проектировщики завода, на них и планировали жилье. Кадровых строителей, какие есть сейчас, не было; о них в то время лишь мечталось. Не случайно в 1929 году в числе строящихся зданий не было ни школ, ни детских садов и яслей, их не было даже в плане и в проектах.

Небольшое число детей из семей инженерно-технических работников, живших в домиках, возили в школу в станицу Магнитную на лошадях, а для тепла на сани ставили большие деревянные ящики.

Я специально останавливаюсь на жизни Магнитостроя так подробно. Историки, краеведы и просто люди, интересующиеся этим героическим периодом, должны узнавать не то, что придумает лихое воображение, а истинную правду. Из нее и встанет трудовой подвиг первостроителей Магнитки.

Это не всегда помнят пишущие об истории Магнитогорска. Васильев в статье «Так рождались герои стройки» писал в газете «Магнитогорский рабочий» за 22 октября 1958 года: «10 марта 1929 г. обоз прибыл к горе Магнитной. Здесь, у ее подножья, разместился первый палаточный городок. А через несколько дней секретарь ячейки Михаил Мокрицкий открыл первое комсомольское собрание». 22 ноября 1959 года в газете «Магнитострой» товарищ Муравенко писал: «Март 1929 года. По зову партии из Свердловска — тогдашней столицы Большого Урала — выехал первый эшелон добровольцев к месту строительства Магнитогорского комбината». То же он писал и в газете «Уральский рабочий». Когда я написал туда, то получил ответ, где мой протест на статью любезно отводили, ссылаясь даже на Большую Советскую Энциклопедию издания 1938 года... И все-таки никаких эшелонов с людьми на станцию Карталы не прибывало. Мокрицкий секретарем комсомольской ячейки

не был. Не было никаких палаток. Откуда-то из фантазии взят эшелон и 1500 лошадей.

Это газетные материалы. А вот две книги. Первая: «Из истории революционного движения и социалистического строительства на Южном Урале» (1959); вторая: «Из истории Магнитогорского металлургического комбината и города Магнитогорска (1929—1941 гг.)» (1965). В той и другой выступает одним из авторов кандидат исторических наук доцент В. Н. Елисеева. В первой книге читаем на странице 148: «В марте 1929 г. начались земляные работы». В то время еще не было рабочих, кто же вел земляные работы? Страница 152: «Зимой и весной 1930 г. Магнитное крупнорайонное сельскохозяйственное кооперативное животноводческое товарищество ежедневно посылало 800 подвод с рабочими для перевозок песка к месту работы и вывозки со стройплощадок пустой породы». Такого товарищества в станице Магнитной не было. Кто же посылал такое огромное количество подвод? Дальше: «Земляные работы, жилищное строительство также велись специальными трестами «Землестрой» и «Жилстрой». Все работы выполнялись административно-техническим персоналом, рабочими инструментами и механическими приспособлениями трестов». Никогда таких трестов не водилось. Были участки Магнитостроя «Землестрой» и «Времжилстрой», а также Управление строительством соцгорода.

«В 1932 году, с целью освобождения железнодорожного транспорта, перевозки местных стройматериалов: бутового камня, щебня, песка, извести, глины, кирпича и т. д. возлагались на гужевой и особенно автомобильный транспорт». В 1932 году я работал начальником конторы строительных материалов (местных). Только песка, щебня, бута строительным участкам ежедневно отгружалось до пятисот вагонов в сутки. На бетонных работах почти все время были недостатки в этих материалах, даже при доставке железнодорожными поездами. Как же можно было обеспечить перевозки автомашинами и особенно лошадьми, когда карьеры находились на расстоянии от десяти до двадцати километров? Сколько же нужно было для этого автомобильного транспорта? На лошадях эти грузы вообще никогда не доставлялись.

«Еще до прихода первой партии рабочих на площадку строительства в марте 1929 года Уралоблторг завез 785 центнеров пшеничной муки». И еще: «Снабжением рабочих Магнитогорска свининой в свежем и переработанном виде и другими сельскохозяйственными продуктами занимался Уральский свиноводческий колхозный союз — СУКС». Но колхозы начали создаваться здесь в конце 1929 года! Снабжением рабочих в 1929 году занимался Церабкооп, председателем коего был я, Сулимов. Никакого Уралоблторга на площадке не было, а стало быть, им не завозилось никакой муки. Не существовало в природе никакого «СУКСа», а следовательно, не было и «суксового» снабжения свининой «в свежем и переработанном виде».

Несколько слов о второй книге. В предисловии к книге В. Н. Елисеевой написано: «Предлагаемая читателю публикация документов является первым шагом на пути создания истории Магнитогорска и, по мнению составителей, может быть полезным пособием для учителей истории, учащихся и широких кругов читателей, интересующихся историей нашей Родины».

Сказано очень правильно. Конечно же, в книге все до единого слова должно быть проверено, так и должно быть в учебниках. Посмотрим, так ли это.

«Строительство... велось невиданно быстрыми темпами. Это возможно было сделать только с помощью самого широкого внедрения механизации строительных работ». Подтверждаю, что строительство велось

невиданно быстрыми темпами. Но только не за счет механизации, а за счет невиданного в истории энтузиазма строителей.

О какой широкой механизации можно говорить, когда первый год на планировочных земляных работах не было ни одного экскаватора? Землю копали кайлом и лопатой, а отвозили на лошадях. В 1931—1932 годах выемку песка из воды производили экскаватором, а грузили песок в вагоны вручную. При строительстве домов в соцгороде в 1930 году вся наша «широкая механизация» состояла из «крана-укосины» с ручной лебедкой, которым поднимали кирпич и раствор наверх, а там разносили носилками, вручную.

«Снабжение магнитогорского строительства продовольствием осуществлялось в соответствии с планом, утвержденным Советским правительством. Еще до приезда первой партии рабочих на площадку строительства в марте 1929 года Уралоблторг завез 795 центнеров пшеничной муки».

Это слово в слово переписано из первой книги (как, между прочим, и многое другое), только почему-то оказалось муки завезено на 10 центнеров больше. Однако в те годы вообще не было никакого плана снабжения, тем более утвержденного правительством.

«Все здания типа бараков снесены, а население размещено в прекрасных домах правобережного города». Надо знать Магнитогорск. Жители бараков, прочитав предисловие, скажут в адрес автора много неласковых слов.

В конце книги, в разделе «Хроника событий», обозначено, как и в первой книге: «1930 год. 30 июня — открылось движение по железнодорожной ветке Карталы — Магнитная». Нет, движение открылось 30 июня 1929 года.

Во всех этих ошибках чувствуется желание представить первые шаги Магнитостроя более легкими, чем они были. Но зачем это?

В 1930 году из деревень, да и из городов к рабочим начали приезжать жены, некоторые с детьми, к чему мы никак не были готовы.

Я тогда работал помощником начальника строительства. Мы с начальником управления коммунального хозяйства Магнитостроя А. Ф. Мосиевским объезжали участки, где жили рабочие. На третьем участке зашли в один из бараков. В нем были развешаны цветастые занавески из ситца. Присмотревшись, мы увидели, что ими завешаны топчаны. Они стояли как бы в ситцевых комнатах.

Не забыть беседы с оказавшимися в то время в бараке женщинами. Мы спросили их, когда они приехали. Получили ответ: «Недавно». Спрашиваем, надолго ли приехали? Они бойко отвечали: «На всю жизнь». Мы даже растерялись и смотрели друг на друга, ничего не понимая. Поборов недоумение и растерянность, спросили женщин, как они живут и нравится ли им здесь. В это время из-за одной ситцевой занавески не вышла, а буквально выскочила молодая, справная, хорошо по-деревенски одетая женщина и, подбежав к нам, не заговорила, а закричала:

— Что вы спрашиваете, как мы устроились? Разве не видите? Нравится ли нам у вас? А как вы думаете? Если бы вот за эту тряпку, — указала на занавеску, — поселить вас с вашими семьями, понравилось бы это вам и особенно вашим женам? Попробуйте ночевать в нашем бараке хотя бы одну ночь и послушайте храповую музыку, сто с лишним человек, тогда вы не станете спрашивать, как нам у вас нравится и хорошо ли мы живем, а надумаете построить комнатные бараки, тогда мы не будем сидеть здесь и караулить свои тряпки, а пойдем работать. Не бойтесь, сделаю я не меньше мужа. — Высказав это, она показала свои крепкие руки, развернула плечи и убежала в свою ситцевую «комнату».

Ситцевые комнаты мы увидели и в других бараках.

В тот же день вечером мы доложили обо всем заместителю начальника строительства товарищу Ильдрому, который тотчас распорядился первый же отстраиваемый барак делать комнатным, а общие бараки разгораживать на четыре секции. Предложено было проектному отделу срочно спроектировать типовой комнатный барак. Строительство таких бараков позволило привозить к рабочим семьи, рабочие стали задерживаться на стройке, уменьшилась текучесть кадров, а жены их стали дополнительной рабочей силой. Улучшение условий способствовало появлению первых постоянных, кадровых рабочих-строителей.

Через несколько дней началось строительство бараков для временной больницы (в районе теперешней шестой проходной металлургического комбината). Здесь же приступили к строительству временной дизельной электростанции.

Рабочие на строительстве работали с подъемом. Редко какая-нибудь бригада кончала рабочий день, не выполнив дневного задания. Работали по десять—двенадцать часов, то есть почти весь световой день. Вид строительных площадок, так называемых третьего и четвертого участков, где строились первые бараки, менялся буквально на глазах. Ежедневно начинали вновь закладывать бараки, кипятилки воды, уборные, умывальные и другие необходимые бытовые помещения. Уже в конце июля начали строить так называемый Сосновский рабочий клуб, тоже временный, барачного типа.

Сейчас многие думают, что первые строители начинали жить в палатках. Это неверно. Строилось все настолько быстро, что расселяли рабочих в бараки. Когда прибывали большие партии рабочих, часто приходилось заселять еще и недостроенные бараки. Были случаи, когда рабочие жили в бараках без крыш, без дверей, без окон, не говоря уже о печах: их делали обычно, когда бараки были уже заселены. В общем, все делалось на ходу.

Мне вспоминается начало массовой работы в клубе. Он еще не был покрыт, а любители-артисты и затейники начали устраивать концерты и даже ставить спектакли. Сейчас, когда в городе есть дворцы — именно дворцы — культуры, расположенные в огромнейших, с чудесной отделкой и мебелью зданиях, прекрасный городской драматический театр, больше десятка кинотеатров, — трудно себе представить рабочий клуб того времени, зрительный «зал» которого был уставлен самодельными скамейками. Но и его мы считали достижением. Когда же вскоре заработала электростанция и был дан в бараки свет, мы были на седьмом небе.

Июль, как уже говорилось, был на строительстве началом основных подготовительных работ. Начали прибывать крупные партии вербованных рабочих. Так, в течение июля прибыло 939 человек, а всего на первое августа их уже было 1251 человек.

Во второй половине этого месяца прибыло несколько эшелонов с рабочими «контрагентской» организации Транстрой. Их было не меньше 1500 человек. Рабочие Транстроа не входили в число рабочих Магнитостроя. Каждый из прибывших имел собственную лошадь и грабарку. Они прибыли для производства земляных планировочных работ на заводской площадке, где должны были начинать строить цеха завода, располагались прямо в степи вблизи места, где должны были работать. Это был обособленный рабочий коллектив. Прямо в степи транстроевцы делали для себя шалаши, накрывая их чем возможно, в степи паслись лошади и стояли рядом телеги-грабарки. Вид шалашей и пасущихся кругом коней напоминал огромнейший табор. Величественная и странная картина открывалась вечером, когда мы смотрели с возвышенности

первого участка на табор транстроевцев: горело множество костров, сидя у которых ужинали и чаевали рабочие, каждый у своего шалаша.

Организация быта и труда этих рабочих тоже была своеобразной. Это были группы-артели, каждая артель имела своих кухарок, которые готовили на кострах пищу. Продукты для людей и овес для лошадей покупали специальные «артельщики» и сами раздавали по своим артелям.

На второй день после прибытия вся эта армия приступила к планировочным работам. Рабочие Транстроя были опытными землекопами, трудились старательно, не считаясь со временем. Работали они на довольно большом участке, где должны были строить коксовый, доменный и мартеновские цеха. От непрерывного движения лошадей, впряженных в грабарки и отвозивших землю, поднималась невероятная пыль. Над всей площадкой ежедневно с утра до ночи стояли земляные тучи.

Работы велись вручную. Были люди, у них лопата, кайло, лом и лошадка, запряженная в грабарку. Все это целый день находилось в движении и представляло вид гигантской развороченной муравьиной кучи.

Так началось строительство Магнитогорского металлургического комбината. С момента моего приезда в Магнитную прошло сорок лет. Сейчас мы живем в большом прекрасном городе, в благоустроенных домах. Жизнь даже в этих домах с горячей водой, ванной нам уже кажется не очень благоустроенной. Действительно, нет границ человеческим потребностям. Но как далеко шагнула жизнь за такой исторически короткий срок! Часто приходится задумываться над тем, сколько же за этот срок в Магнитке построено? И тогда кажется, что прожил я в Магнитке не сорок, а двести—триста лет.

За эти сорок лет построены: металлургический комбинат, три плотины на реке Урал, ряд крупных заводов: метизно-металлургический, калибровочный, крановый, горного оборудования, кузнечно-прокатный, ремстроймаш, авторемонтный, стекольный, обувная и швейная фабрики. Создан трест Магнитострой с десятком заводов, производящих строительные материалы; заводы — молочный, хлебокомбинат, мясокомбинат и другие предприятия. Созданы крупные автомобильные хозяйства.

За это время построено два города. Первый город барачный, в котором было более полутора тысяч бараков (на 95 процентов они в данное время уже снесены). Второй город — современный, благоустроенный.

В нашем городе действует более восьмидесяти общеобразовательных школ, горно-металлургический и педагогический институты, техникумы — металлургический, строительный и трудовых резервов, пятнадцать профессионально-технических училищ, музыкальное, медицинское и педагогические училища. Восемь больших дворцов культуры, два театра, дворец пионеров, более двухсот магазинов, сорок шесть современных благоустроенных общежитий. Больниц с поликлиниками одиннадцать. Более ста сорока детских садов, сорок детских яслей и много, много другого.

Даже у меня, видевшего эти стройки своими глазами, трудно укладывается в голове, что все это уже построено.



КУРТ ВОННЕГУТ

БОЙНЯ НОМЕР ПЯТЬ,
ИЛИ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ

Роман

Курт Воннегут (род. в 1922 году) — американский писатель, автор шести романов и сборника рассказов. В последние годы Воннегут приобрел большую популярность, особенно среди молодежи.

Один из ранних романов Воннегута опубликован в русском переводе в серии научной фантастики под названием «Утопия-14» («Молодая гвардия», 1967).

Публикуемый ниже новый роман Курта Воннегута «Бойня номер пять» вышел в Америке в 1969 году и был признан лучшей книгой года. К несомненным достоинствам романа следует отнести его резкую антивоенную направленность, правдивое отображение современной американской действительности с ее атмосферой жестокости и равнодушия к человеческим страданиям.

БОЙНЯ НОМЕР ПЯТЬ,
ИЛИ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ
(служебная пляска со смертью).
Автор —
КУРТ ВОННЕГУТ,
американец немецкого происхождения
(четвертое поколение),
который сейчас живет в прекрасных условиях
на мысе Код
“(и слишком много курит).
Он был американским пехотинцем
(нестроевой службы)
и, попав в плен,
стал свидетелем бомбардировки
немецкого города Дрездена
(«Флоренции на Эльбе»)
и может об этом рассказать,
потому что выжил.

Этот роман
отчасти написан
в слегка телеграфически-шизофреническом стиле,
как пишут
на планете Тральфамадор,
откуда появляются
летающие блюдца.
МИР.

*Посвящается
Мэри О'Хэйр и Герхарду Мюллеру.*

Ревут быки, теленок мычит.
Разбудили Христа-младенца,
Но он молчит.

1

Почти все это произошло на самом деле. Во всяком случае про войну тут почти все правда. Одного моего знакомого и в самом деле расстреляли в Дрездене за то, что он взял чужой чайник. Другой знакомый и в самом деле грозился, что перебьет всех своих личных врагов после войны при помощи наемных убийц. И так далее. Имена я все изменил.

Я действительно ездил в Дрезден на стипендию Гуггенхейма (дай им бог здоровья) в 1967 году. Город очень напоминал Дайтон, в штате Огайо, только больше площадей и скверов, чем в Дайтоне. Наверно, там, в земле, тонны муки из человеческих костей.

Ездил я туда со старым однополчанином, Бернардом В. О'Хэйром, и мы подружились с таксистом, который возил нас на бойню номер пять, куда нас, военнопленных, запирали на ночь. Звали таксиста Герхард Мюллер. Он нам рассказал, что побывал в плену у американцев. Мы его спросили, как живется при коммунистах, и он сказал, что сначала было плохо, потому что всем приходилось страшно много работать и не хватало ни еды, ни одежды, ни жилья. А теперь стало много лучше. У него уютная квартирка, дочь учится, получает отличное образование. Мать его сгорела во время бомбежки Дрездена. Такие дела.

Он послал О'Хэйру открытку к рождеству, и в ней было написано так:

«Желаю Вам и Вашей семье, а также Вашему другу веселого рождества и счастливого нового года и надеюсь, что мы снова встретимся в мирном и свободном мире, в моем такси, если захочет случай».

Мне очень нравится фраза «если захочет случай».

Ужасно неохота рассказывать вам, чего мне стоила эта треклятая книжонка — сколько денег, времени, волнений. Когда я вернулся домой после второй мировой войны, двадцать три года назад, я думал, что мне будет очень легко написать о разрушении Дрездена, потому что надо было только рассказать все, что я видел. И еще я думал, что выйдет высокохудожественное произведение или во всяком случае оно даст мне много денег, потому что тема такая важная.

Но я никак не мог придумать нужные слова про Дрезден, во всяком случае на целую книжку их не хватало. Да слова не приходят и теперь, когда я стал старым хрычом, с привычными воспоминаниями, с привычными сигаретами и взрослыми сыновьями.

И я думаю: до чего бесполезны все мои воспоминания о Дрездене и все же до чего соблазнительно было писать о Дрездене. И у меня в голове вертится старая озорная песенка:

Какой-то ученый доцент
Сердился на свой инструмент:
«Мне здоровье сорвал,
Капитал промотал,
А работать не хочешь, нахал!»

И вспоминаю я еще одну песенку:

Зовусь я Ион Ионсен,
Мой дом — штат Висконсин,
В лесу я работаю тут.
Кого ни встречаю,
Я всем отвечаю,
Кто спросит:
«А как вас зовут?»
Зовусь я Ион Ионсен,
Мой дом — штат Висконсин..

И так далее, до бесконечности.

Все эти годы знакомые меня часто спрашивали, над чем я работаю, и я обычно отвечал, что главная моя работа — книга о Дрездене.

Так я ответил и Гаррисону Старру, кинорежиссеру, а он поднял брови и спросил:

— Книга антивоенная?

— Да, — сказал я, — по-видимому, так.

— А знаете, что я говорю людям, когда слышу, что они пишут антивоенные книжки?

— Не знаю. Что же вы им говорите, Гаррисон Старр?

— Я им говорю: а почему бы вам вместо этого не написать антиледниковую книжку?

Конечно, он хотел сказать, что войны всегда будут и что остановить их так же легко, как остановить ледники. Я тоже так думаю.

И если бы войны даже не шли на нас, как ледники, все равно осталась бы обыкновенная матушка-смерть.

Когда я был помоложе и работал над своей пресловутой дрезденской книгой, я запросил старого своего однополчанина Бернарда В. О'Хэйра, можно ли мне приехать к нему. Он был окружным прокурором в Пенсильвании. Я был писателем на мысе Код. На войне мы были рядовыми разведчиками в пехоте. Никогда мы не надеялись на хорошие заработки после войны, но оба устроились неплохо.

Я поручил Центральной телефонной компании отыскать его. Они здорово это умеют. Иногда по ночам у меня бывают такие припадки, с алкоголем и телефонными звонками. Я напиваюсь, и жена уходит в другую комнату, потому что от меня несет горчичным газом и розами. А я, очень серьезно и элегантно, звоню по телефону и прошу телефонистку соединить меня с кем-нибудь из друзей, кого я не видел много лет.

Так я отыскал и О'Хэйра. Он низенький, а я высокий. На войне нас звали Пат и Паташон. Нас вместе взяли в плен. Я сказал ему по телефону, кто я такой. Он сразу поверил. Он не спал. Он читал. Все остальные в доме спали.

— Слушай, — сказал я. — Я пишу книжку про Дрезден. Ты бы помог мне кое-что вспомнить. Нельзя ли мне приехать к тебе, повидаться, мы бы выпили, поговорили, вспомнили о прошлом.

Энтузиазма он не проявил. Сказал, что помнит очень мало. Но все же сказал: приезжай.

— Знаешь, я думаю, что развязкой в книге должен быть расстрел этого несчастного Эдгара Дарби, — сказал я. — Подумай, какая ирония. Целый город горит, тысячи людей гибнут. А потом этого самого солдата-американца арестовывают среди развалин немцы: а то, что он взял чайник. И судят по его форме и расстреливают.

— Гм-мм, — сказал О'Хэйр.

— Ты согласен, что это должно стать развязкой?

— Ничего я в этом не понимаю, — сказал он, — это твоя специальность, а не моя.

Как специалист по развязкам, завязкам, характеристикам, изумительным диалогам, напряженнейшим сценам и столкновениям, я много раз набрасывал план книги о Дрездене. Лучший план, или во всяком случае самый красивый план, я набросал на куске обоев.

Я взял цветные карандаши у дочки и каждому герою придал свой цвет. На одном конце куска обоев было начало, на другом — конец, а в середине была середина книги. Красная линия встречалась с синей, а потом — с желтой, и желтая линия обрывалась, потому что герой, изображенный желтой линией, помирал. И так далее. Разрушение Дрездена изображалось вертикальным столбцом оранжевых крестиков, и все линии, оставшиеся в живых, проходили через этот переплет и выходили с другого конца.

Конец, где все линии останавливались, был в свекловичном поле на Эльбе, за городом Галле. Шел дождь. Война в Европе окончилась несколько недель назад. Нас построили в шеренги, и русские солдаты охраняли нас: англичан, американцев, голландцев, бельгийцев, французов, новозеландцев, австралийцев — тысячи бывших военнопленных.

А на другом конце поля стояли тысячи русских, и поляков, и югославов, и так далее, и их охраняли американские солдаты. И там, под дождем, шел обмен — одного на одного. О'Хэйр и я залезли в американский грузовик с другими солдатами. У О'Хэйра сувениров не было. А почти у всех других были. У меня была — и до сих пор есть — парадная сабля немецкого летчика. Отчаянный америкашка, которого я назвал в этой книжке Поль Лаззаро, вез около квартиры алмазов, изумрудов, рубинов и всякого такого. Он их снимал с мертвецов в подвалах Дрездена. Такие дела.

Дурак англичанин, потерявший где-то все зубы, вез свой сувенир в парусиновом мешке. Мешок лежал на моей ноге. Англичанин то и дело заглядывал в мешок, и вращал глазами, и крутил шеей, стараясь привлечь жадные взоры окружающих. И все время стучал меня мешком по ноге.

Я думал, это случайно. Но я ошибался. Ему ужасно хотелось кому-нибудь показать, что у него в мешке, и он решил довериться мне. Он перехватил мой взгляд, подмигнул и открыл мешок. Там была гипсовая модель Эйфелевой башни. Она вся была вызолочена. В нее были вделаны часы.

— Видал красоту? — сказал он.

И нас отправили на самолетах в летний лагерь во Франции, где нас поили молочными коктейлями с шоколадом и кормили всякими деликатесами, пока мы не покрылись молодым жирком. Потом нас отправили домой, и я женился на хошенькой девушке, тоже покрытой молодым жирком.

И мы завели ребят.

А теперь все они выросли, а я стал старым хрычом с привычными воспоминаниями, привычными сигаретами. Зовусь я Йон Йонсен, мой дом — штат Висконсин. В лесу я работаю тут.

Иногда поздно ночью, когда жена уходит спать, я пытаюсь позвонить по телефону старым своим приятельницам. Прошу вас, барышня, не можете ли вы дать мне номер телефона миссис такой-то, кажется, она живет там-то.

— Простите, сэр. Такой абонент у нас не значится.

— Спасибо, барышня. Большое вам спасибо.

И я выпускаю нашего пса погулять, и я впускаю его обратно, и мы с ним говорим по душам. Я ему показываю, как я его люблю, а он мне показывает, как он любит меня. Ему не противен запах горчичного газа и роз.

— Хороший ты малый, Сэнди, — говорю я ему. — Чувствуешь? Ты молодчага, Сэнди.

Иногда я включаю радио и слушаю беседу из Бостона или Нью-Йорка. Не выношу музыкальных записей, когда выпью как следует.

Раньше или позже я ложусь спать, и жена спрашивает меня, который час. Ей всегда надо знать время. Иногда я не знаю, который час, и говорю:

— Кто его знает..

Иногда я раздумываю о своем образовании. После второй мировой войны я некоторое время учился в Чикагском университете. Я был студентом факультета антропологии. В то время нас учили, что абсолютно никакой разницы между людьми нет. Может быть, там до сих пор этому учат.

И еще нас учили, что нет людей смешных, или противных, или злых. Незадолго перед смертью мой отец мне сказал:

— Знаешь, ты не написал ни одного рассказа, где изображался бы злодей.

Я ему сказал, что этому, как и многому другому, меня учили в университете после войны.

Пока я учился на антрополога, я работал полицейским репортером в знаменитом Бюро городских происшествий в Чикаго за двадцать шесть долларов в неделю. Как-то меня перевели из ночной смены в дневную, так что я работал шестнадцать часов подряд. Нас поддерживали все городские газеты и АП и ЮП¹ и все такое. И мы давали сведения о процессах, о происшествиях, о полицейских участках, о пожарах, о службе спасения на озере Мичиган и все такое. Мы были связаны со всеми поддерживающими нас учреждениями путем пневматических труб, проложенных под улицами Чикаго.

Репортеры передавали по телефону сведения журналистам, а те, слушая в наушники, отпечатывали отчеты о происшествиях на мимеографах, вкладывали оттиски в медные с бархатной прокладкой патроны, и пневматические трубы глотали эти патроны. Самыми прожженными репортерами были женщины, занявшие места мужчин, ушедших на войну.

И первое же происшествие, о котором я дал отчет, мне пришлось продиктовать по телефону одной из этих чертовых девок. Дело шло о молодом ветеране войны, которого устроили лифтером на лифт устаревшего образца в одной из контор. Двери лифта на первом этаже были сделаны в виде железной кружевной решетки. Железный плющ вился и переплетался. Там была и железная ветка с двумя целующимися голубками.

Ветеран решил спустить свой лифт в подвал, и он закрыл двери и стал было спускаться, но его обручальное кольцо зацепилось за одно из украшений. И его подняло на воздух, и пол лифта ушел у него из-под ног, а потолок лифта раздавил его. Такие дела.

Я все это передал по телефону, и женщина, которая должна была написать все это, спросила меня:

— А жена его что сказала?

— Она еще ничего не знает, — оказал я. — Это только что случилось.

— Позвоните ей и возьмите у нее интервью.

— Что-о-о?

— Скажите, что вы капитан Флинн из полицейского управления. Скажите, что у вас есть печальная новость. И расскажите ей все, и выслушайте, что она скажет.

Так я и сделал. Она сказала все, что можно было ожидать. Что у них ребенок. Ну, и вообще...

Когда я приехал в контору, эта корреспондентка спросила меня (просто из бабьего любопытства), как выглядел этот раздавленный человек, когда его расплющило.

Я ей рассказал.

¹ АП — Ассошиэйтед Пресс; ЮП — Юнайтед Пресс.

— А вам было неприятно? — спросила она. Она жевала шоколадную конфету «Три мушкетера».

— Что вы, Нэнси, — сказал я. — На войне я видал кой-чего и похуже.

Я уже тогда прикидывал в уме книгу про Дрезден. Тогдашним американцам эта бомбежка вовсе не казалась чем-то выдающимся. В Америке не многие знали, насколько это было страшнее, чем, например, Хиросима. И я не знал. О дрезденской бомбежке мало что было известно.

Случайно я рассказал одному профессору Чикагского университета — мы встретились на коктейле — о налете, который мне пришлось видеть, и о книге, которую я собираюсь написать. Он был членом так называемого Комитета по изучению социальной мысли. И он стал мне рассказывать про концлагеря и про то, как фашисты делали мыло и свечи из жира убитых евреев и всякое другое.

Я мог только повторять одно и то же:

— Знаю. Знаю. Знаю.

Конечно, вторая мировая война всех очень ожесточила. А я стал заведующим отделом внешней связи при компании «Дженерал электрик», в Шенектеди, штат Нью-Йорк, и добровольцем пожарной дружины в поселке Альпос, где я купил свой первый дом. Мой начальник был одним из самых крутых людей, каких я встречал. Надеюсь, что никогда больше не столкнусь с таким крутым человеком, как бывший мой начальник. Он был раньше подполковником, служил в отделе связи компании, в Балтиморе. Когда я служил в Шенектеди, он примкнул к голландской реформистской церкви, а церковь эта тоже довольно крутая.

Часто он с издевкой спрашивал меня, почему я не дослужился до офицерского чина. Как будто я сделал что-то скверное.

Мы с женой давно спустили наш молодой жирок. Пошли наши тощие годы. И дружили мы с тощими ветеранами войны и с их тощенькими женами. По-моему, самые симпатичные из ветеранов, самые добрые, самые занятные и ненавидящие войну больше всех, — это те, кто сражался по-настоящему.

Тогда я написал в управление военно-воздушных сил, чтобы выяснить подробности налета на Дрезден: кто приказал бомбить город, сколько было послано самолетов, зачем нужен был налет и что этим выиграли. Мне ответил человек, который, как и я, занимался внешними связями. Он писал, что очень сожалеет, но все сведения до сих пор совершенно секретны.

Я прочел письмо вслух своей жене и сказал:

— Господи ты боже мой, совершенно секретны — да от кого же?

Тогда мы считали себя членами Мировой Федерации. Не знаю, кто мы теперь. Наверно, телефонщики. Мы ужасно много звоним по телефону — во всяком случае я, особенно по ночам.

Через несколько недель после телефонного разговора с моим старым другом-однополчанином Бернардом В. О'Хэйром я действительно съездил к нему в гости. Было это году в 1964 или около того — в общем, в последний год Международной выставки в Нью-Йорке. Увы, проходят быстротечные годы. Зовусь я Йон Йонсен... Какой-то ученый доцент...

Я взял с собой двух девчуток, мою дочку Нанни и ее лучшую подружку Элисон Митчелл. Они никогда не выезжали с мыса Код. Когда мы увидели реку, пришлось остановить машину, чтобы они постояли, поглядели, подумали. Никогда в жизни они еще не видели воду в таком длинном, узком и несоленом виде. Река называлась Гудзон. Там плавали карпы, и мы их видели. Они были огромные, как атомные подводные лодки.

Видели мы и водопады, потоки, скачущие со скал в долину Делавава. Много чего надо было посмотреть, и я останавливал машину. И всегда пора было ехать,

всегда — пора ехать. На девчурках были нарядные белые платья и нарядные черные туфли, чтобы все встречные видели, какие это хорошие девочки.

— Пора ехать, девочки,— говорил я. И мы уезжали.

И солнце зашло, и мы поужинали в итальянском рестораничке, а потом я постучал в двери красивого каменного дома Бернарда В. О'Хэйра. Я держал бутылку ирландского виски, как колокольчик, которым созывают к обеду.

Я познакомился с его милейшей женой, Мэри, которой я посвящаю эту книгу. Еще я посвящаю книгу Герхарду Мюллеру, дрезденскому таксисту. Мэри О'Хэйр — медицинская сестра, чудесное занятие для женщины.

Мэри полюбовалась двумя девчушками, которых я привез, познакомила их со своими детьми и всех отправила наверх — играть и смотреть телевизор. И только когда все дети ушли, я почувствовал: то ли я не нравлюсь Мэри, то ли ей что-то в этом вечере не нравится. Она держалась вежливо, но холодно.

— Славный у вас дом, уютный,— сказал я, и это была правда.

— Я вам отвела место, где вы сможете поговорить, там вам никто не мешает,— сказала она.

— Отлично,— сказал я и представил себе два глубоких кожаных кресла у камина в кабинете с деревянными панелями, где два старых солдата смогут выпить и поговорить. Но она привела нас на кухню. Она поставила два жестких деревянных стула у кухонного стола с белой фаянсовой крышкой. Эта крышка дико резала глаза, отражая свет двухсотсвечевой лампы над головой. Мэри приготовила нам операцию. Она поставила на стол один-единственный стакан, для меня. Она объяснила, что ее муж после войны не переносит спиртных напитков.

Мы сели за стол. О'Хэйр был смущен, но объяснять мне, в чем дело, он не стал. Я не мог себе представить, чем я мог так рассердить Мэри. Я был человек семейный. Женат был только раз. И алкоголиком не был. И ничего плохого ее мужу во время войны не сделал.

Она налила себе кока-колы и с грохотом высыпала лед из морозилки над раковиной нержавеющей стали. Потом она ушла в другую половину дома. Но и там она не сидела спокойно. Она металась по всему дому, хлопала дверьми, даже двигала мебель, чтобы на чем-то сорвать злость.

Я спросил О'Хэйра, что я такого сделал или сказал, чем я ее прогневил.

— Ничего, ничего,— сказал он.— Не беспокойся. Ты тут ни при чем.

Это было очень мило с его стороны. Но он врал. Я тут был очень при чем.

Мы попытались не обращать внимания на Мэри и вспомнить войну. Я отпил немножко из бутылки, которую принес. И мы посмеивались, улыбались, как будто нам что-то припомнилось, но ни он, ни я ничего хорошего вспомнить не могли. О'Хэйр вдруг вспомнил одного малого, который попал на винный склад в Дрездене до бомбежки, и нам пришлось отвезить его домой на тачке. Об этом в книжке не напишешь. Я вспомнил двух русских солдат. Они везли полную телегу будильников. Они были веселы и довольны. Они курили огромные сигарки, свернутые из газеты.

Вот примерно все, что мы вспомнили, а Мэри все еще шумела. Потом она пришла на кухню налить себе кока-колы. Она выхватила еще одну морозилку из холодильника и грохнула лед в раковину, хотя льда было предостаточно.

Потом повернулась ко мне, чтобы я видел, как она сердится и что сердится она на меня. Очевидно, она все время разговаривала сама с собой, и фраза, которую она сказала, прозвучала как отрывок длинного разговора.

— Да вы же были тогда совсем детьми! — сказала она.

— Что? — переспросил я.

— Вы были на войне просто детьми, как наши ребята наверху.

Я кивнул головой — ее правда. Мы были на войне неразумными детьми, совсем еще детьми.

— Но вы же так не напишете, верно? — сказала она. Это был не вопрос — это было обвинение.

— Я... я сам не знаю, — сказал я.

— Зато я знаю, — сказала она. — Вы притворитесь, что вы были вовсе не детьми, а настоящими мужчинами, и вас в кино будут играть всякие Фрэнки Синатры и Джоны Уэйны или еще какие-нибудь знаменитости, скверные старики, которые обожают войну. И война будет выглядеть замечательно, и пойдут войны одна за другой. А драться будут дети, вон как те наши дети наверху.

И тут я все понял. Вот отчего она так рассердилась. Она не хотела, чтобы на войне убивали ее детей, чьих угодно детей. И она думала, что книжки и кино отчасти оправдывают войны.

И тут я поднял правую руку и торжественно обещал ей.

— Мэри, — сказал я, — боюсь, что эту свою книгу я никогда не кончу. Я уже написал тысяч пять страниц и все выбросил. Но если я когда-нибудь эту книгу кончу, то даю вам честное слово, что никакой роли ни для Фрэнка Синатры, ни для Джона Уэйна в ней не будет. И знаете что, — добавил я, — я назову книгу «Крестовый поход детей».

После этого она стала моим другом.

Мы с О'Хэйром бросили вспоминать, перешли в гостиную и заговорили про всякое другое. Нам захотелось подробнее узнать о настоящем крестовом походе детей, и О'Хэйр достал книжку из своей библиотеки под названием «Удивительные заблуждения народов и безумства толпы», написанную Чарльзом Макэй, доктором философических наук, и изданную в Лондоне в 1841 году.

Макэй был неважного мнения обо всех крестовых походах. Крестовый поход детей казался ему только немного мрачнее, чем десять крестовых походов взрослых. О'Хэйр прочел вслух этот прекрасный отрывок:

Историки сообщают нам, что крестоносцы были людьми дикими и невежественными, что вело их неприкрытое ханжество и что путь их был залит слезами и кровью. Но романисты, с другой стороны, приписывают им благочестие и героизм и в самых пламенных красках рисуют их добродетели, их великодушие, вечную славу, каковую они заслужили, возданную им по заслугам, и неизмеримые благодеяния, оказанные ими делу христианства.

А дальше О'Хэйр прочел вот что:

Но каковы же были истинные результаты всех этих битв? Европа растратила миллионы своих сокровищ и пролила кровь двух миллионов своих сынов, а за это кучка сварливых рыцарей овладела Палестиной на сто с небольшим лет.

Макэй рассказывает нам, что крестовый поход детей начался в 1213 году, когда у двух монахов зародилась мысль собрать армии детей во Франции и Германии и продать их в рабство на севере Африки. Тридцать тысяч детей вызвалось отправиться, как они думали, в Палестину.

Должно быть, это были дети без призора, без дела, каких множество бродит по большим городам, — пишет Макэй, — дети, выпестованные пороками и отвагой и гоювые на любое дело.

Папа Иннокентий Третий тоже считал, что дети отправляются в Палестину, и пришел в восторг. «Дети бдят, пока мы дремлем!» — воскликнул он.

Большая часть детей была отправлена на кораблях из Марселя, и примерно половина погибла при кораблекрушениях. Остальных высадили в Северной Африке, где их продали в рабство.

По какому-то недоразумению часть детей сочла местом отправки Геную, где их вовсе не ждали. Их приютили, накормили, расспросили добрые люди и, дав им немножко денег и много советов, отправили по домам.

В эту ночь меня уложили спать в одной из детских. О'Хэйр положил мне на ночной столик книжку. Называлась она «Дрезден. История, театры и галерея», автор Мэри Энделл. Книга вышла в 1908 году и предисловие начиналось так:

Надеюсь, что эта небольшая книга принесет пользу. В ней сделана попытка дать читающей английской публике обзор Дрездена с птичьего полета, объяснить, как город обрел свой архитектурный облик, как он развивался в музыкальном отношении благодаря гению нескольких человек, а также обратить взор читателя на некоторые бессмертные явления в искусстве, кои привлекают к Дрезденской галерее внимание тех, кто ищет неизгладимых впечатлений.

Я еще немножко почитал историю города:

В 1760 году Дрезден был осажден пруссаками. Пятнадцатого июля началась канонада. Картинную галерею охватил огонь. Многие картины были перенесены в Кенигштейн, но некоторые сильно пострадали от осколков снарядов — особенно «Крещение Христа» кисти Франсиа. Вслед затем величественная башня Крестовой церкви, с которой день и ночь следили за передвижением противника, была охвачена пламенем. В противовес печальной судьбе Крестовой церкви церковь Пресвятой Девы осталась нетронутой, и от каменного ее купола прусские снаряды отлетали, как дождевые капли. Наконец Фридриху пришлось снять осаду, так как он узнал о падении Глатца, средоточия его недавних завоеваний. «Нам должно отступить в Силезию, дабы не потерять все», — сказал он.

Разрушения в Дрездене были неисчислимы. Когда Гёте, юным студентом, посетил город, он все еще застал унылые руины: «С купола церкви Пресвятой Девы я увидал сии горькие останки, рассеянные среди превосходной планировки города; и тут церковный служака стал похваляться передо мной искусством зодчего, который в предвидении столь нежеланных случайностей укрепил церковь и купол ее против снарядного огня. Добрый служитель указал мне затем на руины, видневшиеся повсюду, и сказал раздумчиво и кратко: «Дело рук врага».

На следующее утро мы с девчурками пересекли реку Делавар, там, где ее пересекал Джордж Вашингтон. Мы поехали на Международную выставку в Нью-Йорке, поглядели на прошлое с точки зрения Автомобильной компании Форда и Уолта Диснея и на будущее с точки зрения компании «Дженерал моторз».

А я спросил себя о настоящем: какой оно ширины, какой глубины, сколько мне из него достанется?

В течение двух следующих лет я вел творческий семинар в знаменитом кабинете писателя при университете штата Айова. Я попал в невероятнейший переплет, потом выбрался из него. Преподавал я во вторую половину дня. По утрам я писал. Мешать мне не разрешалось. Я работал над моей знаменитой книгой о Дрездене.

А где-то там милейший человек по имени Симор Лоуренс заключил со мной договор на три книги, и я ему сказал:

- Ладно, первой из трех будет моя знаменитая книга про Дрезден.
- Друзья Симора Лоуренса зовут его «Сэм», и теперь я говорю Сэму:
- Сэм, вот она, эта книга.

Книга такая короткая, такая путаная, Сэм, потому что ничего вразумительного про бойню написать нельзя. Предполагается, что все умрут, что больше никто ничего не скажет, ничего не захочет. Предположительно, после бойни наступит огромная тишина, да и вправду все затихает, кроме птиц.

А что скажут птицы? Одно они только и могут сказать о бойне: «Пьюти-фьют?»

Я сказал своим сыновьям, чтобы они ни в коем случае не принимали участия в бойнях и чтобы, услышав об избитии врагов, они не испытывали бы ни радости, ни удовлетворения.

И еще я им сказал, чтобы они не работали на те компании, которые производят механизмы для массовых убийств, и с презрением относились бы к людям, считающим, что такие механизмы нам необходимы.

Как я уже сказал, я недавно ездил в Дрезден со своим другом, О'Хэйром. Мы ужасно много смеялись и в Гамбурге, и в Западном Берлине, и в Восточном Берлине, и в Вене, и в Зальцбурге, и в Хельсинки, и в Ленинграде тоже. Мне это очень пошло на пользу, потому что я увидел настоящую обстановку для тех выдуманных историй, которые я когда-нибудь напишу. Одна будет называться «Русское барокко», другая «Целоваться воспрещается» и еще одна «Долларовый бар», а еще одна «Если захочет случай» и так далее.

Да,— и так далее.

Самолет «Люфтганзы» должен был вылететь из Филадельфии, через Бостон, во Франкфурт. О'Хэйр должен был сесть в Филадельфии, а я в Бостоне, и — в путь! Но Бостон был залит дождем, и самолет прямо из Филадельфии улетел во Франкфурт. И я стал непассажиrom в бостонском тумане, и «Люфтганза» посадила меня в автобус с другими непассажирами и отправила нас в отель на неночевку.

Время остановилось. Кто-то шалил с часами, и не только с электрическими часами, но и с будильниками. Вторая стрелка на моих часах дергалась — и проходил год, и потом она дергалась снова.

Я ничего не мог поделать. Как землянин, я должен был верить часам — и календарям тоже.

У меня были с собой две книжки, я их собирался читать в самолете. Одна была сборник стихов Теодора Рётке «Слова на ветер», и вот что я там нашел:

Проснусь — и медлю отойти от сна.
Ищу судьбу везде, где страха нет.
Учусь идти, куда мой путь ведет.

Вторая моя книжка была написана Эрикой Островской и называлась «Селин и его видение мира». Селин был храбрым солдатом французской армии в первой мировой войне, пока ему не раскроили череп. После этого он страдал бессонницей, шумом в голове. Он стал врачом и в дневное время лечил бедняков, а всю ночь писал странные романы. Искусство невозможно без пляски со смертью, писал он.

«Истина — в смерти,— писал он.— Я успешно боролся со смертью, пока мог... я с ней плясал, осыпал ее цветами, кружил в вальсе... украшал лентами... щенчал ее...»

Его преследовала мысль о времени. Мисс Островская напомнила мне потрясающую сцену из романа «Смерть в кредит», где Селин пытается остановить суету уличной толпы. С его страниц несется визг: «Остановите их... не давайте им двигаться... Скорей, заморозьте их... навеки... Пусть так и стоят...»

Я поискал в Библии, на столике в мотеле, описание какого-нибудь огромного разрушения.

*Солнце взошло над землю, и Лот пришел в Сигор.
И Господь пролил на Содом и Гоморр серу и огонь от Господа с неба.
И ниспроверг эти города и всю эту окрестность
И всех жителей этих городов и произрастания земли.*

Такие дела.

В обоих городах, как известно, было много плохих людей. Без них мир стал лучше. И конечно, жене Лота не велено было оглядываться туда, где были все эти люди и их жилища. Но она оглянулась, за что я ее и люблю, потому что это было так человечно.

И она превратилась в соляной столб. Такие дела.

Нельзя людям оглядываться. Больше я этого делать, конечно, не стану. Теперь я кончил свою военную книгу. Следующая книга будет очень смешная.

А эта книга не удалась, потому что ее написал соляной столб.

Начинается она так:

«С л у ш а й т е!

Б и л л и П и л и г р и м о т к л ю ч и л с я о т в р е м е н и .

А к о н ч а е т с я т а к :

« П ь ю т н - ф ь ю т ? »

2

Слушайте!

Билли Пилигрим отключился от времени.

Билли лег спать пожилым вдовцом, а проснулся в день свадьбы. Он вошел в дверь в 1955 году, а вышел из другой двери в 1941-м. Потом вернулся через ту же дверь и очутился в 1963 году. Он говорит, что много раз видел и свое рождение, и свою смерть и то и дело попадал в разные другие события своей жизни между рождением и смертью.

Так он говорит.

Билли путешествует во времени рывками и не властен над тем, куда он сейчас попадет, да и не всегда это приятно. Он постоянно нервничает, как актер перед выступлением, потому что не знает, какую часть своей жизни он сейчас должен будет сыграть.

Билли родился в Илиуме, штат Нью-Йорк, в семье парикмахера. Он был странноватым мальчиком и стал странноватым юнцом -- высоким и слабым, похожим на бутылку из-под кока-колы. Он окончил илиумскую гимназию в первом десятке своего класса и проучился один семестр на вечерних курсах оптометристов, в том же Илиуме, перед тем, как его призвали на военную службу: шла вторая мировая война. Во время этой войны отец его погиб на охоте. Такие дела.

Билли воевал в пехоте в Европе и попал в плен к немцам. После демобилизации в 1945 году Билли снова поступил на оптометрические курсы. На последнем семестре он обручился с дочкой основателя и владельца курсов, а потом заболел легким нервным расстройством.

Его поместили в военный госпиталь близ Лэйк Плэсид, лечили электрошоком и вскоре выписали. Он женился на своей нареченной, окончил курсы, и тесть устроил его у себя в деле. Илиум -- особенно выгодное место для оптиков, потому что там расположена Всеобщая сталелитейная компания. Каждый служащий компании обязан иметь пару защитных очков и надевать их на производстве. В Илиуме у компании служило шестьдесят восемь тысяч человек. Значит, нужно было изготовить массу линз и массу оправ.

Оправы -- самое денежное дело.

Билли разбогател. У него было двое детей -- Барбара и Роберт. Со временем Барбара вышла замуж, тоже за оптика, и Билли принял его в дело. Сын Билли, Роберт, плохо учился, но потом он поступил в знаменитую воинскую часть «зеленые береты»¹. Он выправился, стал красивым юношей и сражался во Вьетнаме.

В начале 1968 года группа оптометристов, где был и Билли, наняла спе-

¹ Диверсионное подразделение американской армии, получившее печальную известность жестокими расправами с партизанами.

циальный самолет — они летели из Илиума на международный оптометрический съезд в Монреале. Самолет разбился над горами Шугарбуш в Вермонте. Все погибли, кроме Билли. Такие дела.

Пока Билли приходил в себя в одной из вермонтских больниц, его жена скончалась от случайного отравления углекислым газом. Такие дела.

После катастрофы Билли вернулся в Илиум и вначале был очень спокоен. Через всю макушку у него шел чудовищный шрам. Практикой он больше не занимался. За ним ухаживала экономка. Дочка приезжала к нему почти каждый день.

И вдруг без всякого предупреждения Билли поехал в Нью-Йорк и выступил по вечерней программе, обычно передававшей всякие беседы. Он рассказал, как он отключился от времени. Он также сказал, что в 1967 году его похитило летающее блюдо. Блюде это, сказал он, прилетело с планеты Тральфамадор. И его отвезли на Тральфамадор и там показывали в голом виде посетителям зоопарка. Там его спарили с бывшей кинозвездой, тоже с Земли, по имени Монтана Уайлдебек.

Какие-то бессонные граждане в Илиуме услышали Билли по радио, и один из них позвонил его дочери Барбаре. Барбара расстроилась. Они с мужем поехали в Нью-Йорк и привезли Билли домой. Билли мягко, но упорно настаивал, что говорил по радио чистую правду. Он сказал, что его похитили тральфамадорцы в день дочкиной свадьбы. Никто его не хватился. объяснил он, потому что тральфамадорцы провели его по такому витку времени, что он мог годами пребывать на Тральфамадоре, а на Земле отсутствовать одну микросекунду.

Прошел еще месяц, без всяких инцидентов, а потом Билли написал письмо в «Новости Илиума», и газета опубликовала это письмо. В нем описывались существа с Тральфамадора.

В письме говорилось, что они двух футов ростом, зеленые и напоминают по форме «прокачку» — ту штуку, которой водопроводчики прокачивают трубы. Присосок у них касается почвы, а чрезвычайно гибкие стержни обычно смотрят вверх. Каждый стержень кончается маленькой рукой с зеленым глазом на ладони. Существа настроены вполне дружелюбно и умеют видеть все в четырех измерениях. Они жалеют землян, оттого что те могут видеть только три измерения. Они могут рассказать землянам чудеснейшие вещи, особенно про время. Билли обещал рассказать в своем следующем письме о многих чудеснейших вещах, которых его научили тральфамадорцы.

Когда появилось первое письмо, Билли уже работал над вторым. Второе письмо начиналось так:

«Самое важное, что я узнал на Тральфамадоре, это то, что когда человек умирает, нам это только кажется. Он все еще жив в прошлом, так что очень глупо плакать на его похоронах. Все моменты прошлого, настоящего и будущего всегда существовали и всегда будут существовать. Тральфамадорцы умеют видеть разные моменты совершенно так же, как мы можем видеть всю цепь Скалистых гор. Они видят, насколько все эти моменты постоянны, и могут рассматривать тот момент, который их сейчас интересует. Только у нас, на Земле, существует иллюзия, что моменты идут один за другим, как бусы на нитке, и что если мгновение прошло, оно прошло бесповоротно.

Когда тральфамадорец видит мертвое тело, он думает, что этот человек в данный момент просто в плохом виде, но он же вполне благополучен во многие другие моменты. Теперь, когда я слышу, что кто-то умер, я только пожимаю плечами и говорю, как сами тральфамадорцы говорят о покойниках: «Такие дела».

И так далее.

Билли сочинял письмо в подвальном помещении своего пустого дома, где был свален всякий хлам. У экономки был выходной день. В подвале стояла ста-

рая пишущая машинка... Рухлядь, а не машинка. Она весила больше, чем котел отопления. Билли не мог ее перенести в другое место, оттого и писал в захламленном подвале, а не у себя в комнате.

Котел отопления испортился. Мышь прогрызла изоляцию на проводе термостата. Температура в доме упала до пятидесяти по Фаренгейту, но Билли ничего не замечал. И одет он был не слишком тепло. Он сидел босой, все еще в пижаме и халате, хотя дело шло к вечеру. Его босые ноги были цвета слоновой кости с просинью.

Но сердце у Билли горело радостью. Оно горело оттого, что Билли верил и надеялся принести многим людям утешение, открыв им правду о времени. У входной двери без конца заливался звонок. Пришла его дочь Барбара. В конце концов она отперла двери своим ключом и прошла у него над головой, крича: «Папа, папочка, где ты?» — и так далее.

Билли не откликнулся, и она впала в совершенную истерику, решив, что сейчас найдет его труп. И наконец заглянула в самое неожиданное место — в подвальную кладовку.

— Почему ты не отвечал, когда я звала? — спросила Барбара, стоя в дверях подвала. В руке она сжимала номер газеты, где Билли описывал своих знакомцев с Тральфамадора.

— А я тебя не слышал, — сказал Билли.

Партии в этом оркестре на данный момент были распределены так: Барбаре было всего двадцать один год, но она считала своего отца престарелым — хотя ему-то было всего сорок шесть, — престарелым, потому что ему повредило мозги во время самолетной катастрофы. И еще она считала себя главой семьи, потому что ей пришлось хлопотать на похоронах матери, а потом нанимать экономку для Билли и все такое. А кроме того, Барбаре с мужем приходилось распоряжаться денежными делами Билли, и притом довольно значительными суммами, так как Билли с некоторых пор совершенно наплевательски относился к деньгам. И из-за всей этой ответственности в таком юном возрасте она стала довольно противной особой. А между тем Билли старался сохранить свое достоинство, доказать Барбаре и всем остальным, что он вовсе не постарел и, напротив, посвятил себя гораздо более важному делу, чем прежняя его работа.

Он считал, что сейчас он прописывает душам землян корректирующие очки — ни более ни менее. Билли считал, что на Земле столько несчастных заблудших душ, потому что они не могут видеть все так же ясно, как его маленькие друзья-тральфамадорцы.

— Не лги мне, отец, — сказала Барбара. — Я отлично знаю, что ты слышал, как я тебя звала.

Она была довольно хорошенькая, только ноги у нее были как ножки у старинного рояля. Она стала ругательски ругать Билли за письмо в газету. Она сказала, что он выставляет на посмешище себя и всех, кто с ним связан.

— Ах, отец, отец, отец, — okazала Барбара, — ну что нам с тобой делать? Хочешь заставить нас отправить тебя туда, где твоя мама?

Дело в том, что мать Билли еще была жива. Она лежала без движения в пансионе для престарелых, в так называемом Сосновом Бору, на окраине Илиума.

— Да что тебя так рассердило в моем письме? — спросил Билли.

— Но это сплошной бред! Там все неправда.

— Нет, все правда. — Билли не сердился, как сердилась она. Он никогда ни на кого не сердился. Удивительный у него был характер.

— Нет такой планеты Тральфамадор!

— То есть ты хочешь сказать, что ее не видно с Земли, — сказал Билли. — А с Тральфамадора Земли не видать, понимаешь? Обе планеты очень малы. И расстояние между ними огромное.

— Откуда ты взял такое дурацкое название — Тральфамадор?

— Так ее называют существа, живущие там.

— О господи! — сказала Барбара и повернулась к нему спиной. Она хлопнула в ладоши, как бы подчеркивая обиду: — Разреши задать тебе простой вопрос?

— Конечно, пожалуйста.

— Почему ты никогда обо всем этом не говорил до катастрофы с самолетом?

— Считаю, что время еще не на зрело.

Ну, и так далее. Билли говорил, что впервые отключился от времени в 1944 году, задолго до полета на Тральфамадор. Тральфамадорцы тут были ни при чем. Они просто помогли ему понять то, что происходило на самом деле.

Впервые Билли отключился от времени, когда еще шла вторая мировая война.

На войне Билли служил помощником капеллана. Обычно в американской армии помощник капеллана — фигура комическая. Не был исключением и Билли. Он никак не мог ни повредить врагам, ни помочь друзьям. Фактически друзей у него и не было. Он был службой при священнике, ни повышений, ни наград не ждал, оружия не носил и смиренно верил в Иисуса кротчайшего, а большинство американских солдат считали это юродством.

Во время маневров в Южной Каролине Билли играл знакомые с детства гимны на маленьком черном органе, покрытом непромокаемым чехлом. На органе было тридцать девять клавишей и две педали — *vox humana* и *vox celestis*¹. Кроме того, в распоряжении у Билли был переносный алтарь, что-то вроде складной папки с выдвигаемыми ножками. Папка была оклеена внутри алым плюшем, и в этот жаркий плюш был вделан алюминиевый полированный крест, а под ним — Библия.

И алтарь и орган были сделаны на фабрике пылесосов, в Нью-Джерси, о чем свидетельствовала марка фирмы.

Однажды во время маневров в Каролине Билли играл гимн «Твердыня веры наш господь» — музыка Иоганна Себастиана Баха, слова Мартина Лютера. Это было утром в воскресенье, и Билли со своим капелланом собрали человек пятьдесят солдат на каролинском холме. Вдруг появился наблюдатель. На маневрах было полным-полно наблюдателей, людей, которые сообщали, кто победил и кто проиграл в условных боях, кто живой, а кто мертвый.

Наблюдатель принес смешную весть. Оказывается, молящихся условно захватил с воздуха условный неприятель. И все они были условно убиты. Условные трупы захохотали и с удовольствием как следует позавтракали.

Вспоминая этот случай много позднее, Билли был поражен, насколько эта история была в тральфамадорском духе — быть убитым и в то же время завтракать.

К концу маневров Билли получил внеочередной отпуск, потому что его отца нечаянно подстрелил товарищ, с которым они охотились на оленей. Такие дела.

Когда Билли вернулся из отпуска, его ждал приказ — отправиться за море. Его затребовал штаб одного из пехотных полков, сражавшихся в Люксембурге. Помощник полкового капеллана был там убит в бою. Такие дела.

Полк, куда явился Билли, в это время изничтожался немцами в известном бою при Балже. Билли даже не встретился с капелланом, к которому был назначен помощником, ему даже не успели выдать ни стального шлема, ни сапог. Было это в декабре 1944 года, во время последнего массированного наступления германской армии.

Билли спасся, но, совершенно обалделый, побрел куда-то, далеко за новые

¹ Голос человеческий и глас небесный (лат.).

позиции немцев. Три других спутника, не таких обалделых, как Билли, позволили ему брести за ними. Двое из них были разведчиками, третий — стрелок противотанкового полка. Ни продовольствия, ни карты у них не было. Избегая немцев, они все глубже уходили в предательскую сельскую тишину. Они ели снег.

Шли они цепочкой. Первыми шли разведчики, ловкие, складные, спокойные. У них были винтовки. За ними шел стрелок, неуклюжий и туповатый малый, держа наготове против немцев в одной руке автоматический кольт, а в другой — охотничий нож.

Последним брел Билли с пустыми руками, уныло ожидая смерти. Билли выглядел нелепо: высокий, шесть футов три дюйма, грудь и плечи — как большой коробок спичек. У него не было ни шлема, ни шинели, ни оружия, ни сапог. На ногах у него были дешевые, глубоко гражданские открытые туфли, купленные для похорон отца. Один каблук отвалился, и Билли шел прихрамывая, вверх-вниз, вверх-вниз. От невольного пританцовывания болели все суставы.

На нем была тонкая форменная куртка, рубаха и брюки из кусачей шерсти, а под ними — длинные кальсоны, мокрые от пота. Из всех он один был с бородой. Борода была растрепанная, щетинистая, и некоторые щетинки были совсем седые, хотя Билли исполнился только двадцать один год. Он начинал лысеть. От ветра, холода и быстрой ходьбы лицо у него побагровело.

Он был совершенно не похож на солдата. Он походил на немытого фламинго.

Так они прошатались два дня, а на третий день кто-то выстрелил по их четверке — они как раз переходили узкую мощеную дорожку. Один выстрел предназначался разведчикам. Второй — стрелку, которого звали Роланд Вири.

А третья пуля полетела в немытого фламинго, и он застыл на месте посреди дороги, когда смертельная пчела прожужжала мимо его уха. Билли вежливо остановился — надо же дать снайперу еще одну возможность. В его путаном представлении о правилах ведения войны мелькнула мысль, что снайперу надо дать попробовать еще разок.

Вторая пуля чуть не задела коленную чашечку Билли и, судя по звуку, пролетела в каком-нибудь дюйме.

Роланд Вири и оба разведчика уже благополучно спрятались в канаве, и Вири зарычал на Билли: «Уйди с дороги, мать твою трам-тарарам». Тогда, в 1944 году, этот глагол редко употреблялся вслух. Билли очень удивился, а так как он сам еще никогда никого не «трам-тарарам», эти слова прозвучали очень свежо и возымели действие. Он очнулся и убежал с дороги.

«Опять спас тебе жизнь, дурак такой-растакой», — сказал Вири, когда Билли спрыгнул в канаву. Он сто раз на дню спасал Билли жизнь: ругал его на чем свет стоит, бил, толкал, чтобы тот не останавливался. Это была необходимая жестокость, потому что Билли ничего не желал делать для своего спасения. Билли хотелось все бросить. Он замерз, оголодал, растерялся, ничего не умел. Он еле различал сон от бдения, а на третий день уже не ощущал никакой разницы — шел он или стоял на месте. Он хотел одного — чтобы его оставили в покое. «Идите без меня, ребята», — повторял он без конца.

Вири тоже был новичком на войне. И его прислали взамен другого. Он попал в орудийный расчет и помог выпустить один свирепый снаряд — из пятидесятимиллиметровой противотанковой пушки. Снаряд вжикнул, как молния на брюках самого Вседержителя. Снаряд сожрал снег и траву, словно пламя огнемета в тридцать футов длиной. Пламя оставило на земле черную стрелу, точно укававшую немцам, где стояла пушка. В цель снаряд не попал.

А целью был танк «тигр». Слово приняхиваясь, он поворачивал свою восьмидесятимиллиметровую морду, пока не увидел стрелу на земле. Танк выстрелил. Выстрел убил весь орудийный расчет, кроме Вири. Такие дела.

Роланду Вири было всего восемнадцать лет, и за его спиной лежало несчастливое детство, проведенное главным образом в Питтсбурге, штат Пенсильвания. В

Питтсбурге его не любили. Не любили его за то, что он был глупый, жирный и подлый и от него пахло салом, сколько он ни мылся. Его вечно отшивали ребята, не желавшие с ним водиться.

Вири терпеть не мог, когда его отшивали. Его отошьют — а он найдет мальчишку, которого ребята не любят еще больше, чем его, и начинает притворяться, что хорошо к нему относится. Сначала дружит с ним, а потом найдет какой-нибудь предлог и избьет до полусмерти.

И так всегда. Отношения с ребятами у него шли как по плану — гнусные, полуэротические, кровожадные. Вири рассказывал им про коллекцию своего отца — тот собирал ружья, сабли, орудия пыток, кандалы, наручники и всякое такое. Отец Вири был водопроводчиком, действительно коллекционировал такие штуки, и его коллекция была застрахована на четыре тысячи долларов. И он был не один. Он был членом большого клуба, куда входили любители таких коллекций.

Отец Вири однажды подарил его мамаше вместо пресс-палье настоящие испанские тиски для пальцев, в полной исправности. Другой раз он ей подарил настольную лампу, а подставка, в фут длиной, изображала знаменитую «железную деву» из Нюрнберга. Подлинная «железная дева» была средневековым орудием пытки, что-то вроде котла, снаружи похожего на женщину, а внутри усаженного шипами... Спереди женщина раскрывалась двумя дверцами на шарнирах. Замысел был такой: посадить туда преступника и медленно закрывать дверцы. Внутри были два специальных шипа на том месте, куда приходились глаза жертвы. На дне был сток, чтобы выпускать кровь.

Вот такие дела.

Вири рассказывал Билли Пилигриму про «железную деву», про сток на дне и зачем его там устроили. Он рассказал Билли про пули дум-дум. Он рассказал ему про пистолет системы Деррингера, который можно было носить в кармане, а дырку в человеке он делал такой величины, что «летучая мышь могла пролететь и крылышек не запачкать».

Вири с презрением предложил побиться с Билли об заклад, что тот даже не знает, что значит «сток для крови». Билли предположил, что это дырка на дне «железной девы», но он не угадал. Стоком для крови, объяснил Вири, назывался неглубокий желобок на лезвии сабли или штыка.

Вири рассказывал Билли про всякие затейливые пытки — он про них и читал, и в кино посмотрелся, и по радио наслушался — и про всякие другие затейливые пытки, которые он сам изобрел. Он спросил Билли, какая, по его мнению, самая ужасная пытка. У Билли никакого своего мнения на этот счет не было. Оказывается, верный ответ был такой: «Надо связать человека и положить в муравейник в пустыне, понял? Положить лицом кверху, и весь пах вымазать медом, а веки срезать, чтоб смотрел прямо на солнце, пока не сдохнет».

Такие дела.

Теперь, лежа в канаве с двумя разведчиками и с Билли, Роланд Вири заставил Билли как следует разглядеть свой охотничий нож. Нож был не казенный. Роланду подарил нож его отец. У ножа было трехгранное лезвие длиной в десять дюймов. Ручка у него была в виде медного кастета из ряда колец, в которые Вири просовывал свои жирные пальцы. И кольца были не простые. На них топорщились шипы.

Вири прикладывал шипы к лицу Билли и с осторожной свирепостью поглаживал его щеку:

— Хочешь — ударю, хочешь? М-ммм? Ммммм-мммм?

— Нет, не хочу, — сказал Билли.

— А знаешь, почему лезвие трехгранное?

— Нет, не знаю.

— От него рана не закрывается.

— А-аа.

— От него дырка в человеке треугольная. Обыкновенным ножом ткнешь в человека — получается разрез. Понял? А разрез сразу закрывается. Понял?

— Понял.

— Фиг ты понял. И чему вас только учат в колледжах в ваших!

— Я там недолго пробыл, — сказал Билли. И он не соврал. Он пробыл в колледже всего полгода, да и колледж-то был ненастоящий. Это были вечерние курсы оптометристов.

— Липовый твой колледж, — ядовито сказал Вири.

Билли пожал плечами.

— В жизни такое бывает, чего ни в одной книжке не прочитаешь, — сказал Вири. — Сам увидишь.

На это Билли ничего не ответил: там, в канаве, ему было не до разговоров. Но он чувствовал смутное искушение — сказать, что и ему кое-что было известно про кровь и все такое. В конце концов Билли не зря с самого детства изо дня в день утром и вечером смотрел на жуткие муки и страшные пытки. В Илнуме, в его детской комнатке, висело ужасающее распятие. Военный хирург одобрил бы клиническую точность, с которой художник изобразил все раны Христа — рану от копья, раны от тернового венца, рваные раны от железных гвоздей. В детской у Билли Христос умирал в страшных муках. Его было ужасно жалко.

Такие дела.

Билли не был католиком, хотя и вырос под жутким распятием. Отец его никакой религии не исповедовал. Мать была вторым органистом в нескольких церквях города. Она брала Билли с собой в церкви, где ей приходилось заменять органиста, и научила его немножко играть. Она говорила, что примкнет к церкви, когда решит, которая из них самая правильная.

Но решить она так и не решила. Однако ей очень хотелось иметь распятие. И она купила распятие в Санта Фе, в лавочке сувениров, когда их небольшое семейство съездило на Запад, во время великой депрессии. Как многие американцы, она пыталась найти смысл жизни в вещах, которые продавались в лавочках сувениров.

И распятие повесили на стенку в детской Билли Пилигрима.

Оба разведчика, поглаживая полированные приклады винтовок, прошептали, что пора бы выбраться из канавы. Прошло уже десять минут, но никто не подошел посмотреть — подстрелили их или нет, никто их не прикончил. Как видно, одинокий стрелок был где-то далеко.

Все четверо выползли из канавы, не навлекая на себя огня. Они доползли до леса — на четвереньках, как и полагалось таким большим невезучим млекопитающим. Там они встали на ноги и пошли быстрым шагом. Лес был старый, темный. Сосны были посажены рядами. Кустарник там не рос. Нетронутый снег в четыре дюйма толщиной укрывал землю. Американцам приходилось оставлять следы на снегу, отчетливые, как диаграмма в учебнике балльных танцев, — шаг, скольжение, стоп, шаг, скольжение, стоп.

— Закрой пасть и молчи! — предупредил Роланд Вири Билли Пилигрима, когда они шли. Вири был похож на китайского болванчика, готового к бою. Он и был низенький и круглый, как шар.

На нем было все когда-либо выданное обмундирование, все вещи, присланные в посылках из дому: шлем, шерстяной подшлемник, вязаный колпак, шарф, перчатки, нижняя рубашка бумажная, нижняя рубашка шерстяная, верхняя шерстяная рубашка, свитер, гимнастерка, куртка, шинель, кальсоны бумажные, кальсоны шерстяные, брюки шерстяные, носки бумажные, носки шерстяные, солдатские башмаки, противогаз, котелок, ложка с вилкой, перевязочный пакет, нож, одеяло, плащ-палатка, макинтош, Библия в пулезащитном переплете, брошюра под названием «Изучай врага!», еще брошюра «За что мы сражаемся» и еще раз-

говорник с немецким текстом в английской фонетике, чтобы Вири мог задавать немцам вопросы, как-то: «Где находится ваш штаб?», или «Сколько у вас гаубиц?», или сказать: «Сдавайтесь! Ваше положение безвыходно», и так далее.

Кроме того, у Вири была деревянная подставка, чтобы легче было вылезти из стрелковой ячейки. У него был профилактический пакет с двумя очень крепкими кондомиами «исключительно для предупреждения заражения». У него был свисток, но он его никому не собирался показывать, пока не станет капралом. У него была порнографическая открытка, где женщина пыталась заниматься любовью с шотландским пони. Вири несколько раз заставлял Билли Пилигрима любоваться этой открыткой.

Женщина и пони позировали перед бархатным занавесом, украшенным помпончиками. По бокам возвышались дорические колонны. Перед одной из колонн стояла пальма в горшке. Открытка, принадлежавшая Вири, была копией самой первой в мире порнографической фотографии. Само слово «фотография» впервые услышали в 1839 году — в этом году Луи Ж. М. Дагерр доложил Французской академии, что изображение, попавшее на пластинку, покрытую тонким слоем йодистого серебра, может быть проявлено при воздействии ртутных паров.

В 1841 году, всего лишь два года спустя, Андре Лефевр, ассистент Дагерра, был арестован в Тюильрийском саду за то, что пытался продать какому-то джентльмену фотографию женщины с пони. Кстати, впоследствии и Вири купил свою открытку там же — в Тюильрийском саду. Лефевр пытался доказать, что эта фотография — настоящее искусство и что он хотел оживить греческую мифологию. Он говорил, что колонны и пальма в горшке для этого и поставлены.

Когда его спросили, какой именно миф он хотел изобразить, Лефевр сказал, что существуют тысячи мифов, где женщина — смертная, а конь — один из богов.

Его приговорили к шести месяцам тюрьмы. Там он умер от воспаления легких. Такие дела.

Билли и разведчики были очень худые. На Роланде Вири было много лишнего жира. Он лысал, как печка, под всеми своими шерстями и одежками.

В нем было столько энергии, что он без конца бегал от Билли к разведчикам, передавая знаками какие-то приказания, которых никто не посылал и никто не желал выполнять. Кроме того, он вообразил, что, проявляя настолько больше активности, чем остальные, он уже стал их вожаком.

Он был так закутан и так шотел, что всякое чувство опасности у него исчезло. Внешний мир он мог видеть только ограниченно, в щелку между краем шлема и вязаным домашним шарфом, который закрывал его мальчишескую физиономию от переносицы до подбородка. Ему было так уютно, что он уже представлял себе, что благополучно вернулся домой, выжив в боях, и рассказывает родителям и сестре правдивую историю войны — хотя на самом деле правдивая история войны еще продолжалась.

У Вири сложилась такая версия правдивой истории войны: немцы начали страшную атаку. Вири и его ребята из противотанковой части сражались, как львы, и все, кроме Вири, были убиты. Такие дела. А потом Вири встретился с двумя разведчиками, и они страшно подружились и решили пробиться к своим. Они решили идти без остановки. Будь они прокляты, если сдадутся. Они пожалели друг друга руки. Они решили называться «три мушкетера».

Но тут к ним попросился этот несчастный студентиска, такой слабак, что для него в армии не нашлось дела. У него ни винтовки, ни ножа не было. У него даже шлема не было, даже фуражки. Он и идти прямо не мог, шкандыбал вверх-вниз, вверх-вниз, чуть с ума их не свел, мог запросто выдать их позицию. Жалкий малый. «Три мушкетера» его и толкали, и тащили, и вели, пока не дошли до своих частей. Так про себя сочинял Вири. Спасли ему шкуру, этому студентиске несчастному.

А на самом деле Вири замедлил шаги — надо было посмотреть, что там случилось с Билли. Он сказал разведчикам: «Подождите, надо пойти за этим черто-

вым идиотом». Он пролез под низкой веткой. Она звонко стукнула его по шлему. Вири ничего не услышал. Где-то залаяла собака. Вири и этого не слышал. В мыслях у него разворачивался рассказ о войне. Офицер поздравлял «трех мушкетеров», обещая представить их к бронзовой звезде.

— Могу я быть вам полезным, ребята? — спрашивал офицер.

— Да, сэр, — отвечал один из разведчиков. — Мы хотим быть вместе до конца войны, сэр. Можете вы сделать так, чтобы никто не разлучал «трех мушкетеров»?

Билли Пилигрим остановился в лесу. Он прислонился к дереву и закрыл глаза. Голова у него откинулась, ноздри затрепетали. Он походил на поэта у Парфенона.

Тут Билли впервые отключился от времени. Его сознание величественно проплыло по всей дуге его жизни в смерть, где светился фиолетовый свет. Там не было никого и ничего. Только фиолетовый свет — и гул.

А потом Билли снова вернулся назад, пока не дошел до утробной жизни, где был алый свет и плеск. И потом вернулся в жизнь и остановился. Он был маленький мальчик и стоял под душем со своим волосатым отцом в илиумском клубе ХАМЛ¹. Рядом был плавательный бассейн. Оттуда несло хлором, слышался скрип досок на вышке.

Маленький Билли ужасно боялся: отец сказал, что будет учить его плавать методом: «Плыви или тони!» Отец собирался бросить его в воду на глубоком месте — придется Билли плыть, черт возьми!

Это походило на казнь. Билли весь онемел, пока отец нес его на руках из душа в бассейн. Он закрыл глаза. Когда он их открыл, он лежал на дне бассейна и вокруг звенела чудесная музыка. Он потерял сознание, но музыка не умолкала. Он смутно почувствовал, что его спасают. Билли очень огорчился.

Потом он пропутешествовал в 1965 год. Ему шел сорок второй год, и он навещал свою престарелую мать в Сосновом Бору — пансионе для стариков, куда он ее устроил всего месяц назад. Она заболела воспалением легких, и думали, что ей не выжить. Но она прожила еще много лет.

Голос у нее почти пропал, так что Билли приходилось прикладывать ухо почти к самым ее губам, сухим, как бумага. Очевидно, ей хотелось сказать что-то очень важное.

— Как... — начала она и остановилась. Она слишком устала. Видно, она понадеялась, что договаривать не надо: Билли сам закончит фразу за нее.

Но Билли понятия не имел, что она хочет сказать.

— Что «как», мама? — подсказал он ей.

Она глотнула воздух, слезы понатились по лицу. Но тут она собрала все силы своего разрушенного тела, от самых кончиков пальцев рук, до самых пяток. И наконец у нее хватило сил прошептать всю фразу:

— Как это я так с о с т а р и л а с ь?

Престарелая мать Билли забылась сном, и его проводила из комнаты хорошенькая сиделка. Когда Билли вышел в коридор, на носилках провезли тело старика, прикрытое простыней. Старик когда-то был знаменитым бегуном. Такие дела. Кстати, все это было перед тем, как Билли разбил голову при катастрофе саюлета — перед тем, как он так красноречиво заговорил о летающих блюдцах и путешествии во времени.

Билли сидел в приемной. Тогда он еще не овдовел. Под тугими подушками кресла он нащупал что-то твердое. Он потянул за уголок и вытащил книжку. Она называлась «Казнь рядового Словика», автор Уильям Бредфорд Гьюи. Это был правдивый рассказ о расстреле американского солдата, рядового Эдди Д. Словика,

¹ Христианская ассоциация молодых людей.

№ 36896415, единственного солдата со времен Гражданской войны, расстрелянного самими американцами за трусость.

Такие дела.

Билли прочитал изложенное в книге мнение видного юриста, члена суда, по поводу дела Словика. В конце говорилось так:

Он бросил прямой вызов государственной власти, и все будущее дисциплины зависит от решительного ответа на этот вызов. Если за дезертирство полагается смертная казнь, то в данном случае ее применить необходимо, и не как меру наказания, не как воздаяние, но исключительно как способ поддержать дисциплину, которая является единственным условием успехов армии в борьбе с врагом. В данном случае никаких просьб о помиловании не поступало, да это и не рекомендуется.

Такие дела.

Билли мигнул в 1965 году, перелетел во времени обратно, в 1958 год. Он был на банкете в честь команды Молодежной лиги, в которой играл его сын, Роберт. Тренер, закоренелый холостяк, говорил речь. Он просто задыхался от волнения.

— Клянусь богом, — говорил он, — я считал бы честью подавать воду этим ребятам.

Билли мигнул в 1958 году, перелетел во времени в 1961-й. Был канун Нового года, и Билли безобразно напился на вечеринке, где все были оптиками либо женами оптиков.

Обычно Билли пил мало — после войны у него болел желудок, — но тут он здорово нализался и сейчас изменял своей жене, Валенсии, в первый и последний раз в жизни. Он как-то уговорил одну даму спуститься с ним в прачечную и сесть на сушилку, которая гудела.

Дама тоже была очень пьяна и помогала Билли снять с нее резиновый пояс.

— А что вы мне хотели сказать? — спросила она.

— Все в порядке, — сказал Билли. Он честно думал, что все в порядке. Имени дамы он вспомнить не мог.

— Почему вас называют Билли, а не Вильям?

— Деловые соображения, — сказал Билли.

И это была правда. Тесть Билли, владелец Илиумских оптометрических курсов, взявший Билли к себе в дело, был гением в своей области. Он сказал: пусть Билли позволяет людям называть себя просто Билли — так они лучше его запомнят. И в этом будет что-то особенное, потому что других взрослых Билли вокруг не было. А кроме того, люди сразу станут считать его своим другом.

Тогда же на вечеринке разразился ужасающий скандал, люди возмущались Билли и его дамой, и Билли как-то очутился в своей машине, ница, где же руль.

Сейчас это было важнее всего — найти руль. Сначала Билли махал руками, как мельница, надеясь случайно на него наткнуться. Когда это не удалось, он стал искать руль методически, постепенно, так, что руль от него никак не мог спрятаться. Он крепко прижался к левой дверце и обшарил каждый квадратный дюйм перед собой. Когда руль не обнаружился, Билли продвинулся вперед на шесть дюймов и снова стал нащаривать руль. Как ни странно, он ткнулся носом в правую дверцу, не найдя руля. Он решил, что кто-то его украл. Это его рассердило, но он тут же свалился и уснул.

Оказывается, он сидел на заднем сиденье машины, а потому и не мог найти руль.

Тут кто-то сильно потряс Билли, и он проснулся. Билли все еще был пьян и все еще злился из-за украденного руля. Но тут он снова оказался во второй мировой войне, в тылу у немцев. Тряс его Роланд Вири. Вири сгреб Билли за груд-

ки. Он стукнул его об дерево, потом дернул назад и толкнул туда, куда надо было идти.

Билли остановился, потряс головой.

— Идите сами! — сказал он.

— Что?

— Идите без меня, ребята. Я в порядке.

— Ты что?

— Все в порядке...

— У, черт тебя раздери, — сказал Вири сквозь пять слоев мокрого шарфа, присланного из дому. Билли никогда не видел лица Роланда Вири. Он пытался вообразить, какой он, но ему все представлялось что-то вроде жабы в аквариуме.

С четверть мили Роланд толкал и тащил Билли вперед. Разведчики ждали под берегом замерзшей речки. Они слышали собачий лай. Они слышали, как перекликались человеческие голоса, перекликались, как охотники, уже учуявшие, где дичь.

Берег речки был достаточно высок, и разведчиков за ним не было видно. Билли нелепо скатился с берега. После него сполз Вири, звеня и звякая, пыхтя и потея.

— Вот он, ребята, — сказал Вири. — Жить ему неохота, да мы его заставим. А когда спасется, так поймет, клянусь богом, что жизнь ему спасли «три мушкетера».

Разведчики впервые услышали, что Вири зовет их про себя «тремя мушкетерами».

Билли Пилигрим шел по замерзшему руслу речки, и ему казалось, что его тело медленно испаряется. Только бы его оставили в покое хоть на минуту, думал он, никому не пришлось бы с ним возиться. Он весь превратился бы в пар и медленно всплыл бы к верхушкам деревьев.

Где-то снова залаяла собака. От страха, от эха, от зимней тишины лай собаки походил на удары огромного медного гонга.

Восемнадцатилетний Роланд Вири протиснулся между двумя разведчиками, обхватил их плечи тяжелыми руками и спросил:

— Ну, что теперь предпримут «три мушкетера»?

У Билли Пилигрима начались приятнейшие галлюцинации. Ему казалось, что на нем были толстые белые шерстяные носки и он легко скользил по паркету бального зала. Тысячи зрителей аплодировали ему. Это не было путешествием во времени. Ничего похожего никогда не было, никогда быть не могло. Это был бред умирающего мальчишки в башмаках, полных снега.

Один из разведчиков, опустив голову, длинно сплюнул. Другой тоже. Они увидели, как мало значил для снега и для истории такой плевок. Оба разведчика были маленькие, складные. Они уже много раз побывали в тылу у немцев — жили, как лесные звери, от минуты к минуте, в спасительном страхе, мысля не головным, а спинным мозгом.

Они рывком высвободились из ласкового объятия Вири. Они сказали Вири, что ему бы, да и Билли Пилигриму тоже, лучше всего поискать — кому сдаться. Ждать их разведчики не желали.

И они бросили Вири и Билли в русло речки.

Билли Пилигрим все еще скользил на роликах в своих белых шерстяных носках, выкидывая разные трюки — любой человек сказал бы, что такая акробатика немислима, но он кружился, замирая, на одной точке и так далее. Восторженные крики продолжались, но вдруг все изменилось: вместо галлюцинаций Билли опять стал путешествовать во времени.

Билли уже не катался на коньках, а стоял на эстраде в китайском ресторанчике в Илиуме, штат Нью-Йорк, в осенний день 1957 года. Его стоя приветствовали члены Клуба львов. Он только что был избран председателем этого клуба, и ему нужно было сказать речь. Он до смерти перепугался, решив, что произошла

жуткая ошибка. Все эти зажиточные, солидные люди сейчас обнаружат, что выбрали такого жалкого заморыша. Они услышат его пискливый голос, оставшийся еще с войны. Он глотнул воздух, чувствуя, что вместо голосовых связок у него внутри свистулька, вырезанная из вербы. И что еще хуже — сказать ему было нечего. Люди затихли. Все раскраснелись, заулыбались.

Билли открыл рот — и прозвучал глубокий, звучный голос. Трудно было найти инструмент великолепнее. Голос звучал шутливо, и весь зал покатывался со смеху. Голос становился серьезным, снова острил и закончил смиренной благодарностью. Объяснялось это чудо тем, что Билли брал уроки ораторского искусства.

А потом он снова очутился в русле замерзшей речки. Роланд Вири бил его смертным боем.

Трагический гнев обуревал Роланда Вири. Снова с ним не захотели водиться. Он сунул пистолет в кобуру. Он воткнул нож в ножны. Весь нож целиком — и треугольное лезвие, и желобок для стока крови. И, встряхнув Билли так, что у него кости загремели, он стукнул его об землю.

Вири орал и стонал сквозь слои шарфа — подарка из дому. Он что-то невнятно мычал про жертвы, принесенные им ради Билли. Он разглагольствовал о том, какие богобоязненные, какие мужественные люди все «три мушкетера», в самых ярких красках описывал их добродетели, их великодушие, бессмертную славу, добытую ими для себя, и бесценную службу, какую они сослужили делу христианства.

Вири считал, что эта доблестная боевая единица распалась исключительно по вине Билли и Билли за это расплатится сполна. Вири двинул его кулаком в челюсть и сбил с ног на заснеженный лед речки. Билли упал на четвереньки, и Вири ударил его ногой в ребра, перекатил его на бок. Билли весь сжался в комок.

— Тебя к армии и подпускать нельзя! — сказал Вири.

У Билли невольно вырвались судорожные звуки, похожие на смех.

— Ты еще смеешься, а? — крикнул Вири. Он обошел Билли со спины. Куртка, верхняя и нижняя рубашки задрались на спине у Билли почти до плеч, спина оголилась. В трех дюймах от солдатских сапог Роланда Вири жалобно торчали Биллины позвонки.

Вири отвел правый сапог, нацелился на позвоночник, на трубку, где проходило столько нужных для Билли проводов. Вири собрался сломать эту трубку.

Но тут Вири увидел, что у него есть зрители. Пять немецких солдат с овчаркой на поводке остановились на берегу речки и глазели вниз. В голубых глазах солдат стояло мутное, совсем гражданское любопытство: почему это один американец пытается убить другого американца вдали от их родины и почему жертва смеется?

3

Немцы с собакой проводили военную операцию, которая носит занятное, все объясняющее название, причем эти дела рук человеческих редко описываются детально, но одно название, встреченное в газетах или исторических книгах, вызывает у энтузиастов войны что-то вроде сексуального удовлетворения. В воображении таких любителей боев эта операция напоминает тихую любовную игру после оргазма победы. Называется она «прочесывание».

Собака, чей лай так свирепо звучал в зимней тишине, была немецкой овчаркой. Она вся дрожала. Хвост у нее был поджат. Этим утром ее взяли на время с фермы. Раньше она никогда не воевала. Она не понимала, что это за игра. Звали ее Принцесса.

Двое немцев были совсем мальчишки. Двое — дряхлые старики, беззубые, как рыбы. Это были запасники, их вооружили и одели во что попало, сняв вещи

с недавно убитых строевых солдат. Такие дела. Все они были фермеры из пограничной зоны, неподалеку от фронта.

Командовал ими капрал средних лет — красноглазый, тощий, жесткий, как перусшенное мясо. Война ему осточертела. Он был ранен четыре раза — и его чинили и снова отправляли на фронт. Он был очень хороший солдат, но готов был все бросить, лишь бы нашлось кому сдать. На его кривых ногах красовались золотистые кавалерийские сапоги, снятые на русском фронте с мертвого венгерского полковника. Такие дела.

Кроме этих сапог, у капрала почти ничего на свете не было. Они были его домом. Анекдот: однажды солдат смотрел, как капрал начищает до блеска свои золотые сапоги, и капрал сунул сапог солдату под нос и сказал: «Посмотри как следует, увидишь Адама и Еву».

Билли Пилигрим никогда не слышал про этот анекдот. Но лежа на почерневшем льду, Билли уставился на блеск сапог и в золотой глубине увидел Адама и Еву. Они были нагие. Они были так невинны, так легко ранимы, так старались вести себя хорошо. Билли Пилигрим их любил.

Рядом с золотыми сапогами стояла пара ног, обмотанных тряпками. Обмотки перекрещивались холщовыми завязками, на завязках держались деревянные сабо. Билли взглянул на лицо хозяина деревяшек. Это было лицо белокурого ангела, пятнадцатилетнего мальчугана.

Мальчик был прекрасен, как праматерь Ева.

Прелестный мальчик, ангел небесный, поднял Билли на ноги. Подошли остальные, смахнули с Билли снег, обыскали его — нет ли оружия. Оружия у него не было. Самое опасное, что при нем нашли, был огрызок карандаша.

Вдали прозвучали три спокойных выстрела. Стреляли немецкие винтовки. Обоих разведчиков, бросивших Билли и Вири, пристрелили немцы. Разведчики залегли в канаве, поджидая немцев. Их обнаружили и пристрелили с тылу. Теперь они умирали на снегу, ничего не чувствуя, и снег под ними становился цвета малинового желе. Такие дела. И Роланд Вири остался последним из «трех мушкетеров».

Теперь солдаты разоружали пучеглазого от страха Вири. Капрал отдал хорошенькому мальчику пистолет Вири. Он пришел в восхищение от свирепого ножа Вири и сказал по-немецки, что Вири небось хотел пырнуть его этим ножом, разодрать ему морду колючками кастета, распороть ему пузо, перерезать глотку. По-английски капрал не говорил, а Билли и Вири по-немецки не понимали.

— Хороша у тебя игрушка! — сказал капрал Вири и отдал нож одному из стариков. — Что скажешь? Ничего штучка, а?

Капрал рванул шинель и куртку на груди у Вири. Пуговицы посыпались, как жареная кукуруза. Капрал сунул руку за пазуху Билли, как будто хотел вырвать громко бьющееся сердце, но вместо сердца выхватил непробиваемую Библию.

Не пробиваемая пулями Библия — это такая книжечка, которая может уместиться в нагрудном кармане солдата, над сердцем. У нее стальной переплет.

В кармане брюк у Вири капрал нашел порнографическую открытку — женщину с пони.

— Повезло коняге, а? — сказал он. — М-ммм? Тебе бы на его место, э? — Он передал картинку другому старику: — Военный трофей! Твой будет, твой, счастливец ты этакий!

Потом он усадил Вири на снег, снял с него солдатские сапоги и отдал их красному мальчику. А Вири отдал деревянные сабо. Так они, и Билли и Вири, оказались без походной обуви, а идти им пришлось мило за милей, и Вири стучал деревяшками, а Билли прихрамывал — вверх-вниз, вверх-вниз, то и дело налетая на Вири.

— Извини, — говорил тогда Билли, или же: — Прошу прощения.

Наконец их привели в каменную сторожку на развилке дорог. Это был сбор-

ный пункт для пленных. Билли и Вири впустили в сторожку. Там было тепло и дымно. В печке горел и фыркал огонь. Топили мебелью. Там было еще человек двадцать американцев, они сидели на полу, прислонясь к стене, глядели в огонь и думали о том, о чем можно было думать — то есть ни о чем.

Никто не разговаривал. О войне рассказывать было нечего. Билли и Вири нашли для себя местечко, и Билли заснул на плече у какого-то капитана — тот не протестовал. Капитан был лицом духовным. Он был раввин. Ему прострелили руку.

Билли пропутешествовал во времени, открыл глаза и очутился перед зеленоглазой металлической совой. Сова висела вверх ногами на палке из нержавеющей стали. Это был оптометр в кабинете Билли, в Илиуме. Оптометр — это такой прибор, которым проверяют зрение, чтобы прописать очки.

Билли заснул во время осмотра пациентки, сидевшей в кресле по другую сторону совы. Он и раньше иногда засыпал за работой. Сначала это было смешно. Но потом Билли стал беспокоиться и об этом, и вообще о своем умственном состоянии. Он пытался вспомнить, сколько ему лет, и не мог. Он пытался вспомнить, какой сейчас год, и тоже никак не мог.

— Доктор, — осторожно окликнула его пациентка.

— М-ммм? — сказал он.

— Вы вдруг замолчали.

— Простите.

— Вы что-то говорили, а потом вдруг остановились.

— М-мм.

— Вы увидели что-нибудь страшное?

— Страшное?

— Может, у меня какая-нибудь страшная болезнь?

— Нет, нет, — сказал Билли, которому ужасно хотелось спать. — Глаза у вас отличные. Нужны только очки для чтения.

И он велел ей пройти в другой кабинет, в конце коридора, там был большой выбор оправ.

Когда она вышла, Билли открыл занавески и не понял, что там, на дворе. Окно закрывала штора, и Билли с шумом поднял ее. Ворвался яркий солнечный свет. На улице стояли тысячи автомобилей, сверкающих на черном асфальте. Приемная Билли находилась около огромного универмага.

Прямо под окном стоял собственный «надиллак» Билли «Эльдорадо Купэ де Виль». Он прочел наклейки на бампере. «Посетите каньон Озэйбл» — гласила одна. «Поддержите свою полицию» — взывала другая. Там была и третья, на ней стояло: «Помешайте Эрлу Уоррену». Наклейки про полицию и Эрла Уоррена подарил Билли его тесть, член общества Джона Бёрча. На регистрационном номере стояла дата: 1967 год. Значит, Билли было сорок четыре года. И он спросил себя: «Куда же ушли все эти годы?»

Билли взглянул на свой письменный стол. На нем лежал развернутый номер «Оптометрического обозрения». Он был развернут на передовице, и Билли стал читать, слегка шевеля губами. «События 1968 года повлияют на судьбу европейских оптометристов по крайней мере лет на пятьдесят! — читал Билли. — С таким предупреждением Жан Тириарт, секретарь Национального совета бельгийских оптиков, обратился к съезду, настаивая на необходимости создания Европейского сообщества оптометристов. Надо выбирать, сказал он, либо защищать профессиональные интересы, либо к 1971 году мы станем свидетелями упадка роли оптометристов в общей экономике».

Билли Пилигрим тщетно старался почувствовать хоть какой-то интерес.

Вдруг взвизгнула сирена, напугав его до полусмерти. В любое время он ждал

начала третьей мировой войны. Но сирена просто возвестила полдень. Она была расположена на каланче пожарной команды, как раз напротив приемной Билли.

Билли закрыл глаза. Когда он их открыл, он снова очутился во второй мировой войне. Голова его лежала на плече раненого раввина. Немецкий солдат толкал его ногой, пытаясь разбудить, — пора было двигаться дальше.

Американцы вместе с Билли шли шутовским хороводом по дороге.

Рядом оказался фотограф, военный корреспондент немецкой газеты, с лейкой. Он сфотографировал ноги Билли и Роланда Вири. Эти фото были широко опубликованы дня через два в Германии как ободряющий пример скверной экипировки американской армии, хотя она и считалась богатой.

Но фотограф хотел снять что-нибудь более злободневное, например, сдачу в плен. И охрана устроила для него инсценировку. Солдаты швырнули Билли в кусты. Когда Билли вылез из кустов, расплываясь в дурацкой добродушной улыбке, они угрожающе надвинулись на него, наставив в упор автоматы, как будто брали его в плен.

Билли вылез из кустов с улыбкой не менее загадочной, чем улыбка Монны Лизы, потому что он одновременно шел пешком по Германии в 1944 году и вел свой «кадиллак» в 1967 году.

Германия исчезла, а 1967 год стал отчетливым и ярким, без интерференции другого времени. Билли ехал на завтрак в Клуб львов. Стоял жаркий августовский день, но в машине Билли работал кондиционный аппарат. Посреди черного гетто его остановил светофор. Жители этого квартала так ненавидели свое жилье, что месяц тому назад сожгли довольно много лагуг. Это было все их имущество, и все равно они его сожгли. Квартал напомнил Билли города, где он бывал в войну. Тротуары и мостовые были исковерканы — там прошли танки и тягачи национальной гвардии.

«Брат по крови» — гласила надпись, сделанная красноватой краской на стене разрушенной бакалейной лавочки.

Раздался стук в стекло машины Билли. У машины стоял черный человек. Ему хотелось что-то сказать. Светофор мигнул. И Билли сделал самое простое: он поехал дальше.

Билли проезжал по еще более безотрадным местам. Тут все напоминало то ли Дрезден после бомбежки, то ли поверхность Луны. На каком-то из этих пустырей стоял когда-то дом, где вырос Билли. Шла перестройка города. Скоро здесь должен вырасти новый административный центр Илиума, Дом искусств, бассейн «Мирный» и кварталы дорогих особняков.

Билли Пилигрим не возражал.

Председательствовал на собрании Клуба львов бывший майор морской пехоты. Он сказал, что американцы вынуждены сражаться во Вьетнаме до полной победы или до тех пор, пока коммунисты не поймут, что нельзя навязывать свой образ жизни недоразвитым странам. Майор дважды побывал во Вьетнаме по долгу службы. Он рассказывал о всяких страшных и прекрасных вещах, которые ему довелось наблюдать. Он был за усиление бомбежки Северного Вьетнама, пускай у них настанет каменный век, если они отказываются внять голосу разума.

Билли не собирался протестовать против бомбежки Вьетнама, не содрогался, вспоминая об ужасах, которые он сам видел при бомбежке. Он просто завтракал в Клубе львов, где когда-то был председателем.

На стене в приемной у Билли висела в рамочке молитва, которая была ему поддержкой, хотя он и относился к жизни без особого энтузиазма. Многие пациенты, видевшие молитву на стенке у Билли, потом говорили ему, что она и их очень поддержала.

Звучала молитва так:

Господи, дай мне душевный покой,
чтобы принимать
то, чего я не могу изменить,
мужество —
изменять то, что могу,
и мудрость —
всегда отличать
одно от другого.

К тому, чего Билли изменить не мог, относилось прошлое, настоящее и будущее.

А сейчас его представляли майору морской пехоты. Человек, знакомивший их, объяснил майору, что Билли — ветеран войны, что у Билли есть сын — сержант «зеленых беретов» во Вьетнаме.

Майор сказал Билли, что «зеленые береты» делают отличную работу во Вьетнаме и что он должен гордиться своим сыном.

— Да, да, конечно, — сказал Билли. — Конечно!

Билли отправился домой — прикорнуть после завтрака. Доктор велел ему непременно спать днем. Доктор надеялся, что это поможет Билли вылечиться от небольшого недомогания: вдруг, без всякой причины, Билли Пилигрим начал плакать. Никто его ни разу не видел плачущим. Знал об этом только его доктор. Да и плакал он очень тихо и сырости не разводил.

В Илиуме у Билли был прелестный старинный дом. Он был богат, как Крез, хотя раньше считал, что этого ему и за миллион лет не добиться. При его оптометрическом кабинете в центре города работало еще пять оптиков, и зарабатывал он больше шестидесяти тысяч долларов в год. Кроме того, ему принадлежала пятая часть новой гостиницы «Отдых» на шоссе № 54 и половинная доля в каждом из трех киосков, продававших «холодок». «Холодок» — что-то вроде охлажденного молочного коктейля. Он такой же вкусный, как мороженое, но без твердости и обжигающего холода мороженого.

Дома у Билли никого не было. Его дочь Барбара собиралась выходить замуж, и они с матерью поехали в город — выбрать для приданого хрусталь и серебро. Так было сказано в записке, оставленной на кухонном столе. Прислуги они не держали. Желающих служить в домработницах просто не было. Собаки у Билли тоже не было.

Когда-то у него была собака Спот, но она сдохла. Такие дела. Билли очень любил Спота, и Спот любил его.

Билли поднялся по устланной ковром лестнице в супружескую спальню. В спальне были обои в цветочек. Там стояла двуспальная кровать, а на тумбочке радио с часами. На той же тумбочке были кнопки для электрогрелки и выключатель для штуки, которая называлась электровибратор — он был подключен к пружинному матрасу постели. Назывался этот вибратор «волшебные пальцы». Вибратор тоже был выдумкой доктора.

Билли снял свои выпуклые очки, пиджак, галстук и башмаки, опустил шторы, задвинул портьеры и лег поверх одеяла. Но сон не шел. Вместо сна пришли слезы. Они капали. Билли включил «волшебные пальцы», и они стали его укачивать, пока он плакал.

Зазвонил звонок у парадного. Билли встал, посмотрел в окно на входную дверь — вдруг пришел кто-то нужный. Но там стоял калека, охваченный судорогой в пространстве, как Билли был охвачен судорогой во времени. Человек все

время конвульсивно дергался, словно приплясывая, он непрестанно гримасничал, будто подражая каким-то знаменитым киноактерам.

Второй калека звонил в двери напротив. Он был на костылях. У него не было ноги. Костыли так поджимали, что плечи у него поднялись до ушей.

Билли знал, что затеяли эти калеки. Они продавали подписку на несуществующие журналы. Люди подписывались из жалости к этим калекам. Билли слышал об этом мошенничестве недели две назад в Клубе львов от человека из бюро укрепления деловых предприятий. Этот человек говорил, что каждый, кто увидит инвалидов, собирающих подписку, должен немедленно заявить в полицию.

Билли еще раз выглянул на улицу, увидел новый шикарный «бьюик», стоявший в отдалении. Там сидел человек. Билли правильно догадался, что это был тот, кто нанимал инвалидов на это дело. Билли плакал, глядя на калек и на их хозяина. Звонок у его дверей заливался как оглашенный.

Он закрыл глаза и опять открыл их. Он все еще плакал, но уже снова очутился в Люксембурге. Он маршрутировал вместе с другими пленными. Стояла зима, и слезы выступали на глазах от зимнего ветра.

С той минуты, как Билли бросили в кусты для фотосъемки, он видел блуждающие огни, что-то вроде электронного сияния вокруг голов своих товарищей и своих стражей. Огоньки светились и на верхушках деревьев, и на крышах люксембургских домов. Это было очень красиво.

Билли шагал, положив руки на макушку, как и все остальные американцы. Билли шел прихрамывая — вверх-вниз, вверх-вниз. Опять он невольно налетел на Роланда Вири.

— Прощу прощения, — сказал он.

У Вири тоже текли слезы из глаз. Вири плакал от ужасающей боли в ногах. Деревянные сабо превращали его ноги в кровавой пудинг.

На каждом перекрестке к группе Билли присоединялись другие американцы, тоже державшие руки на голове, окруженной ореолом. Билли всем им улыбался. Они текли, как вода с горы, вниз по дороге и наконец слились в один поток на шоссе, в долине. По долине, как Миссисипи, потекла река униженных американцев. Тысячи американцев брели на восток, положив руки на макушку. Они вздыхали и стонали.

Билли и его группа влились в этот поток унижения, и к вечеру из-за облаков выглянуло солнце. Американцы шли по дороге не одни. По другому краю дороги им навстречу с грохотом клубился поток машин, везущих германские резервы на фронт. Резерв состоял из свирепых, загорелых, заросших щетиной солдат. Зубы у них блестели, как клавиши рояля.

Они были обвешаны автоматами, патронташами, курили сигары и хлестали пиво. Как волки, вгрызались они в куски колбасы и сжимали ручные гранаты в заскорузлых ладонях.

Один солдат, весь в черном, пьяный вдребезину, устроил себе «отдых героя», развалившись на крышке танка. Он плевал в американцев. Плевком шлепнулся на плечо Роланда Вири, обеспечив его сразу слюной, колбасной жвачкой и шнапсом.

Все в этот день возбуждало в Билли жгучий интерес. Много чего он навиделся — видел и зубы дракона, и машины для убийства, и босых мертвецов с ногами цвета слоновой кости с просинью.

Прихрамывая вверх-вниз, вверх-вниз, Билли широко улыбнулся ярко-сиреневой ферме, изрешеченной пулеметным огнем. За криво повисшей дверью был виден немецкий полковник. Рядом с ним стояла его растрепанная шлюха.

Билли налетел на спину Роланда Вири, и тот, всхлипывая, закричал:

— Не толкайся! Не толкайся!

Они подымались по некрутому склону. Когда они дошли до вершины, они уже были вне Люксембурга. Они были в Германии.

На границе стояла кинокамера, чтобы запечатлеть потрясающую победу. Двое штатских в медвежьих шубах стояли у камеры, когда проходили Билли и Вири. Пленка у них давно кончилась.

Один из них навел аппарат на лицо Билли, потом сразу перевел на общий план. Там вдали подымалась тонкая струйка дыма. Там шел бой. Люди там умирали. Такие дела.

Солнце село, и Билли дохромал до железнодорожных путей. Там стояли бесконечные ряды теплушек. В них привезли резервы на фронт. Теперь в них должны были увезти пленных в Германию.

Лучи прожекторов метались как безумные.

Немцы рассортировали пленных по званиям. Они поставили сержантов с сержантами, майоров с майорами и так далее. Отряд полковников стоял рядом с Билли. У одного из полковников было двустороннее воспаление легких. У него был жар и головокружение. Железнодорожные пути прыгали и кружились у него перед глазами, и он старался сохранить равновесие, уставившись в глаза Билли.

Полковник кашлял и кашлял, потом спросил у Билли:

— Из моих ребят?

Этот человек потерял свой полк -- около четырех тысяч пятисот человек. Многие из них были совсем детьми. Билли не ответил. Вопрос был бессмысленный.

— Из какой части? — спросил полковник. Потом стал кашлять, кашлять без конца. При каждом вздохе его легкие трещали, как вощеная бумага.

Билли не мог вспомнить номер своей части.

— Из пятьдесят четвертого?

— Пятьдесят четвертого чего? — спросил Билли.

Наступило молчание.

— Пехотного полка, — сказал наконец полковник.

— А-аа, — сказал Билли.

Снова наступило молчание, и полковник стал умирать, умирать, тонуть на месте. И вдруг прохрипел сквозь мокроту:

— Это я, ребята! Бешеный Боб!

Ему всегда хотелось, чтобы солдаты так его звали — «Бешеный Боб».

Все, кто его мог слышать, были из других частей, кроме Роланда Вири, но Вири ничего не слышал. Ни о чем, кроме адской боли в ногах, Вири думать не мог.

Но полковник воображал, что в последний раз обращается к своим любимым солдатам, и стал им говорить, что стыдиться им нечего, что все поле покрыто трупами врагов и что лучше бы немцам не встречаться с пятьдесят четвертым. Он говорил, что после войны соберет весь полк в своем родном городе — в Коди, штат Вайоминг. И зажарит им целого быка.

И все это он говорил, не сводя глаз с Билли. У Билли в голове звенело от всей этой чепухи.

— Храни вас бог, ребятки! — сказал полковник, и слева отдались эхом в мозгу Билли. А потом полковник сказал: — Если попадете в Коди, штат Вайоминг, спросите Бешеного Боба.

Я был при этом. И мой дружок Бернард В. О'Хэйр тоже.

Билли Пилигрима посадили в теплушку с множеством других солдат. Его разлучили с Роландом Вири. Вири попал в другой вагон, хотя и в тот же поезд.

По углам вагона, под самой крышей, виднелись узкие отдушины. Билли встал под одной из них, и, когда толпа навалилась на него, он взобрался повыше на

выступающую диагонально угловую скрепу, чтобы дать место другим. Таким образом его глаза оказались на уровне отдушины и он мог видеть второй состав, ярах в десяти от них.

Немцы писали на вагонах синими мелками: число пленных в каждом вагоне, их звания, их национальность, день посадки. Другие немцы закрепляли задвижки на вагонных дверях проволокой, болтами и всяким другим металлическим ломом, подобранным на путях. Билли слышал, как кто-то писал и на его вагоне, но не видел, кто именно этим занимался.

Большинство солдат в вагоне Билли оказались очень молодыми и почти детьми. Но в угол подле Билли втиснулся бывший бродяга, лет сорока.

— Я и не так голодал, — сказал бродяга Билли. — И бывал кой-где похуже. Не так уж тут плохо.

Из вагона напротив кто-то закричал в отдушину, что у них только что умер человек. Такие дела. Услыхали его четверо из охраны. Их эта новость ничуть не взволновала.

— Йа-йа, — сказал один, задумчиво покачав головой. — Йа, йа-аа...

Охрана и не подумала открыть вагон, где был покойник. Вместо этого они отворили соседний вагон, и Билли Пилигрим как зачарованный уставился туда. Там был рай. Там горели свечи и стояли койки с грудой одеял и подушек. Там была пузатая печурка, а на ней — кипящий кофейник. Там стоял стол, и на нем — бутылка вина, коврига хлеба и кусок колбасы. И еще там было четыре миски с супом.

На стенах висели картинки — дворцы, озера, красивые девушки. Это был дом на колесах, и жили в нем железнодорожники, охранявшие грузы, которые шли туда и обратно. Четверо охранников зашли в вагон и задвинули двери.

Немного спустя они вышли, куря сигары и разговаривая с мягким южногерманским акцентом. Один из них увидел лицо Билли у отдушины. Он ласково погрозил ему пальцем: веди, мол, себя хорошо.

Американцы на другом пути снова крикнули охране, что у них в вагоне покойник. Охранники вынесли носилки из своего уютного вагончика, открыли вагон, где был покойник, и прошли внутрь. Там было почти пусто. В вагоне находилось шесть живых полковников и один мертвый.

Немцы вынесли покойника. Это был Бешеный Боб. Такие дела.

Ночью паровозы стали перекликаться гудками и тронулись с места. На паровозе и на последнем вагоне висел черно-оранжевый флажок — он показывал, что поезд бомбить нельзя, что он везет военнопленных.

Война шла к концу. Паровозы двинулись на восток в конце декабря. А в мае войне пришел конец. Пока что все германские тюрьмы были переполнены, нечем было кормить пленных, нечем отапливать помещения. И все же пленных везли и везли.

Поезд Билли Пилигрима, самый длинный из всех, простоял еще двое суток.

— Бывает и хуже, — сказал бродяга на второй день. — Бывает куда хуже.

Билли выглянул из отдушины. Пути совсем опустели, только где-то в дальнем тупике стоял санитарный поезд с красными крестами. Паровоз санитарного поезда свистнул. Паровоз Биллиного поезда засвистел в ответ. Паровозы говорили друг дружке: «Здрасьте!»

Хотя поезд, где находился Билли, стоял, но вагоны были заперты наглухо. Никто не смел выйти до прибытия к месту назначения. Для охраны, шагающей взад и вперед, каждый вагон стал самостоятельным организмом, который ел, пил и облегчался через отдушины. Вагон разговаривал, а иногда и ругался тоже через отдушины. Внутри входили ведра с водой, ковриги черного хлеба, куски колбасы, сыра, а оттуда выходили экскременты, моча и ругань.

Человеческие существа облегчались в стальные шлемы и передавали их тем, кто стоял у отдушин, а те их выливали. Билли стоял на подхвате. Человеческие существа передавали через него и котелки, а охрана наполняла их водой. Когда передавали пищу, человеческие существа затихали, становились доверчивыми и хорошими. Они всем делились.

Человеческие существа лежали и стояли по очереди. Ноги стоявших были похожи на столбы, врытые в теплую землю — она ерзала, рыгала, вздыхала. Землей, как ни странно, была мозаика из человеческих тел, угнездившихся друг подле друга, как ложки в ящике.

А потом поезд двинулся на восток.

Где-то на земле было рождество. В сочельник Билли Пилигрим примостился, как ложка, рядом с бродягой, и заснул, и поплыл во времени в 1967 год — в ту ночь, когда его похитило летающее блюдце с Тральфамадора.

4

В ночь после свадьбы дочери Билли никак не мог уснуть. Ему было сорок четыре года. Свадьбу отпраздновали днем, в саду у Билли, под ярким полосатым тентом. Полоски были черные и оранжевые.

Билли примостился, как ложка, около своей жены Валенсии на большой двуспальной кровати. Их укачивали «волшебные пальцы». Валенсию не надо было укачивать. Валенсия уже храпела, как электропила. У бедной женщины не было ни матки, ни яичников. Их удалил хирург — один из совладельцев Билли по гостинице «Отдых».

Светила полная луна.

Билли встал с кровати в лунном свете. Он казался себе призрачным и лучезарным, как будто его завернули в прохладный мех, наэлектризованный статическим электричеством. Он взглянул на свои босые ноги. Они были цвета слоновой кости с просинью.

Билли прошлепал по коридору наверх, зная, что его скоро похитит летающее блюдце. Коридор был исполосован лунным светом и тьмой. Свет падал в коридор сквозь открытые двери пустых детских, где жили двое детей Билли, пока не выросли. Они уехали отсюда навсегда. Билли вела страх и бесстрашие. Страх приказывал ему: остановись! Бесстрашие говорило: иди! Он остановился.

Он зашел в комнату дочери. Ящики были выдвинуты. Шкаф стоял пустой. Посреди комнаты были свалены в кучу вещи, которые она не могла взять с собой в свадебное путешествие. У нее был собственный телефонный аппарат «принцесса», он стоял на подоконнике. Он поблескивал навстречу Билли. И вдруг он зазвонил.

Билли ответил. Оттуда послышался пьяный голос. Билли почти что чувствовал запах — горчичный газ и розы. Оказалось — ошибка. Билли повесил трубку. На подоконнике стояла бутылка лимонаду. Этикетка хвастливо заявляла, что в нем почти нет питательных веществ.

Билли Пилигрим прошлепал вниз босыми ногами цвета слоновой кости с просинью. Он зашел на кухню, где лунный луч высветил полупустую бутылку шампанского на кухонном столе — все, что осталось от пира под тентом. Кто-то заткнул бутылку пробкой. «Выпей меня!» — как будто говорила бутылка.

Билли вытащил пробку пальцами. Она не хлопнула. Шампанское выдохлось. Такие дела.

Билли взглянул на часы на газовой плите. Надо было как-то убить целый час до прилета блюдца. Он пошел в гостиную, помахивая бутылкой, как звонком, и включил телевизор. Он слегка отключился от времени, просмотрел последний военный фильм, сперва с конца до начала, потом с начала до конца. Это был фильм об американских бомбардировщиках второй мировой войны и о храбрых

летчиках, водивших самолеты. Когда Билли смотрел картину задом наперед, фильм разворачивался таким путем.

Американские самолеты, изрешеченные пулями, с убитыми и ранеными, взлетали задом наперед с английского аэродрома. Над Францией несколько немецких самолетов налетали на них задом наперед, высасывая пули и осколки из некоторых самолетов и из тел летчиков. То же самое они делали с американскими самолетами, разбившимися об землю, и те взлетали задним ходом и примыкали к своим звеньям.

Звенья летели задом над германским городом, охваченным пламенем. Бомбардировщики открывали бомболуки, и словно каким-то чудом пламя съезживалось, собиралось в цилиндрические оболочки бомб, и бомбы втягивались через бомболуки в чрево самолета. Бомбы аккуратно ложились в свои гнезда. Внизу, у немцев, были свои чудо-аппараты в виде длинных стальных труб. Эти трубы высасывали осколки из самолетов и летчиков. Но все же там оставалось несколько раненых американцев, и некоторые самолеты были сильно повреждены. Но тут над Францией появились немецкие истребители и снова всех починили, все стало как новенькое.

Когда бомбы вернулись на базу, стальные цилиндры из гнезд вынимались и отправлялись обратно, в Америку, где заводы работали днем и ночью, разбирая эти цилиндры, превращая их опасную начинку в безобидный металл. Трогательно было смотреть, сколько женщин участвовало в этой работе. Металл переправлялся геологам в отдаленные районы. Их делом было снова зарыть металл в землю и спрятать его как можно хитрее, чтобы он больше никогда никого не увечил.

Американские летчики выскальзывали из своего обмундирования, снова становились школьниками. А Гитлер, наверно, стал младенцем, подумал Билли. Но этого в фильме не было. Билли экстраполировал события назад. Все превратилось в младенцев, и все человечество, без исключения, приложило все биологические усилия, чтобы произвести на свет два совершенства — двух людей, Адама и Еву. Так придумывал Билли.

Билли просмотрел военный фильм задом наперед, потом опять с начала до конца, а потом было уже пора идти во двор встречать летающее блюдо. И он вышел, топчя иссиня-белыми ногами мокрую, как салат, зелень лужайки. Он остановился, отпил из бутылки глоток выдохшегося шампанского. Вкус был как у микстуры. Он не подымал глаз к небу, хотя знал, что с Тральфамадора уже прилетело блюдо. Скоро он его все равно увидит, и снаружи и внутри, скоро он увидит, откуда оно пришло, скоро, очень скоро.

Над головой послышался звук — словно певуче ухнула сова. Но это вовсе не был певучий крик совы — это летело блюдо с Тральфамадора, летело и во времени и в пространстве, так что Билли Пилигриму показалось, что оно сразу появилось ниоткуда. Где-то залаяла большая собака.

Блюде было ста футов в диаметре, с иллюминаторами по борту. Из иллюминаторов шел пульсирующий алый свет. Послышался звук, похожий на поцелуй, — это открылся герметический люк в дне блюда. Оттуда зазмеилась лесенка, вся в разноцветных лампочках, как карусель.

Лучевое ружье, наставленное на Билли из иллюминатора, парализовало его волю. Он чувствовал, что необходимо схватиться за нижнюю ступеньку гибкой лестницы. Так он и сделал. Ступенька была наэлектризована, поэтому ладони Билли крепко пристали к ней. Его втащили в люк, механизм закрыл крышку люка. Только тут лестница, навитая на колесо внутри люка, отпустила его. Только тут мозг Билли опять заработал.

Внутри люка были два глазка — и оттуда смотрели чьи-то желтые глаза. На стене висел репродуктор. У тральфамадорцев голосовых связок не было. Они об-

щались между собой телепатически. С Билли они разговаривали при помощи компьютера и какого-то электрического прибора, который умел произносить все землянские слова.

— Приветствуем вас на борту, мистер Пилигрим, — произнес голос из громкоговорителя. — Есть вопросы?

Билли облизнул губы, подумал и наконец спросил:

— Почему именно я?

— Это очень земной вопрос, мистер Пилигрим. Почему вы? А почему мы? Почему вообще вы? Просто потому, что этот миг так о в. Видели вы когда-нибудь насекомое, застывшее в янтаре?

— Да.

Кстати, у Билли в приемной было пресс-папье — кусок полированного янтаря с застывшими в нем тремя божьими коровками.

— Вот видите, мистер Пилигрим, сейчас мы и застыли в янтаре этого мига, никаких «почему» тут нет.

В атмосферу, окружавшую Билли, ввели снотворное, и Билли заснул. Его перенесли в кабину, где прикрепили ремнями к желтой кушетке, украденной со склада Сирса и Роубека. Багажник летающего блюда был битком набит краденными вещами для мебелировки искусственного жилья Билли в тральфамадорском зоопарке.

От страшного ускорения полета блюда при выходе из земной атмосферы сонное тело Билли скрутилось, лицо искажилось гримасой, и он вырвался из времени и снова вернулся на войну.

Когда он пришел в сознание, он был уже не на летающем блюде. Он снова очутился в теплушке и ехал по Германии.

В теплушке одни вставали с пола, другие ложились. Билли тоже собрался лечь. Славно было бы поспать. В вагоне было черным-черно, снаружи — та же чернота. Вагон, казалось, шел со скоростью не более двух миль в час. Ни разу поезд не ускорил ход. Много времени проходило между одним стыком рельса и другим. Раздавался стук, потом проходил год, и раздавался следующий стук.

Поезд часто останавливался, пропуская действительно важные составы, и те с ревом пролетали мимо. И еще поезд останавливался в тупиках, у тюрем, отцепляя там по несколько вагонов. Он полз по Германии, становясь все короче и короче.

И Билли опустился на пол осторожно — ох, до чего осторожно! — держась за поперечину на углу стенки, чтобы стать почти что невесомым для тех, кто уже лежал на полу. Он знал, что прежде, чем улечься на пол, ему надо по возможности стать бесплотным духом. Он позабыл, зачем это нужно, но ему тут же напомнили.

— Пилигрим, — сказал голос того человека, к которому он хотел было пристроиться, — это ты?

Билли ничего не ответил, очень вежливо улегся и закрыл глаза.

— А черт тебя дери, — сказал человек. — Ты это или не ты? — Он сел и грубо нашарил Билли руками. — Ты, конечно. Убирайся отсюда ко всем чертям!

Билли тоже сел, он чуть не плакал, бедняга.

— Убирайся! Я спать хочу!

— Заткнись, — сказал кто-то.

— Заткнусь, когда Пилигрим уберется.

И Билли опять встал, вцепился в поперечину.

— А где же мне спать? — спросил он тихо.

— Только не рядом со мной.

— И не со мной, сукин ты сын, — сказал второй голос. --- Ты со сна орешь и брыкаешься.

— Правда?

- Правда, черт подери. И стонешь.
- Правда?
- Не лезь сюда, Пилигрим, слышишь?

И тут со всех концов вагона пошли мадригалы, и весьма ядовитые. Почти каждый вспоминал всякие мучения, которые ему пришлось терпеть от Билли Пилигрима, когда тот спал рядом. Почти каждый говорил Билли Пилигриму: не лезь сюда, иди ко всем чертям.

И Билли Пилигриму приходилось спать стоя или совсем не спать. И еду перестали подавать через отдушины, и ночи становились все холоднее и холоднее.

На восьмой день сорокалетний бродяга сказал Билли:

- Ничего, бывает хуже. А я везде приспособлюсь.
- Правда? — спросил Билли.

На девятый день бродяга помер. Такие дела. И последними его словами было:

- Да разве это плохо? Бывает куда хуже.

Что-то было роковое в его смерти на девятый день. И в соседнем вагоне на девятый день появился покойник. Умер Роланд Вири — от гангрены в искалеченных ногах. Такие дела.

Вири бредил не переставая и в бреду все повторял про «трех мушкетеров», говорил, что умрет, давал множество поручений для своей семьи в Питтсбурге. Но больше всего он хотел, чтобы за него отомстили, и без конца повторял имя своего убийцы. Весь вагон отлично запомнил это имя.

- Кто меня убил? — спрашивал Вири.

И все знали ответ. А ответ был: «Билли Пилигрим».

Слушайте: на десятую ночь из дверей вагона, где ехал Билли, вытащили засов, и двери отворились. Билли боком примостился на поперечине, словно распяв сам себя, и держался за край отдушины рукой цвета слоновой кости с просинью. Билли закашлялся, когда отворились двери, а когда он кашлял, он испражнялся жидкой кашцей. Это подтверждало третий закон движения материи, согласно теории сэра Исаака Ньютона. Закон гласит, что каждому действию соответствует противодействие, равное по силе и противоположное по направлению.

Этот закон применяется в ракетостроении.

Поезд прибыл в тупик около бараков, служивших ранее лагерем уничтожения русских военнопленных.

Охрана совиными глазами разглядывала внутренность вагона Билли и успокаивающе похмыкивала. До сих пор им никогда не приходилось иметь дел с американцами, но общую характеристику такого груза они, конечно, поняли. Они знали, что содержимое вагона, в сущности, представляет собою вещество в жидком состоянии и что это вещество можно выманить из вагона путем применения света и ободряющих звуков. Стояла темная ночь.

Единственный свет шел снаружи от одинокой лампочки, подвешенной на высоком столбе, где-то вдали. Вокруг все было тихо, если не считать голосов охраны, ворковавшей, как голуби. И жидкое вещество стало вытекать. Комки образовывались в дверях, шлепались на землю.

Билли показался в дверях предпоследним. Последним был бродяга. Но он вытечь уже не мог. Он перестал быть жидким веществом. Он стал камнем. Такие дела.

Билли не желал падать из вагона на землю. Он искренне был уверен, что он разобьется, как стекло. И охрана, ласково воркуя, помогла ему слезть. Они спустили его лицом к поезду. А поезд теперь стал совсем жалкий.

Он состоял из паровоза, тендера и трех небольших теплушек. Последнюю теплушку — земной рай на колесах — занимала охрана. И снова в этом раю на колесах был накрыт стол. Обед был подан.

У основания столба, на котором висела электрическая лампочка, стояло что-то вроде трех стогов сена. Американцев уговорами и шутками заставили подойти к этим стогам, которые оказались вовсе не стогами. Это были груды шинелей, снятых с пленных, которые уже умерли. Такие дела.

Охрана твердо решила, что каждый американец без верхней одежды непременно должен взять себе какую-нибудь шинель. А шинели обледенели и слиплись настолько, что охране пришлось орудовать штыками вместо ледорубов, и, подцепив торчащий воротник, рукав или полу, они отдирали какую-нибудь из вещей и отдавали ее кому попало. Шинели стояли колом, жесткие и холодные.

Пальто, которое получил Билли, и без того совсем короткое, так смялось и сморзлось, что походило на огромную черную треуголку. Оно все было в клейких пятнах, похожих на ржавчину или на скисшее клубничное варенье. К пальто примерзло что-то вроде дохлого мохнатого зверька. На самом деле это был меховой воротничок.

Билли уныло покосился на шинели своих товарищей. На всех этих шинелях болтались либо медные пуговицы, либо галуны, выпушки или номера, нашивки или орлы, полумесяцы или звезды. Это были солдатские шинели. Один только Билли получил пальтецо с мертвого гражданского лица. Такие дела.

Охрана понукала Билли, чтобы он и все остальные отошли от своего унылого поезда и прошли к баракам для пленных. Но ничего хорошего там их не ждало — ни тепла, ни признаков жизни, одни только длинные низкие тесные бараки, бесконечные ряды неосвещенных бараков.

Где-то залаяла собака. От страха, от гулкого эха, от ночной тишины лай напоминал удары огромного бронзового гонга.

Билли и всех остальных заманивали из одних ворот в другие, и Билли впервые увидал русского солдата. Тот стоял один, в темноте — куль лохмотьев с круглым плоским лицом, светившимся, как циферблат на часах.

Билли прошел в каком-нибудь ярде от русского. Их разделяла колючая проволока. Русский ничего не сказал, не помахал рукой. Но заглянул прямо в душу Билли, умильно, с надеждой, словно Билли мог бы сообщить ему какую-то радостную весть, — и хоть он, быть может, эту весть сразу не возьмет в толк, но все равно, хорошая весть — всегда радость.

Билли совсем осовел, идя через одни ворота за другими, и пришел в себя, только очутившись в здании, похожем, как ему показалось, на что-то тральфамадорское. Оно было ярко освещено и выложено белым кафелем. Однако здание было земное. Это была дезинфекционная камера, через которую пропускались все пленные.

Билли послушно снял с себя одежду. Кстати, и на Тральфамадоре ему тоже прежде всего приказали раздеться.

Немец указательным и большим пальцем стиснул правую руку Билли у бицепса и спросил своего товарища, какая же это страна посылает таких слабиков на фронт. Потом они посмотрели на тела других американцев и потыкали пальцем в тех, кто был ничуть не лучше Билли.

Но одно из самых крепких тел принадлежало довольно немолодому американцу, учителю гимназии из Индианаполиса. Звали его Эдгар Дарби. Он прибыл не в том вагоне, где находился Билли. Он прибыл в том вагоне, где находился Роланд Вири. Когда тот умирал, Дарби держал на коленях его голову. Такие дела. Дарби было сорок четыре года. Он был в таком возрасте, что у него уже был взрослый сын в морской пехоте, на тихоокеанском театре войны.

Дарби использовал свои политические связи, чтобы по протекции попасть в армию, несмотря на свой возраст. В Индианаполисе он преподавал предмет под названием «Современные проблемы западной цивилизации». Кроме того, он был тренером теннисной команды и очень заботился о своем теле.

Сын Дарби вернулся с войны живым и здоровым. А Дарби не вернулся. Его прекрасное тело изрешетили пули: он был расстрелян в Дрездене через шестьдесят восемь дней. Такие дела.

Тело Билли было еще не самым жутким среди американских тел. Самое жуткое тело было у поездного вора из города Цицери, штат Иллинойс. Звали вора Поль Лаззаро. Он был крошечного роста, и у него не только все кости и все зубы были порченые — у него и кожа была страшная. Лаззаро был весь испещрен рубцами величиной с полпенни. Он страдал ужасающим фурункулезом.

Лаззаро тоже прибыл в вагоне, где лежал Роланд Вири, и он дал Вири честное слово, что как-нибудь да расплатится с Билли Пилигримом за смерть Вири. Сейчас он оглядывался, соображая, какое из этих голых тел и есть Билли.

Голые американцы встали под души у выложенной белым кафелем стены. Кранов для регулировки не было. Они могли только дожидаться — что будет. Их детородные органы сморщились, истощились. В тот вечер продолжение рода человеческого никак не стояло на повестке дня.

Невидимая рука повернула где-то главный кран. Из души брызнул кипящий дождь. Дождь походил на огонь паяльной лампы — он не согревал.

Он щекотал и колол кожу Билли, но никак не мог растопить лед в его насквозь промерзшем длинном костяке.

В то же время одежда американцев дезинфицировалась ядовитыми газами. Вши, и бактерии, и блохи дохли миллионами. Такие дела.

А Билли пролетел по времени обратно в детство. Он был младенцем, и его только что выкупала мама. Теперь мама завернула его в простынку и унесла в розовую комнату, полную солнца. Она развернула его на мохнатой простынке, напудрила между ножками, поиграла с ним, похлопала его по мягкому животу. Ее ладонь легко шлепала по мягкому животу.

Билли пускал пузыри и агукал.

А потом Билли снова стал оптиком средних лет — сейчас он играл в гольф в жаркое воскресное утро. Билли уже перестал ходить в церковь.

Он играл в гольф с тремя другими оптиками. Билли вышел на поле, настала его очередь бить.

Надо было послать мяч на восемь футов, и Билли сыграл удачно. Он наклонился, чтобы взять мяч из ямки, а солнце зашло за облако. У Билли закружилась голова. Когда он очнулся, он уже был не на лугу. Он был привязан к желтой кусте в белой камере на борту летающего блюдца, которое направлялось на Тральфамадор.

— Где я? — спросил Билли.

— Застыли в другом куске янтаря, мистер Пилигрим. Мы там, где мы и должны сейчас быть — в трехстах миллионах миль от Земли, и направляемся по тому витку времени, который приведет нас на Тральфамадор, но не через века, а через несколько часов.

— Но как — как я попал сюда?

— Это мог бы вам объяснить только другой житель Земли. Земляне — любители все объяснять, они объясняют, почему данное событие сложилось так, а не иначе, они даже рассказывают, как можно было бы отвратить или вызвать какое-нибудь событие. Но я — тральфамадорец и вижу время, как вы видите сразу единую горную цепь Скалистых гор. Время есть все время... Оно неизменно. Его нельзя ни объяснить, ни предугадать. Оно просто есть. Рассмотрите его миг за мигом — и вы поймете, что мы просто насекомые в янтаре.

— По вашим словам выходит, что вы не верите в свободу воли, — сказал Билли Пилигрим.

— Если бы я не потратил столько времени на изучение землян, — сказал тральфамадорец, — я бы понятия не имел, что значит «свобода воли». Я посетил тридцать одну обитаемую планету во Вселенной, и я изучил доклады еще о сотне планет. И только на Земле говорят о «свободе воли».

5

Билли Пилигрим говорит, что для существ с планеты Тральфамадор Вселенная вовсе не похожа на множество сверкающих точек. Эти существа могут видеть, где каждая звезда была и куда она идет, так что для них небо наполнено редкими светящимися макаронинами. И люди для тральфамадорцев вовсе не двуногие существа. Им люди представляются большими тысяченожками, «и детские ножки у них на одном конце, а ноги стариков — на другом». Так объясняет Билли Пилигрим.

По дороге на Тральфамадор Билли попросил дать ему что-нибудь почитать. У его похитителей было пять миллионов земных книг в виде микрофильмов, но в кабине Билли их нельзя было проецировать. У них была одна-единственная английская книга, которую они везли в тральфамадорский музей. Это была «Долина кукол» Жаклины Сюзан.

Билли прочел эту книгу и решил, что местами она довольно интересна. Герои книги, конечно, переживали удачи и неудачи: то удачи, а то неудачи. Но Билли надоело без конца читать про все эти удачи и неудачи. Он попросил, нельзя ли, пожалуйста, достать ему еще какую-нибудь книжку.

— У нас только тральфамадорские романы, но я боюсь, что вы их не поймете, — сказал голос из громкоговорителя.

— Дайте мне хотя бы взглянуть на них.

Ему подали несколько штук. Они были совсем маленькие, понадобилось бы штук двенадцать, чтобы вышла книга толщиной с «Долину кукол» со всеми ее удачами и неудачами: то — удачами, а то — неудачами.

Разумеется, Билли не умел читать по-тральфамадорски, но он хотя бы увидел, как эти книги напечатаны — небольшие группы знаков отделялись звездочками. Билли предположил, что эти группы знаков — телеграммы.

— Точно, — сказал голос.

— Значит, это действительно телеграммы?

— У нас на Тральфамадоре телеграмм нет. Но в одном вы правы: каждая группа знаков содержит краткое и важное сообщение — описание какого-нибудь положения или события. Мы, тральфамадорцы, никогда не читаем их все сразу, подряд. Между этими сообщениями нет особой связи, кроме того, что автор тщательно отобрал их так, что в совокупности они дают общую картину жизни, прекрасной, неожиданной, глубокой. Там нет ни начала, ни конца, ни напряженности сюжета, ни морали, ни причин, ни следствий. Мы любим в наших книгах главным образом глубину многих чудесных моментов, увиденных сразу, в одно и то же время.

В следующий миг летающее блюдце сделало виток во времени, и Билли был отброшен назад, в детство. Ему было двенадцать лет, и он стоял, трясаясь от страха, рядом с отцом и матерью на самом краю Большого каньона — на выступе Брайт Эйнджел. Маленькое человеческое семейство глядело вниз, на дно каньона в милю глубины.

— М-да-аа, — сказал отец Билли и мужественно метнул в пропасть камешек носком ботинка. — Вот оно как...

Они приехали на это знаменитое место в своей машине. По дороге у них было семь проколов.

— Да, стоило ехать! — восхищенно сказала мать Билли. — И еще как стоило, боже мой!

Билли с ненавистью смотрел на каньон. Он был уверен, что сейчас упадет туда. Мать слегка задела его, и он намочил штаны.

Другие туристы тоже смотрели вниз, в пропасть, а лесник стоял тут же, отвечая на вопросы. Француз, приехавший специально из Франции, спросил, много ли людей кончают тут с собой, прыгая вниз?

— Да, сэр, — ответил лесник, — человека три в год.
Такие дела.

Тут Билли совершил совсем коротенький виток по времени, этаким прыжочек в десять дней, так что ему все еще было двенадцать лет и он все еще путешествовал со своими родителями по Западу. Сейчас они стояли в Карлсбадской пещере, и Билли молил бога вывести его отсюда, пока не обвалился потолок.

Лесник объяснял, что пещеры открыл один ковбой, который увидел, как огромная стая летучих мышей вылетела из ямы в земле. Потом лесник сказал, что сейчас потушит весь свет и что, наверное, многие из туристов впервые в жизни окажутся в абсолютной темноте.

И свет потух. Билли даже не понимал, жив он или умер. И вдруг какой-то призрак поплыл в воздухе слева от него. На призраке стояли цифры. Это отец Билли достал из кармана свои часы. У часов был светящийся циферблат.

Из полной тьмы Билли попал в полный свет, снова оказался на войне, снова очутился в дезинфекционной камере. Душ кончился. Невидимая рука закрыла воду.

Когда Билли получил обратно свою одежду, она не стала чище, но все мелкие насекомые, жившие там, умерли. Такие дела. А его новое пальто оттаяло и обмякло. Оно было слишком мало для Билли. На пальто был меховой воротничок и красная шелковая подкладка, и сшито оно было, очевидно, на какого-то импресарио ростом не больше мартышки шарманщика. Все оно было изрешечено пулями.

Билли Пилигрим оделся. Он надел и тесное пальтишко. Оно сразу лопнуло на спине, а рукава сразу оторвались у проймы. И пальто превратилось в жилетку с меховым воротничком. По идее, оно должно было расширяться у талии, но оно расширялось у Билли под мышками. Никогда еще немцы за всю вторую мировую войну не видали такого немислимо смешного зрелища. И они хохотали, хохотали, хохотали вовсю.

Немцы велели всем построиться по пяти в ряд во главе с Билли. И снова всех повели через множество ворот. Навстречу попало еще несколько голодных русских с лицами, похожими на светящиеся циферблаты. Американцы немного ожили. Возня с горячей водой их подбодрила. Они подошли к бараку, где одноногий и одноглазый капрал записал фамилии и номера всех пленных в большую толстую красную конторскую книгу. Теперь все они были законно признаны живыми. До того, как их имена и номера попали в эту книгу, они считались пропавшими без вести, а может, и убитыми.

Такие дела.

Пока американцы ждали разрешения двинуться дальше, в самом последнем ряду вспыхнула ссора. Один из американцев пробормотал что-то такое, что не понравилось охраннику, и тот, выхватив американца из строя, сбил его с ног.

Американец удивился. Он встал, шатаясь, плюя кровью. Ему выбили два зуба. Он никого не хотел обидеть своими словами и даже не представлял себе, что охранник его услышит и поймет.

— За что меня? — спросил он охранника.

Охранник втолкнул его в строй.

— Са што тепя? — спросил он по-английски. — Са што тепя? А са што всех труких?

После того, как имя Билли записали в толстый гроссбух лагеря военнопленных, ему выдали номер и железную бирку, на которой был выбит этот номер. Пленный поляк отштамповал эти бирки. Потом он умер. Такие дела.

Билли приказали повесить эту бирку на шею вместе со своими американскими бирками. Он так и сделал. Бирка была похожа на соленый крекер, продырявленный посредине так, чтобы сильный человек мог переломить ее голыми руками. Если Билли помрет, чего не случилось, половинка бирки останется на его трупе, а половинку прикрепят над могилой.

Когда беднягу Эдгара Дарби, учителя гимназии, расстреляли в Дрездене, доктор констатировал смерть и сам переломил его бирку пополам. Такие дела.

Записанных и пронумерованных американцев снова повели через ряд ворот. Пройдет несколько дней, и их семьи узнают через Международный Красный Крест, что они живы.

Рядом с Билли шел маленький Поль Лаззаро, который обещал отомстить за Роланда Вири. Но Лаззаро не думал о мести. Он думал о страшной боли в животе. Желудок у него сохся, стал не больше грецкого ореха. И этот сморщенный сухой мешочек болел, как нарыв.

За Лаззаро шел несчастный обреченный старый Эдгар Дарби, и американские и немецкие бирки, как ожерелье, украшали его грудь. По своему возрасту и образованию он рассчитывал стать капитаном, командиром роты. А теперь он шел в темень, где-то у чехословацкой границы.

— Стой! — скомандовал охранник.

Американцы остановились. Они спокойно стояли на морозе. Бараки, у которых они остановились, снаружи были похожи на тысячи других бараков, мимо которых они проходили. Разница была только в том, что у этого барака были трубы и оттуда летели снопы искр.

Один из охранников постучал в двери.

Двери распахнулись изнутри. Свет вырвался на волю со скоростью ста восьмидесяти шести тысяч миль в секунду. Из барака торжественно вышли пятьдесят немолодых англичан. Они пели хором из оперетты «Пираты Пензанса»: «Ура! Ура! Явились все друзья!»

Эти пятьдесят голосистых певунов были одними из первых англичан, взятых в плен во время второй мировой войны. Теперь они пели, встречая чуть ли не последних пленных. Четыре года с лишком они не видели ни одной женщины, ни одного ребенка. Они даже птиц не видали. Даже воробьи в лагерь не залетали.

Все англичане были офицеры. Каждый из них хоть раз пытался бежать из лагеря. И вот они оказались тут — незыблемый островок в мире умирающих русских.

Они могли вести какие угодно подкопы. Все равно они выходили на поверхность в участке, огороженном колючей проволокой, где их встречали ослабевшие, голодные русские, не знавшие ни слова по-английски. Ни пицци, ни полезных сведений у них получить было нельзя. Англичане могли сколько угодно придумывать — как бы им спрятаться в какой-нибудь машине или украсть грузовик. Все равно никакие машины на их участок не заезжали. Они сколько угодно могли притворяться больными, все равно их никуда не отправляли. Единственным госпиталем в лагере служил барак на шесть коек в самом английском блоке.

Англичане были аккуратные, жизнерадостные, очень порядочные и крепкие. Они пели громко и согласно. Все эти годы они пели хором каждый вечер.

Кроме того, англичане все эти годы выжимали гири и делали гимнастику. Животы у них были похожи на стиральные доски. Мускулы на ногах и плечах ходили на пушечные ядра. Кроме того, они все стали мастерами по шахматам и шашкам, по бриджу, кривбеджу, домино, анаграммам, шарадам, пинг-понгу и бильярду.

Что же касается запасов еды, то они были самыми богатыми людьми в Европе. Из-за канцелярской ошибки в самом начале войны, когда пленным еще посы-

лали посылки, Красный Крест стал посылать им вместо пятидесяти по пятьсот посылок в месяц. Англичане прятали их так хитро, что теперь, к концу войны, у них скопилось три тонны сахара, тонна кофе, тысяча сто фунтов шоколада, семьсот фунтов табаку, тысяча семьсот фунтов чаю, две тонны муки, тонна мясных консервов, тысяча сто фунтов масла в консервах, тысяча шестьсот фунтов сыру в консервах, восемьсот фунтов молока в порошке и две тонны апельсинового джема.

Все это они держали в темном помещении. Все помещение было обито расплюснутыми жестянками из-под консервов, чтобы не забрались крысы.

Немцы их обожали, считая, что они точно такие, какими должны быть англичане. Воевать с такими людьми было шикарно, разумно и интересно. И немцы предоставили англичанам четыре барака, хотя все они могли поместиться в одном. А в обмен на кофе, или шоколад, или табак немцы давали им краску, и доски, и гвозди, и парусину, чтобы можно было устроиться как следует.

Англичане уже накануне знали, что привезут американских гостей. До сих пор к ним гости не ездили, потому они и взялись за работу, как добрые дяди-волшебники, и стали мести, мыть, варить, печь, делать тюфяки из парусины и соломы, расставлять столы и ставить флажки у каждого места за столом.

И вот они приветствовали гостей песней в зимнюю ночь. От англичан вкусно пахло пиршеством, которое они приготовили. Одеты они были наполовину в военное, наполовину в спортивное платье — для тенниса или крокета. Они были так восхищены своим собственным гостеприимством и пиршеством, ожидающим гостей, что они даже не рассмотрели, кого они встречают хоровым пением. Они вообразили, что поют таким же офицерам, как они сами, прибывшим прямо с фронта.

Они ласково подталкивали американцев к дверям с мужественными шутками и прибаутками. Они называли их «янки», говорили «молодцы ребята», обещали, что «Джерри скоро будет драпать».

Билли Пилигрим пытался сообразить, кто такой «Джерри».

Билли уже сидел в бараке рядом с докрасна раскаленной железной плитой. На плите кипело с десяток чайников. Некоторые чайники были со свистками. Тут же стоял волшебный котел, полный золотистого супа. Суп был густой. Первобытные пузыри с ленивым величием всплывали со дна перед удивленным взором Билли.

На длинных столах было расставлено угощение. На каждом месте стояла чашка, сделанная из консервной банки из-под порошкового молока. Банка ниже изображала блюдце. Узкая и высокая банка служила бокалом. Бокал был полон теплого молока.

На каждом месте лежала безопасная бритва, губка, пакет лезвий, плитка шоколада, две сигары, кусок мыла, десяток сигарет, коробка спичек, карандаш и свечка.

Только свечи и мыло были германского происхождения. Чем-то и мыло и свечи были похожи — какой-то призрачной прозрачностью. Англичане не могли знать, что и свечи и мыло были сделаны из жира уничтоженных евреев, и цыган, и бродяг, и коммунистов, и всяких других врагов фашистского государства.

Такие дела.

Банкетный зал был ярко освещен этими свечами. На столах — груды еще теплого белого хлеба, куски масла, банки варенья. На тарелках — ломти консервированного мяса. Суп, яичница и горячий пирог с повидлом ждали своей очереди.

А в дальнем конце барака Билли увидал розовые арки, с которых спускались небесно-голубые портьеры, и огромные настенные часы, и два золотых трона, и ведро, и половую тряпку. В этих декорациях англичане собирались разыгры-

вать гвоздь вечера — музыкальную комедию «Золушка» собственного сочинения, на тему одной из самых любимых сказок.

Билли Пилигрим вдруг загорелся — он слишком близко стоял у раскаленной печки. Горела пола его пальтишка. Огонь тлел спокойно, терпеливо, как трут.

А Билли думал: нет ли тут телефона? Хотел позвонить своей маме и сообщить ей, что он жив и здоров.

Стояла тишина: англичане с удивлением смотрели на зловонные существа, которых они, весело пританцовывая, втащили в барак. Один из англичан увидел, что Билли горит.

— Да ты горишь, приятель, — сказал он и, оттянув Билли от печки, стал сбивать огонь руками.

И когда Билли ничего не сказал, англичанин спросил его:

— Вы можете говорить? Вы меня слышите?

Билли кивнул.

Англичанин потрогал его, пощупал и жалобно сказал:

— Бог мой, да что же они с вами сделали? Это же не человек — это же сло-
манная игрушка!

— А вы и вправду американец? — спросил англичанин, помолчав.

— Да, — сказал Билли.

— А ваше звание?

— Рядовой.

— Где же ваши сапоги, приятель?

— Не помню.

— А пальто для смеху, что ли?

— Сэр?

— Где вы его выкопали?

Билли сначала подумал, потом сказал:

— Выдали мне.

— Джерри вам его выдал?

— Кто?

— Ну, немцы. Выдали вам эту штуку?

— Да.

Билли надоели расспросы. Он от них устал.

— О-о, янк, янк, янк! — сказал англичанин. — Да это же оскорбление!

— Сэр?

— Они нарочно старались вас унижить. Нельзя допускать, чтобы Джерри позволял себе такие выходки.

Но тут Билли Пилигрим потерял сознание.

Билли пришел в себя на стуле, перед сценой. Как-то его накормили, и теперь он смотрел «Золушку». Очевидно, какой-то частью своего сознания Билли восхищался спектаклем. Он громко хохотал.

Женские роли, разумеется, играли мужчины. Часы только что пробили полночь, и Золушка в отчаянии пела басом:

Бьют часы, ядрена мать,
Надо с бала мне бежать!

Этот куплетик показался Билли таким смешным, что он уже не просто хохотал — он визжал от смеха. Он визжал, пока его не вынесли из барака в другой барак, госпитальный. Госпиталь был на шесть коек. Других больных там не было.

Билли уложили в постель, ему сделали укол морфия. Другой американец вызвался посидеть около него. Добровольной сиделкой был Эдгар Дарби, школьный учитель, которого потом расстреляли в Дрездене. Такие дела.

Дарби сидел на трехногой табуретке. Ему дали почитать книжку. Это был

роман Стівенса Крейна «Алый знак доблести». Когда-то Дарби уже читал эту книгу. Теперь он ее перечитывал, пока Билли погружался в морфийный рай.

От морфия Билли видел во сне жирафов. Жирафы шли по усыпанной гравием дорожке, останавливаясь, чтобы пожевать сладкие груши, росшие на ветках деревьев. Билли тоже был жирафом. Он жевал грушу. Груша была твердая. Она не поддавалась его скрежещущим челюстям. Она вдруг раскололась, обиженно истекая соком.

Жирафы признали Билли за своего, за безобидное существо, такое же странное, как они сами. Они окружили его со всех сторон, ласкались к нему. Их длинные мускулистые верхние губы вытягивались в трубочку. Они целовали Билли мягкими губами. Это были самочки жирафов — цвета топленых сливок и лимона. У них были рожки, похожие на дверные ручки. Рожки были совсем как бархатные.

Почему?

Ночь опустилась на сад с жирафами. Билли уже спал без снов, а потом стал путешествовать во времени. Он проснулся, укрытый с головой одеялом, в палате для тихих психических больных в военном госпитале близ Лэйк Пласид, в штате Нью-Йорк. Была весна 1948 года. Война окончилась три года назад.

Билли высунул голову из-под одеяла. Окна в палате были открыты. Птицы щебетали за окном. «Пьюти-фьют?» — спросила одна из них у Билли. Солнце стояло высоко. В палате было еще двадцать девять больных, но все они гуляли, наслаждаясь хорошей погодой. Они могли свободно уходить и приходить, даже, если захотят, уйти совсем домой, — да и Билли Пилигрим тоже. Пришли они сюда добровольно, напуганные внешним миром.

Билли поступил в госпиталь в середине последнего семестра на илиумских курсах оптометрии. Никто и не подозревал, что он свихнулся. Все считали, что он чудесно выглядит и чудесно ведет себя. А он попал в госпиталь. И доктора согласились. Он действительно свихнулся.

Но доктора считали, что война тут ни при чем. Они считали, что Билли расклеился, потому что его отец когда-то бросил его в бассейн ХАМЛ, на глубоком месте, а потом привел его к пропасти у Большого каньона.

Рядом с Билли лежал бывший капитан пехоты по имени Элиот Розуотер. Он лечился от затяжного запоя.

Именно Розуотер пристрастил Билли к научной фантастике, и особенно к сочинениям некоего Килгора Траута. Под кроватью у Розуотера скопилось невероятное количество дешевых изданий научной фантастики. Он привез их в госпиталь в дорожном чемодане. От любимых, истрепанных книг шел запах по всей палате — как от фланелевой пижамы, ношенной больше месяца, или от тушеного кролика.

Килгор Траут стал любимым современным писателем Билли, а научная фантастика — единственным жанром литературы, какой он мог читать.

Розуотер был вдвое умней Билли, но оба они одинаково переживали одинаковый кризис в жизни. Обоим жизнь казалась бессмысленной, отчасти из-за того, что им пришлось пережить на войне. Например, Розуотер нечаянно пристрелил четырнадцатилетнего парнишку-пожарника, приняв его за немецкого солдата. А Билли видел величайшую бойню в истории Европы — бомбежку города Дрездена. Такие дела.

И теперь они оба пытались преобразовать и себя, и свой мир. И научная фантастика была им большим подспорьем.

Розуотер однажды сказал Билли интересную вещь про книгу, не относящуюся к научной фантастике. Он сказал, что абсолютно все, что надо знать о жизни, есть в книге «Братья Карамазовы» писателя Достоевского.

— Но теперь и этого мало, — сказал Розуотер.

В другой раз Билли услышал, как Розуотер говорил психиатру:

— По-моему, вам, господа, придется насочинять тьму-тьмущую всякой потрясающей н о в о й брехни, иначе людям станет совсем неохота жить.

На столике у Билли лежал целый натюрморт: две пилюли, пепельница с тремя окурками в губной помаде — один из них еще тлел — и стакан с минеральной водой. Вода уже выдохлась. Пузырьки еще пытались вырваться из этой мертвой воды. Некоторые пузырьки прилипли к стенкам — у них не хватало сил подняться кверху.

Сигареты оставила мать Билли, курившая беспрестанно. Она пошла в дамскую уборную, неподалеку от палаты, где лежали девушки из вспомогательных служб армии и флота США, которые малость рехнулись. Каждую минуту мать могла вернуться.

И Билли снова укрылся с головой. Он всегда прятался под одеяло, когда мать приходила навещать его в палате для нервнобольных, а когда она уходила, ему становилось гораздо хуже. И вовсе не потому, что она была какая-нибудь уродина, или от нее плохо пахло, или характер у нее был скверный. Нет, она была совершенно стандартная, милая, темноволосая белая женщина с высшим образованием.

Она просто расстраивала Билли, потому что она — его мать. При ней он чувствовал себя беспомощным, растерянным и неблагодарным, потому что она потратила столько сил, чтобы дать ему жизнь, помочь ему в жизни, а Билли эта жизнь совершенно не нравилась.

Билли слышал, как Розуотер вошел и лег. Об этом громко рассказали пружины на кровати Розуотера. Розуотер был крупный человек, но какой-то не очень сильный, как будто его слепили наспех из замазки.

И тут вернулась из дамской уборной мать Билли и уселась на стул между постелями Розуотера и Билли. Розуотер поздоровался с ней теплым, звучным голосом, спросил, как она поживает. Казалось, он весь просиял, услышав, что она поживает хорошо. В виде опыта он старался проявлять самое горячее сочувствие ко всем, кого встречал. Он думал, что от этого жить на свете станет хоть немножко приятнее. Он называл мать Билли «дорогая». В виде опыта он всех называл «дорогими».

— Наступит день, — сказала она Розуотеру, — когда я войду сюда, а Билли снимет одеяло с головы и скажет — знаете что?

— Что же он скажет, дорогая?

— Он скажет: «Здравствуй, мамочка» — и улыбнется. И еще скажет: «Ух, как хорошо, что ты пришла, мамочка. Как же ты живешь?»

— Да, могло бы так быть и сегодня.

— Каждый вечер молюсь за него.

— Как это п р е к р а с н о !

— Люди, наверно, удивились бы, если б им сказать: как много хорошего случается на свете благодаря молитве.

— Ваша правда, дорогая, ваша правда.

— А ваша матушка часто вас навещает?

— Моя мать умерла, — сказал Розуотер.

Такие дела.

— О, простите!

— По крайней мере она прожила всю жизнь очень счастливо.

— Да, это, конечно, утешение.

— Да.

— Отец у Билли тоже умер, — сказала мать Билли.

Такие дела.

— Мальчику отец н е о б х о д и м.

И так без конца шел разговор между дамой, слепо верящей в силу молитвы, и огромным опустошенным человеком, который, как эхо, ласково откликнулся на все.

— Он был первым учеником, когда это с ним случилось,— сказала мать Билли.

— Может быть, он переутомился,— сказал Розуотер.

В руках у него была книга, и ему очень хотелось читать, но из вежливости он не мог одновременно и читать, и разговаривать с матерью Билли, хотя отвечать ей впопад было совсем легко. Книга называлась «Маньяки четвертого измерения», Килгора Траута. Книга описывала психически больных людей, которые не поддавались лечению, потому что причины заболеваний лежали в четвертом измерении и ни один трехмерный врач-землянин никак не мог определить эти причины и даже вообразить их не мог.

Розуотеру очень понравилось одно высказывание Траута: что и вампиры, и упыри, и ангелы, и домовые действительно существуют, но существуют они в четвертом измерении. К четвертому измерению, как утверждал Траут, принадлежит и Уильям Блейк, любимый поэт Розуотера. И рай и ад — тоже.

— Он обручен с очень-очень богатой девушкой,— сказала мать Билли.

— Это хорошо,— сказал Розуотер.— Деньги иногда могут очень украсить жизнь человека.

— Конечно, могут.

— Да, вот именно, могут.

— Не очень-то весело зажимать в кулаке каждый грош, так что дышать трудно.

— Да, всегда хочется вздохнуть свободно.

— Отец девушки — владелец оптометрических курсов, где учится Билли. И еще у него шесть врачебных кабинетов в нашем районе. И собственный самолет, и дача на озере Джордж.

— Очень красивое озеро.

Билли уснул под одеялом. Проснулся он снова в госпитальном бараке, привязанный к больничной койке. Он приоткрыл один глаз и увидел, что бедный старый Эдгар Дарби читает при свече «А лый знак доблести».

Билли прикрыл глаз и увидел в памяти будущего, как бедный старый Эдгар Дарби стоит перед немецким карательным взводом на развалинах Дрездена. В отряде, расстрелявшем Эдгара Дарби, было всего четыре человека. Билли как-то слышал, что обычно одному из взвода дают винтовку с холостым патроном. Но Билли сомневался, что в таком маленьком отряде, да еще в такой долгой войне, кому-то выдадут холостой патрон.

Тут в барак, где лежал Билли, зашел его проведать командир англичан. Он был полковником пехоты и попал в плен еще при Дюнкерке. Это он сделал Билли укол морфия. Настоящего врача в их бараках не было, так что всех лечил этот полковник.

— Ну, как ваш пациент? — спросил он Эдгара Дарби.

— Лежит, как мертвый.

— Но на самом деле он не умер?

— Нет.

— Как приятно — ничего не чувствовать и все же считаться живым.

Дарби спохватился и с унылым видом встал «смирно».

— Нет, нет, прошу вас — вольно! Тут на каждого офицера приходится всего двое рядовых, а рядовые при этом все больны, так что, по-моему, мы вполне можем обойтись без обычных церемоний между офицерами и солдатами.

Но Дарби остался стоять.

— Вы с виду старше остальных,— заметил офицер.

Дарби сказал, что ему сорок пять лет, оказалось, что он на два года старше

полковника. Полковник сказал, что все американцы уже побрились и только у Билли и у Дарби остались бороды. И он еще сказал:

— Знаете, нам тут приходилось вообразить — какая там идет война, и мы считали, что в этой войне сражаются немолодые люди вроде нас с вами. Мы за-были, что войну ведут младенцы. Когда я увидел эти свежевыбранные физионо-мии, я был потрясен. «Бог ты мой! — подумал я.— Да это же крестовый поход детей!»

Полковник спросил беднягу Дарби, как он попал в плен, и Дарби рассказал, как он сидел в зарослях с сотней других перепуганных насмерть солдат. Бой шел уже пятый день. Эту сотню загнали в заросли танки.

Дарби описывал ту неопишемую искусственную атмосферу, которую создают одни земляне, когда они не хотят оставить других землян жить на Земле. Снаря-ды со страшным грохотом рвались в верхушках деревьев, рассказывал Дарби, из них сыпались ножи, иглы и бритвы. Маленькие кусочки свинца в медной оболоч-ке шныряли пониже взрывающихся снарядов со скоростью быстрее скорости звука.

И многие люди были ранены или убиты. Такие дела.

Потом обстрел артиллерии прекратился, и скрытый немец с мегафоном велел американцам сложить оружие и выйти из лесу, положив руки на голову, иначе обстрел начнется снова и не прекратится, пока всех не убьют.

И американцы сложили оружие и вышли из лесу, положив руки на голову, потому что им хотелось жить, если была хоть малейшая возможность.

Билли снова пропутешествовал во времени обратно в госпиталь ветеранов войны. Одеяло он натянул на голову. Снаружи все было тихо.

— Моя мать ушла? — спросил Билли.

— Да.

Билли выглянул из-под одеяла. У постели на стуле для посетителей теперь сидела его невеста. Ее звали Валенсия Мербл. Валенсия была дочерью владельца Илиумских оптометрических курсов. Она была очень богата. Она была огромная, как дом, потому что без конца что-то ела. Она и сейчас ела. И ела она шоколад-ку «три мушкетера». На ней были выпуклые очки в пестрой оправе, и вся оправа была усыпана фальшивыми бриллиантками. К блеску этих камешков примешивался блеск настоящего бриллианта в обручальном кольце. Бриллиант был застра-хован в тысячу восемьсот долларов. Билли нашел этот бриллиант в Германии. Это был военный трофей.

Билли вовсе не хотел жениться на некрасивой Валенсии. Их обручение было симптомом его заболевания. Он понял, что сходит с ума, когда услышал, как он сам делает ей предложение, просит ее принять бриллиантовое кольцо и стать спут-ницей его жизни.

Билли поздоровался с невестой, и она спросила, не хочет ли он конфетку, и он сказал:

— Нет, спасибо.

Она спросила его, как он себя чувствует, и он сказал:

— Спасибо. Гораздо лучше.

Она сказала, что все слушатели оптометрических курсов огорчены его боле-знию и надеются, что он вскоре выздоровеет, и Билли сказал:

— Увидишь их, передай им привет.

Она спросила, не может ли она принести ему что-нибудь с воли, и он сказал:

— Нет, у меня есть все, что мне нужно.

— А книжки? — сказала Валенсия.

— У меня тут рядом одна из самых больших частных библиотек в мире, — сказал Билли, намекая на собрание научной фантастики под кроватью Элнота Розутера.

Розуотер читал, лежа на соседней кровати, и Билли втянул его в разговор, спросив, что он читает.

Розуотер ответил сразу. Он сказал, что читает «Космическое евангелие» Килгора Траута. Это была повесть про пришельца из космоса, кстати, очень похожего на тральфамадорца. Этот пришелец из космоса серьезно изучал христианство, чтобы узнать, почему христиане легко становятся жестокими. Он решил, что виной всему неточность евангельских повествований. Он предполагал, что замысел Евангелия был именно в том, чтобы, кроме всего прочего, учить людей быть милосердными даже по отношению к ничтожнейшим из ничтожных.

Но на самом деле Евангелие учило вот чему: прежде чем кого-то убить, проверь как следует, нет ли у него влиятельной родни? Такие дела.

Загвоздка во всех рассказах о Христе, говорил пришелец из космоса, в том, что Христос, с виду такой незаметный, на самом деле был Сыном Самого Могущественного Существа во Вселенной. Читатели это понимали так, что, дойдя до описания распятия, они, естественно, думали... Тут Розуотер снова прочел несколько слов вслух:

— *О черт, они же собираются линчевать совсем не того, кого надо.*

А эта мысль рождала следующую: значит, есть те, кого надо линчевать. Кто же? Люди, у которых нет влиятельной родни.

Пришелец из космоса подарил землянам новое Евангелие. В нем Христос действительно был никем и страшно раздражал людей с более влиятельной родней, чем у него. Но он, конечно, и тут говорил все те чудесные и загадочные слова, какие приводились в прежних Евангелиях.

Тогда люди устроили себе развлечение и распяли его на кресте, а крест вкопали в землю. Никаких откликов это дело не вызовет, думали эти линчеватели. То же самое думал и читатель нового Евангелия, потому что ему все время вдальбывали, что Христос был без роду, без племени.

И вдруг, прежде чем этот сирота скончался, разверзлись небеса, загредел гром, засверкала молния. Глас божий раскатился над землей. И бог сказал, что нарекает сироту своим сыном и на веки веков наделяет его всей властью и могуществом сына творца Вселенной. И господь изрек: отныне он покарает страшной карой каждого, кто будет мучить любого бродягу без роду и племени!

Невеста Билли доела свою шоколадку «три мушкетера» и теперь жевала конфету «Млечный Путь».

— К черту книжки, — сказал Розуотер, швырнув эту книгу под кровать.

— А книжка, кажется, интересная, — сказала Валенсия.

— О, черт, если бы только этот Килгор Траут умел писать! — воскликнул Элиот Розуотер. Розуотер считал, что непопулярность Килгора Траута была вполне заслуженной. Прозу он писал прескверную. Только мысли были хорошие.

— По-моему, он никогда и не выезжал из Америки, — добавил Розуотер. — Пишет, черт его возьми, про землян вообще, а они у него все — американцы. А фактически чистокровных американцев на земле почти что нет.

— А где он живет? — спросила Валенсия.

— Никто не знает, — ответил Розуотер. — И вообще, насколько я могу судить, я — единственный человек, который о нем слышал. Ни одно издательство не выпускает две его книги подряд. Каждый раз, как я ему пишу на адрес издательства, письмо возвращается, потому что издатель прогорел.

И чтобы переменить тему разговора, он похвалил обручальное кольцо Валенсии.

— Благодарю вас, — сказала она и протянула кольцо Розуотеру, чтобы он как следует рассмотрел камень. — Билли привез его с войны.

— И в войне есть свои приятности,— сказал Розуотер.— Каждый привозит с нее хоть какой-то пустячок.

Истати, о месте жительства Килгора Траута: на самом деле он жил в Илиуме, родном городе Билли, без друзей, презираемый всеми. Впоследствии Билли с ним познакомился.

— Билли...— сказала Валенсия Мербл.

— М-мм?

— Давай посоветуемся, какое столовое серебро нам выбрать?

— Пожалуйста.

— Я остановилась на двух образцах: либо «датский король», либо «шток-роза».

— «Шток-роза»,— сказал Билли.

— Собственно говоря, спешить не стоит,— сказала она.— Понимаешь, что бы мы ни выбрали, нам всю жизнь с этим жить.

Билли еще раз посмотрел картинки.

— Ну, «датский король»,— сказал он наконец.

— «Лунный свет» тоже очень мило.

— Верно,— согласился Билли.

И Билли пропутешествовал во времени на Тральфамадор. Ему было сорок четыре года, и он был выставлен напоказ под прозрачным куполом. Он полулежал на кушетке, служившей ему люлькой при полете в космос. Он был голый. Тральфамадорцев интересовало его тело — все, целиком. Тысячи жителей Тральфамадора стояли вокруг купола, подняв ладоши, чтобы их глазки видели Билли. Билли уже пробыл на Тральфамадоре шесть земных месяцев. Он привык к толпе.

О том, чтобы убежать, и речи не было. Атмосфера вне купола была чистой синильной кислотой, а Земля находилась на расстоянии 446 120 000 000 000 000 миль.

Билли был выставлен в зоопарке, в искусственном земном жилище. Большая часть мебели была украдена со складов Сирса и Роубека в Айове. Там был цветной телевизор и диван-кровать. У кушетки стояли столики с лампами и пепельницами. Был там и стенной бар, и к нему две табуретки. И маленький бильярд. Везде, кроме кухни, ванной и железной крышки над люком в центре комнаты, пол был устлан золотистым ковром. На низеньком столике перед диваном веером лежали журналы.

Был там и стереофонический проигрыватель. Проигрыватель работал. А телевизор — нет. На экране была прилеплена картинка — один ковбой убивает другого. Такие дела.

Стен у купола не было, и спрятаться было некуда. Умывальные и туалетные принадлежности светло-зеленого цвета стояли прямо на виду. Билли встал со своей кушетки, пошел в туалет и помочился. Толпа пришла в дикий восторг.

Билли вычистил зубы на Тральфамадоре, вставил часть искусственной челюсти и пошел на свою кухню. Плитка на баллонном газе, холодильник и мойка для посуды тоже были бледно-зеленого цвета. На дверцах холодильника была нарисована картинка. Это так и полагалось. На картинке была изображена парочка из веселых девятидесятых годов, на двойном велосипеде.

Билли поглядел на картинку, попытался что-нибудь придумать об этой парочке. Но мысли не приходили. Об этих двух людях думать было абсолютно нечего.

Билли позавтракал всякими консервами. Он вымыл чашку, и тарелку, и ножик, и вилку, и ложку, и кастрюльку и убрал их в шкаф. Потом он стал делать гимнастику, как его учили в армии,— прыжки, наклоны, приседания и повороты.

Большинство тральфамадорцев не знало, что у Билли некрасивое лицо и некрасивое тело. Они считали его великолепным экземпляром. Это очень благотворно влияло на Билли, и впервые в жизни он радовался своему телу.

После гимнастики он принял душ, подстриг ногти на ногах. Он побрился и побрызгал дезодорантом под мышками, в то время как экскурсовод зоопарка, стоя извне на высокой эстраде, объяснял, что Билли делает и зачем. Экскурсовод читал лекцию телепатически, он просто стоял и посылал мысленные волны в публику. На эстраде около него стоял маленький передатчик с клавишами, по которому он передавал Билли вопросы из публики.

Прозвучал первый вопрос — его передал репродуктор на телевизоре:

— Вам тут хорошо?

— Не хуже, чем мне было на Земле, — сказал Билли Пилигрим, и это была правда.

Жители Тральфамадора были пятиполые, и каждый пол вносил свою лепту в создание новой особи. Для Билли они все выглядели одинаково, потому что каждый пол отличался от другого только в четвертом измерении.

Одной из самых взрывчатых идей, преподнесенных Билли тральфамадорцами, было их открытие, касающееся вопросов пола на Земле. Они сказали, что команды их летающих блюдеч обнаружили не меньше семи различных полов на Земле, и все они были необходимы для продолжения человеческого рода. И опять-таки Билли даже представить себе не мог, что же это еще за пять из семи половых групп и какое отношение они имеют к деторождению, тем более что действовали они только в четвертом измерении.

Тральфамадорцы старались подсказать Билли, как ему представить себе секс в невидимом для него измерении. Они сказали, что не может ни один земной житель родиться, если не будет гомосексуалистов. А без лесбиянок дети вполне могли появляться на свет. Без женщин старше шестидесяти пяти лет дети рождались не могли. А без мужчин того же возраста могли. Не могло быть новых детей без тех младенцев, которые прожили после рождения час или меньше. И так далее.

Для Билли все это было сплошным бредом.

Но многое, что говорил Билли, было бредом для тральфамадорцев. Они не могли понять, как он воспринимает время. Билли бросил всякие попытки объяснить им это.

Пришлось экскурсоводу зоопарка своими силами взяться за объяснение.

И экскурсовод предложил слушателям вообразить, что они глядят через пустыню на горную цепь в озаренный солнцем ясный день. Они могут смотреть на вершину горы, на птицу или на облако, на скалу перед ними или даже на дно пропасти позади себя. Но среди них находится несчастный этот землянин, и голова его заключена в стальной шар, который он не может снять. И в этом шаре есть один-единственный глазок, через который он может глядеть, да еще к этому глазку приварена шестифутовая трубка.

И это было только предварительное описание всех метафорических бед Билли. Будто бы он еще был привязан к стальной решетке, привинченной к платформе на рельсах, и никак не мог повернуть голову или сдвинуть трубку. Дальний конец трубки лежал на треноге, тоже привинченной к платформе. Билли только и мог видеть крошечный просвет в конце трубки. Он не знал, что привязан к платформе, и даже не понимал, в каком странном положении он находится.

А платформа то ползла очень медленно, то неслась по рельсам, подымалась в гору, катилась вниз, заворачивала, ехала напрямик. И только про то, что бедный Билли видел сквозь дырочку в трубке, он и мог говорить: «Это жизнь».

Билли ожидал, что тральфамадорцы будут удивляться и возмущаться войнами и другими видами разбоя на Земле. Он ожидал, что они будут бояться, как

бы земляне с их жестокостью и мощным вооружением не разрушили часть, а может быть, и всю ни в чем не повинную Вселенную. Эти мысли ему подсказала научная фантастика.

Но никаких разговоров о войне не было, пока Билли сам об этом не заговорил. Кто-то из толпы зрителей в зоопарке спросил Билли через экскурсовода, что самое ценное узнал он на Тральфамадоре. И Билли ответил:

— Как жители целой планеты могут жить в мире. Как вам известно, я — с той планеты, где с незапамятных времен идет бессмысленная бойня. Я сам видел тела школьниц, сожженных заживо в водонапорной башне моими же соотечественниками, которые в то время гордились своей борьбой с воплощением зла. — И это была чистая правда. Билли видел сожженные тела в Дрездене. — И я по вечерам проходил по тюрьме со свечой, сделанной из жира человеческих существ, убитых отцами и братьями тех сожженных заживо школьниц. Наверно, вся Вселенная с ужасом смотрит на землян! И если другим планетам Земля пока еще не угрожает, то скоро эта угроза настанет. Так что откройте мне вашу тайну, и я отнесу ее на Землю и спасу нас всех. Как планета может жить в мире?

Билли чувствовал, что говорит возвышенно. Он растерялся, когда увидел, что тральфамадорцы сжали свои ручки в кулак, закрывая глазки. По опыту он уже знал, что, значит, он сказал глупость.

— Вы... Вы не можете мне объяснить, — упавшим голосом спросил Билли, — что я такого глупого сказал?

— А мы ведь знаем, как погибнет Вселенная, — сказал экскурсовод, — и Земля тут совершенно ни при чем, разве что и она погибнет.

— А как — а как же погибнет Вселенная? — спросил Билли.

— Мы ее взорвем, испытывая новое горючее для наших летающих блюд. Летчик-испытатель на Тральфамадоре нажмет кнопку — и вся Вселенная исчезнет. Такие дела.

— Но если вам это заранее известно, — сказал Билли, — то разве нет способа предупредить катастрофу? Неужели вы не можете помешать летчику нажать кнопку?

— Он ее всегда нажимал и всегда будет нажимать. Мы всегда даем ему нажать кнопку, и всегда так будет. Этот момент имеет такую структуру.

— Но тогда... — Билли замаялся, — значит, тогда глупо думать, что можно предупредить войны на Земле?

— Конечно.

— Но у вас-то на планете мир?

— Сегодня — да. А в другое время у нас идут войны страшнее всего, что вы видели, о чем читали. И сделать мы тут ничего не можем, так что мы просто на них не смотрим. Мы не обращаем на них внимания. Мы их игнорируем. Мы проводим вечность, созерцая только приятное — вот как сегодня, в зоопарке. Правда, сейчас все так приятно?

— Да.

— Вот этому земляне могли бы научиться у нас, если бы постарались. Не обращать внимания на плохое и сосредоточиваться на хороших минутах.

— Гм, — сказал Билли.

Этой ночью, как только Билли заснул, он пропутешествовал во времени к довольно приятному моменту — это была первая брачная ночь с Валенсией, урожденной Мербл. Уже с полгода, как он выписался из военного госпиталя. Он совсем выздоровел. И он окончил Илиумские оптометрические курсы — третьим из сорока семи учащих своего выпуска.

И теперь он лежал в постели с Валенсией в очаровательном домике, стоящем в конце мола, на Кэйп Энн, в Массачусетсе. На другом берегу блестели огоньки Глостера. Билли лежал с Валенсией, обнимая ее. В результате этого объятия родился Роберт Пилигрим — впоследствии он доставит массу огорчений в школе, но потом выправится и станет одним из знаменитых «зеленых беретов».

Валенсия не умела путешествовать во времени, но воображение у нее здорово работало. Пока Билли обнимал ее, она воображала себя знаменитой исторической личностью. Она была королевой Елизаветой Первой, а Билли как будто был Христофором Колумбом.

Билли издал стон, похожий на скрип заржавленной дверной петли. Его сенные железы только что отдали семя Валенсии, внося свою лепту в создание «зеленого берета». Правда, по тральфамадорским понятиям, у «зеленого берета» в общем и целом было семь родителей.

Теперь Билли откатился от своей огромной супруги, чья блаженная улыбка не погасла, когда он ее покинул. Он лежал, упираясь позвоночником в край тюфяка и заложив руки за голову. Теперь он был богатый человек. Он был вознагражден за то, что женился на девице, на которой никто в здравом уме жениться бы не стал. Тесть подарил ему новый «бьюик», сплошь электрифицированную квартиру и назначил заведующим самого процветающего кабинета в Илиуме, где Билли мог надеяться заработать по меньшей мере тридцать тысяч долларов в год. Это было хорошо. Отец Билли был всего лишь парикмахером.

Как сказала его мать:

— Пилигримы пошли в гору.

Медовый месяц они проводили в горько-сладкой и таинственной осени Новой Англии. В домике новобрачных одна стена была особенно романтической — целиком застекленная, она выходила на балкон над маслянистой водой залива.

Зеленая с оранжевым баржа, чернея в темноте, ворча и скрипя, прошла под их балконом, всего футах в тридцати от их брачного ложа. Баржа уходила в море, притушив огни. Пустые трюмы резонировали, и машины отзывались густым, звучным басом. На их голос откликнулась вся гавань, и эхом зазвенело изголовье кровати новобрачных. И звенело еще долго, когда баржа уже ушла.

— Спасибо, — сказала наконец Валенсия. Изголовье кровати звенело комариным писком.

— На здоровье.

— Мне так хорошо.

— Очень рад.

И тут она заплакала.

— Что с тобой?

— Я так счастлива.

— Прекрасно.

— Никогда не думала, что кто-нибудь на мне женится.

— Гм-мм, — сказал Билли Пилигрим.

— Буду ради тебя худеть, — сказала она.

— Что?

— Начну соблюдать диету. Хочу стать красивой -- для тебя.

— А ты мне и так нравишься.

— Правда?

— Правда, — сказал Билли Пилигрим. Благодаря путешествию во времени он уже видел, каким будет их брак, и знал, что их жизнь будет вполне сносной.

Громадная моторная яхта под названием «Ш е х е р е з а д а» скользила мимо их брачного ложа. Ее машины пели мелодично, как орган. Все огни горели.

Двое красивых людей, юноша и девушка в вечернем платье, стояли на корме у поручней, радуясь своей любви, своим мечтам и бегу волны. Они тоже совершали свадебное путешествие. Его звали Лэнс Рэмфорд из Нью-Порт, Роуд-Айленд, а в его молодую жену, урожденную Синтию Лантри, был в детстве влюблен Джон Ф. Кеннеди, живший тогда в Хайяннос-Порт, в штате Массачусетс.

Получилось некоторое совпадение: Билли Пилигрим впоследствии оказался в одной палате с дядюшкой Рэмфорда, профессором Бертрамом Коуплендом Рэмфордом, официальным историком военно-воздушных сил США.

Когда красивая пара проплыла мимо, Валенсия стала расспрашивать своего нескладного мужа про войну. Это была обычная глупая привычка жительницы Земли — ассоциировать секс и страсть с войной.

— Ты когда-нибудь вспоминаешь о войне? — спросила она, кладя руку на бедро Билли.

— Иногда, — сказал Билли Пилигрим.

— А я иногда смотрю на тебя, — сказала Валенсия, — и у меня странное чувство, как будто у тебя много-много тайн.

— Вовсе нет, — сказал Билли. Он, конечно, соврал. Он никому не рассказывал о путешествии во времени, о Тральфамадоре и так далее.

— Нет, у тебя, наверно, есть тайны про войну. А может быть, и не тайны, а просто то, о чем тебе не хочется говорить.

— Нет.

— Я горжусь, что ты был солдатом. Ты это знаешь?

— Прекрасно.

— Плохо там было?

— Всякое бывало. — У Билли мелькнула дикая мысль: как это верно! Хорошая была бы эпитафия для Билли Пилигрима. И для меня тоже.

— А ты расскажешь о войне, если я тебя попрошу? — сказала Валенсия. В крохотной ячейке ее огромного тела уже собирался материал для создания «зеленого берета».

— Будет похоже на сон, — сказал Билли. — А чужие сны обычно слушать не очень интересно.

— Я слышала, как ты рассказывал папе, как немцы кого-то расстреляли, — сказала Валенсия. Она говорила о расстреле бедного старого Эдгара Дарби.

— Угу.

— И тебе пришлось его хоронить?

— Да.

— А он видел вас с лопатами перед тем, как его расстреляли?

— Да.

— А он что-нибудь сказал?

— Нет.

— Он боялся?

— Нет, они его чем-то напоили. Глаза у него как-то остекленели.

— А они прилепили к нему мишень?

— Да, кусок бумаги, — сказал Билли. Он встал с постели, сказал «извини, пожалуйста» и пошел в темную уборную помочиться. Нащупывая выключатель, он почувствовал шероховатую стенку и понял, что пропутешествовал обратно, в 1944 год, и снова очутился в лагерном лазарете.

Свеча в лазарете потухла. Бедный старый Эдгар Дарби уснул на соседней койке. Билли встал с койки, шаря в темноте по стенке, чтобы найти выход, потому что ему ужасно нужно было в уборную.

Он вдруг нащупал дверь, она открылась, и он, шатаясь, вышел в лагерную ночь. Билли обалдел от морфия и путешествий во времени. Он помочился у колючей проволоки, и она впилась в него десятками колючек. Билли пытался выпутаться, но колючки не отпускали его. По-дурацки приплясывая, Билли без толку вертелся у проволоки, дергая ее во все стороны.

Русский солдат, тоже вышедший ночью оправиться, увидел по ту сторону проволоки дергающегося Билли. Он подошел к этому странному чучелу, попробовал ласково заговорить с ним, спросить, из какой оно страны. Но чучело не обращало внимания и только прыгало у проволоки. И русский солдат выпростал колючки одну за другой, и чучело запрыгало куда-то во тьму, не поблагодарив ни единым словом.

А русский помахал ему вслед рукой и крикнул по-русски:

— Прощай!

Билли снова расстегнул штаны и в темноте лагерной ночи стал без конца орошать землю. Потом застегнулся как попало и стал соображать: откуда же он вышел и куда ему сейчас идти?

Где-то в темноте раздавались горькие стоны. Не зная, что делать, Билли шаркал в том направлении. Он подумал: какая трагедия заставляет столько людей так громко стонать где-то на дворе?

Сам того не зная, Билли подходил к задней стенке нужника. Нужник состоял из перекладины с двенадцатью ведрами под ней. С трех сторон перекладина была закрыта стенками из обломков фанеры и расплюснутых консервных банок. Открытая сторона выходила на черную, обшитую толем стенку барака, где был устроен банкет.

Билли пошел вдоль стенки и дошел до того места, где на черном толе было только что написано объявление. Краска была еще свежая — та самая розовая краска, которой были расписаны декорации к «Золушке». Билли с таким трудом разбирался в окружающем, что ему показалось, будто бы слова висели в воздухе, словно нарисованные на прозрачном занавесе. И еще на занавесе были какие-то очень хорошенькие серебряные кружочки. На самом деле это были кнопки, которыми толь был прибит к стенке барака. Билли никак не мог себе представить, каким образом занавес держался ни на чем, и он решил, что и волшебный занавес, и театральные стены были частью какой-то религиозной церемонии, о которой он никогда не слышал.

Вот что было написано на объявлении:

ПРОСЬБА
СОБЛЮДАТЬ ЧИСТОТУ
И НЕ ОСТАВЛЯТЬ ПОСЛЕ СЕБЯ БЕСПОРЯДКА

Билли заглянул в нужник. Стоны шли именно оттуда. Все места были заняты американцами. Пышная встреча превратила их желудки в вулканы. Все ведра были переполнены или опрокинуты.

Один из американцев поближе к Билли так стонал, что из него вылетели все внутренности, кроме мозга. Через миг он простонал:

— Ох, и они вышли, и они.

«Они» были его мозги.

Это был я. Лично я. Автор этой книги.

Шатаясь, Билли выбрался из этого ада. Он прошел мимо трех англичан, издали глядевших на этот эксcrementальный фестиваль. Они окаменели от омерзения.

— Застегнитесь как следует, — сказал один из них, когда Билли проходил мимо.

И Билли застегнул брюки. Он случайно нашел вход в больничный барак. Войдя в дверь, он снова очутился в свадебном путешествии и возвращался из ванной комнаты в постель к своей жене.

— Мне без тебя скучно, — сказала Валенсия.

— И мне без тебя скучно, — сказал Билли.

Билли и Валенсия уснули, примостившись друг к другу, как ложки, и Билли пропутешествовал во времени назад, в 1944 год, в ту поездку, когда он ехал с маневров в Южной Каролине на похороны отца в Илиум. Он еще не участвовал в войне в Европе.

Билли приходилось много раз пересаживаться с поезда на поезд. Шли поезда ужасно медленно. В вагонах воняло угольным дымом, и пайковым табаком, и газами людей, сидевших на военных пайках. Металлические диваны были обиты колючей материей, и Билли никак не мог выспаться. Перед самым Илиумом, ког-

да ехать оставалось часа три, он вдруг крепко заснул, раскинув ноги, у входа в вагон-ресторан.

Проводник разбудил его, когда поезд пришел в Илнум. Билли вышел, пошатываясь под тяжестью вещевого мешка, и очутился на платформе рядом с проводником, стараясь стряхнуть сон.

— Что, выспался? — спросил проводник.

— Да, — сказал Билли.

— Ну, братец, — сказал проводник, — видно было, кто тебе снился...

В три часа ночи в больничный барак, где лежал Билли, двое дюжих англичан внесли нового пациента. Он был крошечного роста. Это был Поль Лаззаро, прыщавый вор из города Цицero, штат Иллинойс. Его поймали, когда он воровал сигареты из-под подушки у одного англичанина. Англичанин со сна сломал Лаззаро правую руку и избил его до бесчувствия.

Англичанин, избивший Лаззаро, помогал нести его. Он был огненно-рыжий, совершенно безбровый. В оперетте он играл Голубую Фею — крестную Золушки. Сейчас он одной рукой поддерживал Лаззаро с одного конца, а другой закрывал двери.

— Весу в нем, как в цыпленке, — сказал он.

Англичанин, державший Лаззаро за ноги, был тот самый полковник, который сделал Билли укол морфия.

«Голубая Фея» был ужасно смущен, хотя и очень зол.

— Если бы я знал, что дерусь с цыпленком, я бил бы полегче, — сказал он.

— Угу.

«Голубая Фея» не стал скрывать свое отвращение к американцам.

— Слабые, вонючие, себя жалеют — ну, просто сопливое, грязное, гнусное ворье, — сказал он. — Куда хуже этих русских, черт подери.

— Да, погань порядочная, — согласился полковник.

Тут вошел немецкий майор. Он считал англичан своими лучшими друзьями. Почти ежедневно он заходил к ним, играл с ними во всякие игры, читал им лекции по истории Германии, играл у них на рояле, учил их говорить по-немецки. Он часто говорил им, что, если бы не их высокоцивилизованное общество, он давно сошел бы с ума. По-английски он говорил блестяще.

Он очень извинялся, что пришлось англичанам навязать американских рядовых. Он обещал, что больше двух-трех дней им не придется терпеть такое неудобство и что американцев скоро отправят в Дрезден на принудительные работы. У него с собой была монография, выпущенная Всегерманским объединением служителей мест заключения. Это был доклад о поведении американских рядовых, попавших в плен в Германии. Автор книги, бывший американец, занимал видное место в германском министерстве пропаганды. Звали его Говард У. Кэмбл-младший. Впоследствии он повесился в тюремной камере, ожидая суда как военный преступник.

Такие дела.

Пока английский полковник вправлял руку Лаззаро и готовил гипсовую повязку, немецкий майор переводил вслух длинные отрывки из монографии Говарда У. Кэмбла. Когда-то Кэмбл был довольно преуспевающим драматургом. Начиналась монография так:

Америка — богатейшая страна мира, но народ Америки по большей части беден, и бедных американцев учат ненавидеть себя за это. По словам американского юмориста Кина Хаббарда, «быть нищим не позор, а просто большой стыд». Фактически для американца быть бедным — преступление, хотя вся Америка, в сущности, нация нищих. У всех других народов есть народные предания о людях очень бедных, но необычайно мудрых и благородных, а потому и больше заслуживающих уважения, чем власть иму-

щие и богачи. Никаких таких легенд нищие американцы не знают. Они издеваются над собой и превозносят тех, кто больше преуспел в жизни. В самом захудалом кабаке или ресторанчике, где сам хозяин тоже бедняк, часто можно увидеть на стене плакат с таким злым, жестоким вопросом: «Если ты так умен, почему ты беден?» Там же всегда найдется американский флажок, не шире детской ладони, его приклеивают к палочке с леденцом и втыкают около кассы.

Ходили слухи, что автор монографии, уроженец города Шенектеди, штат Нью-Йорк, был самым одаренным из всех военных преступников, которых приговорили к повешению. Такие дела.

Американцы, как и все люди во всех странах,— говорилось дальше в монографии,— верят во множество явно ложных вещей. Самая большая ложь, в которую они верят, это то, что каждому американцу очень легко разбогатеть. Они никак не хотят признать, что деньги достаются с великим трудом, и потому те, у кого нет денег, без конца клянут и клянут сами себя. И это их внутреннее недовольство самими собой всегда было счастьем для власть имущих и богачей, так как они могли оказывать меньше помощи своим беднякам как частным, так и государственным путем, чем любой правящий класс примерно со времен Наполеона.

Много нового дала миру Америка. Самое поразительное, беспрецедентное явление— это огромное количество бедняков без чувства собственного достоинства. Они не любят друг друга, потому что не любят себя. И стоит только уяснить себе это, как поведение американских рядовых в немецких тюрьмах становится вполне понятным.

Говард У. Кэмбл-младший затем переходил к вопросу обмундирования американских солдат во второй мировой войне:

Любая другая армия в истории, богатая или бедная, всегда старалась обмундировать своих солдат, даже нижних чинов, так, чтобы они и другим, и самим себе казались молодцами во всем, что касалось выпивки, женщин, грабежей и внезапных встреч со смертью. Напротив, американская армия посылает своих рядовых сражаться и гибнуть в чем-то вроде городского платья, явно сшитого не по росту и присланного в пробыезинфицированном, но неглаженом виде какими-то благотворительными учреждениями, где обычно, зажав нос, раздают одежду пьяницам из трущоб.

И когда одетый с иголки офицер обращается к выраженному таким образом чуелу, он отчитывает его, как и полагается офицеру любой армии. Но презрительный тон офицера — не напускная строгость доброго дядюшки, как в других армиях. Это искреннее выражение ненависти к беднякам, которые сами, и только сами, виноваты в своей нищете.

Тюремную администрацию, имеющую дело с пленными солдатами американской армии, надо предостеречь: не ищите у них братской любви даже между родными братьями. Никакого контакта между отдельными личностями тут ожидать не приходится. Каждый из них будет вести себя, как капризный ребенок, и думать, что лучше бы ему умереть.

Кэмбл рассказывал о поведении американских солдат в немецком плену. Везде американцев считали самыми большими нытиками, самыми недружелюбными, самыми грязными из всех военнопленных, писал Кэмбл. Они презирали любого из своей среды, кого бы ни назначили старшим, отказывались подчиняться ему, даже выслушивать его по той причине, что он ничуть не лучше них и пусть не задается.

Ну и так далее. Билли Пилигрим уснул и проснулся вдовцом в своем опустевшем доме в Илиуме. Его дочь Барбара попрекала его за то, что он писал нелепые письма в газеты.

— Ты слышал, что я сказала? — спросила Барбара. Был опять 1968 год.

— Конечно. — Но он дремал.

— Если ты будешь вести себя, как ребенок, нам и обращаться с тобой придется, как с маленьким.

- Нет, дальше все будет по-другому.
- Посмотри, что будет дальше.— Толстая Барбара обхватила себя руками.— Тут страшный холод. Тепло идет?
- Тепло?
- Ну, отопление, эта штука в подвале, та, что гонит теплый воздух сюда в батареи. По-моему, она не работает.
- Все возможно.
- Разве тебе не холодно?
- Как-то не заметил.
- О боже, ты и вправду ребенок. Оставить тебя одного, так ты замерзнешь насмерть, умрешь с голоду.— И так далее. Из любви к нему она с удовольствием подрывала его чувство собственного достоинства.

Барбара позвала истопника и уложила Билли в постель, взяв с него слово, что он пролежит под электрическим одеялом, пока не пустят отопление. Она включила грелку в одеяле на самую высокую температуру, и постель Билли вскоре нагрелась так, что хоть пеки в ней хлеб.

Когда Барбара ушла, хлопнув дверь, Билли пропутешествовал во времени назад, в тральфамадорский зоопарк. Ему только что доставили с Земли самочку. Это была Монтана Уайлдбек, кинозвезда.

Монтану усыпили. Тральфамадорцы в противогазах внесли ее, положили на желтую кушетку Билли и вышли через люк. Огромная толпа зрителей пришла в восторг. Никогда еще в зоопарке не бывало столько посетителей. Вся планета желала посмотреть, как будут спариваться земляне.

На Монтане ничего не было, и на Билли, конечно, тоже. Кстати, он был мужчина что надо. Никогда не знаешь, кто чего стоит.

Наконец ее веки затрепетали. Ресницы у нее были длинные, как хлысты.

— Где я? — спросила она.

— Все в порядке,— ласково сказал Билли.— Пожалуйста, не пугайтесь.

Пока Монтану везли с Земли, она была без сознания. Тральфамадорцы с ней не разговаривали и ей не показывались. Последнее, что она помнила, был бассейн в Палм Спрингс, в Калифорнии, где она загорала. Монтане было всего двадцать лет. На шее у нее висело серебряное сердечко на цепочке, оно спускалось между грудями.

Тут она повернула голову и увидела мириады тральфамадорцев вокруг их купола. Они приветствовали ее, быстро открывая и закрывая свои зеленые ручки.

И Монтана завизжала. Она визжала, не умолкая.

Все зеленые ручки сразу закрылись, потому что очень неприятно было видеть страх Монтаны. Главный хранитель зоопарка велел крановщику, стоявшему наготове, опустить темно-синий полог на купол, симулируя земную ночь внутри. Настоящая ночь спускалась на зоопарк только на один земной час из шестидесяти двух.

Билли зажег торшер. Единственный источник света резко очертил детали тела Монтаны. Оно напоминало Билли фантастическую архитектуру барокко, которую он видел в Дрездене до бомбежки.

Со временем Монтана полюбила Билли, доверилась ему. Он ее не трогал, пока она сама не дала ему понять, что она этого хочет. Пробыв на Тральфамадоре по земным понятиям неделю, она робко спросила Билли, не хочет ли он обнять ее, что он и сделал. Это было уповательно,

И снова Билли пропутешествовал во времени из той дивной постели в 1968 год. Он лежал в своей постели в Илиуме, и электрическое одеяло грело изо всех сил. Он был весь в испарине и смутно помнил, что дочь уложила его в постель и велела не вставать, пока не исправят отопление.

Кто-то постучал в дверь его спальни.

— Да? — сказал Билли.

— Я истопник.

— Да?

— Работает отлично. Тепло пошло хорошо.

— Прекрасно.

— Мышь прогрызла изоляцию провода в термостате.

— Да ну? Вот чертовщина!

Билли блаженно потянулся. Ему приснилась ночь с Монтаной Уайлдбек.

Утром, после соблазнительного сна, Билли решил вернуться в свою приемную в центре города. Его ассистенты неплохо поработали и без него. Они удивились, когда он приехал. Его дочь сказала им, что Билли вряд ли вернется к практике.

Но Билли решительно пошел в свой кабинет и велел позвать очередного пациента. К нему впустили двенадцатилетнего мальчика с матерью-вдовой. Они недавно приехали в город, никого тут не знали. Билли расспросил про их жизнь, узнал, что отец мальчика был убит во Вьетнаме в знаменитом пятидневном сражении на высоте 875 при Дакто. Такие дела.

Пока Билли проверял зрение мальчика, он мимоходом рассказал ему про свои приключения на Тральфамadore и уверил осиротевшего мальчика, что отец его живет в какие-то моменты, и мальчик тогда его видит.

— Разве это не утешительно? — спросил его Билли.

А в это время мать мальчика вышла в приемную и сказала секретарше, что Билли явно сошел с ума. За Билли приехали и отвезли его домой. И дочь снова спросила его:

— Папа, папа, папа, ну что же нам с тобой делать?

(Окончание следует)

Перевела с английского Р. Райт-Ковалева.



ЛЕНИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

И. КОН,

доктор философских наук

★

ДИАЛЕКТИКА РАЗВИТИЯ НАЦИЙ

Ленинская теория наций и современный капитализм

Развивающийся капитализм знает две исторические тенденции в национальном вопросе. Первая: пробуждение национальной жизни и национальных движений, борьба против всякого национального гнета, создание национальных государств. Вторая: развитие и учащение всяческих сношений между нациями, ломка национальных перегородок, создание интернационального единства капитала, экономической жизни вообще, политики, науки и т. д.

В. И. Ленин.

I

Если судить по прессе последних лет, может создаться впечатление, что на земном шаре сместились центры основных национальных конфликтов. Бурный рост национализма, взрывы национальных чувств, борьба за национальное самоутверждение — все это еще совсем недавно происходило далеко от стран развитого капитализма. В Азии. В Африке. Во всяком случае именно там это было явно, зримо. Но вот ареной бурной схватки — вплоть до баррикадных боев — стали города Северной Ирландии. Противоречия между франкоязычным и англоязычным населением буквально раздирают Канаду. Взрыв национальных чувств фламандцев и валлонов, живущих бок о бок с незапамятных времен, ставит под угрозу единство Бельгии.

В Англии катастрофически усиливается враждебность к «цветным иммигрантам». Уэльская национальная партия, насчитывавшая в 1931 году всего пятьсот членов, выросла к 1968 году до тридцати тысяч и активно выступала на парламентских выборах. Шотландские националисты, также одержавшие крупную избирательную победу, не только требуют создания собственного парламента, но в их среде раздаются даже голоса в пользу полной независимости Шотландии. Во всей внутренней жизни Соединенных Штатов Америки центральное место все прочнее занимает расовая проблема и борьба черных американцев за свои гражданские права.

Считать ли этот взрыв национальных чувств в развитых капиталистических странах рецидивом отмирающего прошлого, или отголоском гораздо более мощного национально-освободительного движения в развивающихся странах, или свидетельством того, что индустриальное развитие не ослабляет, как думали многие, национальных различий, а, напротив, усиливает тягу к обособлению?

На первый взгляд подъем национальных движений и чувств в развитых капиталистических странах противоречит ленинской теории наций, поскольку Ленин связывал эту тенденцию с начальной фазой развития капитализма, тогда как «...зрелый и идущий к своему превращению в социалистическое общество капитализм»¹, напротив, усиливает ассимиляцию наций. Но «противоречие» это возникает, только если ленинская мысль вырывается из ее общего контекста, берется вне связи с идеей о неравномерности развития капитализма. Неравномерность развития, наблюдающаяся не только в колониях, но и в метрополиях, затрагивает и формирование наций. Да и сама ломка национальных перегородок осуществляется при капитализме главным образом путем порабощения одних народов другими, а это по мере созревания необходимых предпосылок вызывает усиление первой тенденции — пробуждение национальной жизни.

Рассмотрим это на примере Бельгии, где столкнулись две почти равные по численности нации — франкоязычные валлоны и голландскоязычные фламандцы.

Хотя название «белги» встречается уже у Цезаря, население нынешней Бельгии никогда не было этнически однородным. Начало будущей лингвистической границы положили еще в V веке салические франки. В средние века разрозненные феодальные графства (Фландрия, Намюр, Брабант и другие) соединились в конце концов под властью герцогов Бургундских, а затем, в качестве приданого Марии Бургундской, перешли к Габсбургской монархии. При Карле V Нидерланды («Семнадцать провинций») получили относительную автономию. В итоге восстания против испанского владычества в конце XVI века северные провинции страны приобрели независимость под именем Соединенных Провинций (будущая Голландия), тогда как южные оставались под властью Габсбургов и были предметом постоянной франко-испанско-австрийской борьбы, причем отдельные провинции то и дело переходили из рук в руки. С 1792 года территория нынешней Бельгии двадцать два года находилась под французской оккупацией. После падения Наполеона она была отдана королю Голландии. В результате революции 1830 года голландское владычество было свергнуто, Бельгия стала самостоятельным королевством.

Преобладающей силой в новом государстве стала валлонская буржуазия и земельная аристократия. Хотя фламандцев в Бельгии было больше, чем валлонов, государственным языком был французский, которым пользовался весь господствующий класс. Фламандский язык трудящегося населения Фландрии считался мужицким и не употреблялся в официальных документах. В 1866 году двоих рабочих, не знавших французского языка, франкоязычные судьи приговорили к смерти, даже не дав им оправдаться, и только после казни появились сомнения в их виновности. Не было у фламандцев и собственной интеллигенции, так как старая протестантская элита эмигрировала в Голландию, а новая интеллигенция еще не народилась.

Но вечно так продолжаться не могло. Социально-экономическое развитие Фландрии сопровождалось ростом фламандского национализма. В 1898 году (шестьдесят восемь лет спустя после получения независимости!) фламандский язык, унифицированный по образцу голландского, стал официально вторым языком Бельгии. В 1910 году фламандцы получили право иметь собственные средние школы. Но только в 1930 году был «фламандизирован» Гентский университет, и лишь в 1932 году фламандский язык стал обязательным в начальных школах Северной Бельгии.

Надо ли говорить, что столь медленный прогресс вызывал растущее недовольство фламандского населения? К тому же в последние десятилетия произошло серьезное перераспределение экономических сил. Раньше Валлония была одним из самых богатых индустриальных районов Европы, сильно опережавшим Фландрию. Однако кризис угольной промышленности и некоторые другие обстоятельства затормозили ее развитие. Ныне, напротив, индустриализация Фландрии идет

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 124.

быстрее — тут сказывается более современная техническая база, обилие рабочей силы, близость моря, наличие крупных портов. Еще в 1955 году доход на душу населения в Валлонии был выше, чем во Фландрии; сегодня дело обстоит наоборот. Неуклонно снижается и удельный вес валлонского населения. В XIX веке в Валлонии жило 43 процента, а в 1961 году — только 33 процента населения Бельгии (51,2 процента приходится на Фландрию и 15,6 процента — на Брюссель и окружающие его общины со смешанным населением). Заметно уменьшилось и культурно-лингвистическое неравенство, хотя в этом отношении перевес остается на стороне валлонов.

Но именно это выравнивание сил вызывает усиление конкуренции и опасений у обеих сторон. Фламандцы жалуются, что их численное превосходство все еще не нашло соответствующего признания и они по-прежнему дискриминируются в сфере языка и культуры. Валлоны жалуются на агрессивность и притеснения со стороны фламандцев. Конфликты и споры, доходящие до уличных баталлий, охватывают буквально все районы страны и все сферы общественной и личной жизни.

Один только пример. В результате крайнего обострения отношений был принят принцип: все фламандское должно быть сосредоточено во Фландрии, все валлонское — в Валлонии. Но на территории Фландрии находится основанный в 1426 году знаменитый католический Лувенский университет, где когда-то преподавали Эразм Роттердамский, анатом Везалий, Корнелий Янсен и другие. Две секции этого университета — французская и фламандская — насчитывают больше студентов, чем три других бельгийских университета, вместе взятых. Но «Лейвен» (фламандское название Лувена) — фламандская община, и, следовательно, здесь не место франкоязычному университету. В течение нескольких лет фламандские националисты вели борьбу под лозунгами: «Лейвен фламандский!», «Вон валлонов!» В феврале 1968 года напряжение достигло апогея. Раскололись по национально-лингвистическому признаку обе главные буржуазные партии и Социалистическая партия Бельгии, ушло в отставку правительство, и даже католические епископы (университет-то католический) не смогли договориться друг с другом. В конце концов единственно возможным решением оказалось — вывезти франкоязычную часть университета в Валлонию. Формально университет остается единым, но фактически делится на две части: фламандский «Католический университет в Лейвене» и французский «Лувенский католический университет» где-то в Валлонии. А как делить лаборатории, оборудование, библиотеку?

Даже небольшие общины со смешанным населением нелегко разделить по языковому принципу. Но еще тяжелее проблема столицы, Брюсселя. Формально Брюссель двуязычен, языковое равенство доходит до смешного: на Северном вокзале информация по радио передается сначала по-фламандски, затем по-французски, а на Южном — наоборот, сначала по-французски, потом по-фламандски. Но фактически это город франкоязычный, причем распространение французского языка усиливается. В 1947 году 75,8 процента брюссельцев были франкоязычными, а в 1968 году это соотношение стало уже 82,3 против 17,7 процента (в абсолютных цифрах — 886 тысяч против 190 тысяч человек). Если так пойдет дальше, то к 1990 году число людей, считающих своим языком фламандский, не превысит 13 процентов. Для самих брюссельцев это не создает особых трудностей; 70 процентов опрошенных сказали, что они лично не испытывают напряженности из-за языковых проблем, а половина даже считает сами эти проблемы искусственно созданными. Но фламандцы, приезжающие в Брюссель, нередко чувствуют себя в нем иностранцами. Недовольство и ревность, вызванные сосредоточением в столице материальных богатств и культурных ценностей, неизбежно принимают при этом националистическую окраску.

Как среди фламандцев, так и среди валлонов растут реакционные экстремистские организации. В Шотене (недалеко от Антверпена) владелец одного ресторана развесил по стенам виньетки, на которых фламандский лев и валлонский петух пожимают друг другу руки. Этого оказалось достаточно, чтобы толпа шовинистов учинила набег на ресторан, перебила посуду и переломала мебель.

Разные страны — разные проблемы. В Бельгии и Канаде центральным идеологическим символом служит язык, в Северной Ирландии — религия. Но языковые, религиозные, культурные различия, как ни важны они сами по себе, никогда не вызывают массового национального движения, если за ними не стоят более глубокие социально-экономические противоречия, затрагивающие коренные интересы населения. В Северной Ирландии, как показал В. И. Ленин еще на опыте событий весны 1914 года, за религиозным делением (католическое меньшинство, в котором преобладают ирландцы, и протестантское большинство — выходцы из Англии) стоит глубокая социальная проблема: угнетение католического меньшинства протестантскими помещиками и буржуазией. Языковой барьер в Канаде отражает историческое отставание франкоязычной провинции Квебек и глубоко укоренившееся экономическое, социальное и культурное неравенство англо- и франкоканадцев.

Там, где подобных проблем нет, частные культурно-лингвистические трения не перерастают в серьезный конфликт.

Характерный пример — Швейцария, которую Ленин считал образцом максимально демократического решения национального вопроса, насколько это вообще возможно при капитализме.

Во-первых, швейцарское государство всегда строилось как многонациональное, и многоязычие было узаконено здесь задолго до того, как язык стал идеологическим символом формирующейся нации. Уже в средневековой Швейцарской лиге, официальным языком которой был немецкий, свободно употреблялись также французский и итальянский языки. Конституция 1848 года, преобразовавшая конфедерацию суверенных государств в современное федеральное государство, формально установила равенство немецкого, французского и итальянского языков, к которым позже был добавлен ретороманский.

Во-вторых — и это не менее важно, — языковые барьеры не совпадают в Швейцарии с культурными, религиозными и административными границами. Швейцарские кантоны очень разнообразны по своим условиям, и чувство региональной принадлежности («местный патриотизм») развито у швейцарцев значительно сильнее, чем у французов или немцев. Но поскольку все школьные, религиозные, культурные вопросы подведомственны кантональному, а не федеральному законодательству, это уменьшает вероятность культурно-лингвистических конфликтов. Еще важнее, что экономические различия также не совпадают с лингвистическими границами. Из пяти крупнейших швейцарских городов, насчитывающих свыше ста тысяч населения, два (Женева и Лозанна) — франкоязычные, три (Цюрих, Базель и Берн) — немецкоязычные. Деление на аграрные и индустриальные районы также не связано с языковым и религиозным. Одна этнолингвистическая группа не пользуется здесь привилегиями в ущерб другой, и это объясняет сравнительно «мирное» развитие Швейцарии.

Стоит этим условиям измениться — и картина становится иной. «Благополучная» Швейцария «славится» дискриминацией иностранных рабочих, составляющих почти треть ее рабочей силы и лишенных элементарных гражданских прав; в последние годы у швейцарцев отмечается сильный рост шовинизма и враждебности к рабочим-иностранцам, особенно итальянского происхождения.

Вторая проблема Швейцарии — Юра: франкоязычное католическое население этого горного района, еще в 1815 году присоединенного к немецкоязычному протестантскому кантону Берн, уже много лет требует автономии. Но в горах Юры уже имеется значительное немецкоязычное население, тогда как часть франкоязычных юрасцев живет в других районах. Даже проведение референдума в этих условиях затруднительно.

В национальных отношениях социально-экономические проблемы всегда переплетены с психологическими и имеют много трудноуловимых нюансов. Однако этнические предубеждения и стереотипы не вытекают из личного опыта отдельных людей, это не индивидуально-психологический, а социально-исторический

факт¹. Шовинизм, в форме смутных общественных настроений и тем более в виде разработанных идеологических систем, распространяется не сам по себе, не просто вследствие неразвитости массового сознания. Его умышленно и целенаправленно насаждают реакционные классы, используя для этого всю мощную систему средств массовой информации.

Тем более нельзя считать только психологическим феноменом существующую в капиталистических странах расовую и национальную дискриминацию. В своем социальном поведении люди руководствуются не только и даже не столько своими собственными мнениями, сколько требованиями и ожиданиями окружающих. Человек, ведающий подбором кадров в капиталистической корпорации, может сам не иметь национальных и расовых предубеждений, он может даже сочувствовать угнетенным. Но если он знает, что его корпорация, то есть ее руководство, относится к этой этнической группе враждебно, он никого из них на работу не возьмет. А для спасения своего душевного равновесия он найдет тысячу причин, объясняющих, почему подобная практика необходима и целесообразна. Дискриминация, продолжающаяся длительное время и в массовых масштабах, постепенно становится настолько привычной, что удивляет уже не то, что, скажем, в США пуэрториканцев мало на высоких постах, а то, что кто-то из них туда вообще попадает.

Охватывая самые различные стороны жизни, дискриминация не позволяет угнетаемым меньшинствам сколько-нибудь существенно улучшить свое положение. Сосредоточение «цветного» населения США в гетто порождает там жилищную скученность, в результате черный американец за гораздо худшую квартиру платит значительно дороже, чем белый. Он лишен возможности отдать своих детей в хорошую школу, а это закрепляет ходячее представление о неспособности негров к образованию. Черных американцев последними нанимают на работу и первыми с нее увольняют. Один американский автор подсчитал, что только прямые убытки, связанные с жилищной сегрегацией, школьными трудностями и профессиональной дискриминацией, обходятся каждому черному американцу приблизительно в тысячу долларов ежегодно. А можно ли выразить в долларах общий социальный ущерб?

Кому выгодна эта система?

Непосредственную выгоду из существования негритянского гетто извлекает незначительное меньшинство белых американцев — домовладельцы, люди, монополизировавшие торговлю в гетто, владельцы земельных участков в этом районе и т. д. Но есть и другие обстоятельства. Комиссия Кернера, изучавшая по поручению президента Джонсона положение американских негров, констатировала, что для того, чтобы ликвидировать расовое неравенство в сфере труда, приблизительно 1300 тысяч «цветных» должны получить более высокооплачиваемую и «престижную» работу. А это значит, что соответствующее число белых рабочих должно лишиться своих нынешних привилегий, разделив с неграми выполнение «грязной» работы. А что будут делать многочисленные белые специалисты, опекающие и изучающие негров? И ведь так обстоит дело не только в США и не только с неграми. В обществе, основанном на конкуренции, дискриминация любого меньшинства приносит кому-то прямую, а кому-то косвенную выгоду (отстранение потенциальных конкурентов, получение каких-то привилегий, наконец, просто сознание собственного превосходства над другими). Это создает своеобразную круговую поруку, делает фактическими соучастниками дискриминации даже те социальные слои, которые, казалось бы, не имеют к ней прямого отношения.

¹ Я уже писал в статье «Психология предрассудков» о социально-психологических корнях этнических предубеждений («Новый мир» № 9 за 1966 год). Не так давно эта статья подверглась нападкам со стороны И. Дроздова («Журналист» № 3 за 1969 год). Поскольку, однако, передержки и инсинуации, к которым прибегает И. Дроздов, не заменяют аргументацию (начисто у него отсутствующую), мне остается только подтвердить свою прежнюю позицию в этом вопросе.

Но и здесь нужен конкретный классовый анализ. Отмечая, что рабочая аристократия метрополий получает известные материальные выгоды от эксплуатации колоний, В. И. Ленин тут же подчеркивал, что для рабочего класса в целом эти частные выгоды оборачиваются серьезным политическим проигрышем, поскольку, раскалывая рабочих и притупляя их классовое самосознание, они мешают их борьбе за свое конечное освобождение. Это верно и в отношении внутреннего колониализма.

Ленин часто повторял слова Энгельса, что не может быть свободным народ, угнетающий другие народы. Каждый пользующийся выгодами этого положения оказывается «...в положении хуже чем раба, в положении хама, помогающего держать в рабстве других»¹. Дискриминация национальных меньшинств по самой сути своей не может быть локальным, изолированным фактом. Создаваемая ею атмосфера шовинизма и враждебности перечеркивает все и всяческие конституционные «гарантии». Недаром фашистские партии всегда выступают под шовинистическими лозунгами. Дело не только в том, что разочарование и гнев трудящихся масс направляются против ни в чем не повинных меньшинств. Еще страшнее привычка, равнодушие к национальному гнету. Человек, которого не трогает угнетение национальных меньшинств, не поднимет голос протеста и против других видов социальной несправедливости, разве что они затрагивают его собственные интересы. Но тут он сталкивается с таким же равнодушием окружающих — неизбежная расплата завольное или невольное соучастие.

Западные социологи, исследуя степень распространенности этнических предубеждений в разных слоях общества, нередко приходят к выводу, что «низы» заражены шовинизмом больше, чем «верхи», и что все дело в уровне образования. Однако нельзя смешивать два разных вопроса: где больше всего распространены те или иные стереотипы и кто заинтересован в их распространении. Известно, что германский фашизм пришел к власти, опираясь на массовую поддержку мелкой буржуазии, и что фашистская идеология специально приспособлена к способу мышления этого класса. Но объективно фашизм выражал и защищал интересы крупного монополистического капитала. Так и тут. Носителями шовинистических настроений могут быть, в зависимости от конкретных исторических условий, разные социальные слои, но дирижирует их распространением и извлекает из них выгоду господствующий класс, стремящийся, говоря словами Ленина, «...засорить глаза рабочего, чтобы отвлечь их взоры от настрающего врага трудящихся — от капитала»².

В последние годы, говоря об угнетении национальных меньшинств в развитых капиталистических странах, все чаще используют термин «внутренний колониализм». Это — больше, чем простая аналогия. Положение многих угнетенных меньшинств действительно мало чем отличается от положения жителей колоний (что такое семьдесят семь лет английского господства в Кении по сравнению с двухсотпятидесятилетним рабством и последующей столетней дискриминацией черных американцев?), и их протест идет в русле общей антиимпериалистической борьбы. Пока меньшинства были социально и экономически слабы, они волевыми неволеями должны были терпеть зависимый статус. Но в последние годы во многих (конечно, не во всех) интересующих нас районах происходит сравнительно быстрый экономический и культурный рост (Квебек, Шотландия, Фландрия). Однако темпы этого прогресса, столь умиляющие либералов господствующих наций, оказываются совершенно недостаточными по сравнению с запросами самих меньшинств. Раньше им и в голову не приходило сравнивать свое положение с положением господствующих наций, они довольствовались частными уступками. Теперь же любые, даже «незначительные» (с точки зрения господствующего национализма) формы дискриминации стали совершенно невыносимы. Отсюда — обострение борьбы за гражданские права и связанная с этим перегруппировка

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 27, стр. 248.

² Там же, т. 38, стр. 242.

классовых сил. С одной стороны, растет натиск низов. С другой стороны, консолидируется напуганный этим великодержавный шовинизм.

Особую роль приобретает при этом центральная власть.

Демократические институты — необходимая, но далеко не достаточная предпосылка устранения национального гнета. В некоторых случаях демократические механизмы даже развязывают руки шовинистическим организациям, позволяя им использовать в качестве ширмы «волеизъявление» заранее обработанного «большинства». Именно расистски настроенное белое население южных штатов и его «свободно избранные» местные власти на протяжении многих лет саботировали (и продолжают это делать) законодательство об отмене сегрегации в школах, доводя черных американцев до полного отчаяния.

Выражая общие интересы господствующего класса, буржуазное государство, как правило, пытается лавировать между существующими крайностями и добиваться «умиротворения» посредством частичных реформ. Однако оно по самой сути своей великодержавно. «Национальные интересы», «национальная политика» для него тождественны интересам господствующего класса, а то и интересам самой администрации. Лавирование властей выражается в том, что они проводят кое-какие либеральные реформы и «одергивают» великодержавных экстремистов. Но эта политика непоследовательна и в значительной мере лицемерна.

II

Принцип буржуазного национализма — развитие национальности вообще, отсюда исключительность буржуазного национализма, отсюда безвыходная национальная грызня.

В. И. Ленин.

Национализм — сложная идеологическая система, имеющая множество оттенков и вариантов. Торгово-промышленная буржуазия озабочена прежде всего сохранением или приобретением экономических привилегий в своей конкурентной борьбе. Крестьянство благодаря устойчивости и сравнительной консервативности своего жизненного уклада является главным носителем патриархальных обычаев и традиций. Интеллигенция же, особенно художественная, выступает, если можно так выразиться, как носитель национального самосознания. Но интеллигенция бывает разная.

И по роду своей деятельности, и в силу полученного образования интеллигенты меньше всего склонны к патриархальности, их образ жизни наиболее интернационален. Кроме того, повышая социальный престиж человека, образование освобождает его, если он принадлежит к угнетенному меньшинству, от многих тягот и трудностей, с которыми приходится сталкиваться его менее удачливому соплеменнику. Шире и свободнее общаясь с представителями других национальностей, многие интеллигенты склонны недооценивать остроту национального вопроса и преувеличивать достигнутую степень сближения культур. Интернационализация культуры, особенно заметная в сфере науки, и оторванность от жизни других слоев общества порождают у некоторых представителей буржуазной интеллигенции высокомерно-пренебрежительное отношение к национальным традициям как к своего рода «местной ограниченности».

Однако полученное образование одновременно повышает уровень социальных притязаний личности и делает ее более чувствительной к любым формам дискриминации. А как раз в высших сферах общества больше всего «закрытых» кружков, клубов и так далее, доступ в которые дает только «хорошее происхождение». Открытие, что ни профессиональные достижения, ни слава, ни богатство не снимают клейма «второсортности», нередко вызывает взрыв крайнего национализма.

Но важнее всего — общий духовный климат современного Запада. Безличность и бездушность капиталистического города, стандартизация духовного произ-

водства, неуверенность в завтрашнем дне, бессилие индивида перед лицом громадных бюрократических организаций — все это вызывает у многих настроения ностальгии, скорбь о погибшем патриархальном прошлом, которое чаще всего представляется в совершенно идеализированном виде. Такой романтизм и традиционализм особенно распространены среди гуманитарной интеллигенции. Писатели, художники, философы профессионально заняты осмыслением наличной исторической ситуации, и, если настоящее кажется бесперспективным — а многих ли вдохновит современный капитализм? — им только и остается черпать вдохновение в прошлом.

Нет ничего удивительного, что у многих представителей западной интеллигенции, особенно у выходцев из сравнительно патриархальной среды (не обязательно крестьянской — такие чувства типичны и для отпрысков сельского дворянства, духовенства, мелкой буржуазии), это вызывает повышенный интерес и симпатию к прошлому.

Эта тенденция, весьма распространенная в западной литературе, философии и социологии (бесчисленные теории «массового общества», «массовой культуры», глобального отчуждения и т. п.), нередко несет в себе острую критику капиталистического общества. Но критика этого рода, сколь бы ни была она справедлива в частностях, объективно остается критикой справа. Здесь как нельзя более уместно вспомнить ленинскую оценку народничества: «Увлеченный желанием задержаться и прекратить ломку вековых устоев капитализмом, народник впадает в поразительную историческую бестактность, забывает о том, что позади этого капитализма нет ничего, кроме такой же эксплуатации в соединении с бесконечными формами кабалы и личной зависимости, отягчавшей положение трудящегося, ничего, кроме рутин и застоя в общественном производстве, а следовательно, и во всех сферах социальной жизни. Сражаясь с своей романтической, мелкобуржуазной точки зрения против капитализма, народник выбрасывает за борт всякий исторический реализм, сопоставляя всегда действительность капитализма с в ы м ы с л о м докапиталистических порядков»¹.

Любые «источки» прекрасны, если брать их лучшие проявления. Но историческое прошлое — это не только нетленные химеры Нотр-Дам, романские базилики и мрамор Тадж-Махала. Это и вонючие лачуги, в которых жили строители этих прекрасных сооружений, и религиозные войны, во имя которых гибли люди и разрушались памятники.

Идеологи национал-романтизма зачастую сами имеют весьма смутное представление о воспеваемых ими «погибших и поруганных» ценностях. Получи они возможность вернуться в это «прекрасное прошлое» — они с ужасом бежали бы из него, как это случилось с героем сказки Андерсена «Волшебные калоши», попавшим в любезное его душе средневековье. Эти настроения не диагноз, а лишь симптом социальной и идеологической болезни.

«Романтическая» критика современного общества не случайно, при всей ее «антибуржуазной» направленности, с готовностью воспринимается, перелицовывается и используется — с куда большей экспрессией! — идеологами фашизма. Критика «плоского рационализма» превращается при этом в культ иррационального, стремление восстановить духовную связь с предками становится «голосом крови» и «мистическим единством народного духа», а лишенная всякого шовинизма любовь к своему народу оборачивается жгучей ненавистью к «чужакам». Но там, где романтик господствующей нации видит всеобщее поглощение деревни городом, разрушение природы, дегуманизацию человеческих отношений вообще, там представитель угнетенной нации усматривает сверх того потерю своей национальной самобытности. Рост городов, миграция населения, разрушение патриархальных связей, выравнивание условий быта — все эти объективные и интернациональные по своей сути процессы кажутся ему направленными в первую очередь против его собственной этнической группы. Почему именно наша нацио-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 532.

нальная культура ослабевает, наш язык теряет свое былое значение, наши традиции уступают место чужим? Эти и подобные вопросы задают себе представители любых национальных меньшинств, затронутых процессом ассимиляции. И чем выше волна великодержавности, тем сильнее «местный» национализм.

Из песни слова не выкинешь, национальные традиции не вырвешь из их исторического контекста. Прошлое любой великой буржуазной нации включает в себя как неотъемлемую часть историю завоевания и покорения нынешних национальных меньшинств. Надо ли удивляться, что апология этого прошлого, каковы бы ни были ее намерения, болезненно воспринимается меньшинствами, переживается как направленная п р о т и в них?

Отсюда рост крайних форм национализма у национальных меньшинств. Выступая против всякого сближения наций, эти экстремисты фактически пытаются превратить весь мир в систему изолированных гетто, их не смущает колючая проволока, лишь бы колючки торчали в другую сторону! Не удивительно, что они во многом практически смыкаются с великодержавными черносотенцами и что среди них также сильны фашистские настроения.

Национальное движение в развитых капиталистических странах, как в фокусе, преломляет все противоречия современного мира: кризис внутреннего колониализма, протест против прежнего социального неравенства, экономическую конкуренцию, попытки чем-то заполнить идейный вакуум, созданный в результате кризиса буржуазной идеологии, и многое другое. Его конкретные результаты зависят от реального соотношения классовых сил, от того, какой класс становится гегемоном национального движения.

III

Подобно тому, как человечество может прийти к уничтожению классов лишь через переходный период диктатуры угнетенного класса, подобно этому и к неизбежному слиянию наций человечество может прийти лишь через переходный период полного освобождения всех угнетенных наций, т. е. их свободы отделения.

В. И. Ленин.

Но если национальный вопрос обостряется, то можно ли вообще говорить о ломке национальных перегородок и что значит самый термин «ассимиляция наций»?

Буржуазная мысль ставит вопрос так: или полная ассимиляция наций, конец всякого национального своеобразия (подобная перспектива вызывает протест и негодование меньшинств, которым это угрожает в первую очередь), или сохранение и усугубление всех и всяческих национальных особенностей (а это явно несовместимо с растущей интернационализацией общественной жизни).

Но правомерна ли такая постановка вопроса?

Начнем с анализа некоторых американских фактов. Соединенные Штаты с самого начала формировались как многорасовое, многонациональное и многорелигиозное общество. Но это общество также изначально было заражено расизмом и всевозможными этническими предрассудками.

За несколько лет до того, как Авраам Линкольн занял президентский пост, он писал своему старому другу: «Прогресс нашего вырождения кажется мне удивительно быстрым. Как нация, мы начали с декларации, что «все люди созданы равными и. Теперь мы практически читаем это так: «все люди созданы равными, кроме негров». Когда невежды захватят контроль, это будет звучать: «все люди созданы равными, кроме негров, иностранцев и католиков». Когда дойдет до этого, я предпочел бы эмигрировать в какую-нибудь другую страну, в которой хоть не притворяются свобододобивыми, например, в Россию, где деспотизм существует в чистом виде, без низкой примеси лицемерия».

Оставим в стороне негров и многочисленных «цветных» иммигрантов, где этнические различия осложняются расовыми. Как складывается судьба белых иммигрантов из Европы? Американские социологи выделяют здесь три пути.

Первый путь — полное и окончательное растворение меньшинств, так называемая «американизация». Быть американцем — значит стать англосаксом, забыв о своем происхождении. Теория «американизации» откровенно великодержавна и основана на убеждении в превосходстве англо-американцев над всеми остальными. Ее программа: пусть другие станут такими же, как мы!

Однако исторический опыт не подтвердил этих притязаний. Конечно, любые меньшинства, живущие в США, должны овладеть английским языком и основными элементами американской культуры. Но это еще не означает, что они должны полностью отказаться от языка, культуры и обычаев собственных предков. Курс на «поглощение» меньшинств неизбежно вызывает острые конфликты, а теории этого рода выражают прежде всего интересы буржуазии господствующих наций.

Вторая, специфически американская, теория — так называемая теория «плавильного котла» (*melting pot*). Согласно ей меньшинства не просто растворяются в англосаксонском большинстве, а сливаются с ним в качественно новое целое, куда каждая из исходных групп и культур вносит что-то свое.

В отличие от теории американизации идея плавильного котла не имела шовинистического привкуса, и ее поддерживали многие прогрессивные мыслители XIX века. Штат Нью-Йорк, писал В. И. Ленин, «... походит на мельницу, перемалывающую национальные различия. И то, что в крупных, интернациональных размерах происходит в Нью-Йорке, происходит также в каждом большом городе и фабричном поселке»¹. Общность условий труда и быта ломает национальную обособленность, уменьшает групповую солидарность и сглаживает некоторые традиционные особенности меньшинств. В Нью-Йорке практически исчезла разница между потомками английских и голландских колонистов, значительно ослабела групповая солидарность «германо-американцев». Социолог Бугельский, изучая динамику смешанных браков среди поляков и итальянцев в городе Буффало (штат Нью-Йорк), установил, что если в 1930 году больше двух третей всех заключавшихся браков были однонациональными, то к 1960 году соотношение стало обратным: больше двух третей всех браков превратились в межнациональные. В городе Вунсокет (штат Род-Айленд) в первом поколении иммигрантов смешанные браки составляли 9,6 процента от общего числа браков, во втором поколении — 20,9 процента, в третьем поколении — 40,4 процента. Еще заметнее культурные и языковые сдвиги.

Однако прогнозы сторонников теории плавильного котла насчет того, что уже в течение нескольких ближайших поколений национально-культурные различия вообще исчезнут, не оправдались. Оказалось, что хотя одни различия стираются, другие сохраняют свое значение.

Очень интересные данные на этот счет приводят Н. Глейзер и Д. Мойниган в книге «За плавильным котлом», описывающей положение национальных меньшинств в Нью-Йорке.

Три поколения прошло с тех пор, как возник первый большой итальянский поселок в Нью-Йорке. За это время итальянские иммигранты натурализовались, приспособились к американскому обществу, усвоили новые профессии, приобрели определенное социальное и политическое положение. Однако и по сей день у них сохраняются многие традиционные черты и связи, отличающие их от всех других американцев. Районы, которые были итальянскими в 1920 году, и теперь населены преимущественно итальянцами. У итальянцев, особенно из южных крестьянских семей, значительно теснее и прочнее соседские отношения. До сих пор сохраняется специфическая для итальянцев структура семьи. Развод и вообще разрушение семьи встречаются гораздо реже, чем в других этнических группах,

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 126.

даже католических. Крайне редки холостяки и старые девы (особенно по сравнению с ирландцами). Сохраняются специфические способы семейного воспитания, а также известная патриархальность в отношениях между родителями и детьми, чуждая англо-американцам.

И дело не только в том, что два-три поколения — недостаточный срок для полной ассимиляции. Не менее важны социальные противоречия. По признанию исследователя этой проблемы Мильтона Гордона, учитывая более раннее прибытие английских колонистов в Америку, их численный перевес и культурное преобладание англосаксонских институтов, трудно представить себе, чтобы «слияние» с ними новых меньшинств было действительно равноправным. Кроме того, нельзя забывать о сегрегации и дискриминации некоторых меньшинств. Если протестанты — потомки немцев и скандинавов — могут при желании сравнительно легко структурно влиться в белое протестантское общество, то евреям, ирландским, итальянским и польским католикам сделать это, не меняя религии и не приспособившись специально к большинству, уже трудно. О «цветных» же и говорить нечего!

Осознание этих трудностей вызвало к жизни популярную ныне теорию «культурного плюрализма», пропагандирующую сохранение культурного многообразия в условиях взаимного уважения и сотрудничества этнических групп. Нужно стремиться не к тому, чтобы сделать всех одинаковыми, а к тому, чтобы научить людей уважать друг друга не только вопреки, но благодаря существующим различиям, так как именно эти различия позволяют каждой общности внести в совокупную культуру что-то свое. Принцип равенства, провозглашенный Декларацией независимости, писал один из защитников этой теории, означает, в частности, право быть непохожим на других. Поэтому надо не выравнять национальные различия, а способствовать их развитию.

Идея культурного плюрализма, заостренная против национальной и расовой дискриминации, несомненно, несла в себе прогрессивное, гуманистическое начало. Но достижима ли эта цель в классово-антагонистическом обществе? И — что особенно важно — ее защитники склонны абсолютизировать и фетишизировать национальную общность.

Формулируя пролетарское отношение к национальной культуре, В. И. Ленин подчеркивал необходимость дифференцированного отношения к различным ее элементам. «Борьба против всякого национального гнета — безусловно да. Борьба за всякое национальное развитие, за «национальную культуру» вообще — безусловно нет»¹. Теория культурного плюрализма такого водораздела не проводит. Ее защитники не уточняют, идет ли речь об обязанности государства и общества уважать исторически сложившиеся этнические различия или же о необходимости их сохранять и увековечивать. Здесь нет и попытки разграничить прогрессивные и реакционные тенденции, присутствующие в культуре любой буржуазной нации. Но абстрактная защита «меньшинства» и «национальной культуры» как таковых, без учета их социально-классового расслоения, легко оборачивается идеей подчинения рабочих «своей» буржуазии.

Если главной задачей считается сохранение всех и всяческих культурно-национальных различий, то чистейшей формой «плюрализма» будут индейские резервации, негритянские гетто, южноафриканский апартеид.

Защитники сегрегации рас и наций очень часто выступают именно с «плюралистических» позиций: мы ничего не имеем против африканцев, индейцев и других, но наши культуры различны, интенсивное общение повредит им обеим и уж во всяком случае меньшинству. Давайте лучше обособимся и будем любить и уважать друг друга через колючую проволоку (не обязательно железную, можно и символическую).

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 132.

Я вовсе не хочу ни ставить знак равенства между теорией «культурного плюрализма» и апартеидом, ни преуменьшить сложность проблемы.

В некоторых случаях, когда речь идет о совсем отсталых и изолированных племенах (например, индейцах, живущих в джунглях Амазонки), создание своеобразных заповедников вроде Национального парка Шингу — это в тамошних условиях практически единственное средство их спасения. Но вопрос стоит при этом не столько о сохранении их культуры, сколько о том, чтобы уберечь этих людей от инфекций, к которым у них нет иммунитета, и не разрушить их традиционный уклад раньше, чем они смогут выработать — именно выработать, а не просто взять в готовом виде — нечто новое. Ибо непосредственный переход из каменного века в современность невозможен. Когда Альберт Швейцер в своей больнице в Африке размещал больных не в палатах, а в туземных хижинах, он заботился не об экзотике, а о людях, которым было бы трудно привыкнуть к европейским условиям жизни и еще труднее — вернуться в свою деревню. Но и Швейцер, и братья Вилас-Боас отлично понимали, что это — только паллиатив. Было бы реакционной утопией распространять этот принцип на межнациональные отношения вообще.

Трудности и противоречия, связанные с этническими меньшинствами в США и отражающие специфические условия этой страны, подтверждают ленинский тезис: «При капитализме уничтожить национальный (и политический вообще) гнет нельзя. Для этого не обходимо уничтожить классы, т. е. ввести социализм»¹. Но ломка национальных перегородок тем не менее идет. По определению советского этнографа В. И. Козлова, сущность процесса ассимиляции состоит в том, что отдельные группы людей и индивидуумы, принадлежащие к одному народу, вступая в соприкосновение с другим народом, в результате общения с ним утрачивают свои особенности в области культуры и быта и в конце концов перестают считать себя принадлежащими к прежней этнической общности.

Говоря о ломке национальных перегородок и ассимиляции наций, В. И. Ленин связывал это с тем, что «...вся хозяйственная, политическая и духовная жизнь человечества все более интернационализируется уже при капитализме. Социализм целиком интернационализирует ее»². Но он вовсе не считал этот процесс однородным, однозначным.

Каждая нация занимает определенную территорию. Миграции населения, порождаемые индустриализацией, подрывают прежнюю территориальную обособленность, расширяют сферу общения и взаимовлияния этнических групп. Оторванные от родной почвы, иммигранты ассимилируются значительно легче (особенно если они немногочисленны и разбросаны на большой территории), нежели компактные этнические общности, столетиями живущие на одной и той же земле.

Но устраняет ли это национальные различия? Нет. Валлоны и фламандцы часто живут в одних и тех же городах и селах. Для сохранения и передачи некоторых национальных черт и традиций достаточно семейного воспитания и просто материнского влияния.

Нация как целое немислима без общности экономической жизни. Современное производство подрывает эту форму обособления. С одной стороны, национальная экономика все больше вовлекается в международные хозяйственные связи (в рамках единого многонационального государства или на основе межгосударственных отношений). С другой стороны, общественное разделение труда и разделение общества на классы все сильнее дифференцирует трудовую деятельность и образ жизни различных слоев внутри одной и той же нации. Особенно интенсивно протекают эти процессы в городах.

Чем патриархальнее среда, тем компактнее население и тем теснее привязанность каждого к своему «этносу». Социальная принадлежность, профессиональ-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 22.

² Там же, т. 23, стр. 318.

ные занятия, соседские отношения, семейные и дружеские связи — все это существует в рамках одной и той же этнической общности, единого и единственного «мы».

В городе положение резко меняется. Сфера общения уже не ограничивается соплеменниками и единоверцами. Общие условия труда и быта, общие тяготы и заботы, общая школа, влияние средств массовой коммуникации неизбежно выравнивают, нивелируют национальные и местные особенности. Известно, что крупные новые города в разных странах значительно больше похожи друг на друга, чем деревни. Общность условий жизни постепенно разрушает замкнутость национальных меньшинств, приобщает их к культуре окружающего населения, стимулирует смешанные браки, отодвигает на задний план, а то и вовсе заставляет забыть свое происхождение.

Но культурные и психологические свойства нации лишь в последнем счете определяются ее экономическим строем и сохраняют свое значение даже после его изменения.

Исключительно важный и устойчивый признак национальной общности — язык. Именно язык символизирует во многих случаях (Канада, Бельгия) национальную принадлежность вообще. Расширение межнациональных связей разрушает многие старые языковые барьеры, подтверждая ленинскую мысль о ненужности в многонациональном государстве обязательного общегосударственного языка, поскольку потребности общественной жизни сами заставят живущие в одном государстве национальности изучать язык большинства. Действительно, национальные меньшинства в развитых странах, как правило, двуязычны (билингвализм), а некоторые и вовсе переходят на язык большинства.

Но этот процесс чрезвычайно сложен.

Прежде всего не всякая языковая ассимиляция добровольна. Бывает и так, что меньшинства просто лишены возможности развивать свой язык, поскольку он не преподается в школах и не используется в культурной жизни (например, бретонский язык, которым владеет около миллиона жителей Бретани, только в 1951 году допущен в качестве факультативного школьного предмета). Такая практика не может не задевать национальных чувств.

«Простейший» вопрос «ваш родной язык?» может подразумевать и язык, на котором говорили родители опрашиваемого, и тот язык, которым он сам пользуется в обиходе, и язык, на котором он думает.

Человек, одинаково свободно владеющий двумя языками, как правило, употребляет их в определенном порядке. Часто один язык выступает как более «высокий» и официальный, а другой употребляется в домашнем обиходе и считается второстепенным. (Это явление в отличие от билингвализма называется диглоссией.) В некоторых странах, где существует только один официальный язык, местные языки пытаются либо полностью вытеснить, либо снизить, превратить их в диалекты господствующего языка, ограничив их употребление обиходными ситуациями и лишив тем самым национальные меньшинства возможности создавать литературу и вести официальные отношения на своем родном языке. Разумеется, это возможно, только если соответствующие языки принадлежат к одной и той же группе, да и тогда вызывает протест.

Важным показателем направления лингвистической ассимиляции может служить то, на каком языке говорят дети, родившиеся от смешанных браков.

Но даже полная лингвистическая ассимиляция, утрата родного языка или превращение его в диалект не означает стирания прочих национальных различий. Человек может говорить на языке большинства и тем не менее причислять себя к национальному меньшинству. Недаром в наших переписях населения вопрос о родном языке отделяется от вопроса о национальной принадлежности.

Может быть, национальная специфика лежит в области культуры, тем более что само понятие культуры исключительно широко, включая в себя и обычаи, и нравы, и религию, и художественное творчество? Утрата национальной культуры,

несомненно, означала бы потерю национальной жизни вообще. Но где критерии «национальности» культуры?

Буржуазно-националистическое мышление рассматривает «национальное» как нечто исключительное, а всякий культурный контакт — как конфликт, в результате которого один теряет, а другой выигрывает. Но человеческая культура развивалась не только и не столько путем одностороннего «поглощения» одних другими, сколько путем взаимного обогащения общими элементами при сохранении национальных особенностей. Всякая национальная культура включает в себя не только то, что создано ее народом-творцом, но и то, что было заимствовано им у других народов, и это усвоение (ассимиляция) есть в то же время момент ее саморазвития. Русское барокко или классицизм, покоряющие каждого, кто был в Ленинграде, — глубоко русские явления. Но они были бы невозможны без творческого усвоения западноевропейского опыта. Инструментовка многоголосой «восточной» музыки по правилам «западной» полифонии не отменяет особенностей национального мелодического строя, но существенно сближает и обогащает как ту, так и другую музыку. Без такого взаимопроникновения вообще не может быть развития мировой культуры.

Сами современные нации сложились путем слияния многих племен и народностей, передавших им свою историческую культуру, причем ассимилированная (и потому незаметная) часть ее гораздо важнее тех местных диалектов и обычаев, которые изучают сегодня ученые.

Для понимания этой проблемы исключительно важна ленинская критика программы «культурно-национальной автономии» Бунда и австрийской социал-демократии. Враги ленинизма, оперируя вырванными из контекста цитатами, пытаются доказать, будто Ленин недооценивал значение национальной культуры, языка и т. п.

Ленин действительно восставал против всякой фетишизации национальных начал, ратовал за самые широкие культурные контакты между нациями. Он писал: «Пролетариат... не только не берется отстоять национальное развитие каждой нации, а, напротив, предостерегает массы от таких иллюзий»¹.

Ленин отвергал при этом не понятие национальной культуры и традиций вообще, а лишь их специфически-буржуазную трактовку, в которой «национальное» противопоставлялось «классовому» и «интернациональному». Но есть две нации в каждой буржуазной нации и две культуры в каждой национальной культуре. Кроме того, акцент на национальных традициях, трактуемых как нечто внеисторическое, уникальное, — это всегда акцент на различиях между народами, который неизбежно вызывает цепную реакцию и уже в силу одного этого требует величайшей осторожности. Наконец, Ленин считал идею культурно-национальной автономии совершенно утопической с точки зрения провозглашаемых ею целей, и он конкретно показал это на примере требования о выделении школьного дела из ведения государства и создании множества национальных школ. В 1911 году в начальных школах Петербурга было 48 076 учащихся, в том числе два румына, грузин, три армянина и т. д. Можно ли обеспечить на основе равноправия интересы одного грузинского ребенка среди 48 076 школьников Петербурга? — спрашивал Ленин. «Мы ответим на это: создать особую грузинскую школу в Петербурге на основах грузинской «национальной культуры» — невозможно, а проповедь такого плана есть несение вредных идей в народную массу»².

Однако Ленин считал вполне возможным и желательным создание таких условий, при которых национальные меньшинства могли бы свободно изучать свой родной язык и пользоваться им в быту и общественной жизни.

Важным показателем уровня ассимиляции может служить процент смешан-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 133.

² Там же, стр. 221.

ных межнациональных браков. Но и этот показатель не однозначен. Существенно не только количество таких браков, но и структура возникающей на их основе семьи, степень ее устойчивости, как определяется национальность детей и их язык и от чего это зависит (что сильнее влияет: традиционный престиж отца и матери, или их образовательный уровень, или их национальная принадлежность, или особенности национальной среды, в которой живет такая семья?). Таким образом, брачная ассимиляция также оказывается весьма сложным явлением.

Чем ближе мы подходим к отдельному индивиду, тем многограннее и сложнее становится задача исследователя, обязанного учесть не только объективные, но и субъективно-психологические моменты. Очень важным показателем сближения, ассимиляции наций служит характер не формального, личного общения людей — выбор соседей, товарищей, друзей (некоторые авторы называют это структурной ассимиляцией). Служебные, деловые взаимоотношения (с кем человек работает, где покупает продукты и т. п.) предопределены в основном объективными условиями. Но своих друзей он выбирает сам. Общается ли он преимущественно со своими соплеменниками, единоверцами или это не имеет для него значения? Нередко он даже не отдает себе в этом отчета. Тем не менее, если верить данным американских социологов, именно структурная ассимиляция происходит наиболее медленно и вызывает наибольшие психологические трудности. Причем это не какое-то «инстинктивное» предпочтение, «голос крови» и т. п. Американские данные показывают, что дети младших возрастов при выборе друзей в большинстве случаев не придают значения их национальности, и сфера их общения суживается лишь после того, как они усваивают от взрослых соответствующие стереотипы и предубеждения. Представления, которые дети имеют об иностранцах, и их отношение к ним также всецело определяются господствующей культурой и воспитанием. Речь идет о вполне определенных социальных процессах, хотя и «пересаженных» внутрь личности.

Наконец, существует такое субъективное, но очень важное явление, как национальное самосознание: к какой нации или народности человек сам себя причисляет и какие чувства он при этом испытывает. У людей, выросших в инонациональной среде, этот вопрос не встает, им кажется, что национальная принадлежность — нечто изначально данное. Но для тех, кто уже в какой-то степени ассимилирован (например, дети от смешанных браков или люди, воспитанные в инонациональной среде), ответить на вопрос «кто я такой» не так просто.

Это ясно видно на примере американских иммигрантов. Иммигранты в первом поколении, как правило, еще не чувствуют себя американцами, по-прежнему считая себя ирландцами, итальянцами и т. д. Во втором поколении положение меняется. Дети иммигрантов испытывают двойное влияние. Школа, улица (если это не гетто), средства массовой информации интенсивно приобщают их к господствующей культуре; по языку, одежде, образованию они уже американизированы. Но в семье еще сохраняются прежние традиции и установки. Чем сильнее эти влияния расходятся друг с другом, тем сложнее положение формирующейся личности, тем острее ее внутренние конфликты, тем труднее ей однозначно ответить на вопрос о своей национальной (языковой, культурной, религиозной) принадлежности. «Я чувствую себя человеком без родины. Мне и дома не по себе, и в школе плохо». Эти слова студента-индейца передают самочувствие такой «маргинальной личности», стоящей на стыке двух конфликтных групп или культур.

Этот конфликт разрешается по-разному. Одни полностью сливаются с большинством, изменяют свои имена и фамилии, избегают всего, что напоминало бы об их инонациональном происхождении, и даже усваивают великодержавные предубеждения. Именно это имел в виду Ленин в своем ироническом замечании, что «...обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения»¹. Другие, наоборот, отвергают, насколько это возможно,

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 358.

господствующую культуру, апеллируя к традициям и обычаям (часто уже не существующим) своих предков. Третьи пытаются, большей частью безуспешно, уклониться от решения этого вопроса. И лишь немногим удается гармонически сочетать в себе обе традиции.

Конечно, если бы не существовало дискриминации и национальных предрассудков, все было бы гораздо проще, и в третьем или четвертом поколении проблема потеряла бы свою остроту: все равны и ни у кого нет причин отрезаться от своих предков. Но я говорю не о воображаемой, а о реальной сегодняшней Америке.

Характерен тот протест против ассимиляции, который социологи наблюдают у некоторых представителей третьего или четвертого поколения американских иммигрантов. Молодые люди, воспитанные как стопроцентные американцы, отцы которых сделали все, чтобы забыть о своем происхождении, вдруг начинают изучать язык своих далеких предков, интересоваться их историей и т. д. Отчасти это реакция на дискриминацию и предрассудки, которых не устранило поколение отцов, а отчасти — следствие описанной выше ностальгии. Хороший детский дом лучше плохой семьи. Но если у всех есть родители, а у меня нет — это тяжелая, болезненная травма.

Однако при всех противоречиях, которые переживают американцы итальянского, ирландского и тому подобного происхождения, они все-таки остаются американцами. Это верно и в отношении евреев. Хотя в США существует значительный антисемитизм и это сильно облегчает сионистскую пропаганду, активно поддерживаемую империалистическими кругами, однако лишь около десяти тысяч американских евреев (0,18 процента) иммигрировали в Израиль, причем весьма сильно обратное движение. Иллюзия относительно «единого еврейского народа», не знающего якобы ни классовых, ни национально-государственных границ, против которой и в прошлом выступали многие выдающиеся мыслители, не выдерживает соприкосновения с реальностью. Лучшие представители американских евреев предпочитают бороться за свои права в США, понимая, что борьба против антисемитизма, так же как и против сионизма, неотделима от борьбы за свободу, демократию и социальную справедливость.

Таким образом, то, что обобщенно называется ломкой национальных перегородок и ассимиляцией наций, представляет собой сложную совокупность территориально-демографических, хозяйственно-экономических, политических, культурно-лингвистических, бытовых и социально-психологических тенденций, которые не синхронны, нередко противоречат друг другу и, безусловно, не могут полностью реализоваться при капитализме.

Любой из описанных выше этнических процессов может, в зависимости от конкретных условий, проходить и антагонистически, по принципу «или — или», и гармонически. Человеку, вынужденному выбирать между принадлежностью к разным этническим группам, отношения между которыми антагонистичны, всегда приходится резать по живому. Но если такого конфликта нет, «двойная» и даже «тройная» принадлежность не создает трудностей, так же как никто не видит противоречия между тем, что он, допустим, «итальянец» и одновременно «человек» (такая проблема встает, однако, в случае войны).

При неисторическом рассмотрении национального вопроса дело неизбежно сводится к сопоставлению «готовых», сложившихся национальных форм. Но национальное, как убедительно показал Чингиз Айтматов¹, это не только седая старина, это и то, что появилось вчера и что рождается сегодня. Сведение национального к традиционному само прокладывает путь космополитической концепции, третирующей национальные связи как простой пережиток прошлого. Это две стороны одной и той же медали.

¹ См. «Литературную газету» № 51 за 1969 год.

IV

Буржуазный национализм и пролетарский интернационализм — вот два непримиримо-враждебные лозунга, соответствующие двум великим классовым лагерям всего капиталистического мира и выражающие две политики (более того: два мирозозерцания) в национальном вопросе.

В. И. Ленин.

Сложна и противоречива диалектика развития наций. Капиталистическое общество ставит проблемы, решить которые ему не дано. Здесь, как ни в каком другом вопросе, необходим строжайший учет всех известных фактов и идеологическая принципиальность.

Критикуя свойственное народникам «отсутствие социологического реализма», Ленин отмечал, что оно «...ведет также у них к той особой манере мышления и суждения об общественных делах и вопросах, которую можно назвать узко интеллигентным самомнением или, пожалуй, бюрократическим мышлением»¹. Представление, будто только «мы» выбираем пути развития общества, «...полное недоверие и пренебрежение народника к самостоятельным тенденциям отдельных общественных классов, творящих историю сообразно с их интересами»², стремление повернуть историю вспять или перескочить через необходимые стадии развития мстят за себя жестокими политическими просчетами и разочарованиями.

Но не лучше и беспринципный оппортунизм, плетущийся в хвосте массовых настроений. «...Мы — партия, ведущая массы к социализму, а вовсе не идущая за всяким поворотом настроения или упадком настроения масс. Все с.-д. партии переживали временами апатию масс или увлечение их какой-нибудь ошибкой, какой-нибудь модой (шовинизмом, антисемитизмом, анархизмом, буланжизмом и т. п.), но никогда выдержанные революционные с.-д. не поддаются любому повороту настроения масс»³.

Реализм и способность подняться над уровнем текущей политической конъюнктуры одинаково важны для марксистско-ленинских партий, причем и тому и другому они учатся у Ленина.

«В каждом буржуазном национализме угнетенной нации есть общедемократическое содержание против угнетения»⁴, — писал Ленин. Учитывая это, коммунистические партии последовательно поддерживают право наций на самоопределение и справедливые требования угнетенных меньшинств. Компартия Канады требует самоуправления Квебека в рамках федерального канадского государства. Тридцать первый съезд компартии Великобритании поддержал и борцов за гражданские права в Северной Ирландии, и требования о создании самостоятельных парламентов Шотландии и Уэльса. Компартия Бельгии добивается федерализации страны и расширения двуязычия в общественной жизни. Принцип права наций на самоопределение еще раз был подтвержден международным Советанием коммунистических и рабочих партий в Москве.

Но, отстаивая права и национальное достоинство угнетенных, марксисты-ленинцы вместе с тем хорошо понимают ограниченность и потенциальную опасность всякого национализма. Идеологией рабочего класса может быть только интернационализм. Только социалистическое общество, в котором, говоря словами Программы КПСС, «развитие наций осуществляется не на путях усиления национальной розни, национальной ограниченности и эгоизма, как это происходит при капитализме, а на путях их сближения, братской взаимопомощи и дружбы», может подготовить почву для окончательного слияния наций.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 539.

² Там же.

³ Там же, т. 17, стр. 299.

⁴ Там же, т. 25, стр. 275—276.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Э. КОЛЬМАН,
академик Чехословацкой Академии наук

★

ВСПОМИНАЮ ЛЕНИНА

Сперва несколько слов относительно обстоятельств, позволивших мне — уроженцу Праги — знать Ленина. В Россию я попал в сентябре 1915 года как военнопленный. Во время первомайской демонстрации 1917 года я призывал наших пленнх по возвращении на родину тоже сделать революцию. За это по доносу пленнх господ офицеров я был брошен в тюрьму. Освободила меня Октябрьская революция. Я стал членом, а потом и заместителем председателя Всероссийского комитета бывшх военнопленнх социал-демократов — интернационалистов, которому Московский комитет партии большевиков оказывал большую помощь. При встрече нового, 1918 года в Алексеевском манеже в Лефортове, в который тогда вместилась вся городская партийная организация, я выступил от имени военнопленнх-интернационалистов. Поэтому ли, а может быть, потому, что Серафимович опубликовал об этом митинге прекрасный очерк, меня избрали представителем нашего комитета военнопленнх и редакции издаваемой им газеты «Мировая революция», выходившей на нескольких языках, на III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В начале января 1918 года я выехал в Петроград.

В дни этого съезда я впервые увидел Ленина, впервые слушал его. Мне было всего двадцать пять лет и не хватало еще ни марксистской теоретической подготовки, ни практического опыта. Поэтому мое восприятие было достаточно поверхностным, а бурные события дальнейшей жизни привели к тому, что многое уже улетучилось из памяти.

Шло совещание членов Центрального Комитета партии большевиков с партийными работниками. Хотя я тогда не был еще членом партии, мне разрешили присутствовать в качестве гостя на этом заседании. Оно было крайне волнующе: решался вопрос о войне и мире. В партии существовали тогда три взгляда: часть партийных работников, возглавляемая Бухариным, стояла за продолжение войны против вильгельмовской Германии, за объявление ее революционной войной. Другие во главе с Троцким предлагали войну хотя и прекратить и армию демобилизовать, но мир не подписывать. А третьи шли за Лениным, настаивавшим на немедленном заключении сепаратного аннексионистского мира с германскими империалистами.

На трибуне появились один за другим все трое. Непоседливый Бухарин, в яркой косоворотке, подпоясанной ремешком, в высоких сапогах, взволнованно жестикулируя, бегал взад и вперед по сцене. Троцкий, только что прибывший из Бреста, в черной крылатке с блестящей металлической пряжкой (такие крылатки тогда носили студенты), все время становился в позу, и казалось, что он со своими театральными жестами и ораторским пафосом играет роль чернокрылого Демона. И только плотный, коренастый Ленин, в мешковатом пиджаке, не ораторствовал, а разговаривал с аудиторией.

Он говорил о том, что большинство партийных работников не поняло, что марксизм требует учитывать всякий раз конкретную ситуацию, что молодая, пока еще слабая Советская республика вынуждена заключить этот несчастный похабный мир. Получив, пусть лишь короткую, передышку, она накопит силы, и единственно так удастся сохранить власть рабочих и крестьян. Именно этим будет оказана самая лучшая поддержка пролетариату других стран в его революционной борьбе.

Свою точку зрения Ленин защищал страстно, но при этом он говорил просто, естественно, без каких бы то ни было искусственных ораторских приемов, но как раз потому убедительно. За каждым из его аргументов стояла не только железная логика, не только факты. Вместе с тем чувствовалось и его личное глубочайшее убеждение, вытекающее не из слепой веры фанатика, а из знаний, из научного предвидения хода истории.

Позже я имел часто возможность видеть и слушать Ленина. Особенно памятны мне следующие случаи.

Партийный комитет Басманного района города Москвы, членом которого я был в 1918 году и где я работал, организовал 30 августа рабочий митинг в бывшей Хлебной бирже. Это было самое большое помещение района, однако оно обветшало, было неудобным и, как тогда повсюду, скупо освещалось. Мы попросили Владимира Ильича выступить у нас, и он обещал приехать. Можете легко представить себе, какое было у нас в президиуме настроение, когда митинг уже давно начался, выступали рабочие и работницы, жаловались на тяжелые условия, ругали советскую власть, а Ленин все не приезжал. Положение в стране было тогда в самом деле катастрофическое. Армии интервентов и белых генералов окружили Советскую Россию, отрезали самые урожайные области. На заводах не хватало сырья, нефти, угля, в Москве по карточкам выдавали в день по восьмушке хлеба. Мы звонили Ленину, но напрасно: не смогли соединиться, пока вдруг мы не увидели, что сзади, в глубине зала, на последней скамье, никем не замеченный сидит Ленин — по-видимому давно, кепку он надвинул на глаза — и прислушивается к этой острой критике.

Мы подбежали к нему, почти силком привели его на трибуну. Он не стал садиться, а на шумные требования собрания сразу же взял слово. И что же? Он не только не принялся обещать скорого улучшения положения, а, наоборот, начал с того, что мы потеряли Украину, Кавказ, Сибирь и Волгу и что поэтому придется считаться с дальнейшим ухудшением положения. И открыто признал, что неопытное Советское правительство, большевистская партия и он сам допускают много ошибок и что рабочие справедливо их критикуют. Но какой выход? Там, где с помощью эсеров Советы свергнуты, — земля снова в руках у помещиков, а заводы — у фабрикантов. Восьмичасовой рабочий день, профсоюзы, организации крестьян ликвидированы. Вновь установлена полицейская власть. И Ленин спросил:

— Желаете, чтобы все это снова вернулось?

— Нет, нет! — кричало собрание.

— Тогда остается для нас только один выход: работать, бороться, преодолевать все трудности, победить или умереть!

Эта короткая искренняя речь Ленина вызвала бурю в зале. К нашему столу хлынуло много народа. Люди просили записать их тут же в партию, послать их на фронт. Ленин быстро простился и уехал от нас в Замоскворецкий район, на завод, бывший Михельсона, где также выступил на митинге. При выходе с завода террористка правая эсерка Каплан тяжело ранила Владимира Ильича, и ее выстрел сократил ему жизнь. Так трагически кончился этот день...

* * *

Самой памятной остается для меня встреча с Лениным утром 1 мая 1919 года. Это произошло на Красной площади, на том месте, где ныне находится Мавзолей, перед Кремлевской стеной, которая была тогда пестро разрисована лозунгами на разных языках. В ожидании начала демонстрации Ленин беседовал с группой партийных работ-

ников. Секретарь Краснопресненского райкома Г. Беленький вдруг потащил меня к Ленину и отрекомендовал как члена Московского комитета партии, только что прибывшего с Южного фронта и к тому же — иностранца. Я был настолько ошеломлен, что все вокруг меня словно остановилось, и я не замечал, что там, на площади, происходит. Помню лишь, что, ужасно стесняясь, я в своей длиннющей кавалерийской шинели стоял перед Лениным. А тот, по своей милой привычке, сразу схватил меня за лацкан и вроде притянул к себе. Посмотрел на меня с улыбкой, спросил, на каком участке фронта я воевал и что там произошло. Я ответил, что на Воронежском и что мы потерпели поражение, потеряли Лиски — важный железнодорожный узел. Ленин наклонил голову, задумался, прищурил глаза и начал расспрашивать о причинах. Пришлось мне без прикрас описать сущую правду — нехватку боеприпасов, хаос в командовании. Сегодня я, конечно, понимаю, что Ленин не узнал тогда от меня ничего нового, все это было ему, наверно, известно из донесений. Но одной из главных его черт было как раз — узнать все от живых людей, ознакомиться с их оценкой событий.

И торопясь — ведь начиналась демонстрация, — Ленин перешел к другой теме. Прага! Его лицо прояснилось, как будто он снова увидел наш город, январь 1912 года. Он назвал имена социал-демократов старой Австро-Венгрии. Был хорошо осведомлен о том, что происходит в Чехословацкой республике. Он резко критиковал Антонина Немца, Соукупу, Модрачека, несколькими сжатыми словами объяснил их тяжелые политические и идеологические ошибки. Но и в этом случае, как и во всех других, непримиримая принципиальность Ленина позволяла ему не опускаться до злопамятства и мстительности по отношению к политическим противникам.

А Ленин уже спрашивал, какова моя профессия, чему и где я учился. Я сказал, что я математик, что учился в чешском Карловом университете и в Пражском политехникуме. Тогда Ленин живо повернулся к стоявшей недалеко Надежде Константиновне и подозвал ее.

— Вот товарищ — математик, надо бы вам использовать его для работы по просвещению, — сказал он быстро.

А я молчу. Ленин заметил мои колебания. Но я овладел собой и выпалил то, что было мной уже много раз обдумано:

— Ведь идет гражданская война, революции нужны солдаты!

Но Ленин пылко возразил:

— Разве просвещение, образование, наука — это не тот же фронт? Разве мы, коммунисты, не везде солдаты революции?

И эти слова прозвучали у него не как звонкая фраза, а совершенно естественно и одновременно с упреком. Я не мог уже никогда забыть их. Тут проехало мимо несколько грузовиков с детишками — сиротами из детдомов. Они махали флажками, а Ленин кепкой отвечал им и про все остальное забыл. Я незаметно ретировался. А через много лет несколько снимков, сделанных в это утро, мне подарил ИМЭЛ.

Но вот что произошло дальше. Чуть ли не на следующий день Надежда Константиновна пригласила меня к себе. Не в Наркомпрос, а на квартиру. По дороге в Кремль я страшно волновался. В самом деле, как же так — я иду домой к Ленину, к вождю мировой революции! Но в то же время у меня было легко на душе, я знал, что иду к своим добрым старшим товарищам. И в самом деле, как только я вошел к ним, увидел, как скромно они живут, ощутил сердечное человеческое отношение, то почувствовал себя так, будто я знаю их уже давно-давно. О простоте и скромности говорили многие, да говорится и сейчас. Но если вы посмотрите поближе, то увидите, как часто способ жизни и поведение расходятся со словами. Между тем Ленину и Крупской скромность и простота были органически присущи. Они не могли жить иначе. Их демократичность была подлинная, а не показная.

Владимира Ильича я застал в жилетке, поглощенного работой. Он что-то писал, подал мне только руку и снова склонил голову над столом. Надежда Константиновна беседовала со мной во второй, соседней, комнатке. Убеждала меня перейти на работу в Наркомпрос. Но мне с моими тогдашними романтическими настроениями казалось немислимым заниматься в такое время «бумажным делом». Вскоре я снова уехал на

фронт, а потом в Германию, на нелегальную работу, посидел там в тюрьме. Одним словом, лишь после 1925 года я начал работать в области просвещения.

И тогда я второй раз, год спустя после смерти Ленина, посетил, все в той же квартире в Кремле, Надежду Константиновну. С легким упреком напомнила она мне о нашей беседе, почему я тогда не послушался Владимира Ильича и ее. Речь шла о задачах просвещения, о его содержании. Оно обязано проникать не только в головы, но прежде всего в души людей. Пока мы беседовали, ко мне на колени вскочил громадный мохнатый кот, серый, с каким-то особым голубоватым оттенком. Его товарищу Ленину подарил — если не ошибаюсь, еще в 1921 году — легендарный кавказский революционер Камо. Надежда Константиновна с грустью в голосе заметила:

— Вот, Владимира Ильича уже нет, а кот жив...

В то горячее революционное время — с 1918 по 1921 год — в перерыве между пребыванием на фронтах мне неоднократно пришлось бывать в Москве и удавалось присутствовать на выступлениях Ленина. Общее впечатление от всех его выступлений по самым различным злободневным событиям внутреннего и международного положения, впечатление, неизгладимо сохранившееся в моем сознании, таково: всякое мероприятие партии и советской власти Ленин рассматривал не только с точки зрения его прямого назначения, но обязательно также как средство для воспитания масс, для того, чтобы вместе с ними учиться строительству социализма. Он всегда говорил и писал, что надо изучать особенности в высшей степени трудного и нового пути к социализму, не прикрывая наших ошибок и слабостей.

Среди многого другого не могу не рассказать и о чувствах и мыслях, которые вызвали во мне выступления Ленина на III конгрессе Коминтерна летом 1921 года. Целые три недели проходили мы эту высшую политическую школу. Ее главной задачей было выработать для коммунистических партий — в том числе и для Чехословацкой партии, которая только что народилась, — тактику единого фронта. Она необходима была, эта тактика, чтобы завоевать большинство пролетариата для дела революции, чтобы освободить его из-под влияния оппортунизма. Как работник Коминтерна, вдобавок готовящий себя для подпольной работы, все, что происходило на конгрессе, я прямо-таки глотал. Вот тогда навсегда врезались мне в память слова Ленина: «Мы не должны скрывать наши ошибки перед врагом. Кто этого боится, тот не революционер. Наоборот, если мы открыто заявим рабочим: «Да, мы совершили ошибки», то это значит, что впредь они не будут повторяться...»

Да, Ленин вновь и вновь, при всех подходящих случаях, повторял: «...Если мы не будем бояться говорить даже горькую и тяжелую правду напрямую, мы научимся, непременно и безусловно научимся побеждать все и всякие трудности». Ведь именно так он и действовал сам и в самые суровые для партии времена. Ему никогда и в голову не приходило говорить народу неправду или полуправду. Никогда он не упускал из виду главную идею своего программного труда «Государство и революция», а именно — чтобы диктатура пролетариата служила исключительно лишь для подавления эксплуататоров, чтобы ни одна из ее организаций никогда не могла повернуться против самого народа, против трудового человека.

Все эти революционные годы Ленин был и остается для меня не только гениальным мыслителем, ученым и политиком, ведущим за собой массы, но человеком, единственная жизненная цель которого — дело революции, защита интересов трудящегося народа в их интернациональном понимании. Ему, как и многим революционерам, тем, кто принадлежал к старой большевистской гвардии, не было дела до личной славы, до личного благополучия. Их занимало одно — победа подлинной коммунистической идеи, ее осуществление.

История знает немало случаев, когда реакционные силы и предатели революции на словах клялись в верности авторитетам вождей угнетенных классов, а на деле выхлачивали революционную суть их учений. В этой связи и сегодня весьма актуально предупреждение Ильича о том, «что не раз бывало в истории с учениями революционных мыслителей и вождей угнетенных классов», когда «после их смерти делаются по-

пытки превратить их в безвредные иконы, так сказать, канонизировать их, предоставить известную славу их и м е н и для «утешения» угнетенных классов и для одурачения их, выхолащивая с о д е р ж а н и е революционного учения, притупляя его революционное острие, опошляя его».

«На такой «обработке» марксизма,— говорил Ленин,— сходятся сейчас буржуазия и оппортунисты внутри рабочего движения. Забывают, оттирают, искажают революционную сторону учения, его революционную душу. Выдвигают на первый план, прославляют то, что приемлемо или что кажется приемлемым для буржуазии». В. И. Ленин обращал далее внимание и на опасность националистического извращения марксизма.

Я убежден, что учение Ленина не поддастся этим опасностям, а победит, потому что оно выражает подлинную правду жизни.



А. НОВИКОВ,
*Главный маршал авиации,
дважды Герой Советского Союза*

★

В НЕБЕ ЛЕНИНГРАДА*

САМЫИ ДОЛГИИ ПОЕДИНОК

В конце ноября 1941 года головные части ударной группировки гитлеровцев прорвались к станции Войбокало и перерезали участок Северной железной дороги между Назия и Волховом. Еще раньше пал Тихвин. Северная дорога, по которой из глубокого тыла поступали грузы на перевалочные ладожские базы, перестала действовать. Нам пришлось срочно строить специальную военно-автомобильную дорогу от перевалочных баз на Ладожском озере в глубь страны. Началась она на восточном побережье Шлиссельбургской губы в Кобоне, шла через Новую Ладугу, Сясьстрой, Карпино, Еремину гору, Лахту и заканчивалась в ста двадцати километрах восточнее Тихвина у железнодорожной станции Заборье. Путь этот был в шесть раз длиннее прежнего, начинавшегося у Войбокало. Проходила трасса по сильно пересеченной, покрытой лесами и болотами местности, строилась на скорую руку и, естественно, не могла быть оборудована надлежащим образом. Частые снегопады заваливали дорогу, и движение приостанавливалось. В среднем машины проходили за сутки тридцать пять километров. Длительное время обеспечивать снабжение города и фронта эта трасса не могла. Но функционировала она недолго. С освобождением в декабре Тихвина, а затем Войбокало и восстановлением железнодорожного сообщения снабжение Ленинграда и фронта стало проводиться на «коротком плече» — от Войбокало и Жихарево на Кобону и Леднево. Но сквозное движение поездов на дистанции Волхов — Войбокало открылось лишь утром 1 января 1942 года, а до этого дня население и войска питались «с колес». Малейшая заминка могла вызвать катастрофу.

Успех противника на волховском и тихвинском направлениях поставил Ленинград в исключительно тяжелое положение. Во второй половине ноября в городе были на исходе последние запасы продовольствия. В это время рабочие получали 250, служащие, иждивенцы и дети — 125, войска первой линии — 500 и тыла — 300 граммов хлеба в сутки и ничего более, так как на Ладоге из-за ледостава прекратилось движение морских караванов и в город продовольствие доставлялось только на самолетах, что было каплей в море.

До конца дней своих буду помнить это жуткое время. Нервы у всех были взвинчены до предела. Даже всегда сдержанные, умевшие владеть собой люди и те были подавлены и не скрывали своих переживаний.

В один из дней Военный совет фронта пошел на крайнюю меру: решил пустить в ход аварийные запасы муки флота и сухари из неприкосновенного фонда войск.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 2 с. г.

В то время план гитлеровцев — задушить Ленинград рукой голода, — как никуда, был близок к осуществлению. Убедившись в невозможности выйти через Волхов и Тихвин на реку Свирь, где уже стояла финская армия, фашистское командование изменило первоначальный замысел боевых действий: сильная группировка 16-й армии стала пробиваться к Ладожскому озеру по кратчайшему пути — Войбокало — Кобона. А это грозило Ленинграду глухой блокадой: с выходом врага на восточное побережье Шлиссельбургской губы город и фронт лишались последней коммуникации, связывавшей их со страной.

Вот тогда-то и разгорелись ожесточенные бои в районе Войбокало. Но в то время мало кто следил за ними. Внимание страны было приковано к битве под Москвой, и люди, читавшие в газетах краткие сводки о боях под Волховом, в большинстве своем даже не подозревали об их огромном значении, о том, что они имеют прямое отношение и к судьбе столицы: ведь глухая блокада Ленинграда и связанная с ней возможность падения города обернулись бы огромной бедой для всей страны. Если бы противник захватил Ленинград и установил единый фронт с финской армией, у него высвободились бы для ведения действий на центральном направлении мощные силы, и тогда опасность для Москвы возросла бы неизмеримо.

Ставка Верховного Главнокомандования отлично понимала это и, несмотря на очень тяжелое положение под Москвой, делала все возможное, чтобы помочь нам сдерживать натиск врага — не позволить ему вырваться через Войбокало к Кобоне, спасти Ленинград от полного голода.

По решению Ставки началось строительство ледовой дороги через Ладожское озеро и далее по суше до Заборья. Ледовый участок, вошедший как часть в военно-автомобильную дорогу, стал наиважнейшим. Противник быстро понял это и, чтобы сорвать перевозки по льду озера, бросил сюда значительные силы авиации, а несколько позже начал регулярно обстреливать трассу из орудий, расположенных под Шлиссельбургом.

Бесперебойное движение по ледовой дороге стало для Ленинграда вопросом жизни и смерти. Нужно было как можно надежнее защитить ее с воздуха. Но на исходе пятого месяца войны ВВС фронта имели всего 216 исправных самолетов, в том числе 143 истребителя; к концу декабря общее количество исправных машин уменьшилось до 175, а истребителей до 141. В это время наши летчики интенсивно помогали войскам 4-й и 54-й армий, которые выбивали врага из Тихвина и Войбокало. И все же мы нашли возможность выделить для прикрытия трассы значительные, разумеется по нашим тогдашним возможностям, силы авиации. Мы отобрали для авиационного прикрытия ледовой дороги лучших летчиков-истребителей.

Ночью 22 ноября по льду Ладоги на Большую землю за продовольствием для Ленинграда проследовала первая колонна грузовиков. «Дорога жизни», как очень скоро переименовали этот участок в народе, заработала. С тех пор и до весны не прекращались над ней горячие воздушные схватки.

Во время одной из таких схваток начался поединок ленинградского аса Петра Андреевича Пилютова с неизвестным асом гитлеровцев, которого однопольчине Пилютова прозвали «желтоносим».

О том, что Пилютов гоняется за каким-то гитлеровским асом из 1-го воздушного флота, а тот за ним, я впервые услышал в конце декабря 1941 года.

Петра Андреевича Пилютова я хорошо знал лично и питал к нему глубокую симпатию. Мне нравилось в нем все: и веселый, общительный характер, какой-то истинно русский; и внешность, особенно когда он улыбался, и манера держаться — просто, но с достоинством. При среднем, но плотном телосложении — Пилютов до армии был молотобойцем и кузнецом на заводе — он производил впечатление богатыря. Да он и был таким в своих ратных делах. Петр Андреевич, говоря словами Суворова, был смел без опрометчивости, деятелен без легкомыслия, тверд без упрямства, осторожен без притворства. Обладал он натурой в высшей степени жизнеутверждающей и стойкой.

Впервые о Пилютове я услышал в тридцатые годы, когда он вместе с В. С. Молоковым спасал челюскинцев, за что правительство наградило его орденом Ленина. Вторично эта фамилия попала мне на глаза, когда я подписывал документ на представление Петра Андреевича к правительственной награде за боевые действия в Финляндии. Но первое боевое крещение Пилютов получил еще раньше — на Халхин-Голе, где сражался против японских захватчиков вместе с такими известными советскими летчиками, как С. И. Грицевец и Г. П. Кравченко. Так что война с фашистской Германией застала его уже сложившимся военным летчиком. Но, помимо отличных боевых качеств, Пилютов обладал и незаурядными способностями воспитателя. Из его эскадрильи вышло впоследствии несколько асов, среди которых капитан Владимир Матвеев — один из первых ленинградских летчиков, совершивших воздушный таран. Когда осенью 1940 года в округ прибыли выпускники летных училищ, из которых формировался новый авиаполк, Петра Андреевича перевели в эту часть обучать молодое пополнение. А весной следующего года командование поручило ему осваивать только что поступившие на вооружение скоростные истребители МиГ-3. В 154-м истребительном авиаполку он возглавил 4-ю эскадрилью, летавшую на новой боевой технике. На этой должности и застала его война.

Война с гитлеровцами в воздухе, как я уже упоминал, заставила нас многое пересмотреть в тактике нашей авиации и в боевом использовании ее вообще. Пилютов и тут показал, что может не только хорошо летать и сражаться, но и умеет смотреть вперед, видеть перспективу. Он одним из первых вслед за Петром Покрышевым вместе с Алексеем Сторожаковым начал вести воздушный бой парой самолетов, еще перед войной начал по-настоящему внедрять в практику воздушного боя радиосвязь между экипажами, находившимися в полете, и экипажем с землей.

Таков был этот незаурядный летчик и человек, о поединке которого я расскажу все, что узнал от него самого и его товарищей.

В тот день вылеты не предполагались. Метеорологи не обещали летной погоды: декабрь начался обильными снегопадами и метелями. И вообще последний месяц сорок первого года был очень неблагоприятен для авиации: только шесть дней были летными, одиннадцать — ограниченно летными, остальные четырнадцать даже по военному времени считались совершенно непригодными для полетов. Все время преобладала мощная облачность — от 8 до 10 баллов. И все же авиация работала. Мы не могли полагаться на непогоду и оставить трассу без воздушного прикрытия, а гитлеровцы, стремясь во что бы то ни стало захлопнуть эту последнюю отдушину Ленинграда, появлялись над дорогой при малейших прояснениях.

Летчики, как обычно, собрались на КП. Командир полка подполковник А. А. Матвеев вместе с главным инженером занимался текущими делами. Летчики, чтобы не мешать им, разговаривали вполголоса. Обсуждали последнюю новость — ожидаемое поступление в полк иностранных истребителей. Сообщил об этом Пилютов, только что вернувшийся из деревни Званка, где размещался штаб 39-й истребительной авиадивизии. Кое-кто из летчиков заметил насчет «томагауков» и «киттихауков», рассчитанных на жаркий климат: а у нас, мол, русские холода, как мороз чуть посильнее — лопаются масляные радиаторы, да и к мотору, чтобы подогреть его, не подобраться. Похоже, союзники случаем пользуются — сбывают, что похуже. «МиГи» куда лучше в наших условиях. Вспомнили горячие июльские бои над лужскими плацдармами, когда на своих «мигах» и «лагдах» во взаимодействии с «ишаками» и «чайками» крепко били «глистов» — Me-109.

Тут не могу не сказать, что с каждым месяцем «ишаков» и «чаек» — И-16 и И-153 — становилось все меньше (промышленность прекратила выпуск этих машин), и летчикам приходилось менять тактику воздушного боя — они начали переходить на полеты парами и все чаще пользоваться радио. Но тут возникли

свои трудности. Во-первых, радиоаппаратура, установленная на борту новых истребителей, не была отработана до конца: она часто расстраивалась, не обладала достаточной стабильностью частот, не обеспечивала должной слышимости, помехи — а их в воздухе немало — нередко вызывали страшный шум и треск в наушниках. Все это порождало к радиосвязи недоверие, а некоторые летчики вообще наотрез отказывались применять ее в бою. Во-вторых, на эскадрилью выделялся только один полный комплект радиоаппаратуры (передатчик и приемник). Стоял он на машине комэска, на остальных имелся лишь приемник. При такой радиооснащенности истребителей очень трудно было внедрять полет парами, о создании же единой системы управления авиацией в бою по принципу «воздух — земля — воздух», что все настойчивее диктовала обстановка и о чем уже задумывались не только в 154-м полку, и говорить серьезно не приходилось. Но американские самолеты имели хорошую бортовую радиоаппаратуру и все в полном комплекте. Вот почему известие о скором поступлении «томагауков» и «киттихауков» в полк, в котором к тому же осталось всего четырнадцать «мигов», так заинтересовало Пилютова.

За разговором незаметно пролетели несколько часов, и погода за это время улучшилась. Теперь над трассой надо было ждать фрицев, о чем и известил звонок из штаба дивизии.

Матвеев приказал Пилютову подняться в воздух. Через несколько минут два «мига», ревя мощными моторами, пронеслись по взлетной полосе. Пилютов лег на прямой курс и знакомым маршрутом вышел к Кобоне. Далеко впереди на трассе чернела колонна автомашин.

Он поглядел на ведомого и тут вспомнил о вчерашнем разговоре с летчиками 159-го истребительного полка, тоже базировавшегося здесь на аэродроме. Они рассказывали, что над трассой появилась новая четверка Me-109, которую водит желтоносый «мессер» под номером девятнадцать. Опытный летчик, видно, ас из 54-й эскадры, с ним надо держать ухо востро.

Пилютов включил передатчик, предупредил об этом ведомого и, спросив, как тот понял, перешел на прием. Но ведомый никак не отреагировал — видимо, отключился в полете. Тогда Пилютов просигналил движением самолета: «Внимание!» И тут же увидел, как прямо над ними через узкий бледно-голубоватый просвет вывалилась четверка «мессеров». Одна пара отвернула и пошла выше, а другая устремилась на «мигов». Пилютов предупредил об опасности эволюцией самолета, но было уже поздно: сверкнул огненный пунктирный след пушечной очереди «мессеров». Он резко свалил свою машину на крыло, взмыл вверх и оглянулся. На хвосте ведомого мертвой хваткой висел тот самый ас, о появлении которого предупреждали товарищи из 159-го полка. Пилютов узнал его по ярко-желтому носу машины. С такой отчетливой приметой над трассой не появлялся еще ни один гитлеровец.

Пилютов развернулся и бросился на «желтоносого». Он видел, как ведомый пытался уйти от врага, но мастерства у него не хватало, да и высота для «мига» была недостаточной. А «желтоносый» не отставал, неумолимо сокращал дистанцию. Самолет ведомого вдруг будто напоролся на что-то твердое, сбавил скорость, клюнул носом, пролетел несколько секунд, еще раз дернулся — и круто устремился к земле. Лишь когда из-под его фюзеляжа вырвался густой черный дым, «желтоносый» отвалил в сторону.

Пилютов запоздал на какие-то секунды. Немец почти отвесно взмыл в небо перед самым его носом и скрылся в облаках. Пилютов тоже задрал нос своему «мигу», но тяжелой машине на малой высоте такой бросок оказался не под силу. И в тот же момент на Пилютова насел ведомый «желтоносого». Сверху на помощь ему устремилась вторая пара «мессеров». Она стала отсекать Пилютову путь в облака. Он проскользнул в них уже под вражеским огнем.

Драться с четверкой Me-109, да и к тому же на невыгодной для «мига» высоте, было заведомо бесполезным делом. Пилютов решил было вернуться на аэродром за помощью, но, вспомнив, что по трассе движется автоколонна с грузами

для Ленинграда и гитлеровцы непременно ее разгромят, развернул самолет и направил его под нижнюю кромку облаков. Он нашел выход из положения: короткими ударами непрерывно атаковать врага, отвлекая и скрывая его, а при ответных атаках тотчас прятаться в облака и все время оттягивать «мессеров» к Кобоне, где они попадут под огонь зенитных орудий.

Прижимаясь к кромке облаков, Пилютов догнал пару «мессершмиттов», летевших вдоль трассы к мысу Осиновец, и ударил по ведомому. Удар оказался точным — вражеский самолет вспыхнул. Ведущий тотчас скрылся в облаках. Он известил, видимо, своих по радио, и через минуту на Пилютова навалилась вся тройка. Впереди мчался «желтоносый». Пилютов развернул машину и стал уходить в сторону Кобоны. Он мог оторваться от преследователей, но тогда не удалась бы задуманная им хитрость. Пилютов уменьшил скорость и, лишь когда «мессеры» вышли на дистанцию прямого выстрела, нырнул в облака. Выбрав момент, Пилютов снова ринулся в атаку. На этот раз он даже поймал в перекрестие прицела одного «мессера», но в последнюю секунду «желтоносый» выбил его из-под хвоста Me-109. И не сделай Пилютов тогда головоломного вольта, четыре очереди «желтоносого» — две пулеметные и две пушечные — разнесли бы вдребезги и фонарь и голову.

Уходя в облака, Пилютов заметил далеко впереди Кобону и решил, что сделает еще один, последний маневр. Но когда он снова вышел из облачности, «мессеры» почему-то не кинулись в атаку, а круто взмыли вверх и скрылись из виду. Пилютов огляделся и увидел тройку советских истребителей из 159-го полка. Он немедленно связался с ведущим по радио. Вчетвером они бросились вдогонку за противником, но обнаружить «мессеров» им так и не удалось. Тройка из 159-го полка осталась в небе над трассой, а Пилютов повернул на аэродром.

Невеселым возвратился Пилютов, несмотря на сбитый вражеский самолет. Рванувшись на «желтоносого», он забыл о подбитом «миге» и не видел, оставил летчик машину или нет. Не выходил из головы ведомый. Командир полка, выслушав Пилютова, тотчас связался с Кобоной. Но ничего утешительного ему не сообщили — пообещали только немедленно начать поиски сбитого пилота.

Пробрав молодых летчиков за пренебрежение радиосвязью и пригрозив им за невыполнение приказа летать в шлемофонах трибуналом, Матвеев принял за ветеранов и зло отчитал их за либерализм. Потом попросил Пилютова рассказать поподробнее, что это за «желтоносый» такой. Пилютов не много добавил к своим первым впечатлениям, но и того, что сообщил, для опытных летчиков оказалось достаточным. Все поняли, что с «желтоносым» придется повозиться.

Пилютов с нетерпением ждал следующего дня. Но уже с вечера отовсюду надвинулись тяжелые тучи и повалил снег. И на второй день стояла непогода. Летали только бомбардировщики, да и то ночники. Бомбили они главным образом железнодорожные узлы на коммуникациях противника.

На третьи сутки ударил мороз. Выглянуло солнце — и Пилютов взлетел в небо. На этот раз он взял себе в ведомые Георгия Глотова. Летели двумя парами. Обычным маршрутом вышли на Ладогу.

Вторая пара — Горбачевский и его ведомый — шла чуть поодаль и выше, прикрывая Пилютова и Глотова от внезапной атаки. И не зря: за первым слоем облаков, разрезая острыми, хищными носами попадавшие на пути маленькие облачка, показались два Me-109. Гитлеровцы заметили «мигов», но почему-то не перестраивались для атаки, хотя имели преимущество в высоте.

Пилютов с ведомым стали набирать высоту. Стрелка на приборе перевалила через отметку «4000» и поползла дальше. Самолеты прошли первый слой облаков. Пилютов обернулся и тотчас на крутом вираже, увлекая за собой Глотова, ушел вверх: сзади неслась четверка Me-109. Вражеские истребители со звоном промчались мимо. На борту ведущего Пилютов успел разглядеть окаймленную полосой цифру «19», и тут же по радио передал: «В воздухе «желтоносый». Беру его на себя. Горбачевский, прикрой нас».

На своей высоте тяжелый «миг» быстрее набирал скорость, чем более легкий «мессершмитт». Описав полупетлю, Пилутов и Гловов повисли на хвостах замыкающих вражеской четверки, и верный конец был бы одному из них, не появившись в это время третья пара Ме-109, та самая, что пыталась заманить советских летчиков. Они с ходу набросились на «мигов». На выручку товарищам поспешили Горбачевский и его ведомый. В свою очередь «желтоносый» успел завершить маневр и зайти в хвост второй паре советских летчиков. Началась «карусель». Перемешались свои и чужие. «Миги» и «мессера» то вдруг рассыпались в разные стороны, вновь соединяясь в пары, то, поливая друг друга свинцом из пулеметов и пушек, снова сплетались в один клубок, выделявая головоломные фигуры.

Бой длился минут тридцать. Бензин кончался, и пора было возвращаться на аэродром, но Пилутову все никак не удавалось отколоть «желтоносого» от его ведомых. Тот упорно держался в общем строю, цементируя и направляя его атаки. Чувствовалась умелая и твердая рука аса. С таким мастером Пилутов еще не дрался.

Немец, видно, тоже заметил своего главного противника и не то чтобы избегал поединка, а держался иной тактики — предпочитал больше руководить группой, нежели ввязываться в непосредственную схватку с ним. Несколько раз Пилутов встречался с «желтоносым» на пересекающих курсах, но тот не принимал вызова. Пользуясь большей маневренностью «мессера», он довольно легко уходил в сторону. «Желтоносый», казалось, прощупывал Пилутова. И все же на исходе боя Пилутов подловил его. В одну из атак он едва не снес «желтоносому» фонарь. Спасаясь от огня, фашистский ас ввел машину в такой глубокий вираж, что чуть не свалился в штопор. Исправляя ошибку, он стремительно выкатился из «карусели». Его ведомый тотчас же бросил Пилутова и устремился за своим командиром. Приказав Гловову держать ведомого, Пилутов выжал до отказа сектор газа и ринулся за «желтоносым», отсекая ему путь к месту общей схватки. Он прижал немца так, что тому оставалось или посадить к себе на хвост противника, или встретить атаку в лоб. «Желтоносый» избрал последнее.

Пилутов был твердо уверен, что гитлеровец не отважится на таран, не вообще, а именно сейчас. Об этом говорило его поведение в бою: «желтоносый» дрался смело, но расчетливо, ни на секунду не теряя контроля над собой. Пилутов интуитивно улавливал его настроение. И не ошибся: гитлеровец первым открыл огонь. Тогда и он нажал на гашетку. Очереди светящимися нитями на какое-то мгновение соединили оба самолета. «Желтоносый» бил длинными, Пилутов — короткими очередями. Ни тот, ни другой не хотел первым поставить себя под удар, и они едва не столкнулись. В самую последнюю секунду оба истребителя взмыли вверх, описали полукруг и где-то на середине снова сошлись носами. И снова безрезультатно.

Бой кончился вничью. Оборвался, как это случается очень часто, внезапно: иссякли боеприпасы, на исходе было горячее.

Схватка пилутовской четверки и шестерки «желтоносого» вызвала среди летчиков много разговоров. Бой обсуждался долго и тщательно — он заинтересовал всех. Пришли к выводу, что, пока не покончат с «желтоносым», молодых лучше в воздух одних не выпускать, только со «стариками». И еще порешили: с «желтоносым» разделаться надлежит Пилутову — он его уже «застолбил», ему и приканчивать. Но если кто другой повстречает «желтоносого» — пусть не упускает случая схватиться с ним.

Так с тех пор и повелось: без Пилутова схватывались с «желтоносым» и Покрышев, и Чирков, и Гловов, и другие опытные летчики. Если же в воздухе находился Пилутов, все уступали ему право на этот поединок. Такого же правила вскоре стал придерживаться и противник.

Пока все схватки кончались вничью. Правда, небольшое преимущество все же было на стороне Пилутова. Он и атакывал чаще и острее, и бился злее, напористее.

Сперва Пилугов отшучивался, когда речь заходила о немецком асе, потом стал отмалчиваться; все почувствовали, что безрезультатность дуэли с «желтоносым» глубоко задела его.

Шли дни. Советские войска еще дальше отбросили гитлеровцев от Тихвина, выбивали его из-под Волхова, и на Северной железной дороге уже велись восстановительные работы. Теперь автоколонны не плелись черепашьим шагом, а доставляли грузы на Ладогу непосредственно из Тихвина. Ленинград и фронт стали получать больше продуктов. Движение по ледовой трассе усилилось. Но участились и атаки на нее немецкой авиации.

17 декабря Пилутов во главе четверки И-16 сопровождал в Ленинград девятку транспортных самолетов Ли-2. Обошлось без встреч с гитлеровцами. В обратный рейс Ли-2 отправлялись с пассажирами, большинство из них были дети. Их эвакуировали на Большую землю.

Пилутов и его товарищи помогали усаживать ребятишек в самолеты. Было морозно, и дети жались друг к другу, пытаясь согреться. Но одежда не спасала от холода истощенных маленьких ленинградцев.

Летчики роздали детям весь неприкосновенный запас сухарей, которые им выдали в полет. У ребят не было сил даже разломать сухари, и летчики сами давали каждому ребенку по малюсенькому кусочку.

Ли-2 взлетели первыми. Но едва они покинули аэродром, как в небе появились Ме-110. Осколками бомб и пулеметно-пушечным огнем гитлеровцы повредили три машины из группы Пилутова. Уцелел только его истребитель. Других истребителей на аэродроме не оказалось, и Пилутов решил один сопровождать девятку транспортников. Он быстро догнал их и пристроился под самой кромкой облаков.

Ли-2 летели треугольником, едва не притираясь к земле. Их серебристые корпуса отчетливо выделялись на темном фоне лесов. Но когда самолеты вышли на Ладогу, различить их стало труднее. День был пасмурный, и Пилутов надеялся, что транспортники проскочат незамеченными противником. Но надежда его не сбылась. Показалась шестерка «мессершмиттов». Они быстро нагоняли его «ишачка», летевшего со скоростью пассажирского самолета. Но девятку Ли-2 гитлеровцы пока не замечали, иначе тотчас перестроились бы для атаки.

Нужно было немедленно отвлечь внимание противника, и Пилутов решил дать бой: оставлять девятку Ли-2 без какого бы то ни было противодействия «мессерам» было немислимо.

Пилутов развернул свой самолет навстречу противнику. Он сделал бы так, даже если бы врагов оказалось вдесятеро больше. Количество их в такой обстановке не имело никакого значения — речь шла не о победе, которой и не могло быть в обычном понимании этого слова, а о спасении почти трехсот голодных, измученных блокадой детей. И хоть шанс на их спасение был ничтожно мал, но он все же был.

Развернувшись, Пилутов стал снижаться с таким расчетом, чтобы гитлеровцы как можно быстрее заметили его. Все решали секунды. Пилутов оглянулся — Ли-2 в том же строю большого треугольника низко ползли над скованной льдом Ладогой. Он посмотрел на «мессеров» — те сохраняли прежний порядок, значит, еще не увидели его, — нажал на гашетку. Длинная нить трассирующих пуль в сторону врага. Это подействовало. Одна пара немедленно стала набирать высоту, другая отвалила в сторону, намереваясь зайти в хвост И-16, ведущая пара продолжала лететь по прямой. Отвлекающий маневр удался. Можно было начинать бой.

Несколько раз его И-16 был на грани штопора, но Пилутов каким-то чудом успевал выйти из него. Он атаковывал с такой яростью, что «мессера» рассыпались в разные стороны. Сперва он подловил ведомого «желтоносыго». Короткой очередью из всех пулеметов он разнес у него фонарь и, видимо, наповал сразил пилота, так как истребитель свалился в крутое пике, из которого так и не вышел. Потом задымил второй «мессер». Он подался в сторону Шлиссельбурга, оставляя за собой шлейф черного дыма. Но в этот момент остальным «мессерам»

удалось зажать Пилютова в «клещи». Одна пара вцепилась в хвост И-16, а вторая — в ней был «желтоносый» — теснила сверху, не давая ему прорваться к облакам.

Пилютов понял, что наступает развязка. Он сделал все, что мог, не жалел себя и внутренне подготовился к тому, что это последний и самый трудный экзамен из всех, которые выпали на его долю.

Даже когда исхлестанные пулями элероны превратились в мочало и машина стала плохо слушаться рулей, он умудрился сбросить «мессеров» с хвоста, развернулся и грудью встретил «желтоносого». Пилютов уже держал противника в перекрестьи прицела и готов был всадить в него весь оставшийся боезапас, как по машине словно ударило крупным градом — и тотчас под ногами беспомощно заболтались педали: перебило рулевые тяги. Нос И-16 неудержимо потянуло книзу, и «желтоносый» выскочил из прицела. «Ишачок» стал совсем неуправляем, держался только на моторе, и Пилютов повел машину к берегу, до которого осталось совсем немного. Он выжимал из машины все силы. И тут на него навалилась вся четверка «мессеров». Впереди мчался «желтоносый», за ним чуть поодаль остальные. Они открыли огонь почти одновременно. Внутри под капотом что-то заскрежетало и звякнуло, и винт с характерным присвистом закрутился вхолостую. И-16 сразу осел, будто провалился в яму. Вдогонку неслись пулеметно-пушечные очереди. Одна из них вдребезги разнесла фонарь кабины, и Пилютов почувствовал острую боль в плечах и руках. Промелькнули под плоскостями кусты. Заваленные до макушек снегом, они приняли на себя падающий самолет и смягчили удар.

Пилютов выскочил из кабины и кинулся в лес, но гитлеровцы огнем прижали его к земле. Он вернулся к машине и спрятался под мотор. Немцы подожгли истребитель. Чтобы не взорваться вместе с ним, Пилютов вскочил и побежал. Над головой его снова зазвенело, — на него пикировал «желтоносый». Тотчас что-то сильно толкнуло Пилютова в спину, он остановился и, запрокинув голову, рухнул лицом в снег.

Пилютов пролежал в бесспамятстве на морозе несколько часов и очоенел бы, если бы его не заметил проезжавший на санях местный колхозник. Он доставил его в ближайший медсанбат. Капитану оказали первую помощь и отправили в Старую Ладогу, где находился морской госпиталь. Врачи извлекли из Пилютова более двадцати осколков. К тому же у него были обморожены руки и лицо. Но крепкий организм выдюжил, и скоро Пилютов снова вернулся в строй.

На третий или четвертый день после героической схватки Пилютова с шестью немецкими истребителями я прилетел в Волхов. Осенью и зимой 1941 года я часто навещался в районы Волхова и Тихвина. Здесь была сосредоточена добрая треть сил авиации Ленинградского фронта. Я уже упоминал, что из-за острой нехватки аэродромов, сильно затруднявшей боевую работу авиации, мы часть полков переслоцировали за реку Волхов. Управлять ими из Ленинграда было сложно. Поэтому еще 19 сентября мы создали специальную оперативную группу ВВС фронта, поручив ей непосредственно руководить действиями всей авиации, базировавшейся на аэродромах Волховского и Тихвинского аэроузлов. Начальником группы был назначен мой заместитель полковник И. П. Журавлев, хороший организатор и волевой командир. Замечу кстати, что, когда был создан Волховский фронт, Иван Петрович стал командующим ВВС этого фронта. Закончил он войну командующим 14-й воздушной армией в звании генерал-лейтенанта.

Ознакомившись с положением дел в группе, я, по своему обыкновению, побывал в ближайших частях, заглянул и в Плеханово к подполковнику Матвееву. Здесь и узнал впервые о затянувшемся поединке «желтоносого» с Пилютовым.

В полку мне сообщили тогда и о другой жаркой схватке, происшедшей тоже 17 декабря. Героем ее оказался Петр Покрышев. Его пятерка сопровождала в Ленинград группу транспортных самолетов. Над мысом Осиновец, где находилась

последняя перевалочная база и откуда грузы непосредственно поступали на ленинградские склады, Ли-2 подверглись атаке девятки «мессеров». В этом бою Покрышев увеличил счет своих побед. И эта его победа имела особое значение. Впервые, сбитый им вражеский истребитель оказался не простым «мессером» — это был Ме-109Ф, модифицированный вариант, только что начавший поступать на вооружение германских ВВС. Он превосходил Ме-109Е и в скорости и в вооружении. Так мы узнали о появлении у противника новой боевой машины и смогли своевременно предупредить о ней летчиков. И, во-вторых, на сбитом Ме-109Ф были нарисованы пятнадцать опознавательных знаков ВВС различных европейских стран. Последней стояла наша звездочка. На допросе гитлеровец не без заносчивости сказал, что так он обозначал одержанные им в воздухе победы.

— Как видите, есть и ваша звезда, — добавил он. — А я совсем недавно при- был на Восточный фронт...

— И недолго пробыл, — услышал он в ответ.

Расскажу еще об одном эпизоде, хоть он и не имеет прямого отношения к поединку Пилютова с «желтоносым». Однако если вдуматься, окажется, что все это — звенья одной цепи, закономерный результат боевых дел всех советских летчиков, в котором есть и доля Пилютова, и притом очень весомая. Достаточно сказать, что за полгода войны только он, Покрышев, Чирков и Гловатов сбили лично и в групповых боях шестьдесят один немецкий самолет.

Приблизительно в это же время над железнодорожной станцией Большой Двор, что в нескольких десятках километров восточнее Тихвина, наши летчики сбили Ю-88. Командиром попавшего в плен экипажа бомбардировщика оказался один из известных мастеров «слепых» полетов. На допросе он сообщил об одной детали, которая для нас тогда была ценнее всех иных его откровений. Мы уже знали, что во фронтовых авиачастях врага появилось много молодых летчиков выпуска 1940 и даже 1941 года. Понимали, что это вызвано большими потерями опытных летных кадров. Но сколь ощутимы эти потери для противника и как они сказались на боевом состоянии фашистской авиации, мы достаточно четко не представляли. Неожиданное сообщение немецкого летчика внесло в этот вопрос ясность и позволило нам сделать необходимые поправки в действия нашей авиации. Оказалось, что в его отряде было лишь два мастера, владевших искусством «слепого» полета. Одного ленинградские летчики сбили в ноябре, вторым сбитым стал он сам. Замены им нет: в отряде осталась одна зеленая молодежь, недавно выпущенная из летных школ. Молодые пилоты прошли курс ускоренной подготовки и летать в сложных метеорологических условиях не могут.

То же самое показал и штурман экипажа. Сообщения пленных впоследствии были подтверждены документами. Потери фашистских ВВС в людях превзошли все наши ожидания. Оказалось, что уже к лету 1942 года противник потерял 13 тысяч летчиков. Авиация — особый род войск; костяк ее, на котором держится все, — летные кадры. А подготовка их — дело дорогостоящее и длительное. Наконец, летчиков и не может быть много в обычном понимании этого слова. Гитлеровская Германия начала войну с нами, имея всего 12 500 боевых летчиков (без учета инструкторов летных школ). За какой-то год мы истребили почти весь цвет фашистской авиации. Это такой урон, качественно восполнить который противник не смог до конца войны. Примечательно и то, что львиная доля этих потерь приходится на первые шесть месяцев войны.

Резкое снижение качества подготовки летчиков признавали и сами гитлеровцы, в том числе Геринг, генерал-фельдмаршал Кессельринг и другие военные руководители фашистской Германии.

Прощаясь с летчиками в Плеханово, я спросил, как настроение у Пилютова: все-таки не он сбил «желтоносым», а «желтоносый» его, хотя и не без помощи ведомых. Но факт остается фактом.

— Пилютова неудачи только разжигают, товарищ генерал, — ответил Покрышев. — Пишет: вернусь и больше «желтоносым» не упущу.

Недели через три Пилутов вернулся в полк и, прежде всего осведомившись о «желтоносом», услышал в ответ: «Летает».

Вскоре, еще не вполне оправившийся после ранений, он стал летать уже наравне со всеми и упорно выискивал «желтоносого». Раза два встречал его, но тот не принимал вызова. Гитлеровец держался настороженно и даже при равенстве в силах часто уводил свою группу в облака.

В один из дней, выйдя на трассу «парой», Пилутов сразу же ушел в облака, притерся к нижней кромке. Минут через пятнадцать он заметил впереди шестерку Me-109. Они шли над самой трассой, высматривая добычу. Капитан пропустил их под собой и вдруг разглядел ярко-желтый нос ведущего. Он развернулся и вместе с ведомым стал пристраиваться в хвост «мессерам».

Сперва Пилутов хотел ударить по паре, замыкавшей «клин». Но «мессера» неожиданно стали набирать высоту и по высоте сближаться с «мигами». Это было на руку Пилутову, так как сокращало расстояние для атаки, и он выбрал для первого удара «желтоносого». Он поймал в прицел кабину «желтоносого» и, не спуская пальцев с гашетки, ждал лишь момента, когда машины сблизятся еще немного, чтобы ударить как можно точнее и наверняка. Но в самую последнюю секунду «желтоносый» исчез в неплотном облаке.

Пилутов с разгона высочил на чистое место и почти тут же на него и ведомого свалилась пара «мессеров». Он успел развернуться и изготавиться к бою. Впереди показался «желтоносый». Вторая пара противника заходила с тыла. Третьей пока не было видно. «Желтоносый», как и во второй их схватке, шел в лобовую. Пилутов решил подольше не открывать огонь — психологически измотать гитлеровца. Он долго держал его под прицелом пулеметов. «Желтоносый» не выдержал и первым с дальней дистанции открыл огонь; и чем дальше и упорнее молчал Пилутов, тем длиннее и чаще становились очереди гитлеровца. Враг явно нервничал, но самолюбие, а еще больше нежелание первым подставить под удар свой хвост принуждало его идти на сближение. Пилутов все же заметил, как раза два «желтоносый» вильнул в сторону. Вероятно, боясь тарана, хотел выйти из боя, но не решился, и Пилутов окончательно утвердился в правильности выбранной им тактики. И не ошибся.

Метров за семьдесят «желтоносый» отвалил вверх и в сторону. Пилутов на полупетле через голову вцепился ему в хвост. В запасе у него оставались считанные секунды, иначе «желтоносый» уйдет. Пилутов до предела форсировал работу мотора. Расстояние между истребителями сократилось еще, и капитан дал первую очередь. «Желтоносый» сделал глубокий вираж со снижением. Пилутов следовал за ним, словно был на привязи. Повторяя все эволюции «желтоносого», он ловил момент и нажимал на гашетку. Он видел, как очереди несколько раз прошивали плоскости «мессершмитта», но в кабину ему никак не удавалось попасть. Немец вертелся юлой, во всем блеске демонстрируя свое действительно незаурядное пилотажное мастерство. Но сбросить с хвоста Пилутова он так и не смог. Тогда «желтоносый» прибегнул к хитрости: свалил машину в штопор и стал имитировать беспорядочное падение. Но Пилутов разгадал его уловку и ринулся за ним. На нисходящей прямой он быстро поймал в прицел его кабину и дал длинную очередь из всех пулеметов. «Мессершмитт» задымил, потом вспыхнул, и лишь тогда Пилутов оставил противника. И вовремя — сверху на него неслись два вражеских истребителя. Пилутов ушел от их атаки и стал набирать высоту. Гитлеровцы не последовали за ним. Вероятно, неожиданная и столь скорая гибель командира, да еще при тройном превосходстве в силах, ошеломила немецких летчиков. «Мессера» круто развернулись на юг и скрылись в облаках. Пилутов обежал глазами пустынную Ладогу — далеко внизу густо дымил «желтоносый».

Шли годы. Война все дальше и дальше уходила в прошлое. Время сделало ее историей. Старились и мы. Во второй половине пятидесятых годов судьба снова и надолго привела меня на берега Невы. Я уже расстался с армией. По состоянию здоровья вышел в запас и Петр Андреевич Пилутов, кавалер одиннадцати орденов, Герой Советского Союза, сбивший двадцать три фашистских самолета.

— Мотор сдает, — как-то при встрече на одном торжественном вечере пожаловался Петр Андреевич и легонько постучал пальцами по сердцу. — В войну гоняли его на полном форсаже. Самолеты жалели, а себя — нет. Да и у вас то же, товарищ маршал, я слышал.

Мы разговорились в перерыве, вспомнили, как водится, минувшее, и, конечно, «Дорогу жизни», бой над Ладогой.

— А «желтоносого» помните? — спросил я. — Все же вогнали в землю!

— Да, но у этой истории, Александр Александрович, есть продолжение, — интригуяще глядя на меня, сказал Пилутов.

Но тут нас пригласили в зал, и беседу пришлось прервать.

— О финале ее расскажу в другой раз, — пообещал Пилутов. — Напомните при встрече.

За всякими делами я запамятовал об этой истории, а когда вспомнил, Пилутов тяжело заболел. Вскоре его не стало.

О том, что он недосказал, я узнал через несколько лет после его кончины от бывшего начальника штаба 154-го истребительного полка полковника в отставке Николая Федоровича Минеева.

После войны Пилутов долго служил в группе советских войск в Германии. Однажды с несколькими сослуживцами в выходной день Петр Андреевич зашел в ресторан пообедать. Все были летчиками, все прошли через войну, у всех она была еще очень свежа в памяти. Каждому было о чем рассказать.

За соседним столиком сидели немцы. Один из них все время внимательно прислушивался к рассказу Пилутова. «Вот и все, — заканчивая свои воспоминания о «желтоносом», сказал Петр Андреевич. — Сгорел на земле. Так и не стало этого аса. Жаль, что не удалось взглянуть на него хоть на мертвого. Не дешево достался он нам».

Немец за соседним столиком вдруг быстро поднялся и подошел к советским летчикам. «Прошу извинить меня, — по-русски обратился он к Пилутову. — Я слышал ваш рассказ. Все в нем верно, кроме одного, быть может, теперь уже не столь существенного для вас, но весьма немаловажного для вашего противника». Пилутов с удивлением глядел на незнакомца. «Да, кроме одного, — повторил немец, внимательно рассматривая Пилутова, и добавил: — Так вот вы какой!»

Пилутов, ничего не понимая, пожал плечами и спросил: «Так что же неверно я сказал?» — «Желтоносый» не сгорел, он жив». — «Вот как! Откуда это вам известно?» — «Кому же и знать это, как не мне! Разрешите представиться: «Десятипятнадцатый желтый», — четко щелкнув каблуками, как это умеют делать только кадровые военные, произнес немец.

Затем он рассказал, как, сбитый в последнем бою Пилутовым, все же сумел приземлиться. На льду его подобрала советские солдаты и доставили в госпиталь. После лечения он был отправлен в лагерь военнопленных. Там он научился довольно свободно разговаривать по-русски. После войны он в числе первых освобожденных военнопленных вернулся на родину и стал жить в ГДР. Война, а затем плен не прошли для него даром: он стал совсем другим человеком.

РАЗГРОМ «КАРЕЛЬСКОГО ВАЛА»

Я начал свои воспоминания рассказом об июньских событиях 1941 года. Закончу гоже июнем, но уже победного 1944 года. Но прежде позволю себе небольшое отступление.

В феврале 1942 года решением Государственного Комитета Обороны меня назначили первым заместителем командующего ВВС Красной Армии. Это назначение свалилось буквально как снег на голову. Я долго и безуспешно гадал: кому обязан столь большим повышением? Лишь много позже узнал, что этому содействовал А. А. Жданов.

В одиннадцатом часу ночи 1 февраля 1942 года меня срочно вызвали в Смольный. Жданов прихварывал и погому принял меня полулежа. Он осведомился, как идут дела в моей «епархии», помолчал, внимательно глядя на меня, и вдруг тихо, но четко произнес:

— К сожалению, Александр Александрович, нам придется расстаться. Вас срочно вызывают в Москву.

В моей памяти еще очень свежи были частые смещения военачальников, особенно в первые месяцы войны, и я, хотя за собой никакой вины не чувствовал, встревожился.

— Скажите, товарищ Жданов, я в чем-нибудь провинился? Не справился? — напрямик спросил я.

— Ну что вы, что вы! Напротив. Вас назначают на новую, очень ответственную работу.

Повышение не прельщало меня. Я привык к Ленинграду, а за семь месяцев войны еще больше породнился с городом, с его героическими защитниками и мужественным населением и потому попросил оставить меня на прежнем месте.

— Не в моей власти, — сказал Жданов, разведя руками. — Да и так надо. Так надо, — повторил он. — Улетите завтра же. Вас уже ждут. Явитесь сразу в ЦК партии, там вам все объяснят. Ну, желаю успеха на новом месте. Мы же расстаемся с вами с самыми добрыми чувствами. Семь месяцев бок о бок — это что-нибудь да значит.

Я зашел к командующему фронтом М. С. Хозину попрощаться. Хозин высказал сожаление.

— Не забывайте Ленинградский фронт, — на прощанье сказал он.

2 февраля 1942 года я с адъютантом Л. Смирновым на единственном оставшемся у нас исправном бомбардировщике Пе-2 улетел в Москву. Вел самолет Владимир Александрович Сандалов. (Замечу кстати, что через несколько месяцев Сандалова за боевые действия под Ленинградом представили к званию Героя Советского Союза и я, будучи в то время уже командующим ВВС Красной Армии, утвердил это представление.)

В пути нас застала непогода, и мы целые сутки просидели в Череповце. В Москву на Центральный аэродром прилетели утром 3 февраля. Днем я был в ЦК партии, где и получил должную информацию, а вечером был принят Сталиным.

Так кончилась самая памятная и дорогая сердцу страничка моей фронтовой биографии. Начиналась новая.

После сокрушительного разгрома гитлеровских войск под Москвой вся страна почувствовала приближение перелома в войне. И мы, ленинградцы, уже в то самое тяжелое для города и фронта время не просто мечтали, а уже строили планы, где и когда будем прорывать блокаду. Провожавшим меня моим ближайшим помощникам — полковнику В. Н. Жданову, полковнику С. Д. Рыбальченко, полковому комиссару А. А. Иванову, главному инженеру А. В. Агееву и еще нескольким сослуживцам — я сказал, что скоро придет праздник и в наш город и что гнать врага от Ленинграда будем вместе.

Но участвовать в прорыве блокады в январе 1943 года мне не довелось, хотя и очень хотелось. В то время я по заданию Ставки Верховного Главнокомандования находился на Донском фронте, откуда руководил действиями советской авиации, помогавшей нашим наземным войскам в ликвидации армии Паулюса.

Не пришлось мне непосредственно участвовать и в январско—февральской операции 1944 года, в результате которой Ленинград был полностью освобожден от блокады.

Только в июне 1944 года наконец-то я вновь оказался на берегах Невы. Приехал в Ленинград с заданием Ставки проверить готовность авиации фронта и Балтийского флота к предстоящей операции на Карельском перешейке и затем координировать ее боевые действия.

Если читатель внимательно присмотрится к операциям 1944 года, он заметит, что проводились они не одновременно по всему советско-германскому фронту, как в предшествовавшем году, а последовательно, одна за другой. Но старое испытанное правило — бить врага непрерывно, не давать ему передышки — оставалось в силе.

Такой план был не случаен. Он позволял нам создавать на решающих стратегических направлениях мощные ударные группировки, держал противника в постоянном напряжении и заставлял его усиленно маневрировать большими массами войск, которые требовались для затыкания брешей в обороне. Наконец, такой метод ведения наступательных действий путал гитлеровцам все карты, мешал им разгадывать наши замыслы и заранее готовиться к отражению ударов.

По плану Ставки Ленинградский фронт дважды вступал в действие — в январе и в июне.

После зимне-весенних операций 1944 года началась летняя кампания. Во второй половине апреля Генштаб свел воедино соображения по поводу летних операций, в числе которых были Выборгская и Свирско-Петрозаводская. Летнее наступление советских войск открывал Ленинградский фронт, затем вступал в дело Карельский фронт. Своими ударами они должны были сокрушить военную машину Финляндии и вывести северного союзника Германии из войны. Это была главная цель операций на Севере. Но с достижением ее решались и другие задачи, в частности у нас сразу же для нужд других фронтов высвобождалось много войск и боевой техники.

12 мая после почти трехмесячного отсутствия (14 февраля я улетел на 1-й Украинский фронт для координации боевых действий нескольких воздушных армий в боях за правобережную Украину) я вернулся в Москву и вскоре был в Ставке, где доложил о результатах боевых действий советской авиации в сражениях на правобережной Украине. В тот же день мне было приказано вылететь в Ленинград.

Прежде чем отправиться туда, я побывал у заместителя начальника Генштаба Антонова. Алексей Иннокентьевич проинформировал меня о предстоящих операциях, но не в полном объеме их, а пока лишь в пределах, необходимых мне как командующему ВВС Красной Армии.

Замечу, что все о важнейших операциях до определенного времени знал очень ограниченный круг людей. Эта строгая секретность хотя в какой-то степени и затрудняла подготовку к операциям, но полностью оправдывала себя.

До начала Выборгской операции оставалось мало времени, и я немедленно занялся делами авиации Ленинградского фронта. Сам принцип ярко выраженной ударной группировки, которой предстояло сокрушить мощную оборону противника на Карельском перешейке, обуславливал необходимость сильного воздушного кулака. Наконец, характер этой обороны и самой местности делал наступление немыслимым без массивированной непрерывной авиационной поддержки войск. Поэтому, сколько позволяли обслуживающие возможности тыла 13-й воздушной армии, мы постарались обеспечить ее ударную группу достаточным количеством бомбардировщиков. На аэродромы Ленинградского аэроузла были передислоцированы из резерва Верховного Главнокомандования 334-я бомбардировочная и 113-я дальнебомбардировочная авиадивизии.

Однако при решении этого, казалось бы, несложного вопроса возникли трудности. Когда мы обсуждали, какими типами бомбардировщиков усилить ВВС Ленинградского фронта, то единого мнения сразу не сложилось. Возражавшие предлагали послать Пе-2, ссылаясь на то, что именно «пешки» лучше всего подходят для действий на Карельском перешейке. Но тщательный анализ показал неприемлемость этого варианта: предлагавшие его не учли, что самое главное для нас — время. Если бы мы послали на Карельский перешеек Пе-2, а не Ту-2 и Ил-4, то сами чрезвычайно усложнили бы себе задачу и не уложились бы в срок, отведенный на подготовку воздушных сил к предстоящей опе-

рации. В этом случае, чтобы создать бомбовый эквивалент, вместо двух дивизий пришлось бы перебросить под Ленинград не менее шести. Таким количеством свободных авиасоединений Ставка тогда не располагала: основные силы бомбардировочной авиации были сосредоточены на Украине и в Белоруссии. Ослаблять же ВВС на этих направлениях, особенно на белорусском, мы никак не могли. Наконец, и тыл 13-й воздушной армии не смог бы своими силами обслужить дополнительно такое количество бомбардировщиков, и мы вынуждены были бы усилить его за счет тыловых частей авиации других фронтов. А переброска авиационных тылов — дело сложное и долгое. Время же подгоняло нас.

Следовало учитывать и еще одно немаловажное обстоятельство — после падения Выборга в дело вступал Карельский фронт. И там финны создали мощную оборону, для прорыва которой тоже требовалось достаточное количество бомбардировщиков. Но тыл 7-й воздушной армии был еще слабее тыла 13-й. Да и новая переброска авиации была весьма нежелательна. А к этому пришлось бы прибегнуть, пошли мы под Ленинград Пе-2. Между тем Ту-2 и Ил-4 могли действовать в интересах Карельского фронта с аэродромов Ленинградского аэроузла: дальность их полета позволяла свободно покрывать расстояние туда и обратно.

Командование ВВС Красной Армии учло все эти обстоятельства и решило перебросить на Карельский перешеек две дивизии, вооруженные Ту-2 и Ил-4, причем без тылов. Такому дополнительному количеству самолетов служба тыла 13-й воздушной армии могла обеспечить нормальную работу своими силами.

Большие надежды мы возлагали на 334-ю бомбардировочную авиадивизию, которой командовал полковник И. П. Скок. Дивизия эта имела на вооружении новые бомбардировщики Ту-2. Судьба этого самолета была сложной. Конструкторское бюро А. Н. Туполева спроектировало его до войны, тогда же были построены первые экземпляры Ту-2, носившего пока условное название «самолет 103». Но в серийное производство, и то весьма ограниченное, он поступил только в 1942 году. Несколько модифицированный по сравнению с первым вариантом, оснащенный двумя моторами, имевший для своего типа мощную бомбовую нагрузку — до трех тысяч килограммов (в перегруженном варианте) — и скорость около пятисот пятидесяти километров в час, Ту-2, несмотря на некоторые недостатки, сразу же понравился летчикам. Впоследствии его признали лучшим фронтовым бомбардировщиком второй мировой войны. Но до лета 1944 года Ту-2 в боях использовался редко. В основном он выполнял функции воздушного разведчика и был в этом даже незаменим. Иногда, как это было на Курской дуге, мы привлекали Ту-2, но в очень малом количестве, и к боевым действиям¹. Теперь настало время как следует проверить его в массовом применении. Действия по долговременной обороне противника на Карельском перешейке послужили бы для Ту-2 отличным экзаменом на зрелость. Однако Сталин сперва воспротивился этому. Он не хотел, чтобы гитлеровцы до Белорусской операции узнали о том, что у нас есть целое соединение Ту-2. Но, выслушав наши соображения и относительно самого бомбардировщика, и относительно плана усиления 13-й воздушной армии, он отменил свой запрет на дивизию Скока.

История появления на Карельском перешейке 113-й бомбардировочной дивизии, которой командовал генерал-майор М. В. Щербаков, по-своему тоже интересна и поучительна. Эта дивизия, вооруженная бомбардировщиками Ил-4, одно время входила в состав Авиации дальнего действия, которая непосредственно подчинялась Верховному Главнокомандующему². Авиация дальнего действия (АДД) — это ночники. Но однажды, в самый канун битвы на Курской дуге, Сталин заинтересовался: могут ли ночники работать днем?

¹ Восемнадцать Ту-2 воевали тогда в составе 285-й бомбардировочной дивизии полковника В. А. Сандалова.

² 6 декабря 1944 года Авиация дальнего действия решением ГКО была введена в состав ВВС Красной Армии и стала называться 18-й воздушной армией.

Командующий АДД А. Е. Голованов ответил отрицательно. Он сослался на то, что Ил-4 пускать днем рискованно: могут быть большие потери.

— А ваше мнение, товарищ Новиков? — обратился ко мне Верховный Главнокомандующий.

В то время мы имели уже достаточно истребителей, могли надежно прикрывать бомбардировщиков, и я предложил в порядке эксперимента выделить нам одну дивизию Ил-4 с тем, чтобы проверить ее в дневных условиях. Опыт на Курской дуге удался, и с тех пор 113-я авиадивизия подчинялась непосредственно мне. (Кстати, при штурме Кенигсберга в апреле 1945 года мы использовали днем уже всю 18-ю воздушную армию. 7 апреля 516 тяжелых ночных бомбардировщиков под сильным истребительным прикрытием нанесли мощнейший бомбовый удар по вражеским объектам и войскам в Кенигсберге. В результате этого удара командование гарнизона потеряло управление войсками, сопротивление противника резко ослабло и наши штурмовые отряды начали быстро продвигаться вперед.)

Так вот, с учетом этих двух дивизий 13-я воздушная армия располагала 258 бомбардировщиками. При нешироком фронте наступления (на главном направлении) этого количества самолетов было вполне достаточно.

Штурмовиков и истребителей у ленинградцев хватало своих. Всего к боевым действиям на Карельском перешейке было привлечено 1074 самолета фронтовой авиации и 220 самолетов ВВС Краснознаменного Балтийского флота.

Во второй половине мая началась усиленная подготовка авиации к предстоящему сражению. Соединения и части 13-й воздушной армии на одном из авиаполигонов в условиях, максимально приближенных к боевым, отрабатывали приемы взаимодействия родов авиации, наведения на цель, истребительного прикрытия, управления в воздухе и нанесения массированных ударов. Все ведущие группы по тщательно составленным картам и планшетам изучали районы боевых действий. Командиры выезжали на передний край и на месте уточняли расположение огневых точек и узлов обороны противника, детально согласовывали с общевойсковиками систему сигналов взаимного опознавания. Напряженно работала разведка. Первую линию вражеской обороны мы изучили досконально: знали номера, состав и расположение почти всех неприятельских соединений и частей — пяти пехотных дивизий, одной танковой и четырех бригад. Но что именно представляла собой оперативная глубина финской обороны на Карельском перешейке, командование Ленинградского фронта знало недостаточно полно. До апреля 1944 года наши разведчики почти не заглядывали туда, так как в том не было особой надобности. Теперь нужно было торопиться.

За два с половиной года финны, как говорится, буквально вросли в землю. По опыту финской кампании 1939—1940 года мы хорошо знали, что такое прорыв обороны на Карельском перешейке, где сама местность, изобилующая лесами, озерами, реками и возвышенностями, была серьезным препятствием для действий полевых войск. Не вызывало сомнений и то, что противник постарался еще больше укрепить и усовершенствовать свою оборону. Так оно и было. Выяснилось, что строительство новой оборонительной системы на перешейке началось еще осенью 1941 года, когда финские войска были остановлены на северо-западных подступах к Ленинграду. После разгрома гитлеровцев на Волге финское верховное командование встревожилось уже по-настоящему. Весь 1943 год и первую половину 1944 года противник с помощью известной военно-строительной организации «Тодт» непрерывно совершенствовал оборону.

На таком узком, насыщенном войсками и огневыми точками фронте да еще с таким сложным рельефом местности общевойсковой разведке было очень трудно вести поиск. На помощь пришла авиация. Воздушная разведка началась еще в марте, велась весь подготовительный период и затем в течение всей операции. Экипажи самолетов-разведчиков комплексно изучали оборону противника от передовой до Выборга: вели перспективное фотографирование с высоты всего в пятьдесят—семьдесят метров, плановую маршрутную съемку и фотоаграфи-

вание больших площадей. На основе этих и других данных командование 13-й воздушной армии изучило и наметило объекты для бомбоштурмовых ударов на всю глубину вражеской обороны.

В результате воздушной разведки мы смогли довольно точно установить границы оборонительных полос. На Карельском перешейке финны имели четыре оборонительные полосы с общей глубиной до ста двадцати километров.

Первая полоса тянулась от Финского залива до Ладожского озера и имела глубину до пяти километров. В нее входила полевая укрепленная позиция из нескольких линий траншей с густой сетью ходов сообщения, проволочные заграждения, лесные завалы и другие препятствия. Все населенные пункты, расположенные в этой полосе, были хорошо приспособлены к круговой обороне. Были здесь и долговременные сооружения.

Вторая, самая мощная полоса проходила в пятнадцати — двадцати пяти километрах от первой. Она была обильно оснащена долговременными железобетонными и бронированными сооружениями. Основу ее составляли опорные пункты и узлы сопротивления, взаимно прикрывавшие друг друга огнем и расположенные в большинстве своем на возвышенностях. Вдоль всего рубежа шла полуторастаметровая полоса противотанковых и противопехотных препятствий — надолбов в несколько рядов и проволочных заграждений. Далее тянулась сплошная линия хорошо оборудованных траншей для пехоты. На основных дорогах противник построил железобетонные позиции для артиллерии — доты-казематы. На второй полосе было несколько главных узлов сопротивлений: на приморском фланге — Метсякюля, Ванхасаха и Райвола, в центре — Кивеннапа, Сайранмяки, Ахиярви и Вуотта, на приладожском участке — район южной части озера Суванто-Ярви. Что собой представляли эти узлы, можно судить по кивеннапскому, находившемуся в центре обороны по Выборгскому шоссе. Он имел сорок восемь дотов, то есть по двенадцать долговременных железобетонных сооружений на каждый километр фронта, кроме того, еще систему рвов, надолбов, колючей проволоки и минных полей. За второй полосой финны построили железную дорогу с ответвлениями для быстрой переброски оперативных резервов.

Третьей полосой была так называемая линия Маннергейма, на которой мы в 1940 году взорвали все сооружения. Но данные разведки давали основание предполагать, что финны если не полностью, то частично восстановили их.

Четвертая оборонительная полоса проходила в большей своей части по рекам и озерам Вуоксинской водной системы и состояла в основном из сооружений полевого типа. В нее входил и Выборгский укрепленный район, представлявший очень серьезное препятствие на пути наступающих.

Словом, «орешек» был твердый. Нам же предстояло «расколоть» его за десять — двенадцать дней. Темпы наступления, учитывая все: мощную оборону, резко пересеченный ландшафт, обилие лесов и водных преград, были очень высокими — до двенадцати километров в сутки.

Финны рассчитывали отсидеться за стенами дотов и казематов. Командование противника считало «Карельский вал» вообще неприступным. «... мы во всех отношениях приходим к одному выводу, а именно, что в настоящее время и на имеющихся позициях наши возможности во много раз превосходят оборонно-способность периода зимней войны 1939—1940 гг.» — говорилось в докладе одного из отделов главного штаба финской армии незадолго до нашего наступления.

А Маннергейм считал, что даже в случае разгрома гитлеровской Германии он сможет, опираясь на свою оборону, добиться почетного мира.

Уверенность в неприступности «Карельского вала» была такова, что главное командование финской армии в самый канун наступления разрешило отпускать солдат на сельскохозяйственные работы. Возможно, противник не ждал нашего удара в ближайшее время: мы очень скрытно, умело и быстро провели подготовку к операции. Но самоуверенность финского командования, его

вера в непробиваемость обороны на Карельском перешейке остается тем не менее фактом.

А что Маннергейм мог противопоставить нам в воздухе?

По данным, которыми мы располагали, финские военно-воздушные силы с начала войны существенных качественных изменений не претерпели, но численно сократились примерно на одну треть. На 1 июня 1944 года финны имели всего 350 боевых самолетов. Так оценивало силу финской авиации Главное разведывательное управление Красной Армии. В основном оценка эта сходилась с нашей, и все же мы решили перепроверить возможности вражеских ВВС. Командованию 13-й армии было приказано еще раз самым тщательным образом обследовать все наиболее крупные точки базирования финской авиации, в первую очередь на Карельском перешейке и в прилегающих к нему районах.

Систематическое воздушное наблюдение над восемью крупнейшими вражескими аэродромами установило присутствие на них ста семидесяти пяти боевых самолетов. Этих сил для обороны в воздухе было очень мало: мы могли задавить противника в небе одной численностью своей авиации. Но в Финляндии находились еще и части 5-го немецкого воздушного флота. Правда, за время войны этот флот значительно поредел. В составе его частей, дислоцировавшихся в Финляндии, осталось примерно 160 боевых машин. Они базировались на самых северных аэродромах, но немцы могли перебросить часть их ближе к Карельскому перешейку. Следовало также учитывать возможность помощи финнам из Прибалтики силами 1-го немецкого воздушного флота и просто авиационной техникой. Поэтому нужно было знать общее положение дел в ВВС Германии и в ее авиапромышленности. К тому же в 20-х числах июня начиналась главная стратегическая операция года — Белорусская. Такие анализы мы делали почти каждый месяц, но в этот раз я распорядился составить более подробную справку. Заместитель начальника штаба ВВС Красной Армии по разведке генерал Д. Д. Грендаль умел работать быстро, и вскоре на моем столе лежал требуемый документ. Он интересен даже безотносительно к тем событиям, о которых идет речь.

В июне 1944 года на нашем фронте действовали все те же четыре воздушных флота вермахта — 1-й, 4-й, 5-й и 6-й, не считая отдельных авиачастей. В них насчитывалось 2800 боевых самолетов. Главные авиагруппировки немцы сосредоточили против наших центральных и южных фронтов. В Прибалтике дислоцировались только части 1-го воздушного флота. Они действовали против 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов и южного крыла Ленинградского фронта. Отрядов и групп в Эстонии и Латвии было много, но в самолетном парке насчитывалось примерно 400 боевых машин. Однако близость к Финляндии позволяла в любой момент перебросить часть этих сил на Карельский перешеек или оказывать помощь финским войскам непосредственно со своих аэродромов. Правда, на очень существенную помощь 1-го воздушного флота финнам рассчитывать не приходилось. В преддверии нашей летней военной кампании гитлеровцы, разумеется, не рискнули бы на значительное ослабление своей и без того немногочисленной прибалтийской авиагруппировки. Но подкинуть своему союзнику одну эскадру (по тем временам примерно сто самолетов) могли.

Словом, с этой стороны серьезных осложнений для нас не предвиделось. Даже при самом благополучном для финнов стечении обстоятельств мы имели бы на Карельском перешейке трех-четырекратный перевес в численности самолетов.

Но не мешало посмотреть еще на экономические и технические возможности Германии: могла ли она оказать существенную помощь Финляндии боевой техникой, какой именно и не имела ли в запасе какие-нибудь опасные авиационные новинки?

Анализ показал, что и тут сюрпризы нас не ожидали. Общая численность немецкой авиации неумолимо сокращалась, а промышленность Германии начинающая со второй половины 1941 года не восполняла ее потерь.

Если в 1941 году Германия вместе с союзниками имела на Восточном фронте около 5000 боевых самолетов, то в ноябре 1942 года их было уже 3500, в июне 1943 года — 3000, в июне 1944 года — 2800.

Наши же ВВС, понеся большие потери в первый год войны (кстати, в основном старой техникой), стали благодаря поистине героическим усилиям тыла быстро наращивать свою мощь. В ноябре 1942 года в действующих армиях было уже 3200 боевых самолетов, в июне 1943 года — 8400, в июне 1944 года — 13 400.

Значительного пополнения боевого самолетного парка авиации противника, действовавшей на нашем фронте, мы не ожидали, допускали лишь некоторое увеличение числа истребителей. Но это была уже известная нам тенденция, вызванная коренным переломом войны. Повсеместный переход гитлеровцев к обороне со второй половины 1943 года тотчас сказался на качественном составе их авиации: доля истребителей стала расти, а доля бомбардировщиков сокращаться. По сравнению с началом войны доля истребителей поднялась с 31,2 процента до 50 процентов, а доля бомбардировщиков за тот же период уменьшилась с 57,8 процента до 35,4 процента от общего числа всех самолетов. В советских ВВС соотношения в родах авиации тоже менялось. В июне 1941 года на долю истребителей и бомбардировщиков соответственно приходилось 56,2 процента и 38,8 процента от общего числа боевых самолетов. К середине 1944 года картина стала иной. Проведение массовых наступательных операций потребовало значительного роста бомбардировочной авиации, особенно тактического назначения, то есть ближнего боя, и доля истребителей сократилась до 42 процентов. Однако сократилась и доля бомбардировщиков — она составляла теперь 25 процентов. Но уменьшения числа боевой техники в бомбардировочной авиации не случилось. Напротив, число бомбардировщиков в составе наших ВВС значительно увеличилось, правда, не настолько, насколько нам хотелось.

Такое снижение доли бомбардировщиков объясняется просто: истребители были и остались основным средством в борьбе за господство в воздухе. Наконец, в это время необычайно выросла роль штурмовой авиации, то есть авиации непосредственного сопровождения наземных войск на поле боя. Штурмовики же производить было проще и дешевле. К тому же «илы» значительно меньше зависели от капризов погоды, чем бомбардировщики. Они могли действовать в очень сложных метеорологических условиях, лишь позволяла видимость.

Например, в Сталинградскую операцию мы основную ставку сделали на штурмовиков — и не ошиблись. Непогода сильно ограничивала применение бомбардировщиков, но «илы» действовали почти каждый день. Сопровождая танки и пехоту, они огнем мощного бортового оружия, бомбами и реактивными снарядами крушили вражескую оборону не только в тактической зоне, но подчас и в более глубоком тылу.

Мы непрестанно совершенствовали искусство взаимодействия штурмовой авиации с наземными войсками, придавая этому взаимодействию все больший размах, глубину и широту. Особенно массовый характер такое боевое сотрудничество обрело в битве на Курской дуге летом 1943 года. Мы заранее готовились к этой схватке и постарались к началу ее еще более усилить штурмовую авиацию. В том году почти треть всех выпущенных промышленностью самолетов составляли Ил-2. А в разгар летних боев на фронт каждый месяц поступало по тысяче с лишним «илов». К началу 1944 года доля штурмовиков составляла уже около 30 процентов общего числа боевых машин действующих воздушных армий. Они-то и уменьшили долю бомбардировщиков в составе наших ВВС. Но «илы» по сути дела были теми же бомбардировщиками, только одномоторными, и поэтому их не только можно, но и должно учитывать вместе с обычными бомбардировщиками тактического назначения. С учетом штурмовиков ударная мощь наших ВВС была очень высокой.

Однако вернемся к прерванному рассказу.

Генерал Грендаль в беседе со мной высказал предположение, что в связи с ожидавшейся высадкой союзных войск в Северной Франции боевой состав немецких воздушных флотов, действовавших на Восточном фронте, может уменьшиться процентов на двадцать пять. Но я не согласился с ним. Опыт убеждал, что как только на востоке у гитлеровцев начинались большие неприятности, так они спешно тащили сюда все что могли, в том числе и авиацию, шли подчас на ослабление ПВО крупнейших экономических центров и даже Берлина. Командование вермахта, конечно, знало о готовящемся новом мощном наступлении Красной Армии, только ожидало его не в Белоруссии, а на юге и уже подтягивало резервы, укрепляло оборону. Об этом свидетельствовало и некоторое увеличение численности фашистской авиации, в основном на южных стратегических направлениях. Но лишь 390 вражеских боевых самолетов на Восточном фронте, как доносила наша разведка, нас в то время уже встревожить не могли.

Дмитрий Давыдович в ответ на мои возражения, основанные на фактах, только с сомнением покачал головой. Да, признаться, и мне хотелось верить, что фашисты ослабят свои восточные авиагруппировки. Мы так заждались высадки союзников на побережье Северной Франции, столько наслышались о их военной мощи, в частности авиационной, что невольно настроились весьма оптимистически — верили, что Западный фронт несколько разжижит фашистские войска на Восточном. Но вскоре события показали, что мы напрасно надеялись на такой вариант. Едва оборона группы армий «Центр» затрещала под ударами советских войск, как противник стал спешно усиливать 6-й воздушный флот генерала Риттера фон Грейма. За время операции немецкое командование перебросило более семисот боевых самолетов на центральное направление.

Во Франции же немцы усилили свою авиацию за счет ослабления ПВО страны. Так во всяком случае в середине июня информировала нас англо-американская разведка.

Что касается авиационных новинок, способных сколько-нибудь серьезно повлиять на ход событий в воздухе, то их у противника не было, хотя немецкие авиаконструкторы упорно работали в этом направлении. По имевшимся у нас сведениям, в различных стадиях производства находилось около тридцати типов опытных самолетов — истребителей, бомбардировщиков, разведчиков и транспортных машин. Но, судя по характеристикам, эти опытные машины никак нельзя было назвать новым словом в науке и технике. Да и от опытного образца до серийной машины — дистанция огромного размера. Серьезного внимания заслуживали лишь реактивные самолеты. Немецкие заводы уже форсированно осваивали выпуск нескольких опытных машин с реактивными двигателями, но только истребители Me-262 и He-280 были близки к запуску в серию. Однако, по единодушному мнению наших специалистов, даже эти в полном смысле слова новинки авиационной техники существенной опасности не представляли: Me-262 и He-280 были очень сложны в управлении, слишком тяжелы, маломаневренны и по продолжительности полета намного уступали винтомоторным истребителям. На самом исходе войны наши летчики имели боевые встречи с Me-262 и убедились, что никакими преимуществами, кроме скорости, он над обычными истребителями не обладает.

О радиоуправляемых бомбах ХШ-293 и ФХ мы знали лишь то, что они уже приняты на вооружение. Но поскольку это оружие прямого отношения к битве за воздух не имело, было вне собственно авиации и самой авиации ничем не угрожало, мы им не очень и интересовались.

Итак, что же могли немцы противопоставить нам в небе во второй половине 1944 года? Все те же «юнкерсы», «хейнкели», «мессершмитты» и «фоккевульфы», только в модифицированных вариантах. Фашистские ВВС как начали войну с этой техникой, так с ней и заканчивали.

Модификация старой техники, какой бы совершенной она ни была, не решала и не могла решить главной задачи — создания новых целенаправленных

самолетов. Улучшая в старых машинах одни качества, немцы ухудшали другие. Так, Вилли Мессершмитт своими же руками испортил лучший истребитель немецких ВВС — Ме-109. Не найдя, что противопоставить нашим новым «яковлевским» и «лавочкиным», имевшим неоспоримые преимущества перед всеми модификациями Ме-109 и ФВ-190, он стал увеличивать бронезащиту, огневую мощь и скорость своей машины. Но так как эти улучшения шли за счет увеличения веса, то отличный в летно-тактическом отношении Ме-109 в конце концов из легкого фронтового истребителя превратился в тяжелый. Получив несколько большую скорость, более мощное бортовое вооружение и лучшую бронезащиту, Ме-109 потерял прежнюю маневренность и не получил никаких преимуществ перед советскими истребителями. То же самое происходило с ФВ-190 и бомбардировщиками. В лучших модификациях Ю-88—Ю-188 и Ю-188А2 — немецкие конструкторы немного повысили летно-тактические качества основного бомбардировщика фашистских ВВС, но не смогли избавить эти машины от главного недостатка, присущего семейству «юнкеров», — малых габаритов бомбоотсеков и незначительной дальности полета.

Что касается летно-подъемного состава немецких ВВС, то в боевом строю у них была 21 тысяча летчиков, стрелков-радистов и бортмехаников. При общей потребности фашистской авиации в 12 тысяч человек летно-подъемного состава Германия имела еще и резерв в 9 тысяч. Но летно-боевое мастерство этих кадров оставляло желать много лучшего. Особенно остро сказывалась нехватка опытных летчиков в бомбардировочной и истребительной авиации.

На основании этих данных мы сделали такие выводы: сколько-нибудь значительного увеличения боевого состава немецких воздушных флотов, действующих на нашем фронте, не произойдет: боевая активность гитлеровской авиации будет невысокой, главные усилия своих ВВС противник сосредоточит на ударах по нашим войскам непосредственно на поле боя, действия же по тылам будут эпизодическими; широкие наступательные операции вермахта при массовой поддержке авиации исключаются.

Итак, к середине 1944 года нам стало совершенно ясно, что немецкая авиация не была организована для ведения продолжительной войны и с самого начала рассматривалась как средство активного, но кратковременного применения. Гитлеровские ВВС в первый год войны действительно добились больших успехов. Но господство в воздухе фашистской авиации длилось недолго. Оно было поставлено под сомнение уже во время нашего контрнаступления под Сталинградом. После воздушных сражений на Кубани и Курской дуге хозяевами неба стали советские летчики. Теперь они диктовали врагу свою волю и навязывали свою тактику. Мы сделали выводы из горьких уроков первого года войны и сумели коренным образом в очень короткий срок перестроить свои ВВС, их оперативное искусство и создать новую боевую авиационную технику, отвечающую всем требованиям войны.

Гитлеровцам такая перестройка не удалась ни в ВВС, ни в авиапромышленности, которая тоже оказалась неподготовленной к затяжной войне. Этим, на мой взгляд, и объясняются метания конструкторской мысли противника, пытавшейся найти какую-то панацею от всех бед, обрушившихся на германскую авиацию. Гитлеровские авиаконструкторы под нажимом сверху занялись прожектерством, от которого был один шаг до технического авантюризма, — начали поиски синтетического самолета, совмещавшего в себе качества истребителя, бомбардировщика, штурмовика и воздушного разведчика. Известно, что погоня за двумя зайцами к добру не приводит. И немецкие конструкторы не только ничего не достигли в этой области, но и ухудшили ту хорошую технику, что имели.

Наши конструкторы тоже модифицировали свои машины, но при этом держались строго целевого назначения боевых самолетов различных типов: улучшали только те качества, которые позволяли истребителям оставаться истребителями, бомбардировщикам — бомбардировщиками, штурмовикам — штурмовиками. А чет-

ко определенная функциональность техники приносила и должный боевой эффект. Конечно, это требовало большего числа самолетов. Наш тыл сумел дать армии достаточно боевых машин, и уже в середине 1943 года мы создали над наземными войсками надежный воздушный щит. А в 1944 году сумели перевооружить новой техникой и ВВС Дальневосточного и Забайкальского фронтов.

Короче говоря, летнюю кампанию 1944 года советские военно-воздушные силы встречали во всеоружии. Подавляющее преимущество нашей авиации не вызвало ни малейшего сомнения. Мы, как никогда, смело смотрели в будущее.

Я собирался быть в Ленинграде 5 июня, но задержался в Москве еще на сутки. Посол США в СССР А. Гарриман накануне Выборгской операции пообещал нам соединение, вооруженное самолетами «Боинг-29», больше известными в то время под названием «летающих крепостей». Среди семейства тяжелых сухопутных бомбардировщиков он был самым быстроходным (600 км/час) и грузоподъемным (9 тонн). Конечно, в боях на Карельском перешейке соединение Б-29 своими мощными бомбовыми ударами очень помогло бы нашим войскам в прорыве вражеской обороны. Мы хорошо знали возможности Б-29 по челночным операциям¹ и заранее были признательны послу США.

Однако обещания своего Гарриман не выполнил. 5 июня я и еще несколько руководящих работников из центрального аппарата ВВС Красной Армии были на приеме в американском посольстве. Здесь Гарриман и сообщил мне, что американское командование не может предоставить нам Б-29.

В Ленинград я полетел на истребителе. До меня доходили жалобы летчиков на грубую отделку ларингофонов и наушников, мешавшую вести переговоры по радио во время боя, и я решил воспользоваться поездкой, чтобы проверить в полете справедливость этих жалоб. Все подтвердилось: комплект, которым я пользовался в полете, действительно был очень неудобным. По приезде в Ленинград я немедленно позвонил начальнику Главного управления заказов ВВС генералу Н. П. Селезеву и приказал передать претензии авиаторов заводам, изготовлявшим эту аппаратуру.

Приземлились мы неподалеку от места, где в то время располагался КП командующего войсками Ленинградского фронта генерала армии Л. А. Говорова.

Леонид Александрович, человек неразговорчивый и на первый взгляд суховатый, подробно ознакомил меня с планом операции, рассказал о соотношении сил, особенностях боевых действий наземных войск при прорыве мощной обороны в условиях Карельского перешейка.

К операции привлекалось 25 стрелковых дивизий, 2 танковые бригады, 14 танковых и самоходно-артиллерийских полков и более 220 дивизионов артиллерии и минометов. На Карельском перешейке мы превосходили врага: в людях — в 1,4 раза, в артиллерии и минометах — в 4,5 раза, в танках — в 1,8 раза.

— Сил у нас, как видите, достаточно, — сказал в заключение Говоров, — а противник даже не подозревает, что ему уготовано. Сосредоточение войск провели очень скрытно. А ведь нам пришлось перебросить на перешеек, частично морем, через залив, всю 21-ю армию с частями усиления. Проворонил Маннергейм. Это ему дорого обойдется.

Как бывший общевойсковик — первые четырнадцать лет я прослужил в пехоте, — я, став авиатором, всегда интересовался вопросами общевойскового искусства. Без этого нельзя стать грамотным военачальником любого рода войск. Современному видению боя, сражения, операции во всем их органическом единстве, умению быть не узким профессионалом — летчик только летчик, артиллерист только артиллерист и т. д. — настойчиво учили нас, молодых командиров, в

¹ Налеты на Германию Б-29 американцы проводили с баз на территории Англии. Отбомбившись, Б-29 следовали к нам на Украину. Здесь они заправлялись горючим. Брали бомбы и снова уходили на задание. Действовали Б-29, как ткацкий челнок, туда-сюда, поэтому и операции их называли «челночными».

тридцатые годы М. Тухачевский, И. Уборевич и другие видные советские военачальники и теоретики. Обобщая опыт первой мировой и гражданской войн, анализируя современные тенденции в развитии вооруженных сил и военного искусства, они предвидели, что новая война во всем будет резко отличаться от предшествовавших, что она потребует от военачальников не только глубоких профессиональных знаний, но и необычайной гибкости и широты их военного мышления, и заранее готовили нашу армию, ее командиров к грядущим событиям. И труды их не прошли даром. К концу войны искусство советских военачальников и мастерство офицеров и солдат не знали себе равных.

Я во всем старался следовать заветам моих учителей и потому каждую операцию просматривал как бы двойным зрением: глазами авиатора и глазами общевойскового. Авиация хоть и самостоятельный вид вооруженных сил, но она решает исход сражения и действует она главным образом в интересах наземных войск. Но помощь ее тем эффективнее, чем больше ее действия увязаны с действиями сухопутных войск, чем глубже авиационное командование разбирается в вопросах общевойскового искусства, в замыслах общевойскового командования, умест переводить эти замыслы на свой авиационный «язык».

Вот почему и в тот раз я постарался как можно основательнее вникнуть в план очередной операции, в ее особенности. Хотя план боевого использования авиации 13-й воздушной армии и Балтийского флота в целом не вызывал возражений, но на месте, как говорится, виднее. В авиационном плане могли оказаться погрешности и даже серьезные упущения. Такое случалось не раз. Одна из главнейших моих обязанностей как представителя Ставки и состояла в том, чтобы вовремя устранять эти упущения, еще теснее увязывать боевые действия ВВС с действиями наземных войск, с общим замыслом той или иной операции, следить за неукоснительным выполнением авиационных планов и в случае надобности, исходя опять-таки из интересов всей операции, соответствующим образом корректировать их. На то у меня были права, да и объясняться мне с командующими фронтами было легче и проще. Весной 1943 года во время боев с вражеской группировкой на Кубани, куда я срочно вылетел по вызову Г. К. Жукова, я приказал в одну ночь переделать весь план боевого применения авиации 4-й и 5-й воздушных армий. Личный контакт с заместителем Верховного Главнокомандующего позволил нам провести эти изменения быстро и безболезненно.

На этот раз такое вмешательство не потребовалось, но кое-что в плане боевых действий 13-й воздушной армии все же подверглось изменению.

Известно, что характер наступления определяет характер авиационного воздействия на противника. На мой вопрос, в каких оперативных порядках будут действовать войска, Говоров ответил, что в построение их внесено существенное изменение: командование фронта отказалось от обычного двухэшелонного порядка и решило второй эшелон заменить сильным фронтовым резервом, выделив в него десять стрелковых дивизий, несколько танковых и самоходно-артиллерийских частей.

Леонид Александрович объяснил это тем, что прорыв такой обороны, которую финны создали на перешейке, дело непростое даже для местности, позволяющей проводить сложные маневры и наносить глубокие удары крупными массами механизированных соединений. Здесь же последнее вообще исключалось. Прорывать вражескую оборону можно было только в лоб. Танкам и вовсе негде было развернуться. Не было на перешейке и оперативного простора для наступающих войск в обычном толковании этого понятия. Сильная пересеченность рельефа, густые леса, обилие водных преград вынуждали наземные войска действовать в основном вдоль дорог, то есть там, где располагались наиболее мощные узлы сопротивления противника.

Сама местность служила как бы смягчающим удар буфером, и бои могли принять затяжной характер. В этих условиях удар наш должен быть молниеносным и сокрушающим, таким, чтобы финские войска, занимавшие первую по-

лосу обороны, оказались разгромленными до подхода своих оперативных резервов. Поэтому командование фронта и отказалось от обычного двухшелонного построения войск. Сам ход прорыва первого рубежа должен был показать наиболее перспективное направление для развития удара. Ввиду этого 23-я армия генерала А. И. Черепанова не получила самостоятельного участка прорыва. Она вводилась в сражение после определившегося прорыва на направлении главного удара, наносимого 21-й армией генерала Д. Н. Гусева. С этой целью левофланговые дивизии ее сдвинули вправо по фронту, а освободившуюся полосу заняли части 21-й армии. Сделали это для того, чтобы пустить войска Черепанова в прорыв через брешь, пробитую правофланговыми соединениями Гусева. Такой порядок наступления позволял сократить потери при взламывании вражеской обороны в северо-восточной части перешейка. Резерв фронта предназначался для нанесения удара на наиболее перспективном направлении.

Новый план обеспечивал необходимую пробивную силу первому удару, позволял непрерывно и планомерно усиливать давление на противника, сохранять превосходство в людях и средствах при прорывах последующих оборонительных рубежей финнов. Он был оригинален, наиболее всего отвечал духу операции, характеру вражеской обороны и местности, и Ставка утвердила его.

Соответственно особенностям общевойсковой операции был разработан и план боевого применения ВВС фронта и Краснознаменного Балтийского флота. Поскольку прорыв вражеской обороны осуществлялся в лоб, в полосе наступления 21-й армии было сосредоточено от 60 до 80 процентов всех сил и средств советских войск, выделенных для сражения на Карельском перешейке. В интересах 21-й армии действовала и основная масса авиации. Наиболее примечательным в плане боевой работы авиации было введение ее в сражение до начала общего наступления. Чтобы максимально облегчить задачу пехоты, командование фронта решило провести предварительное разрушение обороны противника на первой полосе. Оно начиналось за сутки до дня атаки. К участию в этом ударе привлекалась и авиация. Это был первый в войну опыт такого использования ВВС, и он полностью оправдал себя.

Соответственно особенностям Выборгской операции был разработан и план боевого применения ВВС фронта и Балтийского флота. Вкратце план действия авиации был такой: разрушать опорные пункты и узлы обороны противника, подавлять его артиллерию и минометы, мешать отходу уцелевших от разгрома неприятельских сил на промежуточные и основные рубежи, громить оперативные резервы; интенсивными бомбовыми и штурмовыми ударами по железнодорожным узлам, станциям и шоссейным дорогам срывать переброску войск и грузов; надежно прикрыть наши резервы, коммуникации и базы снабжения и одновременно вести воздушную разведку на всю глубину финской обороны. План был рассчитан на первые четверо суток наступления. Затем план использования авиации составлялся на каждый день.

Несмотря на весьма значительные авиационные средства, мы не разбрасывались ими, не стремились поспеять повсюду, а держали их в кулаке, создавая по мере надобности сильные звиягруппировки, которыми и помогали наземным войскам сокрушать вражескую оборону на главных направлениях. В основу боевых действий авиации были положены массированные удары по главным опорным пунктам и узлам сопротивления. Особое внимание уделялось тесному взаимодействию родов авиации с наземными войсками и между собой.

Общее руководство действиями фронтовой авиации осуществлялось с КП 13-й воздушной армии. Здесь постоянно находился командующий армией генерал-лейтенант С. Д. Рыбальченко с группой офицеров. Другая группа, возглавляемая его заместителем, вела наблюдение за боевой работой всей фронтовой авиации. Несколько установок радиобнаружения следило за воздушным противником и своевременно информировало о нем. Благодаря такой системе авиационное командование знало все, что делалось в полосе наступления, и могло быстро принимать

нужные решения, своевременно маневрировать авиацией, наращивать силу воздушных ударов на тех участках, где этого требовала обстановка.

Много пришлось потрудиться и штурманской службе. Столь плотная насыщенность авиации на небольшом фронте требовала очень тщательной отработки всех вопросов самолетовождения. И было сделано все для того, чтобы полки и дивизии 13-й воздушной армии и ВВС флота действовали синхронно, как отлично налаженный единый механизм.

От Говорова я отправился на КП генерала Рыбальченко. Мы еще раз придиричиво просмотрели план боевых действий авиации и внесли в него кое-какие поправки. В частности, я приказал Ту-2 пускаться днем без непосредственного сопровождения их истребителями, а прикрывать ими только зону действия «туполевых».

На другой день, закончив дела с авиационным планом, я поехал по частям и соединениям 13-й воздушной армии. Хотелось не только убедиться в готовности летчиков к предстоящему сражению, но и встретиться с воздушными ветеранами Ленинграда. Соответственно этому построил и свой маршрут — в первую очередь посетил части, в которых служили знакомые мне летчики.

За два с половиной года, что мы не виделись, рядовые пилоты стали командирами эскадрилий, бывшие комэски — командирами полков или их заместителями. Во главе полков стояли Николай Свитенко, Петр Покрышев, Андрей Чирков, Петр Пилутов, Василий Мацевич. Командир 154-го истребительного авиаполка А. А. Матвеев уже был полковником и командовал 275-й истребительной авиадивизией.

Еще выше стало боевое мастерство известных ленинградских асов Петра Лихолетова, Георгия Жидова, Василия Харитонова, Александра Карпова, Петра Харитонова, Александра Горбачевского, Сергея Литаврина, Ивана Неуструева, Виктора Зотова, Николая Зеленова, Михаила Евтеева. Все они уже были Героями Советского Союза, а П. Покрышева правительство дважды удостоило этого высокого звания.

Теплыми и радостными были встречи с ветеранами ленинградского неба. Но вместе с радостью входила в сердце и боль утрат. Еще при мне погибли Алексей Сторожаков, Степан Здоровцев, Павел Маркуца, Сергей Титовка. Потом не стало Александра Савушкина, Николая Тотмина, Алексея Севастьянова, Бориса Романова, Ильи Шишканя, Георгия Петрова, Ивана Пидтыкана, Дмитрия Оскаленко, Георгия Глотова, Александра Булаева, Михаила Жукова. Кроме Б. Романова и Г. Глотова, остальные были Героями Советского Союза.

Я назвал лишь тех, кого знал лично. А сколько еще отважных и смелых полегло за это время! Только за первые шесть месяцев войны погибли и не вернулись с боевого задания 844 летчика, не считая штурманов и стрелков-радистов. В январе 1942 года мы составили и отослали в Москву отчет о боевой работе ВВС Ленинградского фронта. Я до сих пор помню, как, подписывая этот отчет, долго, очень долго смотрел на цифры наших потерь в личном составе. Когда ты знаешь погибших и не вернувшихся, они навсегда остаются в мыслях и чувствах твоих вполне определенными живыми людьми и боль утраты никогда не проходит, ее лишь приглушает время. Такими были для меня ленинградские летчики, даже те, с кем я не был знаком лично, а знал о них через командиров.

Но они погибли, а Ленинград выстоял и на смену погибшим пришли другие. Оставшиеся ветераны воспитали из них новых асов, сумели передать им боевые традиции старших товарищей, и уже через год — полтора загремела слава о летчиках-истребителях Владимире Серове, Валентине Веденееве, Дмитрие Ермакове, Александре Билюкине, летчиках-штурмовиках Георгии Паршине, Андрее Кизиме, Владимире Алексенко и других.

Лишь к вечеру 7 июня оказался я в самом Ленинграде. Города я не узнал: так изменился он с февраля 1942 года, когда я покинул его. Я ехал на машине по его улицам буквально со стесненным дыханием. Еще многое напоминало о блокаде, но то были уже только следы, причем исчезающие. Не было баррикад,

зато появились на прежних местах многие памятники, убирались развалины разбомбленных зданий. Редко попадались привычные для периода блокады надписи на стенах: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Одно из таких простережений неожиданно бросилось мне в глаза неподалеку от угла Невского и Лиговского проспектов. Я закрыл глаза и как наяву увидел страшную картину, невольным свидетелем которой стал в сентябре 1941 года, когда фашисты повели систематический обстрел города. Я ехал в Смольный. На тротуаре как раз на углу Невского и Лиговского лежало пять или шесть убитых осколками вражеских снарядов. Только что прошел дождь, и тела их лежали среди небольших, темных от крови луж. Над ними, чуть склонившись, стоял какой-то командир. Рядом с тротуаром припала на перебитое колесо ручная тележка. За тележкой стояла «эмка». Обстрел уже кончился, и по Невскому возобновилось движение — шли люди, позванивали грамваи. Один, кажется одиннадцатый номер, с двумя прицепами, только что подъехал к остановке. Из него выходили пассажиры. Милиционеры перегородили дорогу к убитым, но люди сами обходили это место...

Теперь было радостно видеть на лицах ленинградцев улыбки, слышать и вбирать в себя ритмичный шум улиц: жизнь шла полным ходом, несмотря ни на какие горести, беды и страдания. «Человек и человеческое всегда восторжествует», — думал я.

Но фронт проходил еще очень близко — в тридцати километрах от города. С севера, со стороны Карельского перешейка, можно было ожидать разных угроз. И однажды, совсем недавно, в начале апреля, враг попытался осуществить их. В то время шли советско-финляндские переговоры. Заправили тогдашней Финляндии выясняли, на каких условиях их страна может выйти из войны. Наши требования были очень умеренными, и все же реакционное финское правительство отвергло их. Пока шли переговоры, враг решил воспользоваться благоприятной ситуацией. В ночь на 4 апреля двадцать Ю-88 попытались прорваться в Ленинград со стороны Ладожского озера. Служба ПВО вовремя засекла финские бомбардировщики, а наши истребители разогнали их.

В делах быстро промелькнули еще двое суток. И вот 9 июня 1944 года, в 8 часов утра началась «увертюра» Выборгской операции — предварительное разрушение обороны врага. По первой полосе противника открыла огонь артиллерия фронта и морского флота. Чтобы спутать финскому командованию карты, не позволить ему разгадать направление главного удара, артиллерийская обработка первой полосы вражеской обороны велась по всему фронту — от Финского залива до Ладожского озера. Длилась она с небольшими паузами десять часов. Весь день до темноты трудилась наша артиллерия. Громыханье орудий слилось в сплошной гул. Но даже в этом гуле выделялись басы орудий особой мощности Кронштадтской крепости, линкора «Октябрьская революция», крейсеров «Киров» и «Максим Горький».

В этот день советская авиация нанесла противнику три массированных удара. Первый налет был совершен по трем основным целям, находившимся в районах Старого Белоострова, озера Светлого и станции Райяйоки. В нем участвовало 215 бомбардировщиков и 155 штурмовиков. Главной ударной силой были Ту-2 и Ил-4. Разрушающий эффект бомбометания был очень высоким: на один квадратный километр пришлось от 125 до 186 тонн бомб. В полдень полтора десятка бомбардировщиков нанесли удар по железнодорожным узлам и станциям Рауту, Кивиниеми, Райвола и Выборг. В третий раз авиация поднялась в воздух в шестом часу вечера. 244 бомбардировщика громили штабы и резервы противника в районах Кивиниеми, Валкярви, Кивеннапа, а отдельные пары бомбили железнодорожный и шоссеый мосты через озеро Вуокси.

Как мы того и ожидали, финская авиация почти не появлялась. Немногочисленные и, в общем-то, вялые попытки ее противодействовать нашим бомбардировщикам и штурмовикам пресекались нами мгновенно и решительно. В воздушных

боях, носивших для противника вынужденный характер — финны просто не могли избежать их, — ленинградские летчики сбили 9 самолетов. Ни один финский истребитель не смог приблизиться к Ту-2 и Ил-4 даже на расстояние пушечного выстрела.

Вечером была проведена разведка боем. Она позволила уточнить систему огня противника на первой полосе, улучшить на ряде участков занимаемые нашими войсками позиции. Пленные показали, что артиллерийско-авиационная обработка вражеской обороны превзошла все ожидания — снарядами и бомбами было разрушено подавляющее большинство огневых точек и заграждений, а минные поля почти всюду оказались подорванными.

Утром 10 июня я поднялся едва рассвело и вскоре прибыл на КП командующего 21-й армией генерала Д. Н. Гусева. Располагался он в полосе наступления 30-го гвардейского стрелкового корпуса, наносившего главный удар, под Белостровом и как раз неподалеку от так называемого «миллионного дота». Дот этот был одним из крупнейших долговременных сооружений, и начальник инженерной службы фронта мой давнишний знакомый генерал Борис Владимирович Бычевский ломал голову, как выкурить противника из «миллионного дота».

На КП Гусева собралось почти все руководство фронта. Настроение у всех, как всегда перед решающими событиями, было торжественно-приподнятое. Каждый старался скрыть свое волнение, но это плохо удавалось — нет-нет, да и прорывались отдельные возбужденные голоса. Невозмутимым оставался только Говоров. Он молча и сосредоточенно наблюдал в стереотрубу за вражескими позициями.

Стрелки часов томительно-долго приближались к заветному рубежу. Все приказания были отданы, части и соединения изготовились к атаке, и нам оставалось одно: терпеливо ждать, когда грянет бой. Все зависящее от нас мы, военачальники, сделали, теперь в игру вступали непосредственные исполнители наших замыслов. Конечно, мы не оставались безучастными зрителями и от наших дальнейших решений зависело очень многое, но все же теперь судьба операции была в руках солдат и их командиров.

Сам я, проведя к тому времени в качестве представителя Ставки по авиации несколько крупнейших операций: Сталинградскую, на Северном Кавказе, Курской дуге, правобережной и левобережной Украине и Корсунь-Шевченковскую, — всегда в такие моменты особенно остро чувствовал нашу зависимость от солдата и строевого командира, и когда начиналась операция и люди уходили в бой, старался избегать лишних указаний, распоряжений и напоминаний: изменить они ничего уже не могли, а только взвинтили бы нервы, которые в эти минуты и без того натянуты до предела. Поэтому, как правило, в первый день наступления я уезжал на КП командующего фронтом, откуда и следил за событиями, предоставляя командованию воюющих армий полную инициативу и возможность действовать без оглядки на вышестоящее начальство. Так поступил и в этот раз. К тому же, когда находишься рядом с командованием фронта, удобнее следить за ходом операции и в случае необходимости можно быстро внести соответствующие коррективы в действия подчиненного тебе рода войск.

И вот ровно 6 часов утра. Снова заговорили орудия и минометы. Огонь на разрушение длился более двух часов. Кругом содрогалась и стонала земля. В воздухе стало чадно и дымно. Неподалеку от нас залпами рывкала мощная гаубичная батарея. Она вела огонь прямой наводкой по «миллионному доту».

Между 7 и 8 часами работала авиация — 340 бомбардировщиков и штурмовиков нанесли повторный удар по дотам и дзотно-траншейной системе противника. Поступившие вскоре данные воздушной разведки и донесения наземных войск показали, что в результате артиллерийских и авиационных ударов, вчерашних и сегодняшних, разрушенными оказалось более двух третей оборонительных сооружений первой полосы финнов.

Наконец ровно в 9 часов 20 минут поднялась в атаку пехота. Я прильнул к стереотрубе, чтобы увидеть этот волнующий момент. Но толком рассмотреть ничего не смог. Над позициями врага, закрывая собой все, висели серо-черно-желтые тучи из измельченной земли, пыли и дыма. Они вздымались выше самых высоких сосен и елей. Противник попытался контратаками и огнем уцелевших точек остановить нашу пехоту. Особенно упорное сопротивление финны оказали на флангах 21-й армии. Но оборона их уже трещала по всем швам. Пехотинцы быстро овладели траншейной системой и устремились дальше. На помощь им двинулись танки. Но продвижение наших войск несколько замедлилось из-за сильного артиллерийского огня противника в полосах наступления 97-го и 30-го гвардейского корпусов. Воздушная разведка обнаружила неразгромленные артиллерийские позиции в глубине обороны первой полосы. Эти цели уже были у нас на примете. Мне даже не пришлось вмешиваться. Рыбальченко и командующий ВВС Балтийского флота М. И. Самохин, согласно плану, немедленно выслали туда бомбардировщиков и штурмовиков.

Около 11 часов утра над нами загудело небо. Триста самолетов нанесли массированный удар по уцелевшим артиллерийским группировкам финнов. Путь пехоте был расчищен.

Когда Говорову передали об этом, он, обычно очень скупой на похвалу, воскликнул:

— Молодцы летчики! Действуют быстро и точно.

Так же быстро, точно и согласованно действовали в Выборгской операции и остальные рода войск фронта. А это редко наблюдается в таких больших операциях.

После полудня стало известно, что финское командование повсюду отводит уцелевшие от разгрома войска на главную полосу обороны. Темпы наступления были выше запланированных, все шло отлично, и я уехал на КП Рыбальченко.

Во второй половине дня авиация работала небольшими группами. В основном действовали штурмовики Ил-2, непосредственно сопровождавшие пехоту и танки. Вылетели они по специальным вызовам офицеров-авианаводчиков, находившихся в головных отрядах наступавших войск. Здесь вмешательства командования ВВС не требовалось, и мы занялись подготовкой авиации к следующему дню наступления.

У Рыбальченко я пробыл почти до конца суток. Дела свои здесь закончил раньше, но в город не поехал, а задержался на КП: ждал звонка от Сталина. В Кремле, как известно, он появлялся после 5 часов вечера и работал до 3—4 часов утра. Пока Сталин находился в Кремле, нечего было и думать об отдыхе: в любую минуту можно было ожидать вызова или телефонного звонка от него.

Первый день наступления завершился успешно. Оборона противника была прорвана на двадцатикилометровом фронте. Наибольших результатов добился 30-й гвардейский корпус генерала Н. П. Симоняка. Войска его продвинулись вперед на пятнадцать километров и захватили очень сильный узел сопротивления — Майнилу. 109-й корпус генерала И. П. Алферова вышел на рубеж западнее Куоккала. Несколько хуже обстояли дела на правом фланге армии. Наступавший здесь 97-й корпус М. М. Бусарова отеснил противника только на пять километров. Я сперва было встревожился и стал подумывать о том, как лучше помочь Бусарову авиацией, но решил не торопиться и подождать результатов следующего дня наступления: ведь в сражение еще не были введены ни 23-я армия, ни фронтовой резерв. Если бы результат, достигнутый 97-м корпусом, считался плохим, Говоров непременно проявил бы беспокойство и сообщил мне об этом.

11 июня силами своего 98-го корпуса перешла в наступление и 23-я армия. Во второй половине дня командарму Черепанову передали 97-й корпус, а армию Гусева усилили резервным 108-м корпусом. Используя успех 21-й армии, генерал Черепанов стал расширять прорыв, свертывая оборону врага в северо-восточной части Карельского перешейка. Осуществление замысла командования фронтом проходило строго по плану.

В этот день погода не благоприятствовала летчикам, и авиация действовала небольшими группами, в основном бомбила коммуникации, оперативные резервы и артиллерию противника. Да и большой надобности в массированных ударах с воздуха в тот день не было. Финны, отходя на рубеж второй полосы, вели сдерживающие бои на подступах к ней. Сплошной линии фронта уже не было, бои шли вокруг отдельных оборонительных пунктов и узлов сопротивления. Свои и чужие войска так перемешались, что массированное применение авиации становилось опасным: малейшая неточность в расчетах или в ориентировке — и бомбы посыпались бы на своих. Поэтому непосредственно над передним краем действовали только штурмовики Ил-2, и то небольшими группами. Но зато работали они без перерыва: одна группа сменяла другую прямо над полем боя, сохраняя непрерывность авиационного воздействия на противника.

Эти группы непосредственного сопровождения наземных войск не только громили противника, но и помогали общевойсковикам ориентироваться на местности и в сложной обстановке сражения. Летчики, штурмуя врага, одновременно следили за его передвижениями, обнаруживали сосредоточение сил противника, неподавленные огневые точки и вовремя сообщали об этом.

Когда головной отряд 1-й отдельной танковой бригады вырвался к окраинам Райволы — весьма сильного опорного пункта противника, — он был остановлен плотным орудийно-минометным огнем. Все попытки пробиться вперед ни к чему не привели. Артиллерия наша отстала, и танкисты нервничали. Тогда офицер-авианаводчик, находившийся с рацией в одном из танков, связался с КП 277-й штурмовой авиадивизии полковника Ф. С. Хатминского и вызвал штурмовиков. С нескольких заходов Ил-2 разгромили артиллерийские и минометные батареи неприятеля, танкисты возобновили наступление и вскоре ворвались в город. Внеплановый захват Райволы, находившейся за передним краем второй оборонительной полосы финнов, вскоре сослужил нам великую службу.

Утром 12 июня наступление возобновилось. Войска 21-й армии вплотную выходили к основному и самому мощному оборонительному рубежу противника. Все шло хорошо, но Говоров почему-то был сильно озабочен. Он позвонил мне и сказал, что основную массу авиации придется перенацелить на другое направление — в полосу Приморского шоссе.

— Какие-нибудь осложнения? — встревожился я.

— Приезжайте, все объясню на месте, — ответил Говоров.

Я незамедлительно прибыл на КП к Леониду Александровичу. Он сообщил, что вчера вечером получил директиву Ставки. Основываясь на успехах первых двух дней, Ставка потребовала от командования фронта усилить темп наступления. Возможности для этого имелись, и Говоров не возражал. Так я понял его. Но надо было искать решение. Войска Гусева отделили от второй полосы финнов буквально считанные километры. С приближением к ней наших соединений сопротивление врага стало заметно возрастать, особенно против гвардейских частей генерала Симоняка. Направление нашего главного удара уже не составляло секрета для финского командования, и оно стало спешно стягивать сюда свои резервы. В центре нашего наступления была обнаружена 18-я пехотная дивизия противника, подразделения танковой дивизии «Лагус». Поступили сведения и о переброске на это направление 4-й пехотной дивизии из Южной Карелии и 3-й пехотной бригады из Северной Финляндии. Враг энергично готовился к сражению с главными силами 21-й армии. Словом, фактор неожиданности переставал действовать, а с его потерей уменьшалась возможность быстрого прорыва в центре второй полосы.

Конечно, Говоров мог воспользоваться разрешением Ставки на оперативную паузу и за двое-трое суток основательно подготовиться к прорыву вражеской обороны на этом участке. Но после тщательного анализа обстановки командование фронта решило обойтись без оперативной паузы. Нашли другой вариант, позволявший нам сохранить фактор внезапности и при прорыве второй полосы. Исходя из предположения, подтвержденного явной концентрацией вражеских сил в

центре наступления армии Гусева, что финское командование именно здесь готовится дать нам отпор, Говоров приказал перенести направление главного удара на левый фланг 21-й армии — в полосу Приморского шоссе. Вот тут-то сыграл свою решающую роль мощный резерв фронта. 110-й стрелковый корпус выдвигался на направление главного удара. Сюда же стягивался весь 3-й артиллерийский корпус прорыва генерала Н. Н. Жданова.

Перегруппировка наших сил началась в ночь с 12 на 13 июня и длилась весь день. Огромная масса войск и боевой техники должна была в исключительно короткий срок сдвинуться в сторону Финского залива, и так, чтобы противник ничего не заподозрил. Это была нелегкая задача, но войска справились с ней блестяще. Я был восхищен столь смелым маневром, не сдержался и высказал свое мнение Говорову. Леонид Александрович только слегка улыбнулся и пожал плечами, как бы говоря этим: «Ну что же тут особенного? Хочешь бить врага — раскидывай мозгами и пошевеливайся. На то она и война». Но я по себе хорошо знал, что значит вот так «раскидывать мозгами и пошевеливаться» в самый разгар сражения да еще в такой напряженной обстановке. Понимал и меру ответственности, взятую на себя Говоровым. Никто не принуждал его менять план операции, и неудача нового замысла могла обернуться для командующего большими неприятностями. И все же Леонид Александрович поступил так, как считал нужным. Он был настоящим коммунистом, настоящим полководцем и настоящим человеком. Общее дело было для него прежде всего. Наконец, он думал не только о том, как быстрее и лучше прорвать оборону противника, но и о том, чтобы добиться этого меньшей кровью, с меньшими потерями.

Я отлично представлял себе, каково ему было, когда он принимал это решение. Совсем недавно, в феврале, нечто подобное довелось пережить и мне. В начале января, после того, как войска 2-го Украинского фронта освободили Кировоград, я, выполнив задание Ставки, вернулся в Москву. Но через месяц мне снова пришлось отправляться в путь. 13 февраля меня срочно вызвали в Кремль. В кабинете у Сталина находился командующий бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии маршал Н. Я. Федоренко. Сталин, сидя на диване и попыхивая трубкой, о чем-то разговаривал с ним. Увидев меня, он в знак приветствия приподнял над головой правую руку, встал, прошелся вдоль стола, обернулся и, глядя мне в глаза, спросил:

— Скажите, товарищ Новиков, можно остановить танки авиацией?

Еще собираясь в Кремль, я пытался доискаться до причины вызова. Прежде всего, конечно, подумал о положении на фронте. Но там все шло хорошо, во всяком случае известные мне последние данные не вызывали беспокойства. Правда, на Украине, под Корсунь-Шевченковским, противник пытался вырваться из окружения сильную группировку своих войск — десять с лишним дивизий. Однако, судя по сводкам, успеха эта попытка гитлеровцам не сулила. Кольцо окружения неумолимо сжималось, вся территория, занятая врагом, уже насквозь простреливалась артиллерией, а советские летчики наглухо задраили «котел» сверху. И я решил, что Сталина, наверное, волнуют какие-то вопросы, непосредственно связанные с авиацией вообще, и потому взял с собой начальника Главного управления, обучения, формирования и боевой подготовки ВВС КА генерала А. В. Никитина.

Вопрос Сталина хотя и был неожиданным, но не настолько, чтобы вызвать во мне замешательство. За два года работы и частых встреч с ним я присмотрелся к нему и потому тотчас сообразил, что вопрос этот не случаен. Обычно, когда он спрашивал вот так — в лоб, то ждал определенного ответа: «Да» или «Нет». При этом внимательно следил за собеседником. Сталин был неплохим психологом, и скрыть от него в такой момент свое внутреннее состояние было нелегко. Не раз я испытывал это на себе. Сам Сталин отличался решительностью и быстротой в суждениях, не переносил многословия, нечеткости и неопределенности в мыслях. Того же требовал и от других. Но определенность в ответах Сталина, да еще в позитивном плане, ложилась тяжким грузом на плечи докладывающего. В случае

неудачи не могло быть и речи ни о каких смягчающих вину обстоятельствах. Раз-другой споткнулся, не сдержал слова — жди неизменной сталинской фразы: «Такого работника мне не нужно. Уберите его».

Всё это мгновенно промелькнуло тогда в моем уме. Конечно, танки можно остановить авиацией. 7 июля 1943 года на Курской дуге в районе железнодорожной станции Поньры наши Ил-2 разгромили сильную танковую группировку противника. Но тогда авиационное командование знало, какими силами располагает неприятель, где эти силы, и имело время на изучение обстановки и подготовку к удару. Общевойсковики поставили перед летчиками четкую задачу, данные были полные, требовалось только найти «икс», то есть ударную силу и форму ее применения. Сталин же задал мне задачу, где все было неизвестным. Впрочем, это было в его натуре. Он часто совершенно неожиданно задавал непростые вопросы и ждал быстрого и точного ответа. Ничего, как говорится, наводящего он при этом не давал. О том же, чтобы узнать у него в данном случае, где именно, в какой срок и какие танки нужно остановить авиацией, — нечего было и думать. Во-первых, Сталин не любил, чтобы его спрашивали, он сам спрашивал; во-вторых, уже по тону, каким был задан вопрос, я понял, что его интересуют не частности, хотя и весьма немаловажные для командования ВВС, а решение вопроса в принципе: можно или нет остановить танки самолетами? Понял и то, что вопрос этот задан не из простого любопытства, что, вероятно, где-то сложилась очень неблагоприятная для нас обстановка, которая и вынудила Верховного Главнокомандующего вот так ребром поставить вопрос.

В принципе, конечно, все можно. И война показала, что, в общем-то, если есть силы, неразрешимых задач нет, надо только как следует искать решение. Но если бы речь шла только о принципе! Я чувствовал, что Сталин чего-то недоговаривает, хочет сперва получить «добро» в принципе, а потом, когда отступить будет некуда, прикажет решить задачу в любой обстановке. Такой подход к делу: сперва психологическим нажимом вынудить человека на положительный ответ, а затем уж раскрыть свои карты — был свойствен Сталину. Разумеется, в данном случае я сужу по собственному опыту.

Секунды были отпущены мне на раздумье. Быстротечные и еще более короткие потому, что протекали они под пристальным взглядом Сталина. Обычное благоразумие требовало продлить их, найти обтекаемый ответ. Но хитрить в таких серьезных вещах — последнее дело. Если где-то возникла необходимость остановить вражеские танки авиацией, мы должны были сделать это. В конце концов Сталин мог и не спрашивать, а просто приказать: остановить, и все. В том или в другом случае расплачиваться за битые «горшки» все равно мне. И я без колебания ответил, что остановить танки авиацией можно.

— Тогда завтра же утром летите к Ватутину и примите меры, чтобы остановить танки, — живо, не скрывая своего удовлетворения моим ответом, произнес Сталин. — А то на весь мир разрезвонили, что окружили курсунь-шевченковскую группировку, а до сих пор разделаться с ней не можем.

Я еще раз быстро прикинул в уме, что могло случиться за истекшие сутки в районе Курсунь-Шевченковского. Знал, что противник мощными танковыми кулаками — четырьмя танковыми дивизиями из района Рязино и тремя танковыми дивизиями из района Ерки — пытается протаранить извне наше кольцо на стыке 1-го и 2-го Украинских фронтов и пробиться к окруженному. Кое в чем гитлеровцы преуспели: их части вышли в район Лисянки, стремясь соединиться с деблокируемыми войсками, наносившими удар в том же направлении, то есть навстречу спешившим на выручку танкам. Но под Ерками войска 2-го Украинского фронта остановили врага. Других сведений у меня не имелось. Видимо, что-то изменилось за истекший день. Но с последними сообщениями я еще не успел ознакомиться.

— Кстати, — выбивая трубку и стоя вполупоборот ко мне, сказал в заключение Сталин, — Худяков мне там не нужен.

Да, вероятно, обстановка под Курсунь-Шевченковским на участке 1-го Украинского фронта быстро осложнилась, а начальник штаба ВВС Красной Армии

генерал-полковник С. А. Худяков, посланный мною координировать боевые действия 2-й и 5-й воздушных армий, что-то недоучел, чем и вызвал сильное недовольство Верховного Главнокомандующего. Генерал Худяков был способным военачальником, и я сказал:

— Худяков хорошо работает, товарищ Сталин, и я считаю своим долгом...

— Там он мне не нужен, — резко перебил меня Сталин. — Летите к Ватулину и сами останавливайте танки.

На том разговор был закончен.

Вернувшись в штаб ВВС, я тотчас связался по телефону с командующим 2-й воздушной армией генералом С. А. Красовским. Он доложил, что в ночь на 12 февраля окруженные фашистские войска нанесли удар навстречу своим танковым колоннам, пробившись в район Шендеровки, и теперь передовые вражеские части разделяют всего лишь двенадцать километров. Наши войска ведут ожесточенные бои, но сдержать яростный натиск противника им становится труднее и труднее. Из-за распутицы танки оказались без горючего, артиллерия и пехота почти без боеприпасов. Авиация из-за непогоды не может обеспечить наши войска всем необходимым. Для отражения вражеских ударов командование фронта вынуждено перебрасывать части с других участков.

На другой день утром я вылетел на фронт, во 2-ю воздушную армию. Пришлось на ходу в очень напряженной обстановке искать решение, как авиацией остановить вражеские танки. Оно было найдено, и приказ Верховного Главнокомандующего был выполнен. 15 февраля штурмовики, вооруженные кумулятивными бомбами, нанесли несколько ударов по танковым колоннам противника и остановили их.

Весь этот эпизод с момента вызова меня к Сталину и до получения первых результатов воздушных ударов по врагу занял не более двух суток. Но это были едва ли не самые напряженные дни в моей жизни.

В не менее, если в не более сложном положении находился 12 июня 1944 года и Говоров. Я-то отвечал за действия только авиации, Леонид Александрович — за судьбу всей операции. Да еще какой операции! Ведь ею открывалась летняя кампания, и главное, в ходе ее наносился основной удар по северному союзнику Гитлера, прямым результатом которого должен быть скорый выход Финляндии из войны. Быстрый прорыв обороны на Карельском перешейке ставил Финляндию перед катастрофой, так как оборона эта была единственной дверью, которая закрывала нам дорогу в глубь страны.

Хотя командование фронта не сомневалось в успехе операции и располагало необходимыми силами для прорыва второй, самой мощной полосы обороны и без сложных маневров, но война есть война: в ходе сражения возможны всяческие неожиданности и от просчетов никто не застрахован. Промедление при прорыве второго рубежа могло вызвать задержку всей операции, а это отрицательно сказалось бы и на дальнейших общих замыслах Ставки. Собственно, на второй полосе и решалась судьба всей операции. Естественно, не думать об этом Говоров не мог. Да и был он не из тех, кому кружат голову победы, даже блистательные. Он обладал умом ясным, трезвым и аналитическим, умел держать свои чувства в узде.

По отдельным замечаниям Говорова, по тому, как он дотошно выяснял у меня возможности авиации при прорыве второй полосы, чувствовалось, что перенесение главного удара из центра на левый фланг 21-й армии очень волнует его, что к противнику, несмотря на первый успех, он по-прежнему относится весьма серьезно и далек от того, чтобы бить в колокола, не заглянув в святцы. Особое внимание он просил обратить на очень сильный узел обороны Кутерселья, который предстояло брать 109-му стрелковому корпусу. Я заверил командующего фронтом, что все сделаем для помощи генералу И. П. Алферову.

Пусть читатель извинит меня за это отступление. Мне кажется, оно поможет глубже проникнуть во внутренний мир военного человека, принимающего ответственное решение. Это тоже надо знать. Война ведь — это не только битвы

и сражения, которые происходят на виду у всех на суше, в воздухе, на море, но и те незримые, что потрясают чувства и разум и солдата и маршала. Сколько, бывало, передумаешь, перечувствуешь, прежде чем явишься в Ставку с тем или иным предложением, отдашь то или иное распоряжение, приказ! Все время ощущаешь за собой горячее дыхание фронта, страну, напрягшую все свои силы. И никогда не покидает мысль, что в твоих руках тысячи и тысячи жизней, что каждый твой промах искупается только кровью.

Велика ответственность военного человека, и чем выше поднимается он по служебной лестнице, тем тяжелее у него бремя забот и дум. Подчас в разгаре событий бывает не до размышлений. Но пройдет какое-то время — и минувшее вновь наваливается на тебя и снова думаешь и переживаешь, анализируешь и судишь. Многие за конечный успех тебе могут простить, многое могут просто не заметить, но от себя самого никуда не уйдешь, от собственного самого беспощадного судьи — совести ничего не скроешь, и если ты в чем виноват, так эта вина и пребудет в тебе до гроба.

Соответственно изменению в плане операции пришлось внести коррективы и в действия военно-воздушных сил. Основную массу авиации мы перенацелили на поддержку войск, наступавших в полосе Приморского шоссе. Собственно, основные задачи ВВС оставались прежними, мы только увеличили количество самолетов, выделенных для действий на направлении главного удара, в первую очередь штурмовиков Ил-2. Но, готовясь к прорыву второй полосы, летчики не снижали активности и весь день 13 июня. Мы постарались использовать небольшую паузу, несмотря на плохую погоду, с максимальным КПД. В этот день авиация блокировала дороги между второй и третьей оборонительными полосами, мешая противнику перебрасывать войска, нанесла несколько сильных бомбоштурмовых ударов по крупным опорным пунктам и узлам сопротивления в районах Метсякюля, Кутерселья, Лийкола. Пе-2 и Ту-2 группами в семь—девять самолетов непрерывно бомбили Выборг, Перкярви, Лейпясуо, Сяйние, Литолу, Антреа. Одно только подразделение штурмовиков старшего лейтенанта В. И. Мыхлика разгромило два воинских эшелона финнов.

Утром 14 июля армий Гусева и Черепанова снова пошли в наступление. На вражеские позиции обрушился шквал артиллерийско-минометного огня. Потом над полем боя появилась авиация. Около четырехсот бомбардировщиков и штурмовиков нанесли мощные удары по основным узлам обороны противника. Летчики делали все, чтобы облегчить задачу наземным войскам. Так, по инициативе командира эскадрильи 58-го бомбардировочного полка капитана П. Т. Сырчина экипажи стали брать на борт предельный, нередко превосходивший расчетный, вес бомб. Когда мне доложили об этом, я поинтересовался: не тот ли это Петр Сырчин из бывшей 2-й смешанной авиадивизии, с которым я познакомился еще до войны на аэродроме под Старой Руссой? Оказался тот самый. Осенью 1940 года я наградил его именными часами за успехи в боевой и политической подготовке. Я был рад, что отыскался еще один ветеран ленинградского неба, и велел передать ему мою благодарность за такой патриотический почин. Но недолго воевал на Карельском перешейке капитан Сырчин: он погиб за день или два до падения Выборга. Самолет его был сбит над Выборгским заливом. Никто этого не видел. Ни тогда, ни после так и не узнали, что же стало с самолетом и экипажем. И долго еще после войны ждали их возвращения родные и близкие. Лишь четырнадцать лет спустя останки Сырчина и его товарищей вместе с самолетом нашли пионеры-следопыты на одном из маленьких болотистых островков Выборгского залива. За это время документы, конечно, истлели. Узнали летчиков по именным часам Сырчина, найденным в кабине бомбардировщика.

День 14 июня был самым напряженным. И общевойсковики и мы, авиаторы, чувствовали, что успех операции должен решиться именно в эти сутки, в крайнем случае на следующее утро.

Бои на направлении главного удара сразу же приняли ожесточенный характер. Особенно упорно враг цеплялся за Кутерселья.— главную цель 109-го стрел-

кового корпуса генерала И. П. Алферова. Захват танкистами полковника В. И. Волкова на исходе 11 июня Райвола позволил частям 72-й стрелковой дивизии быстро выйти во фланг противнику, оборонявшемуся в районе Кутерселькя. Затем продвижение наших войск затормозилось. Мешала Кутерселькя. Взять ее с ходу не удалось, а обходить ее было очень сложно из-за обилия лесов, болот и мелких озер.

После полудня мне позвонил Говоров. Его сильно обеспокоило положение под Кутерселькя.

— Что же ваше обещание, Александр Александрович! — упрекнул он. — Этот узел держит весь корпус Алферова.

Я прекрасно понимал состояние Леонида Александровича. По плану к исходу суток войска фронта должны были прорвать оборону противника на глубину до двадцати километров и выйти на рубеж Лийкола — озеро Ваммель-Ярви — Инонкюля. Мы еще раз взвесили наши возможности и решили бросить на Кутерселькя почти всю штурмовую авиацию. Из-за очень низкой облачности действия бомбардировщиков исключались.

Во второй половине дня над Кутерселькя загудело небо. Ил-2 устремились на ключевую позицию укрепленного района. «Илы» ходили в атаку в лоб, едва не цепляясь плоскостями за верхушки елей и сосен. Иного выхода не было: низкая облачность и неважная видимость прижимали самолеты к самой сопке и летчики бомбили позиции врага на очень рискованном маневре — при выходе из пикирования. Только так можно было избежать поражения от собственных бомб и реактивных снарядов. А зенитчики противника буквально неистовствовали, и Ил-2 выходили из атак с иссеченными плоскостями и дырами в фюзеляже. Но летчики выдерживали все: и кинжальный лобовой огонь зенитных установок, и страшные перегрузки, от которых у пилотов темнело в глазах.

Шесть часов подряд штурмовики долбили Кутерселькя. Шесть часов подряд летчики не вылезали из кабин. И никаких пауз, никакой передышки. Не успевал самолет приземлиться, как его снова заправляли горячим, вооружали бомбами и эрэсами и отправляли на боевое задание. Одна волна Ил-2 сменяла другую. На земле оставались только те, кого уже не могла поднять в воздух искалеченная вражескими снарядами машина, и раненые.

Один из героев этой схватки Андрей Иванович Кизима, вспоминая позже о сражении за Кутерселькя, рассказывал, что таких яростных штурмовок он не знал за всю войну. Когда вечером он наконец-то покинул самолет, то земля ходуном заходила под его ногами, горизонт взметнулся куда-то вверх, перед глазами все закачалось, и пилот, чтобы не упасть, ухватился руками за плоскость.

В тот день над Кутерселькя часто мелькал Ил-2 с надписью на борту: «Мсть Бариновых». Водил его в бой другой замечательный штурмовик, однополчанин и друг Андрея Кизимы Георгий Паршин.

Самолет Паршина был построен на семейные сбережения Бариновых. Внесли их в банк ленинградские патриотки, медицинские работники мать и дочь Прасковья Васильевна и Евгения Петровна Бариновы. Война принесла им огромное горе: в сентябре 1941 года погиб их сын и брат Виктор, ушедший на фронт добровольцем, а в блокадном городе от голода скончался глава семьи Петр Иванович Баринов. В семье остались только женщины. Но они не пали духом — мужественно перенесли смерть самых близких людей, бомбежки и артобстрелы, голод и холод, сами еле держались на ногах от истощения и физической усталости, возвращали в строй раненых и, наконец, сделали еще один вклад в победу над ненавистным врагом — отдали на постройку боевого самолета свои сбережения. Не менее примечательно и другое. Оказывается, еще в 1919 году так же поступил их дед Иван Михайлович Баринов. Он передал в фонд Красной Армии все, что скопил за долгие годы своего труда.

Принимая дар от ленинградских патриотов, Паршин сказал, что он поставится на нем закончить войну и добить врага в его логове. И летчик сдержал свое слово. После Выборгской операции Георгий Михайлович громил остатки группы

немецко-фашистских армий «Север» в Прибалтике, сражался в небе над Восточной Пруссией, штурмовал Кенигсберг. За бои на Карельском перешейке он был удостоен звания Героя Советского Союза. Вторая Золотая Звезда появилась на его груди после разгрома фашистов в Восточной Пруссии. Тогда же стал Героем Советского Союза и Андрей Кизима. Указ о награждении их появился 19 апреля 1945 года. Оба представления я подписывал под Кенигсбергом, где по заданию Ставки координировал действия нескольких воздушных армий. Тогда же в моей записной книжке появились фамилии еще нескольких ленинградских летчиков, удостоенных этого звания тем же Указом Президиума Верховного Совета СССР. В их числе были и дважды Герои: Владимир Алексенко, Евгений Кунгурцев, Григорий Мыльников и Алексей Прохоров. Всего к тому времени в рядах летчиков, участвовавших в боях за город Ленина, насчитывалось около двухсот Героев Советского Союза. Вот какая когорта асов выросла в ленинградском небе!

Но, говоря о тех, кто водил в бой самолеты, мне хочется помянуть добрым словом и тех, кто находился на земле и от мастерства которых во многом зависело, чтобы боевая техника работала безотказно и надежно. Самой высокой похвалы заслуживают вооруженцы, техники и работники служб тыла. И, конечно, офицеры-авианаводчики.

Находясь на КП Рыбальченко, я не раз слышал фамилию Александра Разгулова. Она произносилась чаще всего: «Ну, что передает Разгулов?», «Как там Разгулов?», «Разгулов просит поддержки» и т. п. Старший лейтенант Разгулов был офицером-авианаводчиком. Его рация находилась в одной из головных машин 1-й Ленинградской танковой бригады полковника В. И. Волкова, выдвинутой на острие нашего наступления. Разгулов действовал оперативно, умело и смело. Его рация действительно была вторыми глазами и слухом летчиков-штурмовиков. Он не только поспевал за быстротекущими событиями боя, но и нередко опережал их. Его точные и четкие указания летчикам не раз способствовали успеху наземных войск, в состав которых входила 1-я танковая бригада. Так было при прорыве первой полосы обороны финнов, при смелом захвате танкистами Райволы, при дерзком рейде их в тыл противника, упорно сдерживающего наши войска под Ванхасахой и Метсякюля.

Естественно, я заинтересовался этим отважным и энергичным офицером. Выяснилось, что он бывший летчик 943-го штурмового авиаполка, лишился правой руки, но остался в боевом строю, только переквалифицировался в офицера радионаведения авиации. Летные знания и опыт очень пригодились ему на новой работе. Разгулов наводил Ил-2 на вражеские объекты понстине с ювелирной точностью. Под Кутерселькя он был главным дирижером штурмовиков и одним из героев сражения за этот сильнейший узел вражеской обороны.

Многочасовая непрерывная штурмовка Кутерселькя возымела свое действие: с каждым часом сопротивление противника слабело, все меньше и меньше оставалось огневых точек. Вечером, на исходе шестого часа, Кутерселькя пала. К этому же времени войска генерала Алферова овладели двумя сильными опорными пунктами финнов — Мустамяки и Саха-Кюля.

Несколько хуже обстояли дела в полосе наступления левофлангового 108-го стрелкового корпуса генерала М. Ф. Тихонова. Район от Ванхасахи до Финского залива оказался для прорыва без подготовки трудным. Ночью 14 июня я связался по телефону с Говоровым. Леонид Александрович, в общем, был доволен результатами дня, хотя полностью выполнить намеченный план и не удалось. Однако сам факт прорыва второй полосы уже не вызывал сомнения. Это было главное. Тревожили Говорова только дела 108-го стрелкового корпуса, который никак не мог осилить вражескую оборону. Но, основываясь на успехах войск генерала Алферова, командующий фронтом рассчитывал поправить положение на левом фланге 21-й армии утром 15 июня после повторной артиллерийской и авиационной подготовки.

Генерал Михаил Федорович Тихонов был моим старым товарищем. Мы одновременно поступили в 1927 году в Академию имени М. В. Фрунзе и учились в

одной группе. В нашей же группе был и будущий Главный маршал артиллерии Н. Н. Воронов. Народ подобрался живой, веселый, дружный. Миша Тихонов был душой нашей компании, и мы все любили его. Приятно встретить на войне старого верного друга и еще приятнее помочь ему, и я сказал Говорову, что сам прослежу за действиями авиации в полосе наступления 108-го стрелкового корпуса. Летчики отлично поддержали войска Тихонова, и уже утром стало известно, что финское командование выводит свои войска из Метсякюля и Ванхасахи. Не в малой степени этому способствовали танкисты Волкова. Быстрая развязка под Кутерселькя позволила командованию фронта бросить танки на помощь войскам 108-го корпуса. Смелым рейдом танкисты перерезали Приморское шоссе в районе Лемпияля, оставив противника, оборонявшегося под Ванхасахой и Метсякюля, перед угрозой полного окружения. Финны покинули эти узлы и стали поспешно отходить на запад.

Это стало переломным моментом в борьбе за вторую полосу. С падением Метсякюля и Ванхасахи ликвидировалась угроза вражеского удара по левому флангу войск Алферова, и его корпус стал быстро продвигаться вдоль железной дороги к Перкярви — в сторону третьей полосы. А 108-й корпус к исходу дня вышел к перешейку между озерами Ваммель-Ярви и Риеск-Ярви.

После прорыва вражеской обороны Михаил Федорович Тихонов в приказе по корпусу отметил действия летчиков.

За двое суток 21-я армия прорвала вторую полосу финской обороны на направлении главного удара от Кутерселькя до Финского залива и продвинулась вперед до пятнадцати километров. На кексгольмском направлении 23-я армия ододела первую полосу и завершала выход ко второй.

16 и 17 июня советские войска развивали достигнутые успехи. Наступление уже перешло в стадию преследования противника. Прикрываясь арьергардными боями, враг ретировался на третью полосу.

В этот период, несмотря на плохую погоду, авиация фронта и Балтийского флота препятствовала отводу вражеских войск и боевой техники на бывшую линию Маннергейма, мешала оборонным работам на позициях Выборгского укрепленного района, интенсивно бомбила Сумма — главный узел обороны на третьей полосе, срывала железнодорожные перевозки, наносила удары по Выборгу, Кивеннапе, Хитоле, Антреа, Кексгольму. Особенно мощному удару, нанесенному 34-м гвардейским Краснознаменным Тихвинским авиатолком пикирующих бомбардировщиков, был подвергнут железнодорожный узел Выборга. Летчики подполковника М. И. Колокольцева разбомбили и подожгли 350 вагонов и платформ с военными грузами и уничтожили склад. Массированные удары нашей авиации по железнодорожным и шоссейным коммуникациям противника значительно осложнили его действия против войск 21-й армии.

Авиация противника сопротивлялась очень слабо, и наши летчики были полными хозяевами в небе. Такого господства в воздухе гитлеровцам не снилось даже в самые первые дни войны. За пять суток советские истребители провели всего 33 воздушных боя и уничтожили 43 вражеских самолета. Могли бы уничтожить и больше, но противнику просто нечего было противопоставить нам в воздухе. Финские летчики ограничивались «тихими» налетами двойками, изредка четверками бомбардировщиков и поспешно удирали при появлении советских истребителей.

Полнейшее господство в небе наших летчиков, откровенно говоря, усыпило мою бдительность. Правда, иногда меня тревожила мысль о том, что финны могут запросить помощь у гитлеровцев, даже перебросить на Карельский перешеек часть своей авиации из Карелии, и что надо быть готовым к этому. Но никаких сигналов о передислокации авиационных частей противника в Эстонию и Карелию не поступало, и я не то чтобы успокоился, а как-то приглушил свою настороженность. К тому же гитлеровцы, как я уже писал, не располагали авиационными резервами и усилить финскую авиацию могли только за счет ослабления собственной. А это затея рискованная, да и многого дать не могла. И все же немецкое командование отважилось на такую меру. На исходе второй декады июня началась переброска

в Финляндию подразделений 1-го воздушного флота. К концу месяца против нас уже действовало семьдесят самолетов с немецкими экипажами, в основном истребителей, и девяносто Me-109, Ю-88 и Ю-87, переданных в состав финских ВВС.

19 июня юго-восточнее Выборга советские летчики сбили ФВ-190 с немецким экипажем. Пленные сообщили, что в Финляндию прибывают части 1-го воздушного флота. С аэродрома в Иммананярви уже действует несколько немецких авиаотрядов. Но наши летчики еще раньше заметили самолеты из немецких авиасоединений. Определили их по рисункам на бортах. В немецких ВВС была очень сложная система опознавательных знаков, состоявшая из комбинаций букв и цифр. Разобраться в ней было нелегко, но нас выручали рисунки на фюзеляжах фашистских самолетов. Рисунки эти не повторялись. Каждая эскадра, группа и отряд имели свои постоянные графические символы. Очень были распространены изображения геометрических фигур, животных, птиц (преимущественно хищных), растений и мифических существ.

В небе Карельского перешейка советские летчики обнаружили самолеты, на бортах которых были изображения трубочиста, голландского башмака с крыльями и вариации щитов разного цвета с крестами и линиями. По таблицам опознавательных знаков вражеской авиации определили, что это машины из 54-й истребительной эскадры, дислоцировавшейся в Эстонии. Однако их было немного, попадались они редко, и мы решили, что на Карельский перешеек летают лишь отдельные группы фашистских истребителей.

Но показания пленных немецких летчиков из экипажа сбитого ФВ-190 были серьезным сигналом. Затем было замечено некоторое усиление активности вражеской авиации во время боев за Выборг. Однако должного вывода командование 13-й воздушной армии не сделало и продолжало пускать бомбардировщиков и штурмовиков без надежного истребительного прикрытия. В результате этой неосмотрительности после 20 июня мы понесли лишние потери, особенно в штурмовиках, которые могли и должны были не допустить. Хотя меня к тому времени в Ленинграде не было, но какая-то доля вины за этот промах лежит и на мне. За спешными сборами в Белоруссию я забыл о появлении на Карельском перешейке самолетов с опознавательными знаками 54-й истребительной эскадры, а командование 13-й воздушной армии почему-то не доложило мне о показаниях экипажа ФВ-190, сбитого во время моей поездки на Карельский фронт в штаб 7-й воздушной армии.

18 июня наши войска вплотную подошли к третьей полосе финской обороны. По данным, которыми мы располагали, она не представляла серьезного препятствия, что и подтвердилось вскоре. Войска 108-го корпуса одолели ее в течение одного дня, а остальные соединения 21-й армии завершили прорыв к исходу 19 июня.

Было заметно, что финское командование не рассчитывает на этот рубеж. Даже Говоров, не терпевший прогнозов относительно поведения противника, и тот высказался на этот счет четко и категорично. Когда я спросил его, где нам лучше всего сосредоточить главные усилия авиации, Леонид Александрович ответил, что, вероятнее всего, этого делать не придется: по его мнению, Маннергейм не собирался задерживаться на третьей полосе, а стремился прежде всего спасти от полного разгрома свои отступавшие войска, посадить их на рубеж Вуоксинской водной системы и там, используя в полной мере природные выгоды этого рубежа, продолжить борьбу. Так впоследствии и оказалось.

Исход собственно Выборгской операции был уже предрешен и ни у кого не вызывал ни малейшего сомнения. Вероятно, такова была в то время оценка итогов боев на Карельском перешейке и в Ставке. Я понял это по звонку Сталина. Ночью 17 июня он вызвал меня к телефону и, коротко осведомившись о действиях авиации, спросил, когда точно я собираюсь быть в Белоруссии у маршала Жукова. Я ответил, что не позже 21 июня. Мне предстояло еще побывать на Карельском фронте у генерала армии К. А. Мерецкова, войска которого уже заканчивали подготовку к Свирско-Петрозаводской операции.

На другой день я уже был по ту сторону Ладожского озера, в штабе командующего 7-й воздушной армией генерала И. М. Соколова. Здесь меня застало известие о присвоении Л. А. Говорову звания Маршала Советского Союза. А. А. Жданов и Д. Н. Гусев были произведены в генерал-полковники. Повышения эти были заслуженными, и все восприняли их с большим удовлетворением. Высокая оценка деятельности Говорова, Жданова и Гусева одновременно служила оценкой действий всех советских войск, участвовавших в Выборгской операции. Обсудив с Соколовым и его помощниками план авиационных мероприятий, проверив обеспеченность авиасоединений всем необходимым, увязав вопросы координации боевых действий 334-й и 113-й бомбардировочных авиадивизий, привлекаемых для помощи войскам Мерецкова, я 20 июня вернулся в Ленинград. Но вернулся уже, как говорится, к шапочному разбору. В 11 часов утра 20 июня передовые подразделения 108-го стрелкового корпуса ворвались на южную окраину Выборга. Вечером город был полностью очищен от противника. С падением Выборга и выходом советских войск на линию Вуоксинской водной системы и закончилась, собственно, Выборгская операция. Кончилась на этом и моя миссия. Я улетел в Москву.

Нетрудно догадаться, в каком настроении покидал я Ленинград. Сбылось наконец то, о чем мы мечтали в блокадном сорок первом году: город снова стал тыловым и мирным. Все внесли в это посильную лепту. Родина высоко оценила вклад летчиков в разгром врага на Карельском перешейке. Около двухсот человек были награждены боевыми орденами, нескольким было присвоено звание Героя Советского Союза. 113-я и 334-я бомбардировочные авиадивизии получили наименование Ленинградских, а четыре авиаполка — Выборгских.

Очень хотелось мне задержаться на невских берегах, чтобы вместе со всеми отметить успешное завершение Выборгской операции. Но новые дела торопили в путь. Утро 21 июня застало меня уже в Белоруссии под Гомелем в штабе командующего 16-й воздушной армией генерала С. И. Руденко. Через двое суток началась Белорусская операция — главная операция года. К участию в ней привлекались очень большие силы авиации — пять воздушных армий, в которых насчитывалось около шести тысяч боевых самолетов.

Впереди были новые трудности и испытания. Но ее величество Победа была уже верной спутницей наших вооруженных сил.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ВСЕВОЛОД ОВЧИННИКОВ

★

ВЕТКА САКУРЫ *

(Рассказ о том, что за люди японцы)

БАНЯ КАК САМООТОПЛЕНИЕ

Японцы считают, что особенности их домашнего быта унаследованы от далеких предков — обитателей стран южных морей. Они подчеркивают, что японский дом сохранил до наших дней стремление древнего островитянина жить на полу, вернее сказать, на раскрытом помосте, защищенном лишь сверху.

Замечено, что если китайский крестьянин в знойный день прежде всего снимет рубаху, обнажится до пояса, но никогда не станет разуваться, то японец в этом случае поступит наоборот. Вместо сухой жары континента на островах донимает влажная духота, поэтому человек здесь предпочитает, чтобы ему прежде всего обдувало ноги.

Можно сказать, что японский дом рассчитан на лето. Его внутренние помещения действительно хорошо вентилируются во время влажной жары. Однако достоинство традиционного японского жилища обращается в свою противоположность, когда его столь же отчаянно продувает зимой. А холода здесь дают о себе знать целых пять месяцев в году — от ноября до марта.

Казалось бы, Японские острова, которые лежат на широтах Средиземноморья да к тому же омываются теплым течением, должны иметь даже более мягкий климат, чем Южная Испания или Марокко. Причина относительно суровой зимы — господствующие здесь ветры с Азиатского материка, которые приносят с собой холодный воздух Сибири. Метели засыпают побережье, обращенное к Японскому морю, глубокими снегами.

Горные хребты защищают противоположное тихоокеанское побережье от снегопадов, однако и там погода зимой хоть ясная, но ветреная. Поэтому крестьянские усадьбы чаще всего стоят в Японии спиной к ветру и лицом к солнцу: вдоль всей южной стороны сельского дома тянется узкий деревянный помост, на котором в солнечные зимние дни обогрываются старые и малые.

По вечерам или в пасмурную погоду единственной заменой такому солнечному обогреву еще недавно была лишь хибати — керамическая корчага с горстью тлеющего древесного угля, которую метко прозвали «призраком очага». Возле этого гибрида пепельницы и печки в лучшем случае можно погреть руки.

Если ту же самую корчагу с древесным углем накрыть сеткой и поставить под низенький столик, на который потом сверху кладется ватное одеяло, то это уже будет другая традиционная отопительная система, именуемая котаци. Члены семьи сидят вокруг котаци за ужином или вечерней беседой, держа ноги под одеялом. После войны в японский быт вошли электрические котаци, где тлеющий уголь заменен инфракрасной лампой.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 2 с. 6.

Однако общая концепция отопления осталась прежней. Японцы словно бы смирились с тем, что зимой их жилища нестерпимо холодны. Они довольствуются тем, чтобы согреть себе руки или ноги, не помышляя отопить саму комнату. Зимним утром в Токио нередко можно видеть, как соседи перед уходом на работу разводят на дворе костер из каких-нибудь старых ящиков или коробок и греют себе возле него спины. Можно сказать, что в традиции японского жилища нет отопления, а есть обогривание.

Лишь своей кожей почувствовав в японском доме, чем оборачивается его близость к природе в зимние дни, по-настоящему осознаешь значение японской бани — фуру: это главный вид самоотопления. В повседневной жизни каждого японца независимо от его положения и достатка нет большей радости, чем нежиться в глубоком деревянном чане, наполненном немислимо горячей водой. Зимой это нередко единственная возможность по-настоящему согреться за целые сутки.

Залезать в фуру полагается, предварительно вымывшись из шайки, как в русской бане, и тщательно сполоснувшись. Лишь после этого японцы погружаются по шею в горячую воду, подтягивают колени к подбородку и блаженствуют в этой позе как можно дольше, распаривая тело до малиновой красноты. Зимой после такой бани целый вечер не чувствуешь сквозняка, от которого колышется даже картина на стене. Летом фуру приносит облегчение от изнурительной влажной жары.

Существует множество юмористических рассказов о нецивилизованных иностранцах, которые совершали тягчайший грех: намыливались в ванне и загрязняли драгоценную горячую воду для всех тех, кто должен был сидеть в ней потом.

Однако если присмотреться к японцам в общественной бане или где-нибудь у горячих источников, убеждаешься, что и они не всегда ведут себя, как предписано. Человек подходит с шайкой к крану или прямо к ванне, окатывается раз-другой и тут же залезает в горячую воду, чтобы согреться и к тому же отмочить грязь. Потом он вылезает, моется мочалкой, споласкивается и уже после этого вновь погружается в воду, чтобы насладиться пребыванием в ней как можно дольше.

Восхищение японской баней несколько остывает после более близкого знакомства с ней. Прикосновение к дереву, может быть, действительно приятнее, чем к эмали или кафелю нашей ванны, а глубина фуру действительно позволяет погружаться по самую шею. Но главный недостаток фуру состоит в том, что к дереву неизбежно прилипают ниточки волос, хлопья мыльной пены и что из-за глубины, а также формы деревянного чана его практически невозможно начисто вымыть и хорошо высушить. По утрам японские домохозяйки нередко используют оставшуюся с вечера теплую воду, чтобы прямо в фуру полоскать белье.

И горожанин и сельский житель привыкли бывать в бане если не ежедневно, то через день во всяком случае. Напаста столько горячей воды на каждого человека было бы недоступной роскошью для большинства семей. Отсюда и обычай мыться из шайки, чтобы чан оставался чистым для всей семьи. В деревнях соседки иногда топят фуру по очереди, чтобы сэкономить на дровах и воде. По той же причине в городах еще с прошлого века существуют общественные бани. В Токио, например, ими ежедневно пользуются около двух миллионов человек.

Бассейн такой бани, в котором к вечеру бывает больше голых тел, чем горячей воды, служит главным местом общения для жителей околотка. Обменявшись новостями и набравшись тепла, соседи расходятся по своим нетопленным жилищам.

Погоды тут такие же, что и в Испании, только зимой куда холоднее.

Родриго де Риверо и Веласко. «Дневники» (Мадрид, 1609).

Климат здесь так себе: летом в Токио влажно и жарко, как в Вашингтоне, а зимой — если живешь в японском доме — мерзнешь не меньше, чем в Лапландии. А когда не жарко и не холодно, то обычно идет дождь.

Уолт Шелдон. «Наслаждайтесь Японией» (Токио, 1961).

Официальные туристские справочники избегают распространяться о погоде. Они упоминают лишь о том, что в Японии умеренный климат, приводят среднюю температуру зимы и лета, а также годовое количество осадков. Это не случайно, так как в целом японская погода мало радует. На весь год приходится примерно лишь тридцать дней отличной погоды, когда не холодно и не жарко, безветренно и безоблачно. Сверх того найдется, пожалуй, еще примерно тридцать хороших дней, когда один из этих четырех признаков отсутствует. Лучшие месяцы — это апрель и май, октябрь и ноябрь. А для других сезонов на один хороший день в неделю приходится три средних и три плохих.

В. Мэнт, «Турист и подлинная Япония» (Токио, 1963).

ДВЕРЬ В ПОДЛИННУЮ ЯПОНИЮ

Личное знакомство с домашним бытом японцев безнадежно начинать с попыток пожить в какой-нибудь семье. Приглашать гостей к себе домой у японцев не принято. Даже для семейных торжеств обычно снимают специальное помещение.

Погрузиться в атмосферу подлинной Японии очень трудно и вместе с тем очень легко. Для этого достаточно переступить порог рекана — японской гостиницы. Потому что рекан по своему назначению — это улучшенная модель домашнего очага; заведение, которое как бы монополизировало в этой стране функции гостеприимства.

Реканов в Японии так же много, как храмов или залов игральные машин. И поскольку ночлег в рекане — это, пожалуй, самое глубокое проникновение в японскую жизнь, о котором может мечтать иностранец, настоятельно советую не упускать такого случая.

Давно отмечено, что современная цивилизация стирает местный колорит, ради которого путешественник пересекает континенты и океаны; что туристские отели столь же похожи друг на друга, как и аэропорты. Конечно, в одном из них вас будут обогревать, а в другом охлаждать. Униформа лифтера или горничной, возможно, будет отмечена каким-нибудь национальным мотивом. Но кровать всегда останется кроватью, а ванна и унитаз, если они есть, останутся самими собой на любой широте и долготе, так же как столики в ресторане, где завтракают, обедают и ужинают, как кресла в холле, где курят, листают журналы или просто дремлют. При любых вариациях тема везде будет одна и та же.

Японская гостиница в этом смысле представляет собой исключение. Объяснить, что такое рекан, легче всего от противного: это отель наоборот.

В отеле турист перед ужином надевает пиджак и галстук и отправляется в ресторан. Питается он в общем зале, а принимает душ или бреется у себя в номере. В рекане же постояльцы моются все вместе, даже в одной и той же воде, а ужинать расходятся по своим комнатам. Причем к столу принято не одеваться, а раздеваться, чтобы чувствовать себя как можно непринужденнее.

Японская гостиница, подобно машине времени, уносит вас в неведомый мир. Уже сам вход в нее выглядит так, словно это частный дом, где вы будете не постояльцем, а желанным гостем. Чаще всего это садовая ограда, почти неосвещенная, за которую ведет извилистая дорожка между деревьев и каменных фонарей. Подойдя наконец к зданию, вы видите чуть приподнятый над порогом наощенный деревянный пол и выстроившуюся на нем шеренгу шлепанцев. Внутри лишь низкая ширма — ни конторки, ни ячеек с ключами.

Помните: вы здесь в гостях! А раз так, не надо удивляться, что комнаты в реканах не запираются и не нумеруются, а носят всякого рода поэтические названия — цветов, гор или рек.

Стоит вам выговорить магическую фразу, с которой вы стучитесь в Японии в любую дверь, а именно: «Прошу прощения», как хор женских голосов со всех сторон ответит вам: «Добро пожаловать»

И тут вы почувствуете себя то ли зрителем, то ли соучастником балетной сцены. Из-за кулис выпорхнут несколько женщин в кимоно, каждая из которых

прежде всего отвесит вам церемоннейший поклон, распростершись ниц на полу. Потом они, весело щебеча, помогают вам разуться, разбирают ваши вещи и, топчача, крохотными шажками куда-то вас ведут по коридорам.

С этого момента вы должны полностью положиться на волю судьбы. Вас не спрашивают, какую комнату вы хотите — с ванной или без, с выходом в сад или без такового. И уж тем более никто не поинтересуется, в какую сумму квартирных вы должны уложиться. Вам тоже не полагается спрашивать: «Сколько это стоит?» Как гость, вы не имеете права выбора, вы лишь с благодарностью получаете то, что вам предлагают. Принято делать вид, что хозяин оказывает постояльцу все возможное гостеприимство в обмен на добровольное денежное пожертвование с его стороны.

Это касается не только комнаты, но и еды. Здесь нет меню, из которого вы могли бы заказать что-то по своему вкусу. Вас просто накормят ужином и завтраком, по-прежнему оставляя в неведении относительно цен этих непременных приложений к ночлегу. Единственное, что зависит от вас самого, это количество сакэ, которое будет согрето к вашему ужину и подано за отдельную плату.

Итак, вас подводят к двери, на которой мастерски выписан иероглиф: сосна, слива или что-нибудь в этом роде. Служанка, опустившись на колени, грациозно отодвигает створку, и вы, оставив в коридоре шлепанцы, благоговейно шагаете внутрь. Комната в первую минуту буквально ошарашивает своей пустотой, полной обнаженностью всех своих плоскостей. Сразу даже не решишь: то ли это предел утонченного вкуса, то ли своего рода сени, за которыми находится само жилое помещение.

Пока вы раздумываете над этим, одна из служанок, в то время как другие вышли, снимает с вас пиджак и столь же проворно стаскивает брюки. Прежде чем вы сообразите, как вести себя в такой ситуации, она наденет на вас хлопчатобумажное кимоно, обяжет поясом и пригласит следовать в фуру.

Рекан — это не просто гостиница, то есть место для временного ночлега. Рекан задуман как заведение, которое давало бы человеку идеал домашнего уюта, о котором он может лишь мечтать в повседневной жизни. А идеал этот выражается не во внутреннем убранстве, потому что все комнаты в японских домах выглядят одинаково, и даже не в угощении, потому что японцы в общем-то безразличны к пище. Идеал — во-первых, уединение, поскольку это самая недоступная роскошь в Японии, а во-вторых, возможность окунуться вместо тесного деревянного чана в какой-нибудь необыкновенный мраморный бассейн, соединенный с горячими источниками.

Хотя Япония — островная страна, здесь до недавнего времени не было обычной привычки проводить отдых у моря. Более того, море никогда не было связано с романтикой, оно олицетворяло лишь тяжелый, будничны́й труд. Отдохнуть и развлечься ездят не к морю, а в горы, где есть минеральные источники, чтобы пять—семь раз за день окунуться в горячую воду. Поэтому во всем, что касается фуру, фантазия владельцев реканов не знает предела. В Атами есть гостиница «Фудзия», где баня имеет стеклянные стены, за которыми плавают разноцветные рыбки и колышутся водоросли.

Я никогда не забуду рекан в приморском городке Ито, куда я попал усталый, промокший и иззябший после целого дня, проведенного под дождем. Меня сразу же проводили в фуру, и я с наслаждением забрался в бассейн.

Там уже сидели два японца. Вскоре я заметил, что их головы стали перемещаться к противоположному краю бассейна и вовсе скрылись в клубах пара. Двинувшись за ними, я попал в какой-то тоннель, а потом рядом со мной вдруг оказались ветки с листьями, которые дрожали от падавших сверху капель. Я поднял лицо, увидел чуть в стороне мокрый каменный фонарь, сосну, качавшуюся под ветром, и только тут понял, что нахожусь в саду.

Лежать в горячей воде, видеть над собой темноту ночи и даже чувствовать на своем лице холод дождевых капель — можно ли более контрастно подчеркнуть прелесть домашнего уюта на фоне ненастья?!

ШЕСТЬ ТАТАМИ

Итак, постигать достоинства традиционного японского дома, вникать в их смысл лучше всего в рекане. И не только потому, что вряд ли кто-нибудь пригласит вас к себе с ночевкой, но и потому, что для подавляющего большинства японцев подобный идеал жилища существует скорее в мечтах, чем в реальной действительности.

Особенности японского дома порождены не только угрозой землетрясений, влажностью климата и художественными наклонностями японцев. Своеобразнейшее назначение пола, который одновременно служит постелью и заменяет собой прочную мебель, как и раздвижные перегородки вместо окон и дверей, — все это стремление избавиться от тесноты.

Японская комната пуста именно потому, что при своих ограниченных размерах (чаще всего шесть татами, то есть около десяти квадратных метров) она должна одновременно служить для семьи и спальни, и столовой, и всем чем угодно. Единственный ставящийся на татами предмет — низенький столик — после ужина боком прислоняют к стене, достают из стенового шкафа тюфяки, свернутые одеяла, и вся комната становится постелью для соответствующего числа людей.

Думаю, что обычай жить на татами укоренился прежде всего как оригинальный способ сберегать пространство.

Но может ли выглядеть воплощением художественного вкуса комната из шести татами, если в ней живет целая семья? Малыши, ползающие по полу, имеют обыкновение протыкать пальцами рисовую бумагу на седзи, опрокидывать миски с едой, от чего на татами остаются несмываемые пятна.

При всей изобретательности японцев по части экономии места, такое жилище неизбежно выглядит захлапленным, тесным и даже грязноватым. Студент, который обычно снимает комнату из трех татами, сидит там как на дне колодца, стены которого — штабеля книг.

Что же касается близости к природе, то она дает о себе знать лишь сквозняками из всех щелей. Когда горожанин раздвигает седзи, он чаще всего видит перед собой не сад, а находящуюся на расстоянии вытянутой руки стену соседнего дома или гирлянды развешанного белья.

Жилище — сейчас самое большое место японской семьи и самая разорительная статья в ее бюджете. «Средний японец обеспечен электротехникой лучше, чем одеждой; одеждой лучше, чем едой; едой лучше, чем жильем» — эта ходовая фраза точно выражает суть образовавшихся в послевоенные годы диспропорций.

На взгляд иностранца, особенно человека с русской натурой, японцы в своем семейном бюджете отводят непомерно большое место одежде, оставаясь поразительно равнодушными к повседневной пище. Конечно, здесь сказывается сложившееся в стране соотношение цен. Синтетическая нить и другие заменители позволили сделать дешевыми и потому общедоступными товары широкого потребления — одежду и обувь. В то же время продукты питания, особенно выходящие за рамки традиционного рациона, остаются непомерно дорогими. (Стоимость килограмма мяса и пары туфель примерно одинакова.)

Однако присущее японцам отношение к будничной, повседневной пище как к чему-то сугубо второстепенному в значительной мере коренится в глубине веков. Одежда человека служила в старой Японии символом его общественного положения, а невзыскательность к еде культивировалась как добродетель. Феодалская мораль заставляла семью больше заботиться о том, в чем появиться на улице, чем думать, что будет у нее к столу.

Ничто не создает столь приукрашенного представления об общем жизненном уровне японцев, как внешний вид толпы, которая выплескивается по утрам из станций метро и электрички. Люди одеты хорошо — во всяком случае не хуже, чем в любой из европейских столиц.

Нужно дождаться полудня, чтобы посмотреть, чем питается этот горожанин в отчужденном сером костюме и крахмальной рубашке. К этому часу в деловых

кварталах Токио появляются велосипедисты. Каждый рулит лишь одной рукой, а в другой держит поднос, на котором в несколько этажей наставлены миски. Пыльные из харчевен доставляют обед тем, кто трудится за ультрасовременными фасадами из алюминия и зеленого стекла. Служащие, что сидят в огромном банковском зале, получают разное жалование. Но чаще всего и простые клерки и столоначальники одинаково довольствуются миской горячей лапши.

Хотя питается сейчас средний японец лучше, чем до войны, при нынешних доходах рацион его мог бы куда больше измениться к лучшему. А вот жилищные условия если изменились, то в худшую сторону. Кажется невероятным, но это так: трудовая семья вынуждена тратить на жилье не меньше, чем на питание, а иногда и больше.

Подавляющее большинство горожан арендуют жилье у домовладельцев, а шестьдесят процентов сдающихся жилищ — это комната из шести татами. За такое более чем скромное обиталище для небольшой семьи надо платить третью часть зарплаты да еще внести при въезде трех-шестимесячный залог.

В Японии у восьмидесяти процентов городских семей есть телевизоры. Но восемьдесят же процентов жилищ не имеют канализации. Кран с горячей водой или центральное отопление — редкость, неведомая для простого человека. Горожане в шутку говорят, что дома их, как и в деревне, обогреваются солнцем и дыханием, а вентилируются сквозняком. От раздвижных окон и перегородок дует так, что от керосиновых или газовых печек немногим больше толку, чем от стародавних жаровен с углем.

В любом городе, а особенно в предместьях, куда ни глянь — как грибы вырастают новые жилища. Но на девять десятых это такие же примитивные деревянные постройки, как и крестьянские дома, лишенные современных бытовых удобств.

Самое худшее во всем этом — бесперспективность. В Японии строят много, и строят быстро. Но тут не увидишь, чтобы на пустыре разом поднимался целый жилой массив. Земля — это частная собственность, и цены на нее катастрофически ползут вверх.

Спрос на землю немал. По мере того, как город расплазается на окружающие его крестьянские поля, труженикам приходится ездить все дальше и дальше (многие из них тратят по пять и даже по шесть часов в день, чтобы добраться на работу и вернуться обратно). Владелец участка близ центра Токио может и пальцем не шевельнуть, ожидая, пока его земля удваивается в цене каждые два или три года, в то время как у квартиросъемщика нет иного выхода, кроме как платить все больше и больше.

Эдвард Зейденштинер, «Япония» (Нью-Йорк, 1962).

Лишь шесть японцев из ста спят сейчас «по-иностранному» — на кроватях, остальные же девяносто четыре, как и их предки, проводят ночь на полу, состоящем из татами. Сто тридцать фирм, выпускающих ежегодно около миллиона кроватей, всячески рекламируют их удобство и гигиеничность, утверждая, что в тридцати сантиметрах от пола воздух наиболее насыщен пылью. Однако мастера, что ходят из дома в дом заменять и подновлять старые татами, не беспокоятся за будущее своего древнего ремесла. Они знают: пока с жильем туго, люди не откажутся от пола, способного слушать постелью.

(Передано из Токио в «Правду», 1967).

Семьдесят процентов квартиросъемщиков в японской столице имеют по одной комнате на семью, причем сорок три процента из них живут на площади в шесть татами, а остальные двадцать семь процентов имеют лишь по четыре с половиной татами. Эти данные, собранные федерацией домохозяек, показали остроту жилищного кризиса в Токио, где три четверти съемщиков теснятся на площади семь—десять квадратных метров на семью.

(Передано из Токио в «Правду», 1968).

ПОЛУТОРАЭТАЖНЫЙ ТОКИО

Излюбленный прием описания больших городов — Москвы с Ленинских гор, Парижа с Эйфелевой башни, Нью-Йорка с Эмпайр стейтс билдинг — мало подходит для Токио. И не потому, что границы одиннадцатимиллионного гиганта теряются за горизонтом, а потому, что в его панораме нет таких черт, которые могли бы олицетворять японскую столицу, как Кремль Москву, как Тауэр Лондон или как ворота Тяньаньмынь — Пекин. Даже географический центр Токио — императорский дворец — не доминирует над городом и со стороны воспринимается лишь как опоясанный вром парк.

Токио не может похвастать ни гармонией горизонтальных линий, присущей европейским столицам, ни поражающими вертикалями американских городов. Японскую столицу совершенно не затронул спор современных градостроителей о том, какая планировка лучше — линейная или свободная, потому что ей в равной степени неведомо как то, так и другое.

Токио — это море деревянных, преимущественно одноэтажных домов, сгрудившихся так тесно, словно это мебель, которую кое-как сдвинули в угол комнаты на время, пока красят пол, — сдвинули и забыли поставить на место.

Японцы говорят, что Токио дважды имел и дважды упустил возможность покончить со своей хаотичностью и заново построиться по плану. Первый раз — после землетрясения 1923 года, разрушившего половину города. Второй раз — после американских налетов 1945 года, когда Токио выгорел на две трети и погибло уже не сто тысяч, а четверть миллиона горожан.

Правда, муниципалитет предпринял энергичнейшие меры, чтобы воспользоваться третьим поводом для коренной реконструкции столицы, — подготовкой к Олимпийским играм 1964 года. С тех пор Токио заметно похорошел. Выросло много новых зданий, радующих глаз смелостью архитектурной мысли, безукоризненным качеством строительства, применением новейших отделочных материалов. Новой чертой в облике столицы стали эстакадные автострады.

Однако многое в намеченных планах пришлось уже по ходу урезать из-за вздорожания земли — той, что надо было выкупать у владельцев вместе с домами, намеченными к сносу. Трехкилометровый проспект Аояма, например, обошелся в три миллиона иен на каждый погонный метр. Его можно было бы во всю длину и ширину оклеить деньгами, ибо заплаченный выкуп составил здесь 85 процентов расходов на реконструкцию.

Больно видеть и другое: застройка этой лучшей магистрали столицы велась без всякого архитектурного надзора. Владельцы крохотных участков в тридцать — пятьдесят квадратных метров не пожалели уходить с передней линии и понаставили уродливые вытянутые дома по принципу «четыре комнаты одна над другой», а монументальные многоэтажные здания оказались позади.

Япония ныне вправе гордиться талантом своих архитекторов, мастерством своих строителей. При том множестве замечательных зданий, которые были возведены в Токио за последние годы, лицо японской столицы могло бы неузнаваемо преобразиться к лучшему. Но попробуйте найти точку для панорамного снимка, чтобы каждый, увидевший его, сказал: какой красивый город! Даже совершенство японской фотоаппаратуры бессильно здесь помочь.

Чтобы сделать удачный снимок первого в городе высотного здания — тридцатишестизэтажного небоскреба концерна «Мицуи», нужен не штатив, а ни более и ни менее как вертолет. Сколько бы вы ни ходили по прилегающим улицам, здание это ниоткуда не смотрится «во весь рост» — оно не служит центром ансамбля, как, впрочем, и Токійская башня, которая, даже будучи выше Эйфелевой, отнюдь не способна украшать город в такой степени, как ее парижская сестра.

Можно по пальцам перечест архитектурные новинки, которые стоят действительно на виду: олимпийский комплекс Йойоги, гостиница «Отани», газетный трест «Майнити», Национальный театр. В то же время тысячи монументальных зданий затерялись, подобно рассыпанной в беспорядке мозаике, из которой мож-

но было бы составить великолепное панно, если бы архитекторы работали в содружестве с градостроителями.

Итак, Токио остался городом без главной темы, без определившихся архитектурных черт, которые придавали бы индивидуальность его портрету. Лицо Токио — это не улицы и не здания, это прежде всего люди. Токио волнует, поражает и удручает прежде всего как самое большое в мире скопление человеческих существ.

Одиннадцать миллионов жителей! Причем девять миллионов из них обитают на территории в 570 квадратных километров. Это все равно что сселить всю Венгрию в Будапешт. Плотность населения на этом клочке земли из понятия статистического перерастает в осязаемое. Едва на каком-нибудь из центральных перекрестков загорается зеленый свет, как с обеих сторон улицы лавиной устремляются встречные потоки людей. Каждый поток неудержимо катится во всю ширину пешеходной дорожки, не имея возможности ни отступить, ни свернуть, потому что по краям этого коридора нетерпеливо дожидаются своей очереди ряды замерших автомашин. Одна человеческая стена с размаху сталкивается с другой, посреди улицы возникают завихрения, как при рождении тайфуна. Автомашинны с трудом ликвидируют это препятствие, которое сразу же возникает на противоположной стороне перекрестка.

Японской столице принадлежит мировое первенство не только по числу жителей, но и по остроте проблем, присущих большим городам. Главная из них — это неудержимый рост города-гиганта. Казалось бы, одиннадцать миллионов человек и полтора миллиона автомашин и так уже до предела заполнили собой этот клочок земли. Но каждый год к ним добавляется еще четверть миллиона жителей и сто тысяч автомашин.

Число последних растет особенно бурно и внушает наибольшую тревогу. В 1950 году в городе было зарегистрировано всего шестьдесят пять тысяч машин. Но едва японское автомобилестроение встало на ноги, его продукция прежде всего хлынула в столицу. За двадцать последующих лет число машин на ее улицах возросло в двадцать раз.

Скопление транспорта с включенными двигателями создает сейчас на перекрестках такой смрад, что во многих полицейских будках пришлось установить кислородные приборы: регулировщики время от времени забегают туда отдышаться, чтобы не потерять сознание.

В часы «пик» над городом кружат полицейские вертолеты, чтобы специальная радиостанция могла информировать водителей о наиболее безнадежных пробках и заблаговременно подсказать пути объезда. Впрочем, эта вторая задача все больше становится невыполнимой даже при отличной технической оснащенности токийской полиции. Уличное движение, как мрачно шутят токийцы, превращается в «уличное стояние».

Все большие города мира в той или иной степени страдают ныне от перенапряжения, а порой и закупорки своих транспортных артерий. Но нигде болезнь эта не ощущается так мучительно, как в Токио. Если сопоставить проезжую площадь улиц со всей городской территорией, то в Нью-Йорке она составит тридцать пять процентов, в Париже — двадцать шесть, в Лондоне — двадцать три, а в Токио — всего лишь десять процентов.

Привычный образ современного города — это ансамбли площадей и проспектов, образованные кварталами многоэтажных зданий. Парадокс Токио состоит в том, что крупнейший город мира в основе своей — потерявшее границы захолустье. Лишь три процента токийских улиц имеют тротуары, лишь три процента домов представляют собой современные многоэтажные здания. Средний для города коэффициент этажности — 1,6. Даже в центральных районах, где сосредоточено большинство «билдингов», то есть банков, универмагов, отелей, показатель этот не превышает 3,5.

Кое-где близ станции подземки или электрички в эту неразбериху одноэтажных деревянных домов вкраплены торгово-увеселительные кварталы. По вечерам там ярко полыхает неон, а в соседних переулках самая что ни на есть сельская

глушь: ни фонарей, ни пешеходов. Причем речь идет не о каких-то окраинах: такова японская столица и в пятнадцать минут и в полутора часах езды от центра.

Нет ничего хуже, чем заблудиться в путанице токийских переулков и тупиков. Лишь накануне Олимпийских игр 1964 года сорока четырем улицам Токио были даны официальные названия. Но при этом возникло множество неожиданных и почти непреодолимых трудностей. Так, например, Гиндза — Серебряный ряд — это целый торгово-увеселительный район, прилегающий к самому оживленному перекрестку в центре Токио. Владельцы здешних магазинов, ресторанов, кинотеатров наотрез отказались менять свой respectable адрес. Но ведь нельзя же было дать одно название двум перпендикулярно идущим улицам.

В этом городе без четкого плана, где отсутствуют названия улиц, нет и порядковой нумерации домов. Каждый адрес содержит какие-то цифры. Но, во-первых, номера эти идут не по порядку, а отражают последовательность застройки земельных участков, а во-вторых, нумеруются не сами дома, а кварталы и околотки.

Когда находишься в счастливом неведении относительно всех этих сложностей и, знакомясь с японцем, получаешь от него визитную карточку с телефоном и адресом, кажется, что разыскать и встретить этого человека в нужный момент — дело простое. В конце концов если не сумеешь проехать сам, возьмешь такси и дашь карточку с адресом шоферу. Но, увы, даже эти профессиональные знатоки города могут ориентироваться в нем лишь зонально. Вместо адреса они, в переводе на московские понятия, привыкли слышать примерно следующее: Замоскворечье, Серпуховка, направо по трамвайным путям до остановки «Школа». А дальше уже никакой адрес сам по себе ничего не дает. Дальше шофером такси надо править, как запряженной лошадей, говоря ему в нужных местах: «направо», «налево», «прямо». Эти три японских слова приезжий запоминает относительно быстро. Для четвертой команды вполне годится международное слово «стоп». Беда, однако, в том, что, помимо этих терминов, надо знать, куда ехать. И тут уже никак не обойтись без карты. Вот почему каждый житель Токио, сговариваясь с кем-то о встрече, тут же непременно чертит на листке бумаги план: как добраться до условленного места.

Токио — наиболее японский город из всех, какие я до сего времени видел. Европейское влияние совсем незаметно в этом огромном центре, насчитывающем у себя свыше полутора миллиона жителей и превосходящем своей территорией Лондон, Москву, Нью-Йорк и все прочие главные города мира.

Центр города занимает дворец императора. Торговая часть Токио тянется дальше к востоку. Кто не был здесь, тому трудно представить себе, что такое Гиндза — этот Невский проспект японской столицы. Когда с наступлением вечера вся Гиндза, рынки и лавки освещаются разноцветными бумажными фонариками, то вся эта часть города принимает почти сказочный вид. За Гиндзой тянутся уже жилые улицы города. Они до невероятного узки и кривы. Разобраться в этом крайне запутанном лабиринте однообразных двухэтажных почерневших от времени деревянных домов почти невозможно.

Д. Шнейдер, «Япония и японцы» (СПБ, 1895).

Токио настолько перенаселен, что, кажется, даже собакам здесь приходится махать хвостом не из стороны в сторону, а вверх и вниз. Токио — это лабиринт без путевой нити. Пользоваться тут городским транспортом — значит обрезать себя на казнь; садиться за руль — значит отправляться в бой, ходить пешком — значит совершать самоубийство.

Уолт Шэйдон, «Наслаждайтесь Японией».

Япония, видимо, является единственной в мире страной, где мужчинам позволено публично тискать незнакомых женщин. Чтобы убедиться в этом, достаточно побыть на токийском вокзале Синдзюку в половине девятого утра. Каждые сорок секунд

к платформе прибывает десятивагонный состав пригородной электрички, набитой втрое сверх его официальной вместимости. Когда распахиваются двери и на место сошедших устремляются новые толпы, вступают в действие бригады «толкачей». Их специально нанимают из крепких мускулистых студентов, чтобы запрессовывать пассажиров в вагоны.

После отхода поезда платформа бывает усеяна оторванными пуговицами, сломанными каблуками, оброненными в давке шляпами, перчатками, сумочками. На узловых станциях — таких, как Синдзюку, Уэно, Икебукуро, — имеются специальные киоски, где женщина, вытолкнутая из вагона без одной туфли, может ездить напрокат шлепанцы.

Около пяти миллионов человек ежедневно ездят из предместий на работу в Токио. Зимой транспортная проблема обостряется до предела, так как пассажир в пальто занимает на 10 процентов больше места и никаким «толкачам» уже не под силу справиться с этой прибавкой.

Телеграмма агентства Киодо, 13 января 1969 года.

ЖИЗНЬ НА КОЛЕСАХ

Не следует думать, что Токио единственный в Японии город-лабиринт. Хаотичная застройка населенных пунктов, узкие улицы и плохие дороги типичны для страны в целом. Это имеет свою историческую подоплеку. Вплоть до 1868 года Япония не знала колес. Знать путешествовала из города в город на носилках, воины и гонцы — верхом, а земледельцы, ремесленники, торговцы, то есть люди низших сословий, могли передвигаться лишь как пешеходы.

Всего столетие назад в Японии вовсе не было дорог, по которым могла бы проехать даже простая повозка, и совершенно отсутствовала какая бы то ни было система пассажирского сообщения. Тем любопытнее, что японцы были одним из первых народов мира, учредивших правила уличного движения. Врач Самберг, который посетил Страну восходящего солнца в 1770 году, писал: «Они очень заботятся о порядке на дорогах. Они додумались даже до того, что люди, следующие в столицу, всегда придерживаются левого края дороги, а для тех, кто движется им навстречу, предназначена правая сторона. Вот правило, которое очень пригодилось бы в Европе».

Правда, нынче, то есть двести лет спустя, Японию уже, пожалуй, никто не назовет образцом порядка на дорогах. Если что и соблюдается неукоснительно, так это лишь сама идея левостороннего движения. В остальном же японский водитель настолько привык двигаться в потоке, что обращает очень мало внимания на какие-либо правила. Когда вместо впереди идущих машин перед ним оказывается пустое пространство, он способен проскочить перекресток не только на желтый, но даже на красный свет.

Полицейские же относятся к нарушителям с совершенно необъяснимой снисходительностью, хотя всего лишь сто лет назад любое нарушение дорожных правил немедленно каралось ударом меча. За десять лет до того, как между Токио и Иокогамой была открыта первая в Японии железная дорога, англичанин, ехавший верхом по этому маршруту, был насмерть зарублен за то, что вовремя не сошел с коня при появлении японского вельможи.

Колесо впервые вошло в японский обиход вместе с отнюдь не самым славным для мировой цивилизации изобретением: одноосной повозкой, в которую впрягался человек. И хотя слово «рикша», так же как слово «кули», привычно ассоциируется с образом старого Китая, обычай ездить на людях отнюдь не относится к числу многочисленных японских заимствований у их азиатского соседа. Сомнительная честь этого изобретения середины XIX века принадлежит американцу Гобле.

Он попал в Японию как один из матросов commodора Перри, «черные корабли» которого были первой попыткой колонизаторов взломать запертые двери феодальной Японии. Ознакомившись со средствами сообщения в Стране восходя-

щего солнца, предприимчивый американец первым наладил производство двухколесных колясок, получивших японское название «джин-рикша-ся», что при переводе каждого из трех иероглифов означает «человек-сила-повозка». В английском языке слово это трансформировалось в «джин-рикша» и уже потом вошло в обиход иностранцев не только в Японии, но и в других азиатских странах просто как «рикша».

История японских железных дорог началась 12 сентября 1872 года, когда из Токио в Иокогаму отправился первый пассажирский поезд. Приглашенные на это торжество высокопоставленные лица поднимались в вагоны так же, как японец привык входить в дом: прежде чем ступить на подножку, каждый из них машинально разулся. Когда через пятьдесят семь минут восхищенные сановники сошли в Иокогаме, они с удивлением и раздражением обнаружили, что никто не позаботился заранее перевезти и расставить на перроне их обувь.

Видимо, именно этот случай на целое столетие вперед отучил японцев отождествлять вагон с жилым помещением. Стоит пассажирам занять свои места, как на пол тут же летят обертки от конфет, кожа мандарин, газеты, пустые консервные банки...

Железные дороги быстро и прочно вошли в быт японцев. Поезда всегда полны, причем по крайней мере треть пассажиров едет не по необходимости, а ради удовольствия. О ежедневных приливах и отливах рабочей силы из пригородов — разговор особый. Во время дневного затишья циркулируют специальные поезда, битком набитые детворой. Каждая школа организует по две экскурсии в год, планируя их так, чтобы за время обязательного образования учащийся непременно объехал всю страну и своими глазами увидел все ее достопримечательности — размеры Японии, а также специальный льготный тариф делают это возможным.

Первое время мне казалось, что, кроме немногочисленных экспрессов со спальными вагонами (расстояния здесь такие, что редко приходится ехать больше восьми часов), ночью в Японии курсируют лишь товарные поезда. Оказалось, что это не так. Пригородные составы, освободившиеся от утреннего «пика», используются в ночные часы, чтобы перевозить крестьянские и студенческие экскурсии по самому низкому тарифу. Осенью, в сезон свадебных путешествий, билеты на скорые поезда можно достать только заранее: их разбирают молодежны.

Куда болезненней входит в жизнь Японии автомобиль. Никому не могло прийти в голову плодить в стране паровозы и вагоны раньше, чем будут проложены рельсы. Между тем с автомашинами получилась именно так: поток их хлынул с конвейера и уперся в бездорожье. В 1960 году Япония по производству автомашин вышла на пятое место в мире, перегнав Италию, в 1964 году — на четвертое, перегнав Францию, в 1966 году — на третье, перегнав Англию. В 1967 году Япония выпустила три миллиона двести тысяч автомашин, опередив Западную Германию и уступая теперь в мире лишь Соединенным Штатам Америки.

Занимать второе место в мире по выпуску автомашин и иметь на душу населения лишь по две десятых погонных метра дорог с покрытием — такой парадокс не мог остаться безнаказанным. Около пятнадцати тысяч убитых, полмиллиона раненых — таков ежегодный счет жертв уличного движения.

Жизнь на колесах стала нынче делом народа, который еще недавно вовсе не знал колеса. Дороговизна жилья заставляет людей селиться все дальше и дальше, и города беспорядочно расползаются по окрестным полям. Если раньше окраины из плотно слипшихся деревянных жилищ тянулись на полчаса езды, то теперь тянутся на два. Все понимают, что в условиях Японии это вопиющее расточительство земельной площади, что куда целесообразнее было бы строить многоэтажные комплексы — стало бы просторнее жить, легче было бы наладить коммунальное хозяйство. Но из-за непрерывного роста цен на землю об этом остается лишь мечтать.

Японская жизнь издавна подчинялась круговороту четырех времен года. Теперь она пульсирует еще и в суточном цикле приливов к городам. Причем становиться кочевниками вынуждены не только рабочие и служащие. Жизнь на колесах захватила в свою орбиту и крестьянство. Каждый земледелец знает, что труд на стройке или в цехе вчетверо доходнее, чем на поле. Однако совсем бросать деревню крестьянин не хочет, потому что жилищные условия на селе лучше, чем в городе.

СКУЧЕННОСТЬ И ПРОСТОР

Проселочная дорога взбирается вверх, огибая выступы лесистых гор. Как непривычно ощущать величие и покой природы, вглядываться в пестреющие маками луга, в лиловые взгорья, уходящие вдаль, к снежной гряде. Как странно шагать одному, слышать одно лишь птичье пение.

От единственного попутчика — крохотного мальчугана с огромным скрипучим ранцем — удается узнать, что автобус ходит здесь лишь дважды в день: ранним утром и поздним вечером. За весь путь я увидел лишь почтальона на красном мотоцикле. Шагаешь по безлюдному проселку и не перестаешь удивляться: неужели это Япония? Та самая страна, где города и поселки с их беспорядочной мешаниной домов срослись воедино; где борозды полей и огородные грядки упираются в заводские корпуса; где о тесноте напоминают даже сиденья в автобусе, кресла в кинотеатре, даже окна и двери, которые не отворяются, а раздвигаются...

Мало кому из приезжих раскрывает Япония свое другое лицо. Существует представление, что необжитые просторы остались лишь на Хоккайдо — самом северном из японских островов, где на пятую часть территории страны приходится лишь двадцатая часть ее населения. На Хоккайдо японцы смотрят так же, как русские на Дальний Восток или американцы на Дальний Запад. Хмурый берег холодного Охотского моря. Будто кости на поле брани, белеют выброшенные волнами бревна плавника. Уходят к горизонту пологие взгорья, над которыми тяжело громоздятся облака. Бескрайние пустоши, где желтеют одуванчики и лениво пасутся коровы. Овраги, поросшие лопухом. Березовые рощицы. Стога сена. Молочные бидоны на дощатых помостках. Редко разбросанные усадьбы с силосными башнями и длинными крытыми поленищами... Таков Хоккайдо.

Но японская Сибирь не только там. Уголки ее увидишь по всей стране — достаточно лишь отклониться от традиционных туристских маршрутов, проходящих след за столицей еще через семь японских городов, население каждого из которых перевалило за миллион человек, — Иокогама, Нагоя, Киото, Осака, Кобе, Китакюсю и Фукуока. (Напомню для сравнения, что во Франции, кроме Парижа, нет ни одного города с населением более миллиона человек.)

Эта цепочка перенаселенных человеческих муравейников, беспорядочно разросшихся после войны вокруг портов, образует так называемый Тихоокеанский промышленный пояс.

Но стоит лишь свернуть немного в сторону от этого продымленного скопления машин и людей, как глазам откроются лесистые горы, реки с пенящимися водопадами, альпийские луга, тихие вулканические озера, дремлющие среди вековых елей. Такова северо-восточная и центральная часть Хонсю, таков юг Сикоку и юг Кюсю. Однако границы этой малознакомой нам Японии очень запутанны и извилисты. В отличие от Италии с ее четким разделением на индустриальный север и аграрный юг экономические зоны в Японии перемешаны, создавая своеобразный контраст скученности и простора.

Плотность населения в Японии лишь немногим больше, чем в Германии или Англии, и меньше, чем в Бельгии или Голландии. Но теснота здесь бросается в глаза прежде всего потому, что половина населения страны сгрудилась сейчас всего на полтора процентах ее территории.

Когда в 1868 году Япония вступила на путь промышленного развития, в ней

насчитывалось тридцать миллионов жителей. Затем население ее выросло до сорока миллионов в 1891 году, до пятидесяти — в 1912-м, до шестидесяти — в 1926-м, до семидесяти — в 1937-м, до восьмидесяти — в 1948-м, до девяноста — в 1960-м и до ста миллионов в 1967 году. Ныне Япония уступает по числу жителей лишь шести государствам мира: Китаю, Индии, СССР, США, Пакистану и Индонезии.

Территория Японии не так уж мала — триста семьдесят тысяч квадратных километров. Это полторы Англии. Однако японская земля на шесть седьмых состоит из почти не освоенных человеком горных склонов. Здесь по сей день наблюдаешь поразительный контраст безлюдной и нетронутой природы и перенаселенных равнин, где города и заводские здания теснят и без того крохотные пашни.

Казалось бы, бурное индустриальное развитие послевоенных десятилетий должно было привести к более равномерному размещению производительных сил, к освоению необжитых мест. Однако произошло обратное: там, где людей много, население растет быстрее всего, там, где их мало, оно уменьшается.

Из пятидесяти миллионов человек, скученных на полутора процентах японской земли, двадцать пять миллионов приходится на долю Токио, Осака и Нагоя с их разбухшими предместьями. Таково новое для Японии стихийное бедствие, которое именуется здесь словом «перекоc».

Промышленное развитие тяготеет к тихоокеанскому побережью. И это стало в современной Японии причиной многих зол. Редкая фирма отваживается проникать в глубинные районы: нужны крупные капиталовложения, нужно время, чтобы их окупить. Большинство новых предприятий предпочитает тесниться вблизи портов — сырье ведь поступает из-за морей. Рабочая же сила придет к нанимателю куда угодно. А где будут селиться, как будут жить люди, промышленнику нет дела.

Этн рассказывает и на деревне — расщепляется молекула крестьянской семьи. Земледелец сознает, что и в родных местах многое можно сделать, чтобы поднять доходы. Но чтобы осваивать горные склоны, создавать сады, виноградники, парниковые хозяйства, разводить свиней или птицу, нужны деньги. А когда весь капитал состоит из пары мозолистых рук, приходится исходить из того, что в цехе или на стройке этими руками можно заработать вчетверо больше, чем на поле. Высадив рассаду или убрав рис, в города почти на полгода уходят вереницы сезонников. И оттого, что малообжитые районы находятся в каких-нибудь четырех—шести часах езды от Токио, они становятся еще более безлюдными. Низкие доходы — отток населения — сокращение урожайности — новое падение доходов. Вот заколдованный круг, в котором оказалась японская деревня.

Один из самых жестоких парадоксов современной Японии: наряду с невыносимой теснотой Тихоокеанского пояса в глубинных районах, на которые приходится почти треть сельскохозяйственных ресурсов страны, все больше обостряется проблема недонаселенности.

При том, что на двор приходится всего по гектару пашни, японское крестьянство почти не осваивает новых земель. Мало того, даже возделанные поколениями предков поля часто оказываются заброшенными. Женщины надрыдают здоровье на полях, пытаются заменить ушедших в города мужей. Приходят в упадок оросительные и паводкозащитные сооружения: их некому отремонтировать. Органы местного самоуправления не могут свести концы с концами из-за сокращения налоговых поступлений. Они не в силах удержать врачей, учителей, и в глубинных районах учащаются заболевания, становится все больше школ, где несколько классов размещается в одной комнате и слушает одного учителя. Даже сельские пожарные дружины приходится, как в годы войны, формировать из пожилых крестьянок.

Высокие темпы промышленного развития лишь усугубили перекоc. На тех полутора процентах территории, где послевоенные перемены очевиднее всего, они не сделали жизнь людей удобнее, а страну краше.

Я не хочу сказать, что Япония живописна лишь там, где природа ее осталась нетронутой. Разве не волнует душу созданная поколениями уступчатая мозаика рисовых полей, шелковый блеск воды между шеренгами молодых стельбелок? Или чайные плантации, где слившиеся кроны аккуратно подстриженных кустов спускаются по склонам, словно гигантские змеи? Или похожие на шеренги солдат мандариновые рощи, где возделаны и засажены даже междурядья?

Ухоженность, отношение к полю, как к грядке или клумбе, — характерная черта Японии, один из элементов ее живописности. А разве не красит пейзаж бетонная лента Мэйсинской автостреды между Нагоя и Кобе или гордый изгиб моста, перекинувшегося через озеро Бива?

Человеческий труд способен умножать красоту природы — пропорционально разумности его приложения. Но именно там, где облик Японии в наибольшей степени изменился, бросается в глаза надругательство над красотой, особенно вопиющее там, где ее так умеют ценить.

Современная Япония как бы являет собой двоякий пример для человечества — и положительный и отрицательный. С одной стороны, своим жизненным укладом японцы опровергают домыслы о том, будто механическая цивилизация заслонит от человека мир прекрасного — сначала в природе, а потом и в искусстве. С другой стороны, облик Японских островов тревожнее всех других уголков земли предостерегает в наш век против губительных последствий неразумного природопользования.

Японская земля очень красива, еще не остывшая от вулканов, та земля, которая человеческому труду отдала только одну седьмую часть себя,— пусть так. На самом деле чудесны глазу японские пейзажи вулканов, бухт, гор, островов, озер, закатов, сосен, пагод. Природа Японии — нищая природа, жестокая природа, такая, которая дана человеку — на зло. И тем с большим уважением следует относиться к народу, сумевшему обратить и возделывать эти злые камни, землю вулканов, землю плесени и дождей.

Я смотрел кругом и — кланялся человеческому труду, нечеловечески человеческому.. Я видел, что каждый камень, каждое дерево охолоны, отроганы руками. Леса на обрывах посажены — человеческими руками — точными шахматами, по ниточке. Это только столетний громадный труд может так бороться с природой, бороться природу, чтобы охолить, перетергать, перекопать все скалы и долины. Все, куда ни кинь глазом, где ни прислушайся, все говорит об этом труде, об этом организованнейшем труде. Шесть седьмых земли японского архипелага выкинуты из человеческого обихода горами, скалами, обрывами, камнями,— и только одна седьмая отдана природой человеку для того, чтобы он садил рис.

Борис Пильняк, «Камни и корни» (М. 1935).

Если бы в Париже построили виадук над папертью собора Парижской Богоматери, в Версале — маленькую Эйфелеву башню, чтобы смотреть на дворец сверху, если бы металлургические предприятия компании «Юзинор» — избрали Лазурный берег местом строительства своих доменных печей, если бы за римским Колизеем появился завод, а на афинском Акрополе — Луна-парк, мы имели бы нечто сходное с тем ущербом, который наносит Японии неистовая модернизация. Японский капитализм, порой жестокий с людьми, еще меньше церемонится с природой: он слишком спешит. Законы, дающие ему всякого рода права, налагают на него мало обязанностей в отношении общества...

Робер Гиллен, «Столетие Японии» (Париж, 1967).

ПО МАРШРУТУ ХУДОЖНИКА ХИРОСИГЕ

Для полной иллюзии не хватает лишь светового табло: «Застегнуть привязные ремни». В остальном все напоминает кабину современного реактивного самолета: ряды мягких кресел — по три справа и два слева от прохода, — удобная откидная спинка, к локотнику можно приладить складной столик, наверху

плафоны дневного света; сбоку — индивидуальная лампочка с узким лучом; звонок, возле которого нарисована девушка в пилотке; кондиционированный воздух; а главное — ощущение той предельной скорости, когда стальная птица должна вот-вот оторваться от земли.

Но разбег все длится и длится, так и не переходя в полет. Ведь мчимся мы не по бетону аэродрома, а по рельсам, мчимся в вагоне экспресса «Хикари» по Новой Токайдо.

Сверхскоростная железнодорожная магистраль унаследовала имя старинного тракта. Токайдо — Дорога у восточного моря — шла от Эдо¹ до древней императорской столицы Киото. Тракт имел пятьдесят три станции. На каждой из них верховые меняли лошадей, через одну останавливались на ночлег.

Новая Токайдо протянулась еще дальше, до Осака. Но все расстояние в пятьсот пятнадцать километров «Хикари» пробегает за три часа. Между Токио и Киото поезд делает теперь лишь одну минутную остановку в Нагоя.

Глядишь в окно на пронсящиеся мимо города и вспоминаешь великого живописца Хиросиге. В 1832 году он провел этой дорогой коня, посланного сегуном в подарок императору. Впечатления многодневного пути художник воплотил в серии картин «Пятьдесят три станции Токайдо», увековечив портрет Японии того времени.

Как бы соперничая с этим замыслом, экспресс «Хикари» стремительной кинолентой раскручивает перед глазами панораму Японии наших дней. Сохранила ли она сходство с портретом Хиросиге?

Той же суровой недоступностью веет от гор, теснящих к морю лоскутные поля. С той же покорностью кланяются земле согнутые пополам крестьянские фигуры. Природа, кажется, по-прежнему свысока смотрит здесь на своего пасынка — человека.

Многое ли меняют шагающие по горным кручам линии электропередачи или торчащие над соломенными крышами телевизионные антенны?

Но вон там, слева, где дорога издавна жалась к пенной кромке морского прибоя, экскаваторы грызут седой замшелый утес. Гордо и стойко отбивал он извечное нашествие волн. А теперь половина его уже лежит внизу, где дерзко выдвинулся в море насыпанный, намытый прямоугольник земли. На нем, словно в фантастическом городе, высятся серебристые башни, резервуары, сложные переплетения труб — нефтехимический комбинат на клочке отвоеванной людьми суши.

Когда-то Ильф и Петров писали о Соединенных Штатах как о стране, где человек и природа состязаются в рекордах. В Японии впечатляет другое: размах там, где, казалось бы, негде да и нечем развернуться. Природные возможности служат здесь скорее контрастом тому, что творит человеческий труд.

Ведь страна, которая спускает на воду половину всех строящихся в мире судов и держит первенство по выпуску телевизоров, радиоприемников, фотоаппаратов, которая вышла на второе место в мире по производству автомашин и на третье по выплавке стали, — эта страна создала свой промышленный потенциал почти целиком на привозном сырье. Единственный вид ресурсов, которым она наделена в достатке, — это спорые руки и дельные головы.

Еще в 1955 году зарубежные конкуренты могли вовсе не принимать японскую металлургию в расчет — она едва достигала тогда своего довоенного уровня: семи-восьми миллионов тонн стали в год. Но в 1956 году выплавка стали перешла за десять миллионов тонн, в 1960-м — за двадцать, в 1965-м — за сорок, в 1968-м — за шестьдесят миллионов тонн и в предстоящем десятилетии приблизится к ста миллионам, то есть к нынешнему уровню США и СССР.

С середины пятидесятых годов Япония опережает по темпам развития все другие капиталистические страны. Ежегодно увеличивая объем промышленного производства более чем на десять процентов, она вырвалась в тройку ведущих

¹ Так назывался Токио, когда был столицей сегунов — военных правителей Японии.

индустриальных держав мира, уступая теперь лишь Соединенным Штатам и Советскому Союзу.

Мчится поезд — двести километров в час, — и мысли теснятся, спеша поспеть за ним. Со времен Хиросиге иными стали не только формы жизни, но и ее ритм. «Пятьдесят три станции Токайдо» донесли до нас панораму страны, наглухо закрытой от внешнего мира, дремлющей накануне пробуждения от феодального сна. Экспресс «Хикари» уже сам по себе воплощает высокие скорости, стремительные перемены.

Об этом и шел разговор в вагоне.

— Как удалось вам, японцам, взять после войны такой разгон? Где разгадка ваших высоких темпов? — допытывался английский журналист.

Отвечал наш попутчик, крупный судостроитель из Осака. Война, по его словам, ничего в Японии не пощадила, но зато расчистила место. Старье не путалось под ногами. Так что, воспользовавшись плодами научно-технической революции, можно было заново переориентироваться на наиболее перспективные отрасли: нефтехимию, радиоэлектронику, автомобилестроение, модернизировать металлургию и судостроение. Словом, целиком переоснастить промышленность новинками мировой техники. Вот производительность труда и пошла круто вверх...

— Добавьте, что заработная плата при этом если и повышалась, то гораздо медленнее, оставаясь куда ниже западноевропейской, — напомнил я.

— Вы говорите, — снова обратился к осакскому промышленнику англичанин, — что на пустом месте было легче создавать все заново. Но как же начинать с нуля? Чтобы делать деньги, говорят бизнесмены, надо их иметь.

Ответ был тот же, что я слышал от японцев уже не раз: встать на ноги помогла война в Корее. Через пять лет после капитуляции Япония, еще лежавшая в руинах, вдруг стала прифронтовой полосой. Американцам надо было срочно организовать снабжение войск, ремонт боевой техники. Посыпались интендантские заказы. Больше двух миллиардов долларов было впрыснуто в организм частного предпринимательства. Именно такая инъекция послужила изначальным толчком послевоенной деловой активности.

Доллары, заработанные на корейской войне, были к тому же удачно использованы: массовые закупки новейшего оборудования сопровождалась еще более широким импортом зарубежной технической мысли в форме лицензий, патентов и соглашений о техническом сотрудничестве. Ценные новинки выискивались и покупались всюду, где только возможно, в том числе и в СССР (например, метод непрерывной разливки стали). В 1950—1963 годах Япония потратила на эти цели шестьсот пятьдесят миллионов долларов, зато на основе приобретенной технологии получила продукции на тринадцать миллиардов долларов. Импорт зарубежной технической мысли дал стране огромную экономию времени и средств как на научные исследования, так и на внедрение новейших изобретений и открытий в производство.

— К тому же вы, японцы, сравнительно мало тратите пока на военные нужды, всего около одного процента совокупного общественного продукта, — вставил англичанин. — Американцы уже жалеют, что поначалу почти безвозмездно вооружали ваши «войска самообороны». Теперь они спохватились, что без такого бремени Япония быстрее набрала силы, чтобы теснить их на мировом рынке.

— Незначительность военных расходов дает нам примерно пятую часть ежегодного прироста производства, — согласился осакский промышленник. — Но это только прямой эффект, а ведь есть еще и косвенный.

Наш собеседник пояснил свою мысль. Покупая больше, чем кто-либо, лицензий и патентов, Япония меньше, чем кто-либо, тратит средств на научные исследования. Другие развитые страны не могут позволить себе этого прежде всего по военным соображениям. Именно заботы о боеспособности вооруженных сил толкают великие державы к самостоятельным поискам последнего слова в науке. Япония же могла пока довольствоваться последним словом в технике, то есть открытиями вчерашнего дня, которые уже перестают быть военным секретом.

Японские предприниматели смело сделали ставку на то, чтобы, не застревая на изобретательстве уже изобретенного, сразу вырваться к переднему краю технического прогресса. Когда расчет оправдался, они пошли по тому пути и дальше: перенимая достижения зарубежной мысли, стали искать им иное применение и вышли на мировой рынок с новой продукцией...

В чем причины стремительного развития японской индустрии?

Может быть, секрет состоит в том, что внедрение новой техники привело за последнее десятилетие к росту производительности труда в промышленности более чем на 8 процентов в год? Или, может быть, секрет в том, что доля накопления составляет здесь 32 процента совокупного общественного продукта (почти вдвое больше, чем в США)? Может быть, секрет в быстром повышении квалификации рабочей силы в том, что при всеобщем обязательном девятилетнем образовании трое из четырех детей стремятся окончить двенадцать классов, а один из четырех — продолжает учиться в техникуме или в вузе? Или, может быть, секрет в том, что стране удалось ежегодно расширять свой экспорт на 14 процентов — в два раза быстрее общего прироста мировой торговли, и что в основном экспортируется продукция ведущих отраслей индустрии — машиностроения и химии?

Журнал «Форчун» (США), 1967.

Производительность труда в обрабатывающей промышленности Японии в последние годы была на 97,3 процента выше, чем в Англии; на 87,5 процента выше, чем в ФРГ, и на 59,6 процента выше, чем во Франции. В то же время средняя заработная плата составляла всего 80 процентов английской, 88,8 процента западногерманской и 66,6 процента французской. Если сравнить с Соединенными Штатами, то производительность труда в Японии оказывается ниже всего на 20 процентов, а заработная плата — на 73,3 процента. В результате этого доля зарплаты в издержках производства в Японии в два с половиной — три раза меньше, чем в других капиталистических странах.

Журнал «Новое время» (СССР), 1968.

Промышленность Японии более современна, чем у ее конкурентов. 77 процентов всех японских машин создано менее шести лет тому назад. Ни в одной индустриальной стране крупные фирмы не имеют, однако, такой задолженности, как в Японии. Более 80 процентов их капитала (в США — 35 процентов) составляют банковские кредиты. Готовность предпринимателей обновлять оборудование и расширять производство целой массы долгов обеспечила длительный бум в экономике.

Есть еще одна причина успехов Японии: большая разница между крупными и мелкими предприятиями. Первые — это носители технического прогресса, вторые — их рабы. Мелкие производители за бесценок выполняют для крупных фирм самую тяжелую и трудоемкую работу. За их счет Япония часто могла выбрасывать на мировой рынок товары по таким низким ценам, что они оказывались вне конкуренции. В то же время как в ФРГ труженики самых мелких предприятий получают около трех четвертей дохода их коллег, работающих в концернах, в Японии эти люди едва зарабатывают одну треть, не имея к тому же ни единовременных вознаграждений, ни льгот по социальному страхованию, ни оплачиваемых отпусков, ни пенсий. Японская официальная статистика сообщает лишь о нескольких сотнях тысяч безработных, однако на мелких предприятиях влачит жалкое существование целая резервная армия, насчитывающая около трех миллионов человек, которая обеспечивает себе прожиточный минимум лишь за счет дополнительных приработков в сельском хозяйстве, преимущественно у родителей-крестьян.

Журнал «Шпигель» (ФРГ), 1969.

Вот уже пятнадцать лет Япония неизменно выделяет в фонд накопления 30—35 процентов своего совокупного общественного продукта, в то время как другие индустриальные страны лишь 18—20 процентов. В числе причин этого отметим, что военные расходы Японии составляют одну шестую или одну пятую часть английских, фран-

и итальянских, одну десятую часть американских и лишь одну треть западногерманских, одну десятую часть американских и лишь одну треть итальянских. Кроме того, здесь сказывается поразительная бережливость японцев, которая в свою очередь является следствием различных индивидуальных и коллективных факторов — от традиционной умеренности в быту до дороговизны образования.

Япония являет собой едва ли не самый разительный пример данного Марксом определения роли правительства как «Комитета, управляющего делами буржуазии». Развитие экономики тут изучается, контролируется и направляется столь интенсивно, как редко еще где в мире. Достигается это тесным контактом монополий с правительством, а исполнителями их директив служат банки, играющие в Японии более значительную роль, чем в любой другой развитой стране. Достаточно лишь как-то ограничить или обусловить банковские кредиты (из которых на три четверти состоит капитал даже у крупных фирм), чтобы деловая активность тут же пошла на убыль.

Специфика японской действительности заключалась также в сочетании высоко современной организации производства с традиционным — порой даже феодальным — образом мышления. На японском предприятии странным образом сохранился дух семейственности и цеховщины. Пожилые рабочие получают вдвое больше молодых за ту же самую работу (даже если они трудятся менее эффективно по причине своего возраста). Там, где людей принято нанять пожизненно, у трудящихся меньше причин противиться быстрому техническому обновлению предприятия.

Журнал «Экспрессо» (Италия), 1969.

Приезжий англичанин бывает шокирован, узнав, что Япония сейчас — более образованное общество, чем Великобритания. Японцев, посещающих английские предприятия, поражает там недостаток инженеров. На японских же заводах их обычно больше чем нужно. Поэтому как только туда поступает какая-нибудь зарубежная новинка, эти недогруженные специалисты жадно накидываются на нее, внося уйму предложений о том, что в ней можно улучшить. Так очень несложные усовершенствования подчас позволяют существенно поднять производительность.

Журнал «Экономист» (Англия), 1967.

Мы в Европе еще часто думаем, что японцы нас догоняют. Но это уже не так: они нас перегоняют. Это мы, если смотреть на нас из Токио, тащимся в темпе XIX века, тогда как они куда резвее устремились в 2000-й год.

Еще задолго до конца столетия тихоокеанское побережье Японии станет сплошной городской зоной протяженностью в шестьсот километров. Экспресс «Хикари» — это предвестник будущего, это метро сверхгорода 2000-го года, рождающегося в Стране восходящего солнца.

Газета «Монд» (Франция), 1967.

Мы говорили, а экспресс «Хикари» иллюстрировал нашу беседу примерами, которые сменяли друг друга, как кадры широкоэкранной киноленты. Вот пронеслась мимо Синагава. Во времена Хиросиге здесь была первая из пятидесяти трех станций Токайдо. Там, где художник рисовал харчевни южного предместья Эдо, теперь высится бетонная громада, далеко разнесшая молву о современной Японии.

Длинный фасад облит лучами прожекторов. Он светится в сумерках, словно шкала радиоприемника. Впрочем, именно к такому сравнению, возможно, толкают пылающие на крыше неоновые буквы — «Сони».

— Как вы умудрились обойти столь сильных конкурентов на мировом радиотехническом рынке? — спросил я как-то президента этого концерна господина Масару Ибука.

— Не столько нашей изобретательностью, сколько умением схватывать и развивать неиспользованные возможности изобретений других стран, — усмехнулся он.

В этой шутке была, однако, не только доля правды. В ней была сама суть. Мысль заменить радиолампы транзисторами родилась не в Японии. Но именно

концерн «Сони» первым заинтересовал мир «японской новинкой» — создал карманный транзисторный приемник, доступный массовому потребителю.

Масару Ибука любит повторять, что теряет всякий интерес к продукту, как только он перестает быть новинкой.

Едва выпуск миниатюрных радиоприемников освоили другие японские компании, «Сони» сделала ставку на портативный транзисторный телевизор, который имеет экран с коробку сигарет и умещается в дамской сумочке. Фирма, которая до конца пятидесятых годов вообще не прикладывала рук к телевизионной технике, сумела буквально заполнить этим новым продуктом американский рынок; нашла оружие, чтобы победить конкурентов в стране, где голубые экраны вошли в быт задолго до войны.

«Микротелевизор» еще только входит в моду, а Масару Ибука уже готовит ему смену: домашний видеотайп — аппарат вроде кинокамеры, которым можно снимать на магнитную ленту, а потом воспроизводить изображение на телевизионном экране. Вся техника, что на американских и европейских телестудиях занимает целую комнату, втиснута в размеры обычного магнитофона. Задуманы также видеопластинки, которые позволят не только слышать, но и видеть исполнителей.

Что же дальше? Дальше в мечтах конструкторов «Сони» — настольные электронно-вычислительные машины, доступные, как соробан — японские костяные счеты. Концерн сейчас ведет исследования в этой области. Как движутся они? Об этом рассказывают неохотно. Больше стараются узнать, в каком направлении действуют другие фирмы, чтобы воспользоваться их находками.

В целом расчет японских дельцов оправдался. Но их подход имел и свои отрицательные последствия. Поглощенная больше тем, где найти и как перенять что-то готовое, японская инженерная мысль в немалой степени утрачивала вкус к дальней перспективе. Нежелание частных фирм самим тратить деньги на научные исследования привело к тому, что многих талантливых ученых переманили американцы.

Увлечение импортом зарубежного технического опыта обернулось отставанием фундаментальных наук. Оно все больше дает о себе знать.

Наиболее дальновидные фирмы понимают, что пора уже самим прокладывать новые пути — без этого не выиграешь в конкурентной борьбе. Будто подсказывая наглядный пример, экспресс «Хикари» замедлил ход, чтобы сделать первую остановку на своем пути.

Внизу под эстакадой проплыли улицы Нагоя. Потом потянулись корпуса цехов со знакомой каждому японцу маркой «Торэй». Это был завод фирмы «Тойо рэйон» — главного производителя искусственного волокна и изделий из него.

Фирма первой в Японии начала выпускать нейлон, купив патенты в Америке у концерна «Дюпон». Она хорошо нажилась на этом, будучи первой, но понимала, что не останется единственной. Синтетическая нить произвела переворот в текстильной промышленности. Спрос на нее увеличивался из года в год. Однако число желающих погреть руки на этом прибыльном деле росло еще быстрее. Все новые компании вкладывали в него свои капиталы и, несмотря на явно обозначившуюся угрозу перепроизводства, вводили в действие завод за заводом.

Чтобы сохранить за собой лидерство в условиях обостряющейся конкуренции, фирма «Тойо рэйон» выделила солидную долю прибыли на разработку принципиально новой технологии. Был создан институт фундаментальных исследований, нацеленный работать на десятилетие вперед.

Один из результатов этих усилий можно увидеть на заводе в Нагоя.

При изготовлении капролактама — сырья для «нейлона-6» — здесь впервые освоено промышленное применение реакции фотосинтеза. Человек воспроизвел нечто подобное тому, что творит солнечный луч в зеленом листе. Да и сама установка похожа на живой организм, на печень великана, опутанную сосудами и капиллярами, по которым таинственными процессами строится жизнь.

Восемнадцать реакторов для фотосинтеза — восемнадцать котлов, где бушует ослепительная зеленая стихия. Силу ее постигаешь только у испытательно-го стенда, где пробуют ртутную лампу в сорок тысяч ватт. А ведь там их множество. В каждом из реакторов заключено вдвое больше света, чем бывает на ярко освещенном стадионе во время вечернего матча.

«Тойо рэйон» намерена предложить покупателям лицензию на новый производственный процесс вместе с полным комплектом оборудования. Такой сдвиг в торговле знаменателен не только для этой фирмы, но и для Японии вообще. Стране, живущей на привозном сырье, несравненно выгоднее продавать оборудование вместе с технологией, чем готовые изделия.

Корпус фотосинтеза на заводе в Нагоя показывает, что девиз «перенимая — опережай» воплощает все более широкий смысл.

— Чуткость к новому — откуда взялось у японцев это качество? Не считаете ли вы, что оно родилось в ответ на принудительную изоляцию и застой времен сёгунов Токугава, которые триста лет продержали страну взаперти? — философски заметил англичанин.

— Случилось так, что прежде всех начали перенимать чужое мы, судостроители, — усмехнулся японец. — Причем первым толчком здесь послужил эпизод с русским фрегатом «Диана»...

Произошло это еще во времена Хиросиге, в последние годы его жизни. Сильное землетрясение 1855 года застало у берегов Японии русский фрегат. Гигантской волной «Диана» была разбита и затонула. Команде удалось спастись. Русские моряки попросили разрешить им постройку небольшой шхуны, чтобы вернуться на родину. Узнав об этом, сёгун повелел прислать в помощь лучших плотников и дать лучший лес при условии, что русские построят два совершенно одинаковых судна: на одном отправятся домой, а другое оставят японцам.

Внезапный интерес к опыту чужеземцев был следствием происшедших незадолго до того событий. В художественной серии «Пятьдесят три станции Токайдо» есть картина под названием «Канагава». Хиросиге изобразил тихую бухту, рыбацьи паруса, задумчивые зеленые холмы — место нынешней Иокогамы. Именно здесь в 1854 году появилась американская эскадра commodора Перри. Перед страной встала срочная необходимость создавать современный флот. Но как?

Судьба «Дианы» давала удобный случай поучиться. Чертежи, по которым строилось первое в Японии килевое судно, были сделаны рукой русского морского офицера Можайского — будущего изобретателя самолета.

Ровно сто лет спустя Япония стала первым кораблестроителем мира. И кстати говоря, именно эта отрасль явилась первой, где японцы завоевали себе мировое первенство.

В бухте Канагава, которую когда-то рисовал Хиросиге и где японцы впервые увидели «черные корабли» Перри, были спущены на воду морские гиганты водоизмещением свыше ста, а затем и более двухсот тысяч тонн.

Здесь, как и в ряде других отраслей, японцам удалось чутко уловить тенденцию. Они предугадали переход к строительству огромных танкеров и встретили его во всеоружии.

Первыми перешагнули за рубеж ста тысяч тонн греческие судовладельцы. Экономическая целесообразность такого пути еще казалась спорной. Япония же решительно пошла по нему, взяв в расчет бурный рост потребления нефти при удаленности большинства индустриальных стран от мест нефтедобычи.

На примере судостроения можно увидеть еще одну примечательную черту японской экономики — осознанное чувство отрасли. Даже в условиях капиталистической конкуренции однородные фирмы ощущают потребность во взаимной координации, сознают необходимость выступать как единое целое при решении многих вопросов.

У предпринимателей есть секреты друг от друга, но, соперничая между собой, они стремятся вместе с тем к повышению общей конкурентоспособности всей

отрасли на мировом рынке. В этом видят свою главную заботу Японская ассоциация судостроителей, по существу, выполняющая роль картеля в регулировании цен и распределении заказов, ориентирующая компании во всем новом, что делается в стране и за рубежом. На вопрос, что дает ему членство в ассоциации судостроителей, осакий промышленник не колеблясь ответил:

— Прежде всего кругозор. В наш век нельзя быть лягушкой на дне колодца.

Мы снова молча глядим на широкий экран вагонного окна, за которым стремительно разворачивается панорама современной Японии. Какую же из черт ее портрета прежде всего оставляет теперь в памяти путешествие по Токайдо?

Чуткость к новому? Конечно, Япония сейчас не та, что во времена Хиросиге. Но сколь бы разительными ни были эти перемены, Япония все же меняется по-своему, по-японски. Чуткость к окружающей среде вообще присуща японскому характеру, стойкому именно благодаря своей гибкости. Стремление приспособиться к современности отнюдь не означает готовности отказаться от своих национальных черт. Напротив: приспособиться всегда означало для японца уцелеть.

ЖЕНЩИНА В КИМОНО

В чужой стране люди чаще, чем у себя дома, сетуют на то, что многие самобытные, национальные черты стираются, исчезают в общем процессе обновления форм жизни.

Помню, как наш коллега — французский журналист Пьер Куртад горевал, что напротив гостиницы «Советская» сносят старые бревенчатые дома с резными наличниками, которые, по его убеждению, украшали этот уголок Москвы неизмеримо больше, чем кварталы типовых многоэтажных зданий. Но люди, селившиеся в этих живописных приземистых срубах, те, кому приходилось колоть на морозе дрова и до рассвета растапливать печи, кто был вынужден ходить в баню вместо того, чтобы мыться в собственной ванне, — эти люди вряд ли сожалели о переезде в современные благоустроенные квартиры.

С облегчением обнаружив, что в уличной толпе сегодняшнего японского города все еще можно порой видеть женщин в кимоно, приезжий радуется, что успел застать хоть одну из исчезающих черт «подлинной Японии», и следом тут же принимается сетовать:

— Как жаль, что большинство японок отказываются от своего национально-го костюма! Неужели они сами не видят, что западные платья и юбки им не идут, делают их коротконогими и нескладными, лишают их своеобразной грации...

Японки, разумеется, знают все это. Конторщицы не ходят на работу в кимоно прежде всего потому, что в нем нельзя спешить: нельзя нестись сломя голову по подземным переходам метро, втискиваться в переполненный вагон — словом, выдерживать лихорадочный темп современной жизни.

Иностранец, негодующий по поводу того, что кимоно носят сейчас не все японки, должен был бы вместо этого поражаться их преданности древнему наряду, хотя он дорог и непрактичен, стесняет движения, жарок летом и холоден зимой.

Японская девушка вполне может пройти по улице в кимоно своей прабабки — никто этого не заметит и наряд будет выглядеть как раз впору, даже если девушка эта на голову выше и вдвое тоньше прежней хозяйки кимоно. Можно лишь удивиться тому, что японский национальный костюм не зависит ни от мод сезона, ни от вкусов поколений, ни даже от роста или комплекции человека.

Кимоно кроится по геометрическим линиям, не связанным с чьей-то конкретной фигурой, и шьется по одному образцу, который вошел в обиход за много веков до появления стандартного готового платья.

Не только внешний облик, но и поведение японской женщины резко меняется в зависимости от того, во что она одета. В кимоно она всегда строго следует старинному этикету. В платье же она будет держать себя сугубо по-японски лишь при очень официальных обстоятельствах.

И если кимоно мало подходит для современной улицы с ее толкотней и спешкой, то западная одежда кажется столь же неуместной на японке, когда видишь ее в окружении традиционного домашнего быта. Насколько грациозен каждый ее жест в национальном костюме, когда, опустившись на колени, она раздвигает сиди, настолько неуклюжей выглядит она на татами в короткой юбке.

Предсказание, что после войны, оккупации, разрухи японские женщины никогда уже не наденут кимоно, не сбылось. Параллельно обновлению многих форм жизни в послевоенной Японии шел, казалось бы, необъяснимый процесс возрождения национального костюма. Кимоно вернуло свои права как праздничная одежда, как наряд для торжественных случаев — таких, как свадьба, выпускной вечер, Новый год. Можно сказать с уверенностью: кимоно не скоро еще поселится в музеях, по-прежнему оставаясь неотъемлемой частью повседневного быта японцев.

Самым чудесным эстетическим творением Японии являются не изделия из слоновой кости, бронзы или керамики и не ее мечи, а женщины этой страны. Изречение, что женщина повсюду такова, какой ее сделал мужчина, справедливо для японки больше, чем для кого-либо другого. Лишь жестко регламентированное общество, где собственное мнение подавлялось, а самопожертвование провозглашалось всеобщей обязанностью; где личность могла расцвести лишь изнутри, но никогда не снаружи,— лишь такое общество могло воспитать подобный тип женщин.

Лавнадио Херн, «Япония: попытка интерпретации» (Токио, 1904).

Японка в кимоно служит для нас символом традиционной женственности, воплощающей такие качества, как самопожертвование, преданность, покорность по отношению к мужу и семье.

Итиро Кавасаки, «Таковы японцы» (Токио, 1955).

Есть ли в японском языке слово, которое было бы так же хорошо известно за пределами страны и рождало бы образ столь же типичный для представлений иностранного обывателя о Японии, как слово «кимоно»?

Есть. И слово это — «гейша».

Общезвестность этого термина, однако, отнюдь не рассеивает множества неправильных представлений о его существе.

Следуя девизу «всему свое место», японцы с незапамятных времен привыкли делить женщин на три категории: для домашнего очага, для продолжения рода — жена; для души — гейша с ее образованностью и, наконец, для плоти — ойран, роль которых после запрещения открытой проституции взяли на себя теперь девицы из баров и кабар.

Вечер, проведенный с гейшами, — это, конечно, памятное событие, хотя, как правило, оставляет иностранца несколько разочарованным. Именно такое чувство осталось и у меня.

В конце ужина появились три гейши, две из которых были чересчур молоды, а третья чересчур стара. Яркость их наряда, старинные сложные прически, а особенно толстый слой грима, превращавший лица в безжизненные белые маски, — все это резало глаза, казалось нарочито театральным, неестественным.

Девушки рассказали, что им пошел шестнадцатый год и что обе они лишь несколько месяцев назад внесены в официальный список гейш, который ведется в каждом японском городе, где есть чайные дома. Одна из них грациозно налила мне сакэ и не менее поэтично разъяснила изречение, написанное на фарфоре. Чтобы не остаться в долгу, я написал начало одного из четверостиший Бо Цзюй-и, и она тут же добавила две недостающих строки с такой уверенностью, будто этот

китайский поэт, живший более тысячи лет тому назад, был ее соотечественником и современником.

Продолжать поэтическое состязание нам не удалось, так как из угла забрэнчал самисен¹. Повинуясь этому сигналу пожилой гейши, девушки вспорхнули из-за стола и исполнили танец, наверное, еще более древний, чем строфы, которые мы только что писали. После этого все трое встали на колени, отвесили церемоннейший поклон, почти касаясь лбами пола, и скрылись за дверь, пробыв с нами в общей сложности не более получаса.

Как, и это все? Если я не выразил свое недоумение вслух, оно, наверное, было написано у меня на лице, потому что хозяин его заметил.

— Даже многие японцы, — сказал он, — шутят, что приглашать гейш так же глупо, как заказывать шампанское в баре. Пьян с него не будешь, но зато дашь понять гостю, что готов ради него на любые расходы.

— Вечер с гейшами, — любил повторять знакомый журналист-итальянец, — это не более как церковный ужин, приправленный парой анекдотов. Все, что вы там увидите, можно было бы назвать «стриптизом наоборот»...

Действительно, в своем киноно, ворот которого лишь сзади спущен чуть ниже обычного, в своем парике и гриме гейша воспринимается скорее как ожившая кукла, чем как живой человек. Турист, который воображает, что увидит в танцах гейш что-то пикантное, глубоко заблуждается. Рисунок их очень строг, почти лишен женственности, потому что танцы эти ведут свою родословную из старинного театра Ноо.

Иногда гейши поют вместе с гостями, иногда играют в невинные застольные игры. Все это время они не забывают подливать мужчинам пива и сакэ, шутят с ними, а главное — смеются их шуткам. Но на этом какой-либо контакт кончается.

Изучать мир гейш лучше всего в Киото. Там в районе Гион сосредоточено большинство чайных домов, а также заведений, которые можно было бы назвать школами гейш или их поставщиками.

Хозяйка такого заведения выплачивает определенную сумму родителям девочки, которая поступает к ней как ученица шести-семи лет. Помимо занятий в обычной школе, будущая гейша учится пению, танцам, игре на самисене и другим необходимым ей искусствам. Она безотлучно живет в доме своей хозяйки, которая не только учит ее ремеслу, но и кормит, предоставляет ей кров, одевает и, разумеется, ведет счета всех расходов.

В Японии теперь запрещено работать до завершения обязательного девятиклассного образования, так что затраты начинают окупаться лишь после того, как девушке исполнилось пятнадцать лет и ее имя официально занесено в список гейш.

Чтобы воспитать гейшу, нужно много времени и затрат, а спрос на нее велик лишь в первые годы после дебюта. Вряд ли хозяйка заведения получала бы прибыль, лишь посылая своих воспитанниц в качестве опытных развлекателей. Главный источник ее дохода лежит не в этом. Каждая гейша рано или поздно обретает покровителя, который за право вызывать ее в любое время платит хозяйке заведения очень крупную сумму, обычно несколько миллионов иен. Девушка остается в списке гейш данного города, ее могут пригласить в любой чайный дом, однако покровитель всегда вправе отменить принятую заявку.

Чаще всего в такой роли выступает какой-нибудь престарелый делец, для которого это важно прежде всего по соображениям престижа. Поскольку присутствие гейш символизирует в Японии гостеприимство на высшем уровне (все знают, что удовольствие это стоит непомерно дорого), наиболее важные деловые встречи как в коммерческом, так и в политическом мире происходят, как правило, в их обществе. Гейша, которой покровительствует какой-нибудь президент фирмы или министр, выступает в таких случаях в роли хозяйки.

¹ Самисен — трехструнный музыкальный инструмент.

В буквальном переводе слово «гейша» означает «человек искусства». Гейша — это искусница; искусница развлекать мужчин, причем не только уменьем петь и танцевать, но и своей образованностью. Приравнивать гейш к продажным женщинам было бы так же неправомерно, как и отождествлять с таковыми актрис вообще, хотя, с другой стороны, звание гейши само по себе не может служить удостоверением добродетельного нрава.

ДЕВИЧЬИ РУКИ

Темные от времени столбы уходили вверх и терялись в величественном полумраке.

— Взгляните на эти опоры и стропила, — говорил гид. — Храм Хонгандзи — самое большое деревянное сооружение в Киото, одно из крупнейших в мире. Случись пожар — в Японии уже не найти таких вековых стволов. Да и прежде отобрать их было нелегко. А когда свезли, строителям оказалось не под силу поднять такую тяжесть. Как же удалось сделать это? Благодаря женщинам. Сорок тысяч японок остригли волосы и сплели из них канат невиданной дотоле прочности. С его помощью восемьдесят опорных столбов были установлены, балки подняты и закреплены. Вот он, этот канат. Обратите внимание на длину волос. Женщины укладывали их тогда в высокие сложные прически, какие теперь носят только гейши...

Где слушали рассеянно, но стоило ему упомянуть слово «гейша», как посыпались вопросы. Юноша едва успевал отвечать.

Туристы из-за океана — табуны престарелых бодрячков и горластых пестрых старух — кочуют по Японии, спеша лицезреть оплаченную сполна порцию «восточной экзотики», неизменным элементом которой является женщина в кимоно.

В Нагасаки их ведут к «домику Чио-Чио-Сан». В Киото им показывают гейш, в Фукуока они запасаются большими разряженными куклами — чем не наглядное пособие к рассказам о японках!

— Подумать только, такие куколки! — удивляется седая американка, услышав притчу о строительстве Хонгандзи.

Изумляясь тем, что носы сорока тысяч японок помогли когда-то построить самый большой в Киото храм, искатель «восточной экзотики» и не подумает о сорока миллионах женских рук, что составляют ныне две пятых рабочей силы Японии.

— Купите эти шелка на память о красавицах древнего Киото! — говорят иностранцам, насмотревшимся на кимоно гейш.

А ведь кроме чайных домов, кроме памятников старины, куда возят туристов, не меньшей достопримечательностью Киото может считаться целый городской район.

Это Нисидзин, где на сонных с виду улочках от зари до зари слышится стук кустарных ткацких станков. Механический привод здесь — пока такое же неведомое понятие, как и профсоюз. Однако места в музее достойны не только домодельные станки, но и то, что создают на них руки сорока тысяч ткачих.

— Скажите, что труднее всего дается в вашем ремесле? — спросил я одну из них.

— Труднее всего ткань «туман», — подумав, ответила девушка. — Знаете, утреннюю дымку над водой и еще бамбук под ветром, когда каждый листочек в движении.

Стало совестно, что я назвал ремеслом то, чему по праву следует именоваться искусством.

Казалось бы, что общего между тесными каморками кустарей и цехами ультрасовременного радиозавода, до которого от Нисидзина несколько веков и несколько минут? Высокие пролеты, лампы дневного света, музыка, заглушающая мерное гудение вентиляторов...

Но на бесшумно пульсирующем конвейере, как и на примитивном ткацком станке, те же виртуозные пальцы творят славу Японии, не менее заслуженную, чем слава китотских шелков.

На девушке серая форменная блуза, волосы убраны под такой же чепец. К груди приколот жетон с именем и личным номером — он же пропуск в цех. Средоточенно склонившееся лицо полусвещено, потому что яркое и холодное сияние люминесцентных ламп направлено прежде всего на ее руки.

Длинные, чуткие пальцы шлифуют линзы для фото- и киноаппаратов, они паяют крохотные проводочки на сборке цветных телевизоров. Они колдуют над шелковой и синтетической нитью. И красота их столь же достойна быть воспетой, как и их умелость. Даже огрубев с годами от крестьянского или рыбацкого труда, с глубокими шрамами и узловатыми суставами, руки японок сохраняют аристократическую утонченность. Конвейер же забирает себе их лучшую пору, требуя точности движения, граничащей с искусством.

Девичьи руки — именно они утвердили нынче за Японией славу «царства транзисторов», именно благодаря им японская радиотехника, электроника, оптика, японский текстиль пробили себе дорогу на мировые рынки.

Сельские девушки, которые на пять — семь лет уходят в город, чтобы заработать себе на приданое, — это целый общественный слой, это немаловажный фактор и в социальном и в экономическом бытии современной Японии.

Уходить до свадьбы на текстильные фабрики вошло у крестьянок в обычай еще с конца прошлого века. Тут и крылся секрет дешевизны японских тканей, наводнивших и Азию, и Европу, и Америку в период между двумя мировыми войнами. Автоматизация производства, переход на конвейер позволили расширить сферу применения этого «секретного оружия».

С пятнадцати лет, после обязательного девятиклассного образования, закон официально разрешает молодежи наниматься на работу. Этим пятнадцатилетним девушкам нет нужды ехать куда глаза глядят. Отчаянно конкурирующие между собой вербовщики сами атакуют сельские школы.

Чтобы понять, чем так прельщают нанимателей девичьи руки, взглянем на труд у конвейера глазами молодых крестьянок. Всех их, как правило, толкает в город одно и то же. Чтобы справить свадьбу, надо истратить в двадцать раз больше денег, чем девушка может заработать за месяц. Такова незываемая традиция, которую, хочешь не хочешь, надо блюсти.

Данные всеобъемлющей японской статистики гласят, что в стране ежегодно происходит около миллиона свадеб, каждая из которых обходится в среднем по пятьсот тысяч иен. Из этой суммы сто пятьдесят тысяч идет непосредственно на церемонию и угощение, пятьдесят тысяч на непрременное, хотя бы трех-пятидневное свадебное путешествие, двести пятьдесят тысяч — на мебель и домашнюю утварь, которую целиком должна приобрести невеста, и еще пятьдесят тысяч на другие расходы.

Не будем говорить здесь о достоинствах и недостатках обычая, связывающего со свадьбой самые большие затраты в жизни человека. Подчеркнем лишь, что он существует как немаловажный социологический фактор, который нельзя сбрасывать со счетов.

Характерно для Японии и другое. Сельские девушки не считают годы работы на фабрике ступенькой, чтобы навсегда остаться в городе, выйти там замуж.

Подавляющее большинство до сих пор целиком полагается на то, что родители сами присватают им жениха из земляков. Так что свадьба на скопленные в городе деньги играется, как правило, в деревне. В этом еще один пример подспудного влияния вековых традиций на образ жизни японцев. (К тому же молодой семье попросту трудно обосноваться в городе из-за непомерной дороговизны жилья.)

Девушка уходит из села, чтобы вновь туда же вернуться. Годы на фабрике для нее заведомо проходящая полоса в жизни. Этот обычай работать у конвейера

лишь до замужества в сочетании с традиционной японской системой оплаты за стаж и сделал девичьи руки наиболее прибыльными для нанимателей.

Во-первых, зарплата такой работницы всегда остается самой низкой. А во-вторых, ее легко уговорить даже эти деньги наполовину оставлять в кассе предприятия, если предложить ей при этом более высокий процент, чем в обычном банке.

Молодую крестьянку ошеломляют расчетом: если она согласится подписать такое обязательство, через пять — семь лет у нее сложится желанная сумма, по сельским понятиям казавшаяся недосыгаемой. Причем не надо беспокоиться: скоплю или не скоплю? Хватит ли денег дожить до получки?

За место в общежитии, за рис и миску супа в заводской столовой — за все вычтут при расчете, так что на руки достаются лишь какие-то пустяки на карманные расходы.

Казарменное положение, котловое довольствие — все это задумано не только для того, чтобы девушкам было легче скопить свое приданое, но и для того, чтобы проще было держать их в повиновении. Пока познакомились, сжились, огляделись — три года прошло; чего уж тут требовать каких-то перемен и идти против течения, когда осталось полсрока?

Другое дело мастера, наладчики, квалификация которых нужна для бесперебойной работы поточных линий. Это своего рода унтер-офицерский костяк, который задабривают высокой зарплатой, искусственно поддерживая отчужденность между «постоянным» и «переменным» составом. На предприятиях, где используются девичьи руки, работницам стараются внушить, что профсоюзы — вообще дело не женское.

Вот расчет, построенный на официальной правительственной статистике. В Японии сейчас трудятся двадцать миллионов женщин, в том числе девять миллионов — по найму, причем шесть миллионов из них не объединены ни в какие профсоюзы. Если вспомнить, что в стране ежегодно бывает миллион свадеб и что молодые японки трудятся у конвейера, чтобы скопить себе на приданое, в среднем шесть лет, вполне обоснованным будет вывод, что именно шесть миллионов будущих невест дают предпринимателям самые дешевые и ловкие рабочие руки.

Конечно, большинство японок ищут заработка и после замужества. Они лишь переходят в другой разряд тружениц, в число тех одиннадцати миллионов женщин, что заняты в «семейном производстве».

Покупая цветные гравюры великих мастеров прошлого Хокусаи или Хиросиге, иностранные туристы любят философствовать о неизменности лица Японии. Все так же оттеняют синеву весеннего неба снега Фудзи и первые розовые соцветия сакуры. Столь же колоритны согбенные фигуры в соломенных шляпах среди блеска залитых водой рисовых полей. Потому что все еще нет машины, которая могла бы заменить чуткость человеческой руки, способной глубоко посадить куст рассады в холодную жидкую грязь и не повредить при этом ни одного из нежных стебельков.

Все так же расшивают серебряющуюся гладь полей ровным зеленым узором. Чтобы заметить перемену, надо подойти и взглядеться: чьими руками? Из села ушла молодежь. Мужчины, вспахав землю, тоже торопятся на заработки до жатвы: в городе ведь труд вчетверо доходнее.

Остаются женщины. Им некогда заниматься сравнениями, им надо растить детей, тянуть хозяйство. Им же приходится нынче брать на себя самое тяжелое звено в древней цепи сельскохозяйственных работ.

Ну, а девушки из городских семей? Их тоже под разными предложениями после замужества переводят в разряд «повременных», или «внештатных», работниц с очевидной целью: привязать женщин к низкой зарплате, лишить их надбавок за стаж, а также других благ, отвоеванных профсоюзами в упорной борьбе. Средняя зарплата женщин в стране вдвое меньше, чем у мужчин. Сорок тысяч японок, что помогли возвести храм Хонгандзи, стали легендой. Но справедливо ли оценить тяжесть, которую поднимают сорок миллионов женских рук в наши дни?

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ФУДЗИ

Буду откровенным: когда служитель поднебесного храма выжигал на моем посохе последнее, десятое клеймо — «Вершина Фудзи, 3776 метров», — в голове у меня была лишь далекая от поэтического пафоса японская пословица: «Кто ни разу не взобрался на эту гору, тот дурак, но кто вздумал сделать это дважды — дважды дурак».

Хотя из десяти этапов древней паломничьей тропы я прошел лишь половину (восхождение начинают теперь с пятой станции, куда проложена платная автодорога), пеший подъем с трех часов дня до трех часов ночи все же нельзя назвать пустышкой прогулкой. Тем более когда весь опыт альпинизма ограничивается детскими воспоминаниями о грудке шлака у котельной во дворе старого ленинградского дома.

Кстати, именно эта грудка вставала в памяти, когда я карабкался по бесконечному склону священной японской горы, увязая ногами в пористых острых осколках и въедливом вулканическом пепле.

Фудзи — это тысячекратно увеличенный отвал шлака: та же фактура, тот же цвет от темно-серого до буроватого, та же крутизна. Впрочем, точнее будет сказать: чем выше, тем круче. Дает о себе знать чуть заметный прогиб склонов, который так любил подчеркнуть художник Хokusai в своих картинах «Сто лиц Фудзи».

За пятой станцией остался шум сосновых лесов. За шестой исчезли всякие следы растительности. Тропа, по словам японцев, пересекает здесь «границу земли и неба». Но чем безжизненней становится склон, тем он многолюднее. Попутчиков столько, что вполне можно обойтись и без проводника.

Между седьмой и восьмой станциями назначен ночлег. В приземистой хибаре из лавовых глыб постояльцу дают миску горячего риса, несколько ломтиков соленой редьки, сырое яйцо, место на нарах, пару одеял.

С восьмью вечера до часу ночи полагается спать. Но где там! Ощущение такое, будто ты улегся не в горном приюте на высоте 3300 метров, а на перроне вокзала или у дороги, по которой гонят гурты скота. Словно копыта, цокают по камням сотни посохов, звякают бубенчики, привязанные к каждому из них, чтобы путник не отстал в тумане. Ни на минуту не стихает топот, свистки, крики лоточников. Как из вокзального громкоговорителя, доносятся голоса проводников, перекликающихся с помощью карманных раций.

Давно стемнело, а люди все идут и идут. Поистине армия на марше через перевал.

Пора двигаться дальше. Вклиниваюсь в строй, и в глазах начинает рябить от пляшущих по камням лучей карманных фонариков. Лучше уж посмотреть не под ноги, а по сторонам, тем более что зрелище того заслуживает. Ночное шествие выглядит как сплошная вереница огней, которая начинается где-то у подножья и, извиваясь зигзагами, уходит в немислимую высь, к звездам.

Начинает светать. Прибавляю шаг: не пропустить бы восход! Однако общий темп движения, наоборот, спадает. Торопить впереди идущих бесполезно: им некуда ступить. В предрассветных сумерках видно, что оставшийся отрезок тропы сплошь забит людьми, которые движутся к вершине со скоростью очереди за газетами.

Самое время присмотреться к попутчикам.

Идут целые семьи со старыми и малыми («Ну что ты хнычешь! Осталось совсем немного. Помогите лучше бабушке. Видишь, она и то не жалуется!»). Модно подстриженные девушки в джинсах с бахромой несут гитару и проигрыватель с пластинками. Нестройный хор седовласых мужчин юношески задорно поет по-латыни студенческую песню: врачи-однокурсники дали зарок совершить это восхождение тридцать лет назад. Учитель рассказывает в мегафон колонне заспанных школьников о природе вулканов. К словам его почтительно прислушивается экскурсия крестьянок с Хоккайдо.

Для двух молодых пар восхождение на Фудзи заменяет свадебное путешествие («Мы оба работаем на шахте, вот и решили: не все же лазать вниз, надо хоть раз забраться и наверх. По крайней мере будет что вспомнить и нам и нашим невестам тоже...»).

Пять миллионов экскурсантов приезжают каждый год к подножью Фудзи. Четверть миллиона человек ежегодно совершают восхождение на вершину. В этом пестром потоке совершенно теряются белые одежды пилигримов, бормочущих старинные заклинания: «Да очистятся шесть чувств».

Здесь, как нигде, постигаешь меру народной любви к Фудзи. Здесь убеждаешься, что восхищение ее красотой воплощает тот самый культ родной природы, который сидит в душе японца глубже и прочнее всяких религий. Здесь постигаешь смысл слов, что созерцание священной горы очищает человека. То, что когда-то было суеверным ритуалом, стало национальной традицией.

Легко понять, какое смятение вызвала в стране весть, что безупречные очертания горы — излюбленный образ японского искусства — находятся под угрозой!

Гора-святыня, гора-символ разрушается. Даже издали, из окна экспресса Токио — Осака на темном конусе Фудзи видна вертикальная белая полоса. Это остатки снега на теневой стороне Большого провала, который глубоким, трехкилометровым шрамом прорезает западный склон.

А уж взобравшись на Фудзи, можно обследовать ее рану почти вплотную. Если пройти на запад по кольцевой тропе, опоясывающей гору на уровне пятой станции, выше по склону видишь ущелье, похожее на разинутую пасть. Начинаясь у самой вершины, у самой кромки кратера, оно постепенно расширяется до пяти-сот метров, а перед чертой лесов сужается вновь, уходя оврагом вплоть до подножья.

В японских летописях упоминается восемнадцать извержений Фудзи, последние из которых произошли в 800-м, 864-м и, наконец, в 1707 году, когда даже удаленный на сто километров Токио был засыпан слоем пепла в пятнадцать сантиметров толщиной.

Из этой же бурой пыли и пористых осколков, то есть грунтов рыхлых, непрочных, и сложены склоны горы, если не считать нескольких окаменевших лавовых потоков. Когда стоишь перед Большим провалом, кажется, что его дно поминутно простреливают пулеметные очереди: то тут, то там взметаются облачка вулканической пыли от падающих камней. Даже в ясную безветренную погоду из тела Фудзи высыпается по шестьсот тонн грунта в сутки.

Но оползни и обвалы неизмеримо учащаются весной, когда из-под снеговой шапки горы сочатся талые воды; а также в пору осенних тайфунов, когда ливневые потоки катят вниз глыбы застывшей лавы, загромаждая ими речные долины у подножья.

Специалисты утверждают, что если не принять срочных мер, Большой провал вскоре прорежет кромку кратера. Процесс эрозии тогда резко усилится, и через несколько десятилетий Фудзи станет похожа на половину зуба, выщербленного огромным дуплом. О разрушении Фудзи заговорили даже в японском парламенте. Это вызвало взрыв страстей — от кликушеских причитаний, что святыня прогневалась на людей, осквернивших ее, до самых неожиданных проектов спасения горы.

Профессор Ямагиси, например, считает, что куда большим кощунством, чем толпы экскурсантов, является спекуляция на народной любви к горе. Восемь страниц телефонной книги занимают названия коммерческих фирм, начинающих со слова «Фудзи». Дельцы знают, что внутри страны такая марка рождает доверие, а на мировом рынке служит олицетворением Японии. Профессор Ямагиси предложил взимать специальный налог с корпораций, носящих имя священной горы, чтобы на эти деньги вести борьбу с эрозией. Странный путь? Но пока он наиболее реальный. Споры выявили лишь неясность в главном: кто же в Японии должен взять на себя это неотложное дело? Местные власти? Но Большой провал как раз служит границей префектур Яманаси и Сидзуока. Государство? Но оно, сколь ни

парадоксально, является тут ответчиком в многолетней тяжбе. Служители неба через суд пытаются доказать, что национальная святыня Японии не является государственной собственностью, а принадлежит находящемуся на горе храму.

Пока, однако, могу засвидетельствовать, что споры о завтрашнем дне исчезающей горы лишь подхлестнули общественный интерес к ней. Пусть альпинисты считают Фудзи недостойной их внимания. Но километровая очередь у первой в стране вершины — это уже сама по себе достопримечательность, которую не забудешь!

* * *

Еще десять шагов. Еще пять. Вершина! Наконец-то удалось ступить ногой на высшую точку Японских островов, чтобы увидеть оттуда восход над Страной восходящего солнца.

Внизу в волнах розового света плавают горные цепи — еще более невесомые, чем гряды облаков над океаном.

На высоте 3776 метров сами собой приходят возвышенные мысли. Но вот совет: взобравшись на Фудзи, любуйтесь далями и не приглядывайтесь к самой вершине, не смотрите себе под ноги. Согласен с японцами, что традиционное паломничество делает человека чище. Но четверть миллиона восхождений в год отнюдь не очищает саму святыню.

Вершина Фудзи уже не столько похожа на отвал шлака, сколько на свалку. Повсюду разбросаны консервные банки, пестрые обертки, пустые бутылки (причем отнюдь не только от прохладительных напитков). Меня напутствовали: выше 3500 метров остерегаться падающих камней. Однако единственным предметом, который скатился под ноги, была только что опорожненная двухлитровая бутылка из-под саке.

Древнее заклинание паломников «Да очистятся шесть чувств» перефразировано: «Да очистятся шесть троп к вершине». В конце каждого сезона для уборки горы ежегодно приходится вызывать воинские части. Кратер дремлющего вулкана из года в год становится все мельче, обреченный на участь мусорной ямы.

С виду горловина эта напоминает гигантскую воронку от бомбы — только покрупче. Внизу уцелел серый спекшийся снег, на котором кусками лавы выложены надписи далеко не религиозного свойства (забава альпинистов, ибо только в кратере и требуется специальное снаряжение).

На гребне кратера как раз друг против друга расположились храм, похожий на торжище, и купол метеостанции, похожий на храм. Храм обращен на север, к японской земле. Радар метеостанции — на юг, к тихоокеанским просторам. И если служба погоды устремлена к небесам, то служителей храма волнуют дела сугубо земные. Не следует думать, что они негодуют по поводу осквернения святыни. Храм боится потерять возможность наживаться на человеческом потоке, который делает Фудзи золотоносной горой, пусть она даже при этом становится похожей на свалку.

Восхождение начинается покупкой посоха с бубенцами. За каждое выжженное клеймо нужно доплачивать, так что в итоге он обходится владельцу в четыреста иен. Если вспомнить, что на гору поднимается двести пятьдесят тысяч человек в год, уже одно это дает сто миллионов. На вершине храм бойко торгует сувенирами, открытками, кока-колой по шестикратной цене. На станциях путникам предлагают пиво (имейте в виду: чем выше, тем дороже).

Но подсчитывая барыши, храм с растущим беспокойством оглядывается на бурную активность туристских фирм. Чего только не предпринимают они, чтобы вывернуть карманы экскурсантов еще у подножья! Возле автобусных остановок выстроили целый городок аттракционов и макет Фудзи в одну тысячную натуральной величины. Священная гора не любит показываться людям (из Токио, например, она бывает видна в среднем лишь двадцать два дня в году). Так что если вам не повезло с погодой, можно сняться на фоне макета — никто не отличит.

Компания «Фудзи канко» привлекает в свою гостиницу возможностью иску-

паться в золотой ванне. (Можно поручиться, что на горе ею добыто куда больше золота, чем сто сорок четыре килограмма, ушедших на эту рекламную затею.)

Ведущие фирмы соревнуются в строительстве платных автомобильных дорог по нижней, более пологой части склона. Если следом появятся фуникулеры, храм с его бизнесом окажется вытесненным на небеса.

Парадоксальное судебное дело на право владения вершиной Фудзи как раз и возбуждено храмом с целью оградить себя от конкуренции священным правом частной собственности (уповать на него, видимо, надежнее, чем на силу религиозных чувств).

Окружной суд уже решил дело в пользу храма, оставив во владении государства лишь один процент территории выше восьмой станции. Правительство, однако, обратилось в верховный суд и, надо полагать, добьется своего. Ибо вершина номер один, помимо всего прочего, имеет в наш век еще и военное значение.

Белый купол метеостанции делает ее похожей на астрономическую обсерваторию. Но стоит там не телескоп, а параболическая антенна одного из самых высоких в мире радаров. Отсюда смотрят не на звезды, а шарят восьмисоткилометровым лучом по тихоокеанским просторам. Отсюда можно обнаружить око очередного тайфуна за двадцать часов до того, как бедствие обрушится на побережье.

Радар, смонтированный на вершине Фудзи, стал центром всех метеостанций страны. А служба погоды в Японии — почетнейшее дело. Поэтому за трудом и бытом шести человек, посменно зимующих на горе, следили с теми же чувствами, что у нас за полярниками на дрейфующей льдине. Тридцатиградусные морозы, разреженный воздух, снежные бураны, из-за которых врач вынужден по радио лечить тяжелобольного, — вся эта героика стала темой для множества репортажей и очерков.

Но не так давно о куполе на гребне вулканического кратера заговорили совсем с другим чувством. Выяснилось, что управляемый из Токио по радио радар — люди на горе лишь следят за исправностью оборудования, — кроме столицы, передает копию изображения со своего экрана и на американскую базу в Иокосука, которая обслуживает метеосводками корабли 7-го флота и дальние бомбардировщики Б-52, участвующие в боевых действиях против Вьетнама.

Когда-то вершина Фудзи служила главным ориентиром для американских «летающих крепостей», бомбивших японские города. Теперь ей выпало ориентировать убийц другого азиатского народа.

Местные старожилы еще помнят со слов своих отцов приметы приближающегося извержения. Но нынешнее поколение окрестных жителей научилось распознавать приближение бедствий иного рода.

Корея, Лаос, Вьетнам — каждой кровавой авантюре американской военщины в Азии предшествовали репетиции на восточном склоне Фудзи. Перед корейской войной именно здесь испытывалась эффективность напалмовых бомб. Заповедные леса и изгорья облюбовали для себя «специалисты по антипартизанским операциям» из 3-й дивизии морской пехоты США. Склоны священной горы стали местом, где совершенствуются в своем ремесле профессиональные каратели.

Не забуду искру тревоги, метнувшуюся по топле еще в самом начале восхождения, когда со стороны восточного склона вдруг послышался грохот.

— Нет, это не обвал, это стреляют американцы, — успокаивали экскурсантов проводники.

Но бесконечная вереница людей, словно по команде, остановилась. Все разом обернулись к подножию, всматриваясь в облака разрывов. Сколько боли и гнева было в этих взглядах!

Сезон восхождений длится всего два месяца — июль и август. Но как раз летом восточная тропа к вершине то и дело оказывается перекрытой из-за стрельбы. Да что там тропа! Американские военные власти наложили запрет на реконструкцию шоссе, огибающего Фудзи с востока, — нечего, мол, экскурсантам смотреть, как поблизости тренируются «специалисты по антипартизанским операциям».

Как-то осенью мне довелось проехать по этому шоссе. Оно опоясывает гору, соединяя, как жемчужины ожерелья, пять озер, лежащих у ее подножья.

Автобус мчался среди просвеченных солнцем сосновых лесов. Бархатные бабочки кружились над нетронутой травой опушек. Прямо к бетону дороги клонились колосья созревающего риса. Женщины срезали и укладывали в корзины тугие мутные гроздья винограда.

Но все это — лишь первый план, лишь рамка, за которой глаз все время ищет главное — Фудзи. И все ее сто лиц, раскрывающиеся одно за другим, как на картинах Хокусаи, действительно неповторимы. То она предстает перед глазами, как серый призрак, плавающий в дымке утреннего тумана, то щедро удваивает свою красоту в глади озер, то — после заката — докрасна раскаляет края своего кратера отблесками ушедшего дня.

Фудзи волнует своей картинностью в благородном смысле этого слова. Кажется, перед тобой не явление природы, а произведение искусства...

Автобус вдруг резко тормозит, прижимаясь к обочине. Из-за поворота вырывается колонна буро-зеленых грузовиков с зажженными фарами. Они вихрем проносятся по оцепеневшему шоссе. В глазах остаются только огромные белые буквы, написанные на каждой машине: «Военприпасы».

Хочется зажмурить глаза, хочется убедить себя в том, что это могло лишь привидеться на дороге, проложенной ради того, чтобы священная гора раскрывала перед человеком свои сто лиц.

Фудзи — она по-прежнему передо мной, но как раз к ней-то и свернули грузовики со снарядами. Там на фоне воспетых поэтами склонов полощется на шесте звездно-полосатый флаг. У поворота на проселок, где еще не улеглась пыль, белеет щит: «Американская зона. Вход воспрещен японским законом».

Парни с нашивками «Морская пехота США» в такой же степени символизируют политику американской военщины в Азии, в какой Фудзи — Японию.

Что толку вести многолетнюю тяжбу, кому принадлежит Фудзи — храму или государству, если именно народная святыня стала местом, где беззастенчиво попираются суверенные права наций? Как бы больно ни было японцу видеть рану, все глубже рассекающую западный склон Фудзи, терпеть бесчинства янки на восточном склоне ему еще тяжелее. Придет время, и другой суд — суд истории — вынесет свой приговор тем, кто позволил тут хозяйничать чужеземной военщине.

Пусть историки вспомнят тогда и те слова возмущения, которые звучат уже сейчас. Окрестные земледельцы, проникшие на американское стрельбище с плакатами: «Фудзи не будет полигоном вьетнамской войны», служат таким же воплощением национального духа, как сама гора.

Много легенд связано с Фудзи, но потомки наверняка сложат о горе еще одну. Это будет предание о том, как на полицейские цепи, преграждавшие доступ на полигон, двинулась колонна крестьянок. Женщины запели песню о красоте Фудзи, которую каждый японец еще в колыбели слышал от своей матери. Строй вооруженных людей, которым по роду службы меньше всего свойственно поддаваться чувствам, дрогнул и отступил.

Фудзи и донныне остается национальным символом Японии. И будь жив Хокусаи, он написал бы ее сто первый лик. Он изобразил бы не только взрывы, рвущие тело горы, но и безоружных женщин, усевшихся на полигоне. Он напомнил бы, что оскверненная, но не попанная святыня, символизирующая японский народ, — вулкан дремлющий, но не потухший, вулкан, который способен показать свою могучую силу.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Е. ДОБИН

★

СЮЖЕТНОЕ МАСТЕРСТВО КРИТИКА

(Штрихи к портрету К. Чуковского)

I

В мае 1969 года я получил от Корнея Ивановича письмо после выхода его из больницы, где он лежал довольно долго. Оно кончалось так:

«Еще один урок дала мне больница. Люди (соседи по отделению.— Е. Д.), в общем, симпатичные, работяги, при знакомстве со мною были приветливы, но ни один не знал, что я, кроме детских книг и «От 2 до 5», написал хоть что-нибудь другое. «Неужели вы не только детский писатель?» Выходит, что я за все 70 лет литературной работы написал лишь 5—6 Мойдодыров. Причем книгу «От 2 до 5» воспринимали лишь как сборник анекдотов о забавной детской речи».

С крайним изумлением я читал эти строки. И посетовал на «нашу критику» (легко доступное, не лишенное приятности занятие), которая так мало писала о Корнее Чуковском-критике. А потом обозлился — и серьезно — на самого себя. Ведь так я люблю, так восхищаюсь критическими его работами, а не приходило в голову очертить это поразительное по блеску, по художественности явление русской критики.

Я засел за много раз читанные книги и статьи — ранние и последних лет. И все время всплывал вопрос: каковы же особенности мастерства К. Чуковского-критика, в чем секрет необычайной увлекательности его критических работ? Почему — небывалое в критике явление — даже хорошо знакомые страницы, главы, произведения читаешь с тем накалом захватывающего интереса, с каким в детстве глотал Жюль Верна или Купера?

Ответ, мне кажется, таков: Корней Чуковский ввел в критический жанр сюжет, сюжетное построение.

И, может быть, это было не случайно для эпохи, когда Чехов сюжетно воспринимал заурядные житейские околичности (вспомним «Налима», «Хирургию», «Злоумышленника» и т. д.), а Анна Ахматова насыщала сюжетом крохотное лирическое стихотворение.

2

В самом деле, К. Чуковский не упускает случая, чтобы использовать испытанный прием нагнетания интереса: прием неожиданности.

Статья «Леонид Андреев»¹ начинается так:

«Он любил огромное.

В огромном кабинете, на огромном письменном столе стояла у него огромная чернильница. Но в чернильнице не было чернил. Напрасно вы совали туда огромное перо. Чернила высохли».

Как это могло случиться? А дело в том, что плодовитый прозаик и драматург уже три месяца как не пишет. И, кроме журнала для моряков «Рулевой», ничего не читает.

Он ходит по огромному своему кабинету и говорит только о морском — «о брам-селях, якорях, парусах. Сегодня он моряк, морской волк. Даже походка стала у него морская. Он курит не папиросу, а трубку... На гвозде висит морской бинокль».

¹ К. Чуковский. Собрание сочинений в 6-ти томах, т. 2, стр. 211.

Назавтра он выходит в море. В высоких непромокаемых сапогах, в кожаной норвежской шапке. «Как он набивает трубку, как он сплевывает, как он выглядывает на игрушечный компас! Он чувствует себя капитаном какого-то океанского судна. Широко расставив могучие ноги, он сосредоточенно и молчаливо смотрит вдаль. На пассажиров никакого внимания: какой же капитан океанского судна разговаривает со своими пассажирами!..»

А пассажиров всего двое, садовник Степан и Корней Чуковский. «Океанское судно» — обыкновенная яхта. А «море» — мелководный Финский залив.

Проходит какое-то время. Внезапно Леонид Андреев из просоленного моряка превращается в великолепного «герцога Лоренцо», как его тогда называл Репин. «Как величаво он являлся гостям на широкой, торжественной лестнице, ведущей из кабинета в столовую!.. Шествовать бы ему во главе какой-нибудь пышной процессии, при свете факелов, под звон колоколов».

И вдруг вместо величественной походки герцога Лоренцо появляются у Андреева «волжские залихватские ноты». Или еще того неожиданнее и страннее — «библейская мелодия речи».

Чужачества доброго знакомого? Нет, характерные черты писателя. «Герцогом Лоренцо» он становился, когда писал «Черные маски». Моряком — когда работал над пьесой «Океан». «Он невольно перенимал у своих персонажей их голос и манеры, весь их душевный тон, перевоплощался в них, как актер». Актерскими были волжские залихватские ноты, когда создавался «Сашка Жегулев». Еврейские интонации, «даже в частных разговорах за чаем», — когда писалась «Анатэма» с Давид-Лейзером.

Во всех этих неожиданностях сказались существеннейшие черты стиля Леонида Андреева — «тяготение к огромному, великолепному, пышному». Гиперболическому, театральному, поражающему читателя и зрителя. И часто надуманному.

3

Конечно, здесь К. Чуковскому-критику пришел на помощь К. Чуковский — мемуарист и художник.

Но и в «чистом» жанре критики неожиданность у него — излюбленный ход изложения.

Вот в «Книге об Александре Блоке»¹ мы переходим от глав, посвященных первой книге стихов, к разделу «Книга вторая». Читаем:

Блок «неожиданно разрушил все рамки, в которых, по ощущению критиков, было заключено его творчество, и явил нам новое лицо, никем не предвиденное, изумившее многих». И «странно читать после первого тома второй».

Если в первой книге — горные высоты, то во второй — низменности и болота: «чахлые кочки, ржавые трясины, болотные впадины, болотные огоньки, болотная стоячая вода». Исчезло то «лазурное, золотое и розовое, что осеняло поэта в первой его книге». Не осталось неба — только «чахлая полоска зария».

И «много зловещих слов» появилось во второй книге: хаос, судороги, корчи, злое, голодное Лихо. Их и в помине не было в первой книге.

Откуда столь резкий поворот? «У Блока появилась новая тема: город». Произошло еще более непредвиденное (К. Чуковский восклицает. «С ним случилось чудо»). Поэт увидел людей.

«Шесть лет он пел свои песни и ни слова не сказал о человеке. Если бы на свете не было ни одного человека, в «Стихах о Прекрасной Даме» не пришлось бы изменить ни строки». Поэт «пел их в безлюдном и беспредметном пространстве». Теперь, очнувшись в крупном многолюдном городе², поэт «понял впервые, что существует не только он сам и его Небесная Дева, но — и люди».

Как же их увидел Блок? В неожиданнейшем ракурсе — со спины: «согнуть измученные спины», «навалит на спины кули»³. Когда «серафим из своего беспредметного мира прямо упал в петербургскую ночь», его поразило, «как тяжело лежит работа на каждой согнутой спине».

¹ К. Чуковский. Книга об Александре Блоке. Издательство «Эпоха». П. 1922.

² Город Блока — «всегда и неизменно» Петербург. Блок — «наименее московский из всех русских поэтов... Не то, чтобы Блок воспевал Петербург, — нет, в нем каждая строка была Петербургская, словно соткана из Петербургского воздуха». Крайне характерная для стиля К. Чуковского фраза.

³ Строки эти — в самом конце первого тома — предвещают будущий сдвиг.

Так остро, как бы физически ощутимо охарактеризован излом в блоковской поэзии: «Первое, что он узнал о людях: им больно».

Конечно, отход Блока от правоверного символизма бросался в глаза. Потускнели, отодвинулись излюбленные прежде таинственные надзвездные выси, магически влекущие своей непознаваемостью. Голубые сияюще-нездешние миры, которым так истоиво поклонялся поэт ранее, предстали в «Балаганчике» выморочной пустотой за окном, заклеенным бумагой. Вместо них — ресторанские залы и кабацкие стойки, пряная, душная атмосфера ночных кутежей.

Но при всем том, что первую книгу стихов переполняли образы смутно-кольшущиеся, мерцающие, сам поэтический символ веры был отчетлив и прямолинеен. Во второй книге компасная стрелка творчества заметалась беспокойно и судорожно. Среди этих сбивчивых, спутанных мельканий К. Чуковский высмотрел: «петербургские зловонные колодцы дворов», чердаки... Люди, раздавленные непосильной ношей... «Человек, истертый городом, городской неудачник, чердачный житель».

Самые неожиданные, но и самые взрывчатые, самые весомые и обещающие образы. «Согнутые спины — это было его открытие. Прежде, у себя на вершине, он и не знал, что у нас согнуты спины».

Но это стало и открытием самого Корнея Чуковского. Нужно было выявить эти, в общем, немногие строки, направить на них луч критического прожектора.

И тогда их увидели все.

4

Простодушным любителям музыки кажется, что главнейшее достоинство дирижера — изящный, скульптурный, гипнотический жест. И он-то воплощает дирижерскую мысль и волю.

Конечно, могущественный, говорящий жест — бесценное оружие. Однако девяносто девять сотых дирижерского гения — это умение прочесть партитуру. Проникнуть в то, что стоит за нотными знаками и поясняющими терминами. Почувствовать дух произведения и, сплавив с ним свои душевные богатства, как бы заново создать мир звуков.

А жест только закрепляет найденное дирижером наедине, в молчаливой беседе

с партитурой, и внушенное оркестру на репетициях.

Корней Чуковский — великий мастер прочитывания литературных «партитур», открыватель их смыслов, красот, ценностей. И «неожиданности», которые пронизывают ткань его критических произведений, не только прием увлекательного критического рассказа. Они — главным образом — форма, в которую облакаются открытия, совершенные критиком.

«Я назвал... поэму «Двенадцать» гениальной», — провозгласил он летом 1921 года.

И позже (с вполне понятной гордостью) добавил: «Теперь, после его кончины, я радуюсь, что еще при его жизни произнес это ответственное слово».

Вспомним, что тогда на «Двенадцать» обрушивались и справа (поэту не могли простить приятия Октября: «революционный держите шаг, неугомный не дремлет враг») и слева (вменяли в вину пресловутый мистицизм — Христа «в белом венчике из роз»).

После выступления Блока в московском Доме печати (последнего, незадолго до его смерти) бесшабашный левак бросил ему в лицо слова, достойные инквизитора:

— Это стихи мертвеца, и написал их мертвец.

Именно тогда Корней Чуковский поставил Блока в один ряд с великими классиками русской поэзии.

Блок, написал он, «был Лермонтов нашей эпохи... Всегда во всех его стихах, даже в самых слабых, чувствуется особенный величавый, печальный, торжественный, благородный, лермонтовский, трагический тон, без которого его поэзия немислима».

Нельзя не дивиться отваге критика, презревшего «золотую середину» и написавшего такие слова о современнике:

«Он для моего поколения — величайший из ныне живущих поэтов. Вскоре это будет понято всеми».

Пророчество К Чуковского блистательно сбылось.

Когда в десятых годах появились в России футуристы, вся пресса изощрялась в ругани по их адресу. Изысканно-салонного Игоря Северянина, поэта с дарованием: косноязычную заумь Крученых, впадавшую в полную бессмыслицу; бездарного штукаря Василиска Гнедова — смешали в одну

кучу с Маяковским и Хлебниковым. И всем устроили «вселенскую смазь».

Досталось футуристам и от Корнея Чуковского. Убийственным было выступление против «модного» Игоря Северянина, ставшего вдруг кумиром полунинтеллигентного читателя.

«О, лакированная, парфюмерная будуарно-элегантная душа!.. О чем бы он ни говорил: о Мадонне, о звездах, о смерти, я читаю у него между строк:

— Гарсон! Сымпровизируй блестящий файв о'клок»¹.

Но в этом шумном сборище футуристов Корней Чуковский разглядел Маяковского. Первый оценил его серьезно и вдумчиво, первый сказал о нем смелое похвальное слово:

«И, конечно, я люблю Маяковского, эти его конвульсии, судороги, всхлипы о лысых куполах, о злобных крышах, о букете из бульварных проституток».

Только К. Чуковский понял тогда, что «визионер» Маяковский «им» (то есть футуристам) «чужой совершенно, он среди них случайно». И остро почувствовал всю пропасть между потребительским «урбанизмом» Игоря Северянина, воспевающего столичную роскошь — комфортабельные кареты, элегантные коляски, шелковые обивки, — и трагедийным восприятием современного города-спрута у Маяковского.

«Город для него не восторг, не пьянящая радость, а распятие, Голгофа, терновый венец, и каждое городское видение — для него словно гвоздь, забиваемый в самое сердце. Он плячет, он бьется в истерике».

К. Чуковский приводит строки: «Кричу кирпичу, слов расступленных вонзаю кинжал в неба распухшего мякоть». И добавляет: «Хочется взять его за руку и, как ребенка, увести отсюда, из этого кирпичного плена».

Прозорливо почуял К. Чуковский в стихах раннего Маяковского «пронзительный крик о неблагополучии мира». И о литературном дебюте Велемира Хлебникова тоже сказал доброжелательное слово:

«Русскому футуризму три года. Он начался очень мило, как-то даже застенчиво, даже, пожалуй, с улыбочкой, хоть и с вызовом, но с таким учтивым, что всем было

весело и никому не обидно. В 1910 году, в несурзном альманахе Студия некто никому не известный напечатал такие стихи» (К. Чуковский цитирует полностью знаменитое «О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи!»).

«Смехачи, действительно, смеялись, но помню, я читал и хвалил. И ведь, действительно, прелесть. Как щедрa и чарующе-сладостна наша славянская речь!» Угадано было едва ли не самое ценное у Хлебникова — его языкотворческий дар, прозорливое постижение корневых прасокровищ русского языка.

Таких открытий было много.

5

Но самой красноречивой, пожалуй, главой деятельности Корнея Чуковского — критика была его борьба за подлинного Чехова.

На этом стоит остановиться подробнее.

«Не много знает история литературы более вопиющих ошибок, чем те, какие были допущены критиками в оценке чеховских рассказов и пьес», — с горечью замечает К. Чуковский. Не многие представляют себе сейчас весь драматизм и даже трагичность борьбы за справедливую оценку Чехова, достойную его гения. Ныне любой начитанный школьник знает, что «из всех беллетристов своего поколения Чехов... чаще других ополчался против зол и неправд окружающей жизни».

Между тем при жизни Чехова (за исключением последних его лет) критики, точно сговорившись, точно заключив круговую поруку, дружно клеймили его — страшно и стыдно вымолвить! — за постыдное равнодушие к несчастьям и страданиям людей.

С болью и отвращением выписывал К. Чуковский из тогдашних печатных органов такие, например, цитаты: Чехов — «бесчеловечный писатель», и «ему все едино, что человек, что тень, что колокольчик, что самоубийца», а также «все равно... человека ли убили, шампанское ли пьют», потому что у Чехова, видите ли, «нет никаких идеалов», у него «культ нравственного безразличия».

Так писали не безвестные бумагомаракы, а влиятельные главы журналов, законо-

¹ К. Чуковский. Лица и маски. Издательство «Шиповник». СПб. 1914. Статья «Футуристы».

¹ К. Чуковский. Еще о Чехове. Собрание сочинений в 6-ти томах, т. 5.

датели литературных вкусов: знаменитый тогда Н. Михайловский, известные критики П. Перцов и М. Протопопов, весьма читаемый беллетрист А. Эртель (автор романа «Гарденины»),

А даровитый портретист-очеркист Н. Рузанов громогласно заявил, что Чехов — писатель «без чести и совести». И нравственная оценка у него «окончательно атрофировалась и превратилась в аморальность».

Такова была «грубость, разнузданность, наглость и даже свирепость» тогдашней критики. И хотя нельзя перечислять эти «безумные слова» (как их окрестил К. Чуковский) без тягостного чувства, стоит все же их припомнить, чтобы призадуматься.

Почему критика и официальное «общественное мнение» столь часто проявляли чудовищную слепоту по отношению к многим выдающимся современникам? Почему подвергались хуле и осмеянию замечательные художники, впоследствии признанные славою своего народа, а иногда (как было с Чеховым) и всего человечества?

Примеров можно привести десятки. Напомню только события столетней давности, мартиролог группы французских живописцев, объединяемых (не совсем точно) названием «импрессионисты», чей путь был усеян глумлениями и насмешками, улюлюканьем и издевательским хохотом критики.

История вынесла справедливый, нелюбимый приговор. Художникам-новаторам отведено место в Пантеоне. Их хулители заклеены позором как догматики и ретрограды. Но трагизм положения в том, что праведный суд совершился слишком поздно, уже после смерти творцов. При жизни же они были гонимы, погибали в безвестности и нищете (вспомним хотя бы многолетние жалобы и сетования Гогена: он не имел даже средств на покупку холста и красок!).

Повторилось это и с Чеховым. К счастью, ему не пришлось испить горькую чашу до дна. В последние годы жизни Чехова окружило всеобщее признание и любовь. Так в чем же тогда заключалось «первооткрывательство» Корнея Чуковского?

А в том, что случилось нечто невероятное. Да, ругань сменилась похвалами. Газеты и журналы запестрели восторженными отзывами. Но...

Но «в основе большинства дифирамбов,

которыми теперь прославляли его, лежало опять-таки глубоко неверное, ложное представление о нем», — пишет К. Чуковский. Чехова «безапелляционно причислили к певцам безнадежной тоски». И «именно такую тоску объявили его величайшим достоинством».

В статьях, речах, даже стихах превозносили вымышленного певца хмурых людей и понурой сумеречности, хотя Чехов и отвергал «роль всероссийского нытика, которую навязали ему современники», насильно «загримировавшие его Надсоном».

Постарались забыть, что Чехов был одним из величайших юмористов русской и мировой литературы. Веселым уничтожающим смехом он клеймил пошлость, лакейство, скопидомство, невежество. А если и вспоминали, то только для того, чтобы оттенить дальнейшую неизбежную, будто бы унылую тоскливость, в которой узрели чеховскую сущность.

Ужас был в том, что «таково было гуртовое, сплошное, массовое, тысячеголосое суждение о Чехове». Получилось, что и прежние хулители, и последующие хвалители сходились в основном: и те и другие не видели в чеховском творчестве активного действенного начала. Не замечали направляющей нравственной идеи, жгучего стремления очистить русскую жизнь от скверны. От гнета сильных над слабыми. От эгонизма, стяжательства, грубого попиранья личности.

И молодой тогда Корней Чуковский со страстью ринулся на фальсификаторскую легенду, на глухую стену непонимания. В 1915 году в «Ниве» он опубликовал горячую, темпераментную статью, в которой (использовав, в частности, вышедший в те годы шеститомник чеховских писем) мастерски воссоздал истинный облик писателя. Беззаветную деятельность врача, бесплатно лечашего крестьян да еще снабжающего их лекарствами; энергичную борьбу с холерой, помощь голодающим; постоянную заботу о ялтинских чахоточных больных, о нуждающихся писателях. Наконец самоотверженную, героическую (никем, кстати, тогда не оцененную) поездку на лошадях по тысячеверстным пространствам, по бездорожью на Сахалин, чтобы изучить и по возможности облегчить участь отверженных из отверженных — сахалинских каторжников.

Сопоставив анализ личности, характера писателя и магистральных мотивов его творчества, Корней Чуковский провозгласил неслыханно новую тогда мысль о могучей воле и мужественности писателя. «Те же, кто сентиментально твердят до сих пор о какой-то чеховской расслабленности, вялости, женственности, ничего не понимают в искусстве».

Критик, открывший русскому читателю подлинное лицо Чехова, мог себе позволить такие суровые слова.

В предреволюционное время мнение К. Чуковского было гласом вопиющего в пустыне.

Но и потом были годы, когда оно звучало одиноко. Был период, когда в советских вузах, в критических отделах журналов задавали тон люди, только слывшие марксистами, на самом же деле, по своему бессилию стать на уровне могучего учения, подменившие его тошним, пигмейским «вульгарным социологизмом».

Во вступительной статье к первому после революционному двенадцатитомному собранию сочинений Чехова (1929) влиятельный профессор В. М. Фриче назвал писателя «слабой натурой», «безвольным человеком», выразителем умонастроений «мещанской интеллигенции». В восьмом же томе этого издания другой автор заявил: «Мечты Чехова — довольно мизерные, совершенно буржуазные».

Наперекор этой «злой неправде» Корней Чуковский написал страстно-боевой, полемический ответ «Антон Чехов».

«Человеческая воля, как величайшая сила, могущая сказочно преобразить нашу жизнь и навсегда уничтожить ее «свинцовые мерзости», и есть центральная тема всего творчества Чехова», — писал К. Чуковский, опровергая годами длившееся заблуждение.

Как бы заранее отвечая живучему племени критиков-упрошенцев, ставящих знак равенства между предметом изображения и авторской идеей, отождествляющих то, что описано (объект, атмосферу), с пафосом произведения, с устремлением художника, К. Чуковский добавляет:

«Сказавшаяся в его книгах необычайная зоркость ко всяким ушибам, надломам и вывихам воли объясняется именно тем, что сам он был беспримерно волевой человек, подчинивший своей несгибаемой воле все свои желания и поступки».

Но слепота критики проявилась не только в непонимании характера писателя. Не понята была чеховская тема, ее громадное значение и смысл. Почему «ушибы, надломы и вывихи» стали в центре чеховского творчества? Почему они стали источником гениальных произведений, составивших эпоху в литературе? Потому, дает ответ К. Чуковский, что «настоящая чеховская тема... о борьбе человеческой воли с безволием есть основная тема той эпохи. Потому-то Чехов и сделался наиболее выразительным писателем своего поколения, что его личная тема полностью совпала с общественной».

6

«И вот спрашивается, — с горечью восклицает К. Чуковский, — почему же никто до конца его дней («и до самого недавнего времени», как добавлено в следующем абзаце) не заметил, что он — великан?»

«Не заметили даже те, «что очень любили его», постоянно твердили о нем: «милый Чехов», «симпатичный Чехов», «изящный Чехов»... «трогательный Чехов», «обаятельный Чехов», словно речь шла не о человеке громадных масштабов, а о миниатюрной фигурке, которая привлекательна именно своей грациозностью, малостью».

К. Чуковский — уже как мемуарист — вспоминает, как и в пору, казалось бы, признания Чехов был «объявлен в печати клеветником на народ, бросающим в него отвратительной грязью. Я живо помню те взрывы негодования и ярости, которые были вызваны его «Мужиками».

Это были голоса злопыхателей, тупых доктринеров. К. Чуковский расправляется с ними так, как они того заслуживают. Но как быть с голосами людей благородных, народолюбивых, талантливых, как Глеб Успенский, Короленко, Шелгунов, которые «дружно встали против чеховской пьесы «Иванов»?»

Здесь мы подходим к проблеме гораздо более широкой, нежели вопрос об оценке Чехова. Речь идет о соотношении критики с движением литературы, с изменениями, в ней совершающимися. О принципах, необходимых для того, чтобы смотреть вперед, а не только оглядываться назад.

Представим себе критика со сложившимися эстетическими взглядами, с устойчивыми критериями оценки. Появляется новое литературное произведение. Средний пред-

ставитель этой категории возьмет книгу в руки, преисполненный уверенности (пусть бессознательной), что он обладает всем, что необходимо для должного критического разбора и соответствующей оценки. Что пахнущая свежей типографской краской книга или журнал, возможно, заставят его многое пересмотреть, передумать — это ему и в голову не приходит. Шкала оценок испытана и проверена: она не подведет. И новое произведение, подобно прежним, благополучнейшим образом в ней уляжется.

Беру самый благоприятный вариант: критик любит литературу, одарен вкусом. Деятельность этого критика будет полезной и эффективной, пока... пока литература движется в некоем установившемся русле.

Но вот родилось новое литературное течение. С иным подходом к вещам, иным кругом внимания, с изменившимся стилевым обликом и манерой, с непривычным, отличающимся от «узаконенного» способом видения мира. Что будет с нашим столь уверенным в себе критиком?

Вспомним один из важнейших переломных моментов в развитии русской литературы — появление Гоголя.

Виднейшим русским критиком был тогда Н. А. Полевой. По отзыву Чернышевского, человек замечательного, сильного ума, достойный уважения по характеру, в добросовестности которого никто не мог сомневаться.

У Полевого были большие заслуги. Его журнал «Московский телеграф» противостоял реакционной «Северной челе», пресловутому триумvirату Булгарин — Греч — Сенковский. Он энергично воевал с отжившим классицизмом, ратуя за передовое романтическое направление, лучшим представителем которого он считал Виктора Гюго.

Первые произведения Гоголя Н. А. Полевому понравились. Потому что, объясняет Чернышевский, «в них еще не преобладало новое начало, превысившее уровень его понятий». Но Полевой так и не смог «выйти из круга понятий, разработанных французскими романтиками». И пошла серия выпадов, навсегда запятнавших имя Полевого.

Над «Ревизором» была учинена жестокая расправа: «Не больше, чем фарс». «Мертвые души»? Грубая карикатура, держится на несбыточных подробностях. «Искусству нечего делать с «Мертвыми душами». Так буквально и написано!

Чудовищная ошибка Полевого коренилась

в неподвижности, застылой омертвелости его эстетических принципов. Воспитанный на исключительных, эффектных героях и ситуациях Гюго, он начисто отверг писателя, у которого (цитирую Чернышевского) «завязка — обиходный случай, известный каждому, характеры — обыденные, встречающиеся на каждом шагу, тон — также обыденный».

Проверка новым, испытание новым — самая трудная, но и самая решающая проверка дарования критика, ценности и долговечности его вердиктов.

Мысль о том, что искусство, развиваясь и обновляясь, неизбежно ищет новых путей и способов углубления в действительность, новых средств воплощения и воссоздания реального мира и человеческого духа, — была совершенно чужда Полевому.

Белинский же обладал, как никто, способностью чутко чувствовать рождение нового, плодотворного и не прикладывать к нему готовый складной критический аршин (пусть даже раньше он был вполне пригоден и полезен). Уже в статье «О русской повести и повестях Гоголя» — еще до «Ревизора» и «Мертвых душ», основываясь на «Старосветских помещиках» и «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», — критик начал выводить эстетические законы нового художественного направления: «Как сильна и глубока поэзия г. Гоголя в своей наружной простоте и мелкости!» Сложившиеся системы эстетических взглядов Белинский решительно перестроил, обновив новые критерии, осветившие на многие десятилетия пути великой школы социального и психологического реализма.

А Полевой остался примером ограниченной критики «складного аршина», обреченной на забвение, когда начался славный гоголевский период русской литературы.

7

В статьях о Чехове К. Чуковский усердно сражался с «Полевыми» позднейших времен. Но, как известно, недостаточно установить ошибочность определенного взгляда, нужно еще выяснить причины возникновения ошибки, почву, на которой она выросла. К. Чуковский так и поступает.

И злостные нападки, и добросовестные заблуждения чеховских критиков были отнюдь не случайны. Новаторство Чехова было настолько непривычным, настолько отклонялось от проторенных путей, что совре-

менникам действительно нелегко было постичь его, разгадать и принять. «Его художнические методы были так сложны и тонки, рассчитаны на такую изощренную чуткость читателя», что целые поколения критиков так и не могли в них разобраться.

Классической русской прозе было несвойственно характерное для Чехова несоответствие пафоса произведения и его тона. «Ровным голосом, который... может показаться даже бесстрастным», говорил он в своих повестях и рассказах. «Ни одним словом не высказал он, например, своего возмущения, изображая (в рассказе «В овраге») оскотинившегося деревенского батюшку», который жадно и много ест на поминках. К нему подходит Липа, мать похороненного младенца, которого ошпарила кипятком озверевшая Аксинья, сидящая тут же за столом, пируя вместе со всеми. И батюшка роняет равнодушно: «Не горюйте о младенце. Таковых есть царствие небесное».

«И больше ни единого слова», — комментирует К. Чуковский. «Иному тупосердому и вправду покажется, что Чехов не питает никакой неприязни к этому так спокойно изображенному батюшке», который «произносит привычные слова утешения с набитым едою ртом». И «вместо креста поднимает привычным движением вилку, на которую надет соленый рыжик».

И кто же сомневается в том, продолжает К. Чуковский, «что этот дрянной человек вызывает в Чехове чувство гадливости: хам, чревоугодник, якшающийся только с богатыми, моральный соучастник их злобного хищничества».

Но Чехов, изображая его, не высказывает ни малейших эмоций. Он говорит об этом ненавистном ему человеке протокольным... эпически повествовательным, матовым голосом, словно он не чувствует к нему ни малейшей вражды.

Разумеется, когда К. Чуковский задает вопрос: «И кто же сомневается...» — это звучит чисто риторически. В том-то и была беда Чехова и вина критики, что сомневались.

А сомневались потому, что не разглядели глубокой противоположности внешне объективного, мнимо бесстрастного повествования и затаенного, как в недрах вулкана, kloкочущего отвращения к бесчеловечным порядкам, нравственному и духовному убожеству, мелкодушью и злобе.

Впрочем, не только сомневались сами, но и у читателя сеяли подозрение, что Чехов «ничего не проповедует, никуда не зовет, ничему не учит, ни на что не жалуется, ничего не желает».

«Не привыкшие к его (Чехова) сдержанной, якобы бесстрастной, якобы эпической речи» критики и читатели «требовали от него деклараций, публицистических лозунгов, где были бы обнажены его авторские оценки людей и событий». Сколько раз еще впоследствии адресовались с аналогичными претензиями и к нашим писателям-современникам...

Но Чехов этого не делал «почти никогда» (К. Чуковский отмечает и исключения — рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «О любви», где автор выступил «истолкователем собственных образов»). В остальных же — «ни малейшей подсказки читателю... Пойми, разгадай... сам». Чехов был уверен, что «художественные образы в тысячу раз убедительнее, сильнее и действеннее, чем какие бы то ни было рассуждения и декларации автора».

8

Но мы можем сказать уверенно: в сказке критика читатель нуждается безусловно. Возьмем, скажем, определение «простой» как оценочный критерий искусства. В критическом обиходе оно, казалось бы, звучит всегда однозначно и безоговорочно положительно. В одном ряду со словами «хороший», «отличный», «реалистический», «народный» и т. д.

Между тем, доказывает нам К. Чуковский, вопрос о простоте художественной речи далеко не всегда прост. И совсем не прост оказался в применении к Чехову.

Речь идет о «Скрипке Ротшильда». (Статьи о Чехове во втором и пятом томах собрания сочинений я считаю подлинными критическими шедеврами. Главки о «Скрипке Ротшильда», пожалуй, ключевые. Они написаны — иначе не скажешь — вдохновенно.)

«При всей своей классической, я сказал бы, пушкинской простоте языка и сюжета, при четкой определительности каждого слова, при всей стройности и строгости композиции рассказ этот будет совершенно недостаточен (разрядка моя.— Е. Д.) тому, кто... «хоть на мгновение забудет», что «подлинные идеи, идеалы, стремления и симпатии» Чехова вовсе не лежат на поверхно-

сти, не выставлены напоказ. А, наоборот, скрыты во внутреннем ходе вещи, во внутренних сплетениях и взаимодействии образов».

Чеховские приемы только казались простыми. На самом же деле были весьма и весьма сложными. Чтобы вникнуть в них, понять и объяснить читателю, требовалось изощренное критическое зрение, способное увидеть скрытое, не бросающееся в глаза, не произнесенное вслух. Необходимо было филигранное мастерство микроанализа.

Долгие годы критика не могла разобраться в невиданном ранее «двойственном» способе ведения рассказа: «повествование, имеющее все признаки авторской речи, является на самом-то деле речью одного из персонажей рассказа». Это было «новаторское изобретение» Чехова. Но оно нуждалось в прочтении «партитуры». Прочтении и расшифровке.

«Скрипка Ротшильда» начинается так: «Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно».

Кому досадно? Гробовщику Якову, герою рассказа. «Но Чехов излагает их так, словно он и сам сожалеет, что люди умирают так редко». Осложнено это и тем, что о Якове и его профессии еще ни слова не сказано. И читатели, «не привыкшие» к этой новой литературной манере, «прочтя первые строки, никак не могли понять, кто же высказывает такую циничную мысль — сам ли Чехов или его персонаж».

К. Чуковский рассказывает про одного уважаемого провинциального педагога (действительно почтенного, несколько не «человека в футляре»). Прочтя первую страницу «Скрипки Ротшильда», он «простосердечно решил, что все это Чехов говорит от себя», и «увидел здесь новое подтверждение своего давнего мнения, что Чехов аморальный писатель».

Именно начала своих лучших прозаических вещей Чехов строил этим новым способом. Мы слышим как будто автора, внимаем его спокойно-повествовательному тону. На самом же деле «оценка изображаемых фактов дается в первой главе не автором, но его персонажами». И как раз тем персонажем, жизненная и нравственная позиция которого автором осуждается.

Выпукло показано это на примере «Попрыгуньи» и «Ионыча». Все решительно —

описания, детали, характеристики — в начале рассказа дано глазами «попрыгуньи». И весь словарь ее, Ольги Ивановны. Претенциозный ее салон — «миленький уголок», «красивая теснота». Гости, которых она приглашает, «не совсем обыкновенные люди». Каждый «чем-нибудь замечателен». Один — «признанный талант», другой — «известный». Остальные — «изящный, умный, отличный». И только Дымов, муж ее, даровитый самоотверженный ученый (это раскроется потом), человек чистой души, охарактеризован как «ничем не замечательный», «очень обыкновенный», «простой».

И даже тогда, когда описывается сама Ольга Ивановна, уж наверняка не кем иным, как автором, то и здесь ее лексикон, ее отношение к вещам, и над всем описанием как бы порхает ее любованье собой: «Из старого перекрашенного платья, из ничего не стоящих кусков тюля, кружев, плюша и шелка выходили просто чудеса, нечто оборотливое, не платье, а мечта... Все у нее выходило необыкновенно, художественно, грациозно и мило».

Тот же изящный, меткий микроанализ стиля в разборе «Ионыча». Мы убеждаемся, как он необходим для понимания Чехова. Больше того, без этого микроанализа невозможно разгадать сущность новых «рискованных и сложных» чеховских приемов.

«Всмотритесь в первую главу рассказа, — пишет К. Чуковский, — в те эпитеты, которыми уснащен этот текст. Все это эпитеты хвалебные, из них даже восторженные, и несмысленный читатель не всегда догадается о скрытом сарказме автора».

«Умные, интересные, приятные семьи», «самую образованную и талантливую (семью)», «миловидная дама», «приятного гостя», «талиа тонкая, нежная», «молодое, изящное и, вероятно, чистое существо» (привожу перечень, данный К. Чуковским, не полностью. — Е. Д.). Простодушный читатель не видел, что «весь этот комплекс оценочных слов принадлежит не автору», но Ионычу, что «здесь регистрируются ошибочные впечатления и мысли молодого врача, которому яркой талантливостью показалась пошлая и тупая бездарность»: литературная банальщина Туркиной-матери («мороз крепчал»), ремесленное брэнчанье на фортепиано Туркиной-дочери, пошлое, из года в год повторяемое самодельное острячество Туркина-отца.

К сожалению, я лишен возможности в этом эскизном наброске остановиться подробнее на новом приеме стилиевой характеристики, который Корней Чуковский открыл и виртуозно разработал, — «словесной доминанте».

В ранней статье «Оскар Уайльд»¹ он приводит длинные обильные перечисления разного рода драгоценных и полудрагоценных камней, которыми любят, восхищаются, восторгаются герои романов, сказок, пьес Уайльда. Многочисленные, наиподробные описания платьев, тканей, украшений — изысканных и роскошных. И постоянные сравнения с драгоценностями разных жизненных явлений. Все это необыкновенно точно целило в самую суть Уайльда: «он совершенно не замечает, не хочет заметить источника всякой красоты — природы». Уайльд «был самый оторванный от земли, самый нестихийный, самый неорганический в мире человек».

Применив этот стилиевой «ключ» к дореволюционным Вербицкой и Чарской, К. Чуковский одним подбором излюбленных ими эпитетов, речений, словесных оборотов («бездны» на каждом шагу, постоянные «сверкающие глаза», «вздрагивающие ноздри» у «вспыхивающих» героинь и героев Вербицкой; бесконечные обмороки на страницах Чарской, среда титулованных благородных героев — князей и княгинь, графов и графинь, неизменно выступающих в роли спасителей ее юных героинь) безжалостно и наглядно обнаружил тривиальность, духовную нищету этих писательниц, безмерно популярных в те времена.

9

В молодые годы Корней Чуковский был по преимуществу критиком «атакующего» стиля (если употребить шахматную терминологию).

Что вызывало — в лучших статьях — гнев и страстную отповедь критика? Мне кажется, прежде всего поддельное в искусстве, фальшивые монеты, олово, прикидывающееся серебром. Особенно яростный огонь открывал он по подделкам, пользующимся шумным успехом, взошедшим на дрожжах оглушающей моды.

Так появились громовые статьи-памфлеты против Вербицкой и Чарской, фаворитов

расплодившегося мещанского читателя. Их грошова краснота, лубочные эффекты, ремесленные приемы обнажались язвительно и беспощадно.

С бездарными Вербицкой и Чарской расправа была короткой, сплеча. Но были случаи потруднее.

Игорь Северянин был бесспорно талантлив (кстати, К. Чуковский хвалит удачное слово, им введенное: бездарь). Но под тонким слоем позолоты крылась безвкусица, модный «ширпотреб», как мы бы сейчас разились. «Словесная доминанта» и здесь сыграла свою роль своеобразной лакмусовой бумажки. Любимая лексика Игоря Северянина: фешенебельный, комфортабельный, пикантный. Излюбленный инвентарь: ландо, кабриолеты, лимузины, эллиптические рессоры, элегантные коляски, гостинные с шелковой обивкой, ягуаровые пледы, мраморные террасы. Упомянутые изыски: мороженое из сирени, шампанское в лилии, ананасы в шампанском, боа из хризантем.

К. Чуковский выставил напоказ преискусрантную, гостиниодворскую роскошь его стиля. «Не только темы и образы, но и все его вкусы, приемы, самый метод его мышления, самый стиль его творчества определяются веерами, шампанским, ресторанами, бриллиантами. Его стих, остроумный, кокетливо-пикантный, жеманный, жантильный, весь как бы пропитан этим воздухом бара, журфикса, кабаре, скетинг-ринга».

Но что Игорь Северянин, предмет обожания гимназисток и делопроизводителей! Куда ему было до Д. С. Мережковского, кумира тогдашней дипломированной интеллигенции. Столичная элита почтительно склонялась перед авторитетным ученым, автором незаурядного исследования «Толстой и Достоевский» с нашумевшим противопоставлением «тайновидца плоти» и «тайновидца духа».

Мережковский — это была целая библиотека. При жизни два полных собрания сочинений. Одно в семнадцати томах, другое, через два года, в двадцати четырех. Там были представлены: поэзия (некоторые стихи безусловно заслуживали внимания), драматургия (талантливая пьеса «Павел I» — исполнением заглавной роли приобрел славу артист Певцов — могла бы, на мой взгляд, фигурировать и в нынешнем репертуаре), философские работы (религиозно-мистического толка), литературоведческие.

¹ К. Чуковский. Лица и маски. Издательство «Шиповник». СПб. 1914.

Но превыше всего была слава Мережковского как исторического романиста. В особенности громкий успех выпал на долю трилогии «Христос и Антихрист»: «Смерть богов» («Юлиан отступник»), «Воскресшие боги» («Леонардо да Винчи»), «Антихрист» («Петр и Алексей»).

Трилогия свидетельствовала о первоклассной исторической эрудиции автора. Она претендовала на философские глубины, на изощренную проблемность. Вечная, по мнению автора, борьба Христа с Антихристом красной нитью проходит сквозь всю трилогию. И уже один только интерес читателя к тайнам этой величественной антиномии служил в глазах утонченной — к слову сказать, весьма сытой и благополучной — интеллектуальной элиты признаком духовной избранности. Как бы пропуском в горние высоты духа.

«Трилогия г. Мережковского, — предоставляем слово К. Чуковскому, — написана, собственно, для того, чтобы обнаружить «бездну верхнюю» и «бездну нижнюю», «Богочеловека» и «Человекобога», «Христа» и «Антихриста», «Землю» и «Небо» слитыми в одной душе, претворившимися в ней в единую, цельную, нерасточимую мораль, в единую правду, в единое добро. Он выбрал эпохи, наиболее раздираемые «верхней и нижней бездной»: эпоху борьбы христиан и язычников, эпоху борьбы древней и новой России, эпоху борьбы Ренессанса и феодализма, и для каждой эпохи нашел ее гения, примирившего «да» и «нет» в одну какую-то мучительно-сладкую, страшную и нечеловечески-прекрасную гармонию: Юлиана, Леонардо и Петра.

Замысел великий, философские и психологические задачи необъятные...»¹ — на этом пока обрываю цитату.

Из этих строк читатель, и не читавший трилогию, догадается, что Мережковский питал тайную надежду — по остроте противоречий, по их мучительной слиянности, по всечеловеческой, всеобъемлющей грандиозности поставленных проблем, по смелости психологических противопоставлений, терзаний, исканий, озарений состязаться не с кем иным, как с Достоевским, которого он, Мережковский (так ему, очевидно, казалось), постиг так глубоко. И приблизился к нему так тесно, как никто.

Трилогия написана пером искусным, можно сказать даже — искуснейшим. Автор прекрасно знает все особенности исторического жанра, изучил все приемы построения. Все ходы и переходы ему отлично знакомы. Исторических знаний, в высшей степени основательных, ему хватило бы с избытком на десяток романов.

Все признаки художественности были налицо. И нужно было обладать безошибочным эстетическим чутьем, чтобы не поддаться всеобщему гипнозу и распознать в первоклассно сработанном историческом полотне имитацию. Мастерскую, ювелирную, даже виртуозную, но имитацию.

Это и сказал К. Чуковский во весь голос: «Он написал трилогию: о Юлиане, Леонардо да Винчи и Петре, — прекрасную трилогию, у которой только один недостаток, что в ней нет ни Юлиана, ни Леонардо да Винчи, ни Петра...»

Что же в ней есть? Тут необходимо цитату закончить.

«...есть вещи, вещи и вещи, множество вещей». Огромный, подавляющий, необъятный исторический инвентарь. Профессиональные знания всей корпорации хранителей музеев скопились в изумительной кладовой памяти Мережковского. «Комнату загромождали казенки, поставцы, шкафы, скрини, шкатуны, коробья, ларцы, кованые сундуки. обитые полосами железа подголовки, кипарисные укладки...» — подобные описи заполняют множество страниц. «Куда денешься от этих вещей, — восклицает К. Чуковский, — если они сыплются без конца, засыпая собой и верхнюю и нижнюю бездну, и Мережковского, и Петра, и Леонардо, и читателя».

И обыгрывая крылатое изречение Мережковского о Толстом и Достоевском («тайновидец плоти» и «тайновидец духа»), К. Чуковский находит сокрушительную, убийственную для автора формулу: «Мережковский — «тайновидец вещи»».

Но вещи — не больше чем фон, обстановка, бытовое окружение людей. А сами-то люди? Как они воссозданы?

Да так же, как вещи: генеральным способом перечисления.

В последней части трилогии один из главных персонажей — Тихон, раскольник. На одной только странице Тихон вспоминает: «а) отвлеченные математические выводы, б) сравнение математики с музыкой, сделанное Глюком, с) спор Глюка с Брюсом о

¹ К. Чуковский. От Чехова до наших дней. Изд. 3-е. исправленное и дополненное. Издание т-ва М. О. Вольф. СПб. и М. 1908.

комментариях Ньютона к Апокалипсису, d) мнение Брюса о раскольниках, e) еще одно изречение Ньютона с точной цитатой из Библии, f) трактат Леонардо да Винчи о живописи, g) еще одно изречение Ньютона, h) отрывок из раскольничьей песни».

Все психологические экскурсы, проблемные споры сводятся к элементам все той же гигантской, подавляющей, обездушивающей эрудиции. «По отношению к внутреннему существу человека, всякая идеология, все эти верования, песни, легенды, философские доктрины, которые характеризуют человека, как порождение данной эпохи,— все они суть такие же вещи, как и пунцовый алтабас».

«Художественность» трилогии оказалась фиктивной. Столь как будто наглядная, несомненная, осязаемая «образность» была лишь производным от эрудиции.

Так был совлечен ореол с мнимо мону-ментального исторического романа.

10

С годами пыл истребителя фальшивых ценностей у Корнея Чуковского не то что поостыл, но им завладела еще более жгучая потребность открытия и утверждения истинных ценностей. В прекрасных работах о Блоке, Некрасове (им он занимался почти всю жизнь) и других К. Чуковский показал, как далеко еще не исследованы алмазные россыпи русской поэзии и прозы. Сколь много еще не открыто и как важно приобщить к этому читателя.

Когда я говорю «не открыто», я имею в виду не столько познавательную сторону, не только знания о писателе. (В этом отношении работы К. Чуковского стоят на большой научной высоте. Монография о Некрасове была, как известно, удостоена Ленинской премии.)

Я говорю о другом отличительном свойстве работ К. Чуковского. Думаю, что мало кто из критиков и литературоведов может с ним соперничать в этом его качестве: в бесценном даре внушать любовь к великим сокровищам искусства. В умении возвышать художественный вкус читателя, как бы передавать ему заряженные энергией ионы собственных эстетических озарений.

Мне кажется, сотням, тысячам читателей при чтении критических работ К. Чуковского гипнотически внушалось одно и то же непреодолимое желание: тут же, сразу же

взять знакомую, столько раз перечитанную книгу и с жадностью вновь всмотреться, вчувствоваться, насладиться давно известными строфами и страницами. И с изумлением — радостным и благодарным — убедиться, сколь много ускользнувших красот открыл им К. Чуковский.

Для этого критик должен, помимо аналитической и оценочной способностей, обладать еще одним особым свойством. У нас нет слова, именующего это свойство. Я бы определил его как умение «настроиться на волну» художника. На ту единственную, принадлежащую ему волну, на которой он выходит в эфир искусства.

Белинский утверждал, что талант критика гораздо более редок, нежели талант художественный. Не это ли свойство имел Белинский в виду?

Когда настраиваешься на волну большого художника, становится очевидным, что в его образной системе важно, полно значения самое малое звено. Изошренный слух К. Чуковского подслушал у Чехова смыслы самых беглых, проходных, как будто брошенных мимоходом слов, на самом же деле точно попадавших в самую сердцевину характера.

В «Даме с собачкой» походя сообщается, что жена Гурова звала его не Дмитрием, а Димитрием. Нестоящая мелочь? Нет, Чехов «хочет, чтобы мы по одной этой мелкой, почти незаметной черте почувствовали, как эта женщина претенциозна, фальшива, тупа, узколоба».

Одну только ее фразу мы слышим на протяжении рассказа («Тебе, Димитрий, совсем не идет роль фата»).

«И больше не произносит ни слова, но сказанное ею сигнализирует нам, что она вдобавок ко всему деспотична, полна самомнения и спеси, верит в свое нравственное превосходство над мужем и вообще смотрит на него свысока, а ее книжное выражение «роль фата» окончательно вскрывает перед нами ее манерность, ходульность, напыщенность, из-за которых Гуров не может не чувствовать глубочайшего отвращения к ней».

Так многозначительны образы Чехова. Весь человек в одной фразе».

И пусть Чехов «нигде не говорит, что жизнь под одним потолком с этой претенциозной, самодовольной, деспотической женщиной была для Гурова ежедневным страданием». Пусть он «только сообщает читателю, что у нее была прямая спина и что

сама она звала себя «мыслящей», и если читатель сквозь эту, казалось бы, беззлобную, совершенно нейтральную характеристику Гуровой не почувствует всей антипатии автора к ней и к тому удушью, которое несет она в жизнь, пусть не воображает, что ему в какой бы то ни было мере понятны произведения Чехова и что он вправе судить о его идеях и принципах.

В единственную реплику включена и психологическая характеристика, и печать среды, и обиход времени, и социальная подоплека. Чтобы все это воспринять, нужна была большая школа. И Корней Чуковский артистически учил читателя чувствовать всю прелесть и всевидящую зоркость чеховского письма, чтобы быть «вправе» судить о его идеях и принципах.

Когда вся подноготная людей просвечивала сквозь интонацию или жест, пространная речь персонажа становилась излишней. «Вы изволите играть на рояле?» — спрашивает у молодой девушки ее новый знакомый. «И вдруг вскочил, так как она уронила платок» («В родном углу»).

«Здесь опять-таки,— повторяет К. Чуковский,— почти весь человек обрисован стилем одной своей фразы — канцелярско-лакейским «изволите». В соседстве с этим «пошловато-департаментским слогом» одна как будто нейтральная деталь: молодой человек появляется неизменно в белом парадном жилете, хотя действие происходит летом, в деревне. «Но кто же не увидит в их живом сочетании с контекстом, что этот щеголеватый брюнет по самой своей природе душитель и хищник...»

Подсказка критика помогала широким кругам читателей возвыситься до верного понимания чеховской нравственной глубины, его поразительного ума, всего очарования его скупого, «недоговаривающего» стиля.

11

«Неожиданность» у К. Чуковского была формой выражения его многочисленных открытий, больших и малых.

Вместе с тем этот главный элемент «сюжетной» структуры его критических работ обусловлен редкостным талантом диалектика. Именно талантом, а не просто знанием назубок основных положений диалектики.

К. Чуковский особенно чуток к тем моментам, когда внутренние изменения — и в

персонаже, и в конфликте, и в самом сознании художника,— накапливаясь, вдруг обостряются своего рода «скачком», резким изломом, поворотом.

А иногда и двойным поворотом.

Читатель помнит, как рельефно очертил К. Чуковский сдвиг от первой книги Блока ко второй. Петербургские углы, ресторанный пером поэта. Презрительно отшатнулся он от потусторонних высот, перед которыми ранее благоговейно стоял на коленях, падал ниц.

«Но в том-то и особенность Блока,— неожиданно поворачивает ход рассуждения К. Чуковский,— что, при всем его стремлении загрязниться, житейское не прилипало к нему... Каких бы язвительных и цинических слов ни говорил он о своих святыхнях, обличения звучали как молитвы. В них не было свойственной кощунствам пронзительной едкости, а была, против его воли, гармония...»

Как бы ни смеялся он над глупым Пьеро, влюбленным в картонную деву, но те стихи, где Пьеро изливает свою смешную любовь, так упоительны, неотразимо лиричны, что, слушая их, забываешь смеяться над ним».

Так двойственно и сложно выглядит переплетение противоречий у Блока. Нужен был тончайший инструмент эстетического анализа, чтобы уловить перекрещивающиеся, перепутанные чувства и стремления. Встречные, противоборствующие эмоциональные потоки. Отрицающие друг друга и накрепко слитые.

Если Блок даже «твердил, что женщины, которых мы любим,— картонные, он, вопреки своей воле, видел в них небо и звезды, чувствовал в них нездешние дали, и — сколько бы сам ни смеялся над этим — каждая женщина... открывала просветы в Иное».

Через много лет после выхода в свет «Книги об Александре Блоке» в «Ученых записках Тартуского государственного университета»¹ были напечатаны воспоминания Н. Н. Волоховой, артистки театра В. Ф. Комиссаржевской. Блок был в нее влюблен и посвятил ей цикл «Снежная маска». Она пишет: «Он (Блок), как поэт, настойчиво отрывал меня от «земного плана», награждая меня чертами «падучей звезды», звал Ма-

¹ «Труды по русской и славянской филологии». IV, Тарту, 1961.

рией-Звездой (образ из пьесы «Незнакомка»)).

Близкая приятельница и Волоховой и Блока В. Веригина (ее воспоминания опубликованы в том же выпуске «Ученых записок») тоже свидетельствует, что Блок любил повторять Н. Волоховой: «Вы звезда, ваше имя — Мария». Утверждал, что она не просто родилась, а «явилась» — как комета, как падающая звезда.

Корней Чуковский не мог этого знать. Но в самих стихах второй книги он почуял одновременно и отталкивание, и магнетическое притяжение к манящим лирическим «звездным» далям. «Проследите в его тогдашних стихах, как часто образ женщины связан у него со звездным небом, как упрямо называет он то одну, то другую — звездой... Сколько бы он ни старался, он не мог полюбить — без звезд».

Диалектик по природе, К. Чуковский необычайно чуток к сложностям в искусстве, к неожиданным сочетаниям противоречивых, сталкивающихся устремлений.

Из всех любимых им писателей самым любимым был Чехов («Я, провинциальный мальчишка, считал его величайшим художником, какой только существовал на земле»). К. Чуковский всю жизнь занимался Чеховым, всю жизнь открывал в нем что-то новое. Может быть, именно потому, что Чехов был особенно склонен подмечать, ухватывать, образно воссоздавать внутреннюю «поляризацию» в жизненных явлениях и человеческих характерах.

Не случайно «гвоздем» статьи «Еще о Чехове» является разбор рассказа «Скрипка Ротшильда». Удивительное чеховское «обратимство» противоположностей проявилось в нем наиболее разительно. Настолько выпукло, что главная неожиданность — метаморфоза центрального персонажа, Якова, — представляется даже загадочной.

Казалось бы, «из всех, когда-либо изображенных Чеховым бесчеловечных и грубых людей герой «Скрипки Ротшильда» — самый бесчеловечный и грубый». Умерла у него когда-то дочь, а он «по грубому своему ту-посердию даже позабыл, что она существовала на свете». Яков бездушно относится к жене, бросается на нее с кулаками, вечно бранит за убытки. Всю жизнь этот скупец запрещал ей пить чай, и она вынуждена была пить только воду.

А когда она умирает, Яков Иванович, по профессии гробовщик, с живой еще жены

снимает мерку для гроба. «И едва она, больная, ложится в постель, начинает (буквально у нее на глазах!) сколачивать ей за благовременно гроб».

И тут же записывает: «Марфе Ивановой гроб — 2 р. 40 к.». И вздыхает, потому что эти два рубля с копейками не с кого будет получать — чистый убыток.

И вот «жестокий и тупой мешанин... к концу рассказа встает перед нами совершенно другим человеком».

От маниакального страха перед убытками и столь же маниакальных мечтаний о небывалых прибылях, возможность которых он упустил, Яков неожиданно, к чрезвычайному нашему удивлению, вопреки всему тому, что рассказано раньше, переходит «к возвышенным мыслям о тех ужасных неисчислимых убытках, которые наносит всем людям их звериный хищнический быт».

Неожиданность эта тем более поразительна, что в чеховском повествовании превращение происходит «неприметно для читателей». Без крутого поворота, без всякого подчеркивания. Как-то исподволь, как течет речка, текут мысли сидящего на берегу реки Якова. Начинаются с бредовых подсчетов об уплывших безвозвратно прибылях: «и рыбу ловить, и на скрипке играть, и барки гонять, и гусей бить, то какой получился бы капитал!»

Но ничего этого не было «даже во сне». В прошлом «ничего, кроме убытков, и таких страшных, что даже озноб берет». И вдруг мысль о собственных неисчислимых убытках молнией «вырывается за пределы его эгоистических интересов и нужд и окрашивается... бескорыстной тоской об убытках всего человечества».

Удивительнее всего, что мысль, внезапно пришедшая в голову Якову, — завистная мысль многих героев Чехова, которым он, безусловно, симпатизирует: Михаила Хрущева («Леший»), дяди Вани, пастуха Луки Бедного («Свирель») и ряда других.

Да и самого Чехова!

К. Чуковский прослеживает этот мотив во многих чеховских письмах. К примеру, в родном городе Чехова Таганроге «все музыкальны, одарены фантазией, остроумием. Нервные, чувствительные, — пишет он Лейкину, — но все это пропадает даром». «Пропадает даром», «пропадает ни за грош, без всякой пользы» — подобные слова на каждом шагу. Все это вариации горького воз-

гласа Якова: «Какие убытки, какие страшные убытки!»

Так создано лицо невероятное, можно сказать, загадочное и непостижимое. «Такой феноменальной сложности, такого дикийного и в то же время органически живого сращения в одном характере, в одном человеке положительных черт с отрицательными... кажется, не знала мировая новелла», — резюмирует К. Чуковский.

Я сказал «непостижимое» и спешу поправиться. Если бы это было так, Чехов не был бы Чеховым — гениально пронизательным знатоком человека. Разгадка «непостижимого» переворота в душе Якова — в его природной музыкальной одаренности, в дарованном ему «от бога» таланте скрипача и композитора. «Своими импровизациями на плохонькой скрипке» он «чудесно выражает все лучшее, что есть в его многогрешной душе». Поэтому люди плачут, когда гошгий еврей-скрипач, в насмешку прозванный Ротшильдом, играет скорбную мелодию, симпровизированную Яковом. И сам Ротшильд плачет.

В загрязненной, запятнанной, затхлой душе Якова, исковерканной скверной, жестокой жизнью, Чехов сумел открыть истинно человеческие драгоценные задатки.

Облик Якова вовсе не непостижим, просто Яков настолько искривлен, нравственно изуродован и искалечен, что добраться до сокровенно-доброего в его душевной подпочве необычайно трудно.

Пафос статьи Чуковского не только в том, чтобы расшифровать трудные чеховские образы (что сделано весьма убедительно). Подчеркнуто, что Чехов сознательно (особенно в последние годы) шел на трудности, умышленно искал эти трудные темы. Им руководила высокая нравственная цель: открыть в огрубевших, зачерствелых душах «искру божию», если только она есть. Найти в закоснелом российском бытии, в самых каменных породах крупницу душевного золота — добра.

Таким же старателем, искателем потаенных душевных ценностей выступает и сам К. Чуковский — кригик Чехова. И он также выбирает себе задачу большой трудности. Парадокс состоял в том, что самую эту трудность трудно было открыть.

«Чеховская простота есть мираж... на самом-то деле Чехов — один из самых сложных, трудных писателей и поныне неразгаданный вполне».

К. Чуковский восстает против общепринятого (пусть и не сформулированного явно) мнения: раз установилась в конце концов справедливая, «правильная» оценка гениального чеховского творчества, то она сама по себе должна обеспечивать «правильный» разбор его произведений.

Неверно, неожиданно заявляет К. Чуковский, — Чехов и поныне не разгадан. И именно понимание этой неразгаданности дает критику ключ к познанию сложностей Чехова, которых не замечали либо осторожно обходили.

12

Таков, например, образ Лопахина.

Разбогатевший купец, умело прибирающий к рукам достояние разоряющихся помещиков, — до чего знакома была эта фигура по прозе, по пьесам того времени. Сложилась уже устойчивые признаки и внешние приметы для обрисовки людей этого слоя.

Но как только Чехову пришло в голову, что «купца-толстосума, купившего по дешезке у разорившихся бар их любимый вишневый сад», зритель и читатель воспримет как «привычный отрицательный тип, известный по многим страницам Некрасова, Щедрина, Глеба Успенского, Эртеля, он, у же после того, как пьеса была закончена им (разрядка моя. — Е. Д.), ввел в характеристику этого Разуваева такие черты, которыми обычно одарял лишь самых светлых поэтических людей».

Вспомним сцену прихода Лопахина к Раневским после торгов. «Вишневый сад теперь мой! Мой!! Я купил имение, где дед и отец были рабами, где их не пускали даже в кухню», — торжествует Лопахин и хохочет (так сказано в ремарке). Но когда горько заплакала Раневская, Лопахин сам не может сдержать слез. «Бедная моя, хорошая, — говорит он ей, — не вернешь теперь. О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь».

Слова, совершенно немислимые в устах «типичных» Колупаевых и Разуваевых.

Быть может, Лопахин притворяется, лицемерит? Отнюдь нет. Студент Трофимов, неизменно спорящий с Лопахиним, говорит ему: «У тебя тонкие, нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая, нежная душа». Говорит это — заметьте — уже после того, как имение Раневских стало собственностью Лопахина и он в запале торжества пригла-

шал смотреть. как «Ермолай Лопухин хватит топором по вишневному саду».

Чехов боялся — это видно по его письмам, которые цитирует К. Чуковский, — что Лопухина изобразят на сцене купцом «в прошлом смысле слова», «крикуном», «кулачком». Настойчиво внушает он О. Л. Книппер и К. С. Станиславскому: «Это мягкий человек», «держаться он должен... интеллигентно».

Итак, «человеку, совершающему в пьесе самый жестокий поступок, — заключает К. Чуковский, — Чехов придает задушевную мягкость. Разрушителя поэтически-прекрасного сада наделяет артистизмом и нежностью. Того, кто рутинным умом может показаться обыкновенным «чумазым», одаряет интеллигентностью — то есть тем качеством, которое им ценится превыше всего».

Ни Лопухин, ни гробовщик Яков не представляют собой исключения. Таков был «устойчивый метод» Чехова, доказывает К. Чуковский. Потому что ему претили «убого элементарные схемы, делящие людей на злодеев и праведников». И он отвергал их, стремясь внушить читателю, что это «топорное деление... есть вредная, очень опасная ложь». Ибо «всякого, кто примет эту схему, первое же столкновение с действительной жизнью приведет к вопиющим ошибкам и бедам».

Работы К. Чуковского доказывают, как необходимо критику внутреннее убеждение, что есть художники, у которых нужно, обязательно нужно учиться. Учиться пониманию жизни, ее склада, ее процессов, понимание людей, сокровенного в них, не видно-го с первого взгляда.

Поучать, исправлять таких художников с высоты своей безапелляционной непогрешимости — бессмысленно.

Кто же эти художники? Те, кто открывает новые явления действительности, освещает ее по-новому. Существуют стихии реальной жизни, в особенности «жизни человеческого духа», — психологической, нравственной, индивидуальной, — познание которых под силу лишь образному мышлению, художественному воображению. Логическая мысль, научные наблюдения публициста, социолога, экономиста здесь недостаточны.

Нельзя подходить к художникам-открывателям с заранее данными мерками. Назначать им отметки, ставить плюсы и минусы в зависимости от того, подходят ли они к

существующей эстетической «системе мер и весов».

Величие Белинского в том, что, прекрасно сознавая свое право быть верховным критическим судьей, он, человек могучей самостоятельной мысли, умел учиться у Гоголя-художника. Общеизвестно, какое огромное влияние на литературные взгляды гениального кригика, на создание им стройной и цельной эстетической системы критического реализма оказали творения Гоголя.

Нужно ли разъяснять, что в работах о Чехове К. Чуковский следует традиции Белинского? Мы уже видели: он не судит Чехова по канонам, сложившимся ранее. Из созданного Чеховым образного мира, из его понимания вещей, из его способа видения человека и человеческих отношений К. Чуковский выводит новые эстетические критерии.

Не к чему художника, пролагающего новые пути, «согласовывать» с существующими эстетическими нормами. Наоборот, они, эти нормы, должны быть дополнены, согласуясь с творениями, обозначающими «шаг вперед в художественном развитии человечества».

13

Теперь, мне думается, можно яснее очертить сюжетное построение работ К. Чуковского. Собственно говоря, это разновидности одной сюжетной структуры. Я бы назвал ее по Жюльо Верну — «путешествие к центру земли».

К центру, то есть к самой сердцевине художественного произведения. К сути, подчас потаенной. К заветному внутреннему смыслу, подчас не сразу поддающемуся разгадке.

Можно возразить: ведь такую задачу ставит себе любой критик, такова цель каждого критического анализа.

Но далеко не каждый анализ — «путешествие». Можно разбирать и оценивать, охватывая предмет взглядом с одной исходной точки, как бы обозревая его в целом (и только излагая эту общую картину по частям).

А у Корнея Чуковского это именно путешествие — с четким членением этапов пути, с перипетиями, поворотами. Взяв за руку читателя, он проникал на «территории» не открытые, не исследованные либо — что не менее, а иногда и более трудно — исследованные поверхностно, близоруко, предвзято. И, следовательно, ошибочно.

Были ли открытия К. Чуковского большими или малыми, вызывали ли необходимость радикальных переоценок либо заключали тончайшие наблюдения над деталями, интонациями, словарем — они всегда останавливали, впечатляли, поражали, заставляли думать.

Путешествовать по литературному царству с Корнеем Чуковским было необыкновенно интересно. Эти хождения обогащали. В них воспитывалась острота зрения и слуха, эстетический вкус и нравственная чуткость. Как и всех великих путешественников «в незнаемое», К. Чуковского воодушевлял пафос преодоления штампованных мыслей и закостенелых оценок. Как эстафета, передавался он читателю.

Искрометным талантом, кипучим, острым, свежим, артистическим литературным слогом Корней Чуковский блеснул сразу же после появления на литературной арене. Я сказал — арена, и это слово, по-видимому, выскочило не случайно. В молодые годы в броской манере К. Чуковского было нечто от эстрады, от склонности к словесным фейерверкам. Порой он грешил суждениями поспешными, несправедливыми, вызывавшими законный протест. Он начал писать в тот период нашей истории, который называется мрачным, застойным, удушливым, — и это не могло не отложить на него свой отпечаток. «Я жил в ту эпоху, — говорит сам К. Чуковский, — я был ее детищем, я долго дышал ее пряным ядом».

Эта статья — не монографический обзор долгого писательского пути К. Чуковского, поэтому в ее задачу не может входить обстоятельный анализ тех «ошибок, неверных шагов и провалов», о которых сам Корней Иванович писал с подкупающей искренностью.

Цель статьи скромнее — наметить те особенности письма К. Чуковского, благодаря

которым его критические работы стали явлениями искусства, помогали и помогают читателям развивать свой художественный вкус, критикам — повышать уровень своего мастерства.

С годами (а трудился Корней Иванович в литературе больше шестидесяти (!) лет) он научился владеть своим исключительным эстетическим чутьем.

Наступило это тогда, когда ярко субъективное восприятие явлений искусства (без которого художественной индивидуальности критика не существует) уравновесилось объективностью высокой пробы, точностью эстетического мышления, ясным и отчетливым пониманием роли искусства в духовной жизни народа. Критический «рецептор» художественности приобрел почти непогрешимую «саморегулировку».

Статья уже была набрана, когда я получил шестой (последний) том собрания сочинений Корнея Чуковского. К великой радости, я увидел в оглавлении почти три десятка старых и новых критических статей, в наше время не переиздававшихся.

Когда я писал свой очерк, меня печалило, что классические статьи — о Леониде Андрееве, Бунине, Вербицкой, Куприне, Чарской, Сологубе, футуристах, Мережковском, Наг Пинкергоне, — изумительная «Книга об Александре Блоке» и многое другое массовому читателю недоступно. Приходится искать по периодике либо по старым, большей частью дореволюционным изданиям. Редко в какой библиотеке их можно найти.

Теперь они собраны, хотя и не все. Но и то, что содержится в шестом томе его собрания сочинений, выпущенного издательством «Художественная литература», делает его поистине драгоценным подарком для читателя.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

М. Блинова. Перед бурей.— **Э. Кузьмина.** Разорвать круг.— **В. Кардин.** Смеяться, право, не грешно...— **В. Кантор.** Никанозов против Москалева.— **Г. Красухин.** «И разговор у нас совсем иной пошел...»

ПОЛИТИКА И НАУКА

Г. Лисичкин. В. И. Ленин — теоретик товарного производства при социализме.— **О. Лацис.** Научно-техническая революция и рабочий класс.— **М. Волков.** Под личиной социализма.— **А. Каждан.** Традиция и новизна.— **Ф. Мильков.** Художественное ландшафтоведение.

Литература и искусство

ПЕРЕД БУРЕЙ

Лилли Промет. Кто распространяет анекдоты? Перевод с эстонского Г. Муравина. «Дружба народов», № 5, 1969.

Повесть Л. Промет — цепь маленьких новелл; в каждой — свой интерьер, свои герои, свой сюжет. В каждой — за общей внешней беспристрастностью и обстоятельностью изложения — своя авторская интонация, иные оттенки — лирические, юмористические, иронические. Наиболее четко ирония ощущается в изображении «высшего света» буржуазной Эстонии — в тех сценках, где, как на параде, проходят перед нами по приморскому парку «очаровательные женщины и породистые собаки», а также «отцы города»: председатель общества любителей голубей, школьный советник, делец и другие. И то, что все они знают друг друга и в определенные дни и часы выходят на бульвар, и сама кукольность их общественных мероприятий (открытие кампании «Украсим наше жилище», обед для немущих матерей, регистрация породистых собак в клубе и т. п.) — все это создает очень точное ощущение игрушечности, несерьезности жизни верхов маленькой мелкобуржуазной псевдосамостоятельной республики.

Там же, где речь идет о людях, живущих трудной и, может быть, именно поэтому настоящей жизнью, ирония ощущается меньше. Иногда она и вовсе исчезает — тщательно выписанные бытовые детали явственно направлены на то, чтобы вызвать эмоции совершенно иного характера.

Дворничиха Вера не впускала в дом мужа, если он приходил нетрезвым. Он высыпался, сидя на чердачной лестнице. Однажды утром дворничиха увидела на ступеньках своего мужа мертвым. С помощью старшего сына она внесла его тело в комнату и положила на супружескую постель. «Теперь ей совсем не жаль было белой простыни, которую испачкали латанные-перелатанные сапожищи Оттомара».

Как легко представить себе эти латанные-перелатанные сапожищи! Наверное, они покороблены, в окаменевших складках, порывевшие... И все-таки чиненые, латанные — аккуратная западная бедность. И такое щемящее чувство вызывают эти сапоги на белой простыне, что кажется, можно было бы обойтись и без остальных подробностей —

без сообщения о том, что его хоронили в тщательно вычищенном и отпаренном пальто, потому что у него не было костюма, и о том, что у него был туберкулез и никто об этом не знал (он «не болел никогда, только кашлял»).

Заботы героев повести разнообразны и многочисленны: мужественно сражается с жизнью неумолимая дворничиха Веранда, иначе она бы не смогла вырастить четырех здоровых парней, содержать их в чистоте и относительной сытости; юной Анне Май надо сохранить привязанность человека, который ее содержит; владельцу маленькой чемоданной мастерской надо ухитриться продержаться на поверхности — он уже разорился однажды на изготовлении домашних конфет; с вечной раной в душе живет мастер своего дела старый официант — его сын, воспитанник английского колледжа, стесняется своего отца, скрывает от всех его профессию...

Очень трудная или чуть полегче, с дозой радостей, отпущенных судьбой совсем скупо или немного щедрее, — такова жизнь главных героев повести. Их помыслы никуда не выходят за ее пределы, и иной жизни для себя они реально не представляют. Может быть, поэтому они так стойки и аккуратны в своей нишете, так точно высчитывают количество маргарина, которое разрешают себе съесть, так напористо торгуются из-за самой дешевой рыбы, так героически борются за чистоту в своих домах, где нет ни водопроводного крана, ни газа, так весело отмечают свои редкие праздники.

И вот в крепость каждого дома — в каждый каким-то своим путем — проникает нечто совершенно новое: политические анекдоты, незамысловатые побаски антинацистского содержания («Рецепты немецкой военной кухни: возьми карточку на мясо и хорошенько поджарь на карточке на масле. Возьми карточку на картошку...» и т. д.). Есть что-то тревожное в той неукоснительности, с которой каждая новелла заканчивается появлением этих политических шуток. Повторяясь — хотя бы и в различных вариантах, — эта концовка вносит в повествование нечто вроде сюжетного рефрена с легким оттенком гротеска — впрочем, без всякой внешней экстравагантности.

И действительно, хотя люди чаще всего простодушно смеются над этими, с их точки зрения, смешными сопоставлениями слов и воспринимают эти анекдоты в самом по-

верхностном, примитивно-развлекательном смысле, даже не чувствуя прелести запретного плода, потому что речь идет о нравах и о заправилах чужого государства, и, скорее всего, передав анекдот знакомым — пусть тоже поспеются! — забыли бы о нем, — но с этими шутками приходят в их жизнь явные перемены. Человек вступает в прямое соприкосновение с тем, что до этого было совершенно вне его существования, — с тайной полицией, тайными допросами, тайной слежкой. Приходит первое, но достаточно серьезное испытание — страхом, первая проверка человеческого достоинства.

Скромные герои Лилли Промет (репортер, тапер из ресторана) оказались на высоте. И пусть они иногда смешны, в чем-то несерьезны, пусть они предстают перед нами в освещении той доброй, то насмешливой улыбки автора, но, оказывается, сломать их не так-то легко.

«— От кого вы получили эти анекдоты?»

— Ни от кого, — ответил молодой человек. — Я нашел их после закрытия ресторана на одном из столиков. Они были написаны на карточке вин.

— И дальше?

— Одна девушка перепечатала их на машинке.

— Как зовут девушку?

— Я знаю только ее имя.

— Ну ясно!

— Я с нею еще мало знаком, — добавил молодой человек.

— И все-таки, как ее зовут?

— Айно.

— Где она работает?

— Где-то в конторе.

— В какой конторе, вы, конечно, не знаете, — заметил старший ассистент ядовито.

— Не знаю.

Старший ассистент кивнул головой.

— Где она живет?

— Где-то в Копли.

— Дома ее вы тоже не знаете, верно?

— Не знаю, — согласился молодой человек, — я только один раз провожал ее домой. Вечером... Темно было...»

Органическое отвращение к предательству, истинная порядочность оказываются сильнее, чем боязнь расстаться со своим маленьким благополучием — какой бы тяжелой ценой оно ни досталось этому человеку. Потому старший ассистент эстонской тайной полиции — одна из самых комических фигур повести — оказывается совершенно

беспомощным в понимании распространителей анекдотов.

Расползаясь по городу, анекдоты, как живое существо, сводят между собой различных людей, сталкивают их в новых обстоятельствах, заставляют видеть друг друга по-новому.

Изолированность новелл постепенно разрушается — знакомые нам герои появляются вновь, в чем-то изменившиеся. Действие уже часто происходит не в комнате или на кухне, а в городе, на площади, в парке. Гротесковость — она особенно ощутима в новелле о старшем ассистенте тайной полиции, тупице и незежде, маниакально влюбленном в старые вещи и в погоне за ними обрекшем себя и жену на голод, — соседствует с лиризмом — в новелле о двух молодых влюбленных. Не случайно именно в этой части повести нашел себе место и рассказ о большом, бедном еврейском семействе. Свободно владея богатой палитрой юмористических и иронических красок, в этой новелле Лилли Промет ближе всего к традиционному еврейскому юмору — «сквозь слезы». Еще один оттенок есть в этом отрывке — той доброты, той жалости, с которыми говорят о тех, кого больше нет в живых.

Чувство тревоги нарастает, все чаще задумываешься: а что же произошло с ними, со всеми этими славными людьми потом, когда катастрофа уже разразилась?

Не только кары за антинацистские анекдоты возмещают о буре, которая ворвется под каждую крышу, которая перевернет весь устойчивый быт людей из повести Л. Промет. В виде то ли телеграмм, то ли заголовков статей, то ли криков газетных разносчиков даются сообщения из внешнего мира. Они напечатаны в книге другим шрифтом, отделены друг от друга черными

кружками высотой в строку и неожиданно врываются в повествование (иногда в середину фразы), но не прерывают его. Может быть, прием этот несколько нарочит, но герои повести так далеки от событий внешнего мира, что писательница, видимо, именно это и хотела подчеркнуть, вплетая эти события в действие именно таким способом.

...Все ближе подступают к калитке каждого дома ветры, несущие людям разлуку, смерть, голод.

Разумеется, какими бы ограниченными интересами ни жил человек, как бы узок ни был круг явлений, попадающих в поле его внутреннего зрения, это никогда не спасало его от вмешательства общественных явлений в его жизнь. И не в этом «открытие» Л. Промет. Она знакомит нас с Эстонией досоветской, довоенной. И поскольку то, что произошло с ней в дальнейшем, читателям хорошо знакомо, то наша мысль все время выходит за рамки изображенного. Мы — подчас это происходит бессознательно — дорисовываем, додумываем про себя последующий путь действующих лиц произведения. У нас часто сжимается сердце от тревоги за все, что принесет им война, мы часто бываем не уверены, что они правильно воспримут грядущие перемены в их быту. Но нас не оставляет ощущение того, что победит доброе, здоровое начало; что стойкость и порядочность людей, о которых так убедительно рассказала нам Лилли Промет, выведут их на правильную жизненную дорогу. А дорога эта впереди — недаром последняя глава произведения называется «Конец, которым эта история вовсе не кончается», а последняя фраза повести: «Каждый день надо начинать сызнова».

М. БЛИНКОВА.

★

РАЗОРВАТЬ КРУГ

Леонид Жуховицкий. Остановиться, оглянуться... Роман. «Нева», №№ 1, 2, 1969.

Остановиться, оглянуться
Внезапно, вдруг, на вырост,
На том случайном этаже,
Где вам доводится проснуться...

Внезапен — и все же необходим этот прорыв в вечном движении в век высоких скоростей. Контраст тем разительнее, что герой романа Л. Жуховицкого — человек одной

из стремительных профессий — журналист, который вечно в погоне «за бегущим днем», из одной командировки в другую, в мелькающем калейдоскопе новых лиц, историй, судеб... Для Георгия Неспанова это естественная стихия. Стремительный ритм дает ему уверенность, полноту жизни.

На первые страницы романа Георгий Не-

спанов входит, упруго и широко шагая, легко и счастливо дыша. ореол удачи неразлучен с ним. Георгий Неспанов — лучший фельетонист центральной газеты. Тот, кому дают самые ответственные задания. Кто приходит и побеждает. Он имеет успех у жизни и у женщин. Он меток и остроумен. Он делает дело. Трудное и полезное. И любит его. «Вот уже три года я делал все, что считал правильным. Я писал то, что хотел, и так, как хотел».

Правда, рассказ о двух командировках, призванных продемонстрировать мастерство журналиста Неспанова, настораживает своей дежурной иллюстративностью, банальностью. Убеждает же в талантливости героя как раз ткань повествования. Происходит своеобразный, возможно запланированный автором, сдвиг. Книга написана от первого лица, и все меньше автора, его наблюдательность, его находки, легкая ирония автоматически идет в творческий актив журналиста Г. Неспанова. К сожалению, порой он слишком кокетничает своей «современной» фразой, слишком увлекается лихим расхожим жаргоном. Но это тоже (до известного предела) — «в образе», так как передает оттенки рисовки, некоторого пажонства, собственного этому удачливому парню.

И он удачлив и талантлив. Все, о чем он рассказывает, нам знакомо, и вместе с тем мы радуемся, как точно это воссоздано. И разноликая Москва: то широченный Новый Арбат, ранний-ранний, отсвечивающий голубым; то пятиэтажный типовой район с его стандартным негреющим уютом — «эти кварталы ничего не прятали, но ничего и не обещали — как редкий лес, они просматривались насквозь»; то новейшие дома, такие длинные, что жители крайних подъездов выходили на разных остановках.

Так и люди — они выхвачены из нашего сегодняшнего дня, мы узнаем их по намеку. Танька Мухина, практикантка, тощая и нахальная, как дворовый котенок, — «продувная мордочка с постоянной ухмылкой, а глаза — зеленовато-рыжие, сразу и расчетливые, и шальные — модные, сугубо современные глаза, лет десять назад таких и в помине не было». И практикант Генка, всегда готовый «мыслить масштабно», особенно в обществе симпатичной девушки. И Женька со своим горячим косноязычием — «газетчик от стертых подметок до постоянного грязных ногтей», который «молодым поэтам... пробирует стихи, молодым инженерам — изобре-

тения, молодым актерам — спектакли». Элегантный международник Д. Петров, в чьем доме на вечерах в «русском стиле» пьют водку из голубоватых чешских бокалов и, разминая «картошку специальной вилочкой, обсуждают шансы лейбористов на ближайших выборах. Ира — «женщина, каких в Москве миллион», из тех, что вечно спешат по своим делам, таким неважным для всего человечества, с большой сумкой, слишком приличной, чтобы выглядеть хозяйственной, но позволяющей по дороге в кино забежать в овощной, а на обратном пути и в сапожную мастерскую, вмещающей еще и книжку для себя, и два яблока для больного — два больших яблока с витринно гладкой кожей: «женщины, покупающие яблоки поштучно, умеют их выбирать». И еще многое они умеют — и стать незаметными, и украсить компанию своим присутствием, и еще что-то, от чего с ними всегда легко...

Это те типы, те характеры, которые только складываются сегодня. Мы еще не знаем, какой неожиданной — своей, особой — стороной повернется каждый из них. Рита, Юркина жена, со своими прямолинейными, слишком незыблемыми принципами, со своей всегдашней уверенностью, от которой рядом с ней делалось тяжело, — как поступит она, когда жизнь поставит ей сразу два непосильных испытания: Юрка обречен, ему жить осталось два месяца — и у него другая женщина? Неожиданно для нас ведет себя и Танька, «нахальное дитя века». Неспанов, поначалу увлеченный ею, в первое же свидание почти выгоняет ее из своей комнаты, едва не дает ей пощечину, как самой подлой девке. А она после этого деловито спрашивает: «Послушай фразу — годится в начало очерка?», интересуется: «Ты от руки пишешь или на машинке?», продолжает трепаться задиристо, по-приятельски, не по-женски. Вот уж «любовная история», возможная только в наши дни.

Все эти типы и отношения мы видим глазами Неспанова — и видим не поверхностно. Так, он не очаровывается ровной, выдержанной, всеобъемлющей интеллигентностью ученого медика Леонтьева, которая одна видна в нем, «как в военном бросается в глаза, что он военный, а в спортсмене — что спортсмен... Спокойный, умный, несколько ироничный интеллигент, тип почти без индивидуальности... Кто знает, на каких камнях

стачивались острые углы этого характера?» И скептически отбрасывает он законченную безупречность Одинцова, заведующего наукой в его газете. «Умный человек», «приятный человек», «заботливый человек»... Придаться решительно не к чему. «Он принимает форму должности, как жидкость принимает форму сосуда... Нынче от газеты требуют смелости и деловитости, и он, естественно, смел и деловит...»

Мы принимаем героя, его взгляды на людей и готовы верить в то, что журналистская честность Георгия Неспанова, его принципы, его понятия о деле и о пустозвонстве, о порядочности и подлости несомненны, беспорны.

И тем сильнее поражает резкий диссонанс — в первом серьезном деле герой не оправдывает своей славы пронизательного, талантливое журналиста.

«Вся эта история была проста, как гривенник». Так показалось Георгию Неспанову, когда он выслушал ее от Леонтьева, представителя института имени Палешана. Десять лет назад сотрудник института Егоров, «дилетант», «врач самых средних способностей», по отзыву Леонтьева, предложил препарат для лечения лейкоза. Препарат был тогда испытан и отвергнут. Егоров пытался продолжать опыты и был уволен директором института Хворостуном. А два года назад тот же препарат появился под маркой Егорова-Хворостуна. И теперь Хворостун, тот самый Хворостун, которого выгнали из директоров за позорное для медика преступление — он приказал перелить больным недоброкачественную кровь, — кричит во всех инстанциях, что бюрократы мешают ему спасти человечество.

Да, Хворостун действительно ясен, как гривенник. Как будто и думать нечего, поставить рядом две бумаги за подписью Хворостуна — и фельетон готов. Пятьдесят третий год — «...за преступное разбазаривание народных средств на псевдонаучные эксперименты, основанные на «теориях», в корне противоречащих...». Шестидесят третий год — «...и только бюрократическая волокита, основанная на защите чести мундира и зажиме критики, препятствует продвижению в жизнь прогрессивного препарата...».

Не слишком ли все просто? Да, эта готовая, откровенная фельетонность слегка настораживает Георгия Неспанова. Да, он сам говорит Леонтьеву, что не может де-

лать никаких выводов, пока не поговорит с Егоровым.

Но... Егорова как раз вроде нет в Москве. А фельетон нужен срочно, Одинцов почему-то «давит». А впереди — интересная командировка. А впереди — свидание с Танькой Мухиной, которого привычный к вниманию девиц король фельетона ждет с необычным волнением. А Хворостун так просит пощечины. Словом, через два дня фельетон готов Фельетон, где «дымящаяся злость» на Хворостуна захлестнула все остальное — и заодно опозорены на всю страну и Егоров, и его препарат, хотя и о том и о другом Неспанов знает только понаслышке.

Поначалу невозможно понять, как же «король фельетона» допустил такой промах? И как разрешил ему это автор? Поэтому, едва выясняется, что лучший друг героя тяжело заболел, дальнейший ход событий можно предсказать далеко вперед. Очевидно, что болезнь вновь приведет к скомпрометированному лекарству, что друг умрет и только такой ценой будет исправлена ошибка, реабилитирован Егоров и его препарат.

Сюжет, как видим, весьма шаблонный. К счастью, шаблон, схема не подчинили себе все. Умиравший Юрка — не безликий икс, подставленный для доказательства теоремы. Слишком зримо видим мы его неловкую усмешку и угрюмую неохоту, с которой он говорит о себе. И то напряжение, которое испытывают все, говоря с человеком, точно знающим, что жить ему осталось два месяца. Как спотыкаются на невинных для здорового человека слова «потом» и «когда». Как поневоле сам Неспанов сбивается на банальные утешения вроде: «Ты выписывайся скорей, тогда уж свое возьмем», хотя этот натужный оптимизм может только коробить обреченного человека, подчеркивая его безнадежность. И как естественна и необходима простота Иры, которая не разыгрывала фальшивой бодрости и непонимания, но сумела стать частью больницы и создать для Юрки и тут дом, тепло, ровный и мягкий покой.

Мы вместе с героем прошли, мучаясь бессилием и беспомощностью, тот белый больничный коридор, куда вынесена койка умирающего, где твой единственный друг жално ловит воздух, а воздуха не хватает ослабевшим легким.. И теперь, когда мы видим не каких-то условных больных, а этого Юрку, эту Нину, худенькую девушку, точно

знающую, сколько ей осталось до конца, но храбро справляющую «под самым носом у судьбы» свой день рождения — двадцать два года, мы остро ощущаем всю преступность ошибки Георгия Неспанова.

Но как же все-таки это случилось с Георгием Неспановым? Как не понял он того, что сразу ясно даже читателю: что Хворостун паразитирует на Егорове, как раньше паразитировал на целом институте? Что, конечно, надо разоблачать Хворостуна, но гораздо важнее задуматься о сути дела — ведь речь идет о лекарстве от смертельной болезни.

Вопросы эти тем более важны, что ведь активный отклик на чужую судьбу, чужое горе для Неспанова не только его «ремесло», но и главное мерило в оценке людей — так во всяком случае был заявлен этот характер.

Разве не за равнодушие осуждал он Светлану, тихую воспитанную девушку с косой — такую цельную, так сосредоточенную на своей «непреоборимой любви», что из-за нее она не видит не только других людей, но и того, кого любит — о чем он думает, чем живет?.. Ведь это он говорил ей: «От тебя на земле никому ни тепло, ни холодно. Живешь, как устрица в раковине. Пока тебя не тронут, не шевельнешься. А кольнут в мякоть — отодвинешься в безопасное место и переживаешь ощущение».

За то же, в сущности, осуждал он и Таньку Мухину. «Обе живут словно очертив круг. Только у той в кругу — журналистская карьера и в будущем муж-инженер, а у этой — идеал. Все, что вне круга, — лишь материал для познания». Этот круг — свой мирок, своя скорлупа, своя рубашка, та, что ближе к телу, — и есть самое враждебное истинной человечности.

Но, как видим, те суровые обвинения, которые восемнадцатилетняя Светлана вряд ли еще успела заслужить, относятся и к самому Неспанову. Автор как бы говорит: таким заклятым очерченным кругом может стать даже привычная удача борца за справедливость — бездумная инерция может заслонить и самую справедливость, и тех, ради кого она.

Слишком привычно решал Неспанов чужие судьбы. Слишком верил в безошибочность своей интуиции, в то, что он, газетчик, наизусть знает все, что случается у людей. Для каждого нового дела у него уже готова полочка в памяти: «обычная житейская

история». Еще не зная дела, он уверенно планирует: «Десять дней буду заниматься этой историей, двадцатого на десять дней вылетаю в Кирбит». А может быть, не всякая история укладывается в десять дней? Когда то, о чем он писал, впервые скрестилось с его собственной судьбой, оказалось, иная история измеряется ценою жизни. А может быть, так было каждый раз, когда он столь лихо судил со стороны? Может быть, каждый раз, улавливая знакомую схему, он упускал всю человеческую сложность ее? Может быть, потому так банальны обе его командировки? И вот теперь он с запоздалым раскаянием представил себя на месте одного из тех, о ком всегда так безапелляционно писал. «Ты думал, как о человеке, о человеке, которого завтра выставишь разом к миллиону позорных столбов? Ты хоть пытался представить, что он чувствует, когда утром возбужденный сосед врывается к нему в комнату и пальцы, сжимающие газету, дрожат от любопытства? Когда жена его хватается за голову и при этом бормочет нечто успокоительное... и вдруг, срываясь, с отчаянием и ненавистью орет на детей? Когда сам он, бедный заяц, бежит по городу, шарахаясь из переулка в переулок, потому что каждое лицо кажется знакомым, а каждая газета — той самой?..»

Быть может, бешеный темп века и специфика журналистской работы невольно толкают к потоку, к конвейеру, к опоре на знакомые шаблоны?

«Некогда думать, некогда...» — тревожно говорит современный поэт. «Самое страшное — это инерция стиля», — вторит другой. Об этом заставляет задуматься своего читателя и Леонид Жуховицкий. В наш век, оставляющий для этого так мало времени, человеку необходимо уметь остановиться, оглянуться, заглянуть глубоко в себя, стряхнуть суету и текучку, сверить свою повседневную жизнь с главными ценностями — как бы говорит он историей Георгия Неспанова, происшедшей с ним «на полпути земного бытия», в возрасте тридцати лет — когда поздно делать долги, надо расплачиваться.

Что ж — вывод верный, немаловажный, но... но все же не дающий полного удовлетворения.

Вновь мысленно окидываешь взглядом весь роман. Не слишком ли узкой, частной получилась эта история — случайное затмение, нашедшее на хорошего журналиста?

Ведь автор до конца не пересматривает своего отношения к нему. Он любит его именно так же, как сам герой любит себя собой. Еще бы — не каждый ведь решится устроить себе харакири, как называет свой поступок сам герой: не сумев «пробить» через Одинцова в своей газете реабилитацию препарата Егорова, он «организует» в другой — фельетон... о себе самом. Он наказывает себя руками Таньки Мухиной, заставляет ее написать этот фельетон.

На этом все его искупление и заканчивается. Оно пошло по чисто внешней, сюжетной, а не духовной линии. Мало того, в чем-то его искупление — продолжение его ошибок.

Ведь он толкает начинающую журналистку Таньку Мухину на тот же, в сущности, путь, на котором споткнулся сам. Заставляет ее переступить через самое себя — написать вопреки желанию фельетон о человеке, к которому, к тому же, она далеко не равнодушна. Хорошее начало карьеры! Пусть сначала она корчится и протестует, но ничего — он ее успокоит и под конец она будет деловито обсуждать с ним профессиональные подробности. Противоестественно, не по-людски это. Видно, и Танька будет рубить сплеча, видно, и ей уготована судьба Неспанова.

Мне кажется, автор ушел от серьезного анализа, от оценки того, что угадывается за его живо и метко очерченными образами. Он прикоснулся к теме глубокой и сложной, но закрыл ее гладко и безболезненно. Символична облегченность финала романа. Весь духовный кризис героя венчается тем, что он всего-навсего едет в отпуск на три

месяца. Он даже сам не решается признаться в этом на вопрос обыкновенного рядового человека, в чьей «конторе» нет творческих отпусков:

«— Теперь небось с работы попрут?»

Мне стало стыдно за мой отпуск, и я соврал:

— Уже».

Да, в обычной жизни все проще и труднее. А наш герой все время как бы несколько над простыми смертными. И не случайно он так свысока беседует и со Светланой, и с Ритой, и даже с Сашкой — честным серьезным врачом, который делает свое дело куда добросовестнее, чем Неспанов.

Мы не чувствуем, видит ли автор грехи своего героя. Он слишком сливается с ним. А между тем следовало бы и ему несколько внимательнее оглянуться вокруг, глубже задуматься о характере своего героя и о причинах, породивших этот характер. Тогда, думается, в книге нашли бы ответ и некоторые другие неизбежно возникающие при чтении вопросы. Может быть, вовсе никогда и не был Неспанов таким уж хорошим журналистом? Тогда как же сложилась такая обстановка, где он мог считаться лучшим? Как и почему сформировался такой стиль работы? Что перед нами — случайный зигзаг одной судьбы или явление? Где его корни?

Если бы тот же материал автор проанализировал глубже, не облегчил себе путь — его книга могла бы стать значительным событием в современной литературе.

Э. КУЗЬМИНА

★

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО...

Леонид Лиходеев. Указать на недопустимость. Библиотека «Крокодила» № 13. Издательство «Правда». М. 1967. 63 стр.

Леонид Лиходеев. Звезда с неба. «Детская литература». М. 1969. 190 стр.

Веселая книга ставит в трудное положение — она настраивает на веселый лад. Надо, однако, попытаться соблюсти каноны, причлещивающие рецензии.

Когда-то Леонид Лиходеев писал стихи. Говоря откровенно, довольно средние. Не всякому нравится писать средние стихи, и Лиходеев решил испытать свои силы в очерке, драме, путевых заметках. Что называется, искал себя. И нашел неожидан-

но — в фельетоне. Развертывая «Литературную газету» (тогда это было несложно, газета умещалась на четырех страницах), читатели смотрели: нет ли фельетонов Л. Лиходеева.

Из не слишком известного поэта он превратился в популярного сатирика. Но слава редко шествует без сопровождения. На сей раз ей сопутствовали неприятности. Сатирический журнал сурово покритиковал

Лиходеева в специальной статье. По прошествии нескольких лет этот же самый журнал в библиотеке «Крокодила» издал фельетоны Лиходеева, страдающие теми же «пороками», за которые некогда корил с отеческой прямоотой.

«Вот какие случаются удивительные истории!» — воскликнули бы фельетонисты. Однако сборник «Указать на недопустимость» свидетельствует о том, что самого Лиходеева занимают как раз истории не удивительные. Он размышляет над ними, подчеркивает их обыденность («Банальная история», «Собственно говоря, ничего особенного не произошло») и приглашает читателя «соучаствовать в этих размышлениях».

«Задумывались ли вы когда-нибудь, дорогой читатель, над тем, сколько мусора скрывается по углам избы, чтобы «не омрачать праздника?»

Обращение такое довольно рискованно: ну, как читатель отмахнется от авторского призыва? Почему надо волноваться, ломать голову, когда «ничего особенного не произошло»? Но автор настаивает, всем ходом рассуждений убеждает в серьезности предмета.

Из-за чего загорелся сыр-бор в фельетоне «Нижнее место»? Бабушке с внуком досталось «верхнее место в купе, нижнее же — молодому, здоровому парню. Парень свое место не уступил, но бабушку с внуком благополучно разместили в соседнем купе. Стоило ли вообще братья за перо? Тем более парень не безусловно отрицательный. Он обладал некоторыми достоинствами. Был, например, дисциплинирован. Автор сохраняет объективность: что было, то было. Но вместо того, чтоб возвеличить эту несомненную добродетель, бросает на парня тень. Его не устраивает дисциплинированность подобного рода: «положено — дай». Он озабочен явлением, в которое она легко перерастает. Явление именуется хамством. Возможности для него необозримые; закон не может воспрепятствовать хамству, руководствующемуся принципом: «положено — дай».

Этот фельетон, как нередко у Лиходеева, не венчается умиротворяющей разрядкой. Он «ставит вопрос» о хаме как общественном типе.

Затронута проблема, и за один раз ее не исчерпать. Поэтому автор не однажды к ней возвращается.

В «Овале» он сводит читателя с невеже-

ством, не признающим преград. Заметка о художнике А. Н. Бенуа? Фотография эскиза его декорации к «Борису Годунову»? Невежду не проведешь, его бдительность не обманешь: «Раз нерусская фамилия — значит, иностранец. Раз иностранец — значит, контрреволюционер. Церкви рисует, сукин сын. Какого-то Бориса Годунова прославляет...»

Снова фельетон — на сей раз «Призрак казенного воробья», — и снова: «Супруги настолько изучили друг друга, что уже перестали обижаться на взаимное хамство». Уверенность в своем праве на хамство каждый из них черпал в собственной трудовой деятельности. Вполне камерная ситуация перерастает в явление общественной жизни. Стаж, должность, положение призваны оправдать и воодушевить хама.

«Указать на недопустимость» — небольшой по объему сборник. Но и по нему видно, насколько целенаправлены сатирические атаки автора. Однако это умение наступать на зло с разных сторон, брать пробы в разных слоях делает заметным всякое упущение.

В «Призраке казенного воробья» Лиходеев имеет в виду пустопорожнего очковтирателя, усматривающего в своих постах-должностях право на неисчерпаемую наглость. Ну, а если не бездельник, а все же хам? Относительно пещерного невежества ясно, а как быть с невежеством просвещенным?

Делая упреки, надо сделать и оговорку. Большинство работ сборника датировано началом шестидесятых годов. Дистанция времени позволяет установить, насколько живуче написанное. Одобрительное «не устарело» при разборе сатиры звучит не столь бодро. На что уж смешной фельетон «Похвальное слово скуке» — о преимуществах выпуска скучных фильмов, — а как-то невесело становится. Фельетон датирован 1963 годом. С той поры производство унылых кинолент — увьи! — не прекратилось.

Однако и отходя от фельетона в чистом виде, Лиходеев не изменяет себе. Если человек нашел себя, тут уж ничего не поделаешь. Что бы Лиходеев ни писал, это — фельетонно.

Книга Л. Лиходеева «Звезда с неба» близка научно-популярному жанру. В ней писатель всматривается, вдумывается в события, обыкновенные на первый взгляд, но знаменательные по сути своей, по влиянию

на прогресс мысли, науки, на нравственные нормы. Это — книга о том, как давалось человеку знание и что оно давало ему.

Процесс бесконечный и безбрежный рассматривается на немногих сравнительно этапах. Автор осанавливается на некоторых ступеньках долгой лестницы. Тех, когда заметнее соотношение нового знания и старой привычки, их конфликтность. Когда открытие, наблюдение, техническое усовершенствование таят в себе некий этический потенциал. Речь может вестись не только о великих достижениях, но также об изобретениях, мимо которых люди проходят, считая их само собой разумеющимися.

В одной из главок, скажем, говорится о турникете — механическом контролере, ожидающем нас у входа в метро. Устройство турникета нехитрое. Бросаешь в щелку пятак и проходишь. Но стоит забыть о пятаке, выдвигаются перекладины и закрывают проход.

А был и другой проект. Турникету надлежало всегда пребывать закрытым и открываться только перед заплатившим пассажиром. «Это была очень обидная конструкция, особенно для пассажира, который определенно созрел до таких нравственных высот, что готов без всякого напоминания заплатить за проезд... «Знаю я вас,— говорит закрытый турникет,— все вы жулики! Все норовите нашармачка прокатиться!» Так начинается притча об открытом турникете, о благородстве, о доверии и недоверии к человеку, притча-фельетон.

Книга, как говорится, учит жить. Учит не завуалированно, исподволь, а открыто, наставительно.

Это могло бы отдавать менторством, претенциозностью, звучать высокопарно, не будь у писателя в избытке спасительной иронии всевозможных оттенков, от безобидно дружеских до убийственно-саркастических.

Л. Лиходеев не то чтоб отыскивает курьезы. Он старается в известных фактах науки и эпизодах истории отыскать смешное для сегодняшнего восприятия, забавно подать их, рассказать с той долей иронии, которая, не вульгаризируя мысль, делает ее доступной и увлекательной. Он не забывает, ради чего выстраиваются, толкуются факты и эпизоды. Какая же притча без цели, без наиздания?

«Все мыслители, изображавшиеся когда-либо на земле, изображались с немного

склоненной головой. Нельзя мыслить, задрав нос и отставив ногу. Не получается. Можно чваниться, гордиться, хвастать, «олицетворять» и «отображать». Но мыслить нельзя».

Поскольку притча носит фельетонный характер, герои, даже античные, изъясняются на языке персонажей современного фельетона. Сатирическое допущение не так уж велико: ретрограды, тупицы и карьеристы всех времен и народов рассуждали примерно одинаково. А с ними частенько доводилось иметь дело великим ученым и изобретателям.

Но подобная лексическая манера чревата и определенной опасностью для автора. Можно, не замечая того, переступить тонкую языковую грань, увлечься. И тебя понесет игривый словесный поток. Как правило, с Лиходеевым это не случается. Но, говоря «как правило», я тем самым допускаю и исключения, то есть имею в виду те досадные места и в фельетонах и в книге, когда писателю не удается совладать с разговорным потоком.

Обращаясь к прошлому, Леонид Лиходеев восстанавливает некоторые перевалочные пункты на длительном пути человека к самому себе. Путешествие начинается со времен, когда человеку предшествовал Обезьян, когда в голове Обезьяны зародилась мысль, а он испытал испуг и изо всех сил старался не думать. Но было уже поздно. Превращение Обезьяны в Человека знаменовалось, по мнению автора, тремя моментами: способностью сомневаться, решимостью и умением посмеяться над самим собой. Благой силе трех начал и посвящена книга. Однако эти начала не всегда красили человеческую жизнь. Стоило мысли усомниться в уже укоренившемся — а именно отсюда начинается открытие, — человека ждали всевозможные неприятности. «Так люди, пытавшиеся проникнуть в тайны природы, сразу объявлялись государственными преступниками. Бороться с «государственным преступником» легче и доступнее, чем вдаваться в тонкости научного предположения. Тут разговор короткий».

Сомнения помогают совершать не только великие открытия, без коих мы и по сегодня ходили бы в звериных шкурах. Они необходимы и в обиходной жизни с той поры, как Обезьян стал Человеком. Даже примелькавшие слова требуют, чтобы по-

стоянно выявлялся их действительный смысл, реальное наполнение. В «Звезде с неба» автор советует, например, прикинуть, что означает привычное словосочетание: «человек скромной профессии»? Казалось бы, вполне нормально и куда как хорошо. А почему, собственно? Кто относится к «скромной профессии»? Врач, инженер, уборщица, летчик? Какая из профессий более скромная, какая — менее? Где она кончается, «скромная», и начинается «нескромная»? Немало вопросов всплывает. И отнюдь не праздных, ибо касаются главного в человеческой жизни — труда, главного в человеческом облике — чувства собственного достоинства.

«Скромные» и «нескромные» профессии, «обыкновенные» и «необыкновенные» люди. Скромность, отдающая холопством («Я думал, что он не станет со мной говорить, а он даже напоил меня чаем. Неслыханно!»). Смиранный восторг, обличающий собственную скрытую до поры до времени спесь («Я ожидал увидеть горного орла, а увидел простого человека. Пóразительно!»).

Мировые открытия — не только и не всегда мгновенные озарения. Это и результат постоянной — из поколения в поколение — работы человеческого разума. Такова одна из главных идей лихоевской книжки.

Живая мысль неизменно наталкивается на сопротивление предрассудков, то есть ложных взглядов, превратившихся в привычку. Даже когда эта мысль рождает великое достижение современности — электронике. Предрассудок, хоть он и обречен в масштабах истории, пока что способен затормозить дело, испортить жизнь, а всепобеждающая мысль удивительно ранима, как все живое.

В намерения писателя не входило передать всю многосложность борьбы вокруг новой идеи. Он называет лишь некоторых врагов, врагов близких, понятных каждому. Например, слова, способные убивать.

Они звучат еще в прологе. Человек снял с неба звезду, надеется сотворить из нее великое дело, но слышит за спиной: «Поклади назад казенную вещь!»

У Лихоевеева обостренное чутье на слова-душители, слова, предназначенные маскировать корысть и ничтожество тех, кто их уверенно бросает.

Но мысль остановить нельзя. Услышав в эпилоге уже знакомое: «Поклади назад казенную вещь!» — человек твердо отвечает: «Нет!» — и радостно глядит на звезду, снятую с неба.

В. КАРДИН.



НИКАНОЗОВ ПРОТИВ МОСКАЛЕВА

Н. Бейлина. Книга встреч. Западно-Сибирское книжное издательство. Новосибирск. 1969. 294 стр.

Собственно, прямого спора Никанозова и Москалева — двух главных героев Н. Бейлиной — в романе не происходит. Это спор характеров, которые выписаны достаточно резко и определенно и столь же резко противопоставлены друг другу. Ибо хотя предмет, которым заняты герои, — педагогика, спор тут идет не только о стилях педагогического мышления, но о стиле жизни вообще, или даже — если сказать чуть громче — о том, ради чего живет человек.

Однако и педагогика присутствует здесь не случайно, она не просто фон. Педагогическая тема — давняя и близкая Н. Бейлиной тема. Писательница сама проработала не один год в школе в далеком сибирском селе. Школа, ее заботы, школьные учителя, их взаимоотношения с учениками, проблемы обучения и воспитания: чему и как

учить детей — вот вопросы, которые волновали молодую учительницу. Об этом была и ее первая повесть «Четыре четверти года», опубликованная в 1961 году. Она привлекала своей простотой, искренностью и непритязательной достоверностью. Но Н. Бейлиной так важно было тогда прямо доказать некоторые дорогие для нее педагогические идеи, что проблемы педагогики порой перевешивали собственно художественную проблематику книги. Писательница и сама, видимо, это чувствовала. Не случайна оговорка, которой заканчивалась повесть: «И хотя вы только что прочли не научный труд, а повесть, и хотя написана она скорее ради самих людей, сопок, рек, мостов, которые не давали мне покоя, чем ради специально педагогических проблем, — хотелось бы, чтобы она вызвала у

коллег-учителей желание подумать и над этими проблемами».

Новая книга Н. Бейлиной написана тоже весьма просто, непритязательно, вполне традиционно, с традиционной обстоятельностью в описаниях героев — их характеров, их внешнего облика, их прошлых и нынешних поступков и мыслей. Но то, что здесь, не изменяя своей манере подробного и внятного объяснения, писательница объясняет уже не идеи, а героев, — отличие существенное. Некоторая скованность, присущая первой ее повести и вызванная как раз тем, что писательница все время хотела доказать те или иные теоретические положения, здесь почти уже не чувствуется. Сейчас Н. Бейлина больше всего заботится о том, чтобы передать свое знание и понимание жизни. Педагогика, ее проблемы становятся только художественным материалом. Мало того: в романе ощущается и как бы скрытая полемика Н. Бейлиной с самой собой, со своим прошлым, чересчур — скажем так — уважительным отношением к умозрительным рецептам теоретической педагогики.

Читать этот роман приятно: видишь, что автору есть что сказать и говорить он умеет интересно. Мысли писательницы не парадоксальны, а продуманны, она сообщает их просто и спокойно, не прибегая ни к кондовой образности, ни к «современной» недоговоренности. Потому что есть в романе достаточно серьезное художественное содержание, есть, выражаясь старинным словом, благородный пафос.

Интрига романа строится вокруг детдома с веселым именем «Улей». Основал его, до революции еще, добрый человек — отставной солдат Матвей Гольцов, педагог не по образованию, а по призванию. Матвей Гольцов любил детей, потому и взялся за такое дело. И получилась у него самая настоящая школа-коммуна. В конце тридцатых годов в школе появились новые воспитатели, и начались какие-то непонятные детям изменения. Но «все менялось незаметно, потому что постепенно. Если бы перемены произошли в один день, сразу, — у-у, как бы все запротестовали, забунтовали... Но так не бывает. Все шло медленно, с перерывами, забывалось за другими, более личными делами». И вскоре Гольцов перестал быть директором, а коммуна превратилась в обычный детдом.

Такова предыстория. А сама история раз-

ворачивается в 1958 году. Ученик Гольцова Никанозов (сам Гольцов умер во время войны, так и не добившись восстановления) становится директором «Улья», мечтает возродить школу-коммуна с ее самоуправлением, с ее духовной и материальной независимостью. «Вы, Александр Семенович, социалист-утопист», — говорит ему иронически редакционная дама, которой он надоедает своими прожектерскими статьями. И верно — хотя утопистом его, пожалуй, называть и нельзя, но одержимым своим делом, фанатиком даже, — можно.

Впрочем, не его одного. Есть в романе и другой «одержимый» — Максим Москалев, тоже ученик Гольцова и, в общем-то, как «старый гольцовец» даже и союзник Никанозова. Два человека, преданные как будто одному и тому же делу. Но очень разных два человека.

Сам Москалев определяет их расхождение так. «У Гольцова, — вспоминает он основателя школы, — надо различать два периода. Первый период «Улья», главным образом, воспитательный. Тут его достижения бесспорны, но теоретически в них нет ничего нового по сравнению с Макаренко: разновозрастный коллектив, производительный труд для всех, школа-коммуна. Второй — период создания новой теории обучения. Он сам не понял, какую вещь открыл. Так бывает — Мендель, например». Как говорит Москалев: «Никанозов продолжает Гольцова практически, то есть первый его период, в основном. Мне же, как теоретнику-методисту, досталось второе». И вот этой теоретической идее, найденной им у Гольцова, — новому методу обучения учащихся — Москалев и отдает себя.

Итак, расхождения как будто бы чисто профессиональные: оба героя — «старые гольцовцы», оба преданы своему делу, и Москалев, как и Никанозов, воистину подвижник. Он не ищет материальных выгод, благополучия — напротив. «Без многого в жизни он мог обойтись, и многое было ему не нужно. Он легко мирился с жилищными неудобствами, с отсутствием больших, а часто и малых денег, спокойно жил без вина, без развлечений, без зрелищ, без вкусной еды, без разговоров о знакомых, беллетристики, без так называемого свободного времени». Так что причин для серьезного конфликта между героями вроде бы и нет никаких. И если и возможен спор — то чисто творческий, профессиональный.

Однако постепенно мы начинаем понимать, что это совсем не так.

В педагогике — может быть, даже больше, чем в искусстве, — профессия и личность сливаются. Валентина Гольцова, женщина, любящая Москалева, вдруг говорит однажды: «Не хочу, чтобы ты победил, чтобы стал начальником в педагогике. Ты будешь давить других, несогласных с тобой». Почему так резко? Да потому, что и в личной жизни Москалев все и вся подчиняет — нет, вовсе не себе — своей идее. Вот обсуждает он с любимой женщиной их будущую жизнь, мечтает: «Ты сможешь, наконец, целиком отдаться пропаганде нашего дела, и это обязательно приведет тебя — ты ведь способная — к созданию книжки о Гольцове... Будешь редактировать мои статьи, печатать их на машинке, вести переписку. Окончишь педагогический институт и пойдешь в школу». Москалев слеп, смешон, хотя сам этого и не замечает. Но и не только смешон. Своей слепой приверженностью идее он и опасен. Его верность его идее дает ему словно бы какое-то странное право распоряжаться чужими жизнями. И поэтому не случайно, что чем ожесточеннее борется Москалев за свою методику обучения, тем менее значительной кажется она по сравнению с затраченными на нее человеческими силами.

Здесь уместно, пожалуй, отметить, что такой взгляд на Москалева стал возможен для Н. Бейлиной только потому, конечно, что и у самой писательницы отношение к умозрительным педагогическим построениям существенно изменилось. Ведь не так давно самой Н. Бейлиной некоторые педагогические идеи, выдвигаемые Москалевым (идея «обменно-коллективных уроков» есть уже и в «Четырех четвертях года»), казались панацеей от многих бед. А теперь вот она рисует героя, который с неистовым упрямством и фанатизмом пытается весь мир заставить принять к исполнению его идеальные методы. В этом образе есть, пожалуй, даже зерно своеобразного художественного открытия. Проставь Н. Бейлина акценты чуть четче, фигура Москалева могла бы вырасти до типа.

Никанозов — человек иного склада, приверженец вроде бы той же педагогики, но вместе с тем и иного дела. Это «дело» деятельной любви, формы которого возникают естественно, вырастают из органичной потребности человека творить добро.

Еще в самом начале своей деятельности на посту директора «Улья» Никанозов получает письмо от старого педагога, письмо-предупреждение: «Я считаю, что скорее можно плыть в Антарктиду на мыльном пузыре в одних трусах, чем создать образцовое детское учреждение, базируясь только на опыте, энтузиазме, теориях и прочих замечательных понятиях. Настоящие люди ни за что не согласятся быть директорами. Вот, например, я-то вообще могу рисовать, но если я обязан при этом проводить только те линии, которые мне будут указывать (тем более — не умеющие рисовать), то так рисовать я отказываюсь, зная заранее, что из этого ничего хорошего выйти не может».

Тем не менее Никанозов соглашается, но «рисует» так, как хочет сам, а не так, как требуют не умеющие рисовать. У него есть силы на это и вера, что он сумеет и пробьется: его вдохновляет любовь. Любовь не к абстрактным идеям, как у Москалева, а к конкретным людям, к детям, ко всем и к каждому в отдельности. И как в свое время на Макаренко, на него сыплются обвинения: и детский суд он вводит, и неугодных учителей изгоняет, и т. д. Его вызывают в облоно, к нему присылают комиссии, о нем пишут разгромные статьи в газетах. Но Никанозов с благородной негибкостью продолжает делать то, во что верит сердцем, не сдаваясь на лестно-провокационные предложения. Инспектору облоно «пришла в голову отличная мысль: мягко наказать Никанозова и в то же время сделать доброе дело, побудить его совершить благородный поступок, гагановский. Был в ее ведении один запущенный детдом, в селе Падолга — вот туда она и посоветовала Никанозову перейти. По собственному почину. И этот поступок получил бы соответствующую общественную оценку». Никанозов отказывается. Для него неприемлема игра высокими понятиями.

Но если бы роман свелся ко всем этим перипетиям, то возник бы, видимо, всего лишь еще один перепев «Педагогической поэмы» и «Флагов на башне». К счастью, этого не случилось. Вообще-то имя Макаренко упоминается в романе неоднократно и с большой симпатией. Принципы, по которым строится внутренняя жизнь «Улья», во многом напоминают принципы, изложенные Макаренко в «Педагогической поэме». Но у автора, как мы уже сказали, есть здесь и своя, особая задача. Идеальный, нравствен-

ный конфликт романа, как уже говорилось,— в столкновении двух характеров, двух типов отношения к жизни.

Художественная мысль автора проясняется в трагическом конце Никанозова.

Это не было самоубийством. Произошел несчастный случай. Балкон в здании облоно, куда приехал Никанозов по очередному вызову выслушивать очередной разнос, был разрушен, но Никанозов этого не знал и перешагнул порог. Общественное мнение, однако, сразу объявило несчастие самоубийством. И это не случайно: нашлось немало людей, почувствовавших себя виноватыми. И инспектор облоно, устроившая Никанозову скандал, и женщина, пославшая ложную телеграмму о тяжелой болезни жены, и «сколько таких людей могло найтись еще». Но ни жена его, ни его друзья, ни его воспитанники не верят в самоубийство, потому что знают немыслимость для Никанозова такого поступка. Никанозов живет не для себя, не для своей идеи, мир для него не замыкается на нем самом, личные несчастья не могут пошатнуть его, Никанозов полон жаждой деятельности. Живое дело жизни, воспитание в детях человеческого достоинства, самостоятельности, уверенности в себе и в жизни — вот, собственно, и вся его «программа». А от живого да святого дела смерти не ищут, хотя и не боятся ее.

Как видим, Никанозов — тоже подвижник. Но подвижник совсем иного типа, не-

жели Москалев. И когда мы читаем, что жена Никанозова замещает его на посту директора, мы готовы верить этому, хотя беллетристически, да и с точки зрения привычной житейской достоверности такой сюжетный поворот не очень убедителен. Однако в нем есть внутренняя логика. Могла быть не жена, мог быть кто угодно другой, но этот кто-то неминуемо должен был появиться, пусть не сейчас, пусть позже, но должен: если есть на земле зло и добро, то без носителей добра, не боящихся смерти, жизнь была бы просто невозможна.

Только идеи добра органичны самой жизни, считает Н. Бейлина, и мысль эта пронизывает весь строй ее романа, его сюжет, его образную систему. Поэтому несколько наивным кажется окончание книги с его прямолинейным символизмом. Валентина Гольцова рождает ребенка, ребенок от Максима Москалева, но, несмотря на его просьбы, она не едет вместе с Максимом в Москву, а уезжает в «Улей» (ее пригласила жена Никанозова) работать, растить будущего продолжателя дела добра, дела Никанозова. Такой сюжетный ход принадлежит к слишком расхожим приемам беллетристики и, конечно, мало что добавляет к сути основного конфликта. Эта дань Н. Бейлиной литературным штампам, сказывающаяся, к сожалению, нередко и в других случаях, кажется тем более неуместной в ее спокойном и умном романе.

В. КАНТОР.



«И РАЗГОВОР У НАС СОВСЕМ ИНОЙ ПОШЕЛ...»

Александр Кушнер. Приметы. Третья книга стихов. «Советский писатель». Л. 1969. 112 стр.

Молодой ленинградский поэт Александр Кушнер, кажется, и сам испытывает желание связать с книгой «Приметы» какой-то новый этап своего творчества. Стихи, собранные в ней, он называет «разговором совсем иным» по сравнению с прежними стихами.

И действительно, читатель, знакомый с двумя первыми книгами поэта («Первое впечатление», 1962; «Ночной дозор», 1966), не может не почувствовать резкой перемены настроения в новой книге Кушнера.

Автор, талантливо и интересно воссоздававший в стихах ощущение «плотности» и «вещности» нашего материального мира,

умевший каждый предмет на небольшом пространстве «десяти метров тесного житья» делать предметом искусства, вспоминает теперь об этом со снисходительной улыбкой. «Имел я, помнится, внимание к вещам... Все это схлынуло...» Он вдруг как бы ощутил удущье от тесноты. Причем — от тесноты не только в комнате. Любая ограниченность, даже ограниченность собственной жизни, вызывает в А. Кушнере подспудное раздражение. За то и славят поэт человеческую душу, за то и ласков с ней («тучка, ласточка, душа!»), что она этой ограниченности не знает: «Я привязан, ты — свободна».

«Казалось бы, две тьмы, в начале и в конце, стоят, чтоб жили мы с тенями на лице»,— начинает он одно из своих стихотворений.

Но не сравним густой
Мрак, свойственный гробам.
С той дружелюбной тьмой,
Предшествовавшей нам.

Эта тьма, предшествовавшая нам, потому и названа А. Кушнером «дружелюбной», что она не страшит, а помогает человеку, помогает преодолеть естественную ограниченность своей жизни через приобщение к тому, что было до нас. Недаром так много стихов в книге посвящено истории. Суть их выражена достаточно ясно: «Даже беды великих людей дарят нас прибавлением жизни».

Решающей чертой лирического характера, проявившего себя в книге «Приметы», стала потребность в просторе.

В новой книге А. Кушнера мы встречаемся с любопытным признанием: «Я все со временем дружил, пространства трудного боялся». И это «боялся» как бы заново высвечивает прежние его стихи. Теперь становится понятно, что заставляло поэта «сжимать пространство, как пружину часовщик». Ныне он мечтает о том, «чтобы в зыбкое пространство без устоев и дверей забредало постоянно тесной комнаты моей», то есть хочет и пытается раздвинуть комнату изнутри до размеров внешнего мира.

Дело это, как уверяет в булгаковском романе Коровьев Маргариту,— «самое несложное из всего». «Тем, кто хорошо знаком с пятым измерением,— объяснял Коровьев,— ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных размеров».

Что касается «несложности», то всерьез это, конечно, принимать не стоит; всерьез следует отнестись к словам о «пятом измерении».

Задумываясь о нем, А. Кушнер формулирует обязанность художника «вставить зеркальце в строку для восполнения объема». И пытается в новых стихах следовать этому методу:

...Как много от слова до слова
Пространства, тоски и судьбы!
Как ветра и снега от Львова
До Обской холодной губы.
Так вот что стоит за плечами
И дышит с тобой заодно,

Когда ледяными ночами
Не спится и смотришь в окно.

Большая удача — родиться
В такой беспримерной стране.
Вонстину есть чем гордиться,
Вперяясь в просторы в окне.
Но силы нужны и отвага
Сидеть под таким сквозняком!
И вся-то защита — бумага
Да лампа над тесным столом.

В этом стихотворении действительно словно вставлено в строку зеркальце. Оно ощущается не только в том, что поэт сумел силой своего воображения воссоздать художественный образ огромного пространства, а в том, что смог почувствовать себя частицей большого мира, ощутить, что он «стоит за плечами и дышит с тобой заодно». Сопричастность этому миру требует мужества. Но она же формирует и оптимизм — трудный, выношенный оптимизм. Слова поэта о «большой удаче» не идиличны. Они добыты не в обход противоречий, а с ясным пониманием их.

Жизнь для А. Кушнера — не просто ценность. Жизнь — драгоценность. Потому-то любая смерть и переживается им как личная трагедия. Он не зря «вмонтировал» в свои стихи известную поговорку: «В каждом мертвом хороним себя». Смерть для него — высшая несправедливость, которую он не простит даже самому господу-богу:

Когда тот польский педагог,
В последний час не бросив сирот,
Шел в ад с детьми и новый Ирод
Торжествовать злодейство мог,
Где был любимый вами бог?
Или, как думает Бердяев,
Он самых слабых негодяев
Слабей, заоблачный дымок?

Так, тень среди других теней,
Чудак, великий неудачник.
Немецкий рыжий автоматчик
Его надежней и сильней,
А избиением детей
Полны библейские преданья,
Никто особого вниманья
Не обращал на них, ей-ей.

Когда-то А. Кушнер написал, что «зло темно и вероломно». Но в прежних его книгах совсем почти не было стихов на эту тему. Сейчас поэт глядит на зло в упор:

Но философии урок
Тоски моей не заглушает,
И отвращенье мне внушает
Нездешний этот холодок.

Один возможен был бы бог,
Идущий в газовые печи
С детьми, под зло подставив плечи,
Как старый польский педагог.

Чувство личной причастности, боли, тоски с особенной силой проявилось в этом брезгливом, даже гадливом передергивании: «отвращенье мне внушает». Это естественная реакция на попытку подвести под зло теоретический фундамент. Любой. Даже такой, как «зло темно и вероломно».

В новых стихах А. Кушнер, как видим, нередко спорит со своими старыми представлениями.

Если прежде, наблюдая, скажем, падающий снег, А. Кушнер сейчас же подчеркивал, что «в его паденье, кроме мглы, была система», если раньше на вопрос «чему стихи нас учат?» поэт отвечал: «Строю. Точнее стройности», — то теперь этой гармонии строя, системы для него уже мало. Теперь он допускает существование иных жизненных ситуаций — «всем смыслом поперек, никак, нипочему».

Что же, некогда стройные представления поэта о жизни стали теперь хаотичными? На этот вопрос Кушнер отвечает так: «Может быть, тем и жизнь хороша, что не система в ней, а душа». Он оспаривает былую свою тягу к схематизму и пытается распознать в живом явлении его живую душу:

В латинском шрифте, видим мы,
Сказались римские холмы
И средиземных волн барашки,
Игра чешуек и колец,
Как бы ползут стада овец,
Пастух вино сосет из фляжки.

Зато грузинский алфавит
На черепки мечом разбит
Иль сам упал с высокой полки.
Чуть дрогнет утренний туман —
Илья, Паоло, Тициан
Собирают круглые осколки.

А в русских буквах «же» и «ша»
Живет размашисто душа,
Метет метель, шумя и пенясь,
В кафтане бойкий ямщикоч,
Удал, хмелен и краснощек,
Лошадкой правит, подбоченьясь.

А вот немецкая печать,
Так трудно буквы различать,
Как будто марбургские крыши,
Густая готика строки.
Ночные окрики, шаги.
Не разбудить бы! Тише! Тише!

Летит еврейское письмо.
Куда? — Не ведает само,
Слова написаны, как ноты.
Скорее скрипочку хватай,
К щеке платочек прижимай,
Не плачь, играй... Ну что ты? Что ты?

Вот так, вставляя «зёркальце в строку для восполнения объема», А. Кушнер не только оживляет буквы, но и убеждает нас в закономерности такого оживления: потому они и живые, что в каждой букве присутствует народная душа.

Приобщение к этой «живой душе» жизни — к душе народа, страны, мира, к «душе» истории — может быть, самое главное приобретение поэзии А. Кушнера.

Как сказано в аннотации к книге «Приметы», А. Кушнер «стремится следовать русским классическим традициям». Это верно. Сами цитаты, которые приводились здесь, показывают, как бережно относится Кушнер к классической поэтике: строгость метрики, ясность образов и лексики действительно дают основание утверждать, что поэт следует за классиками. Но иногда он словно оказывается у них в плену. Тогда и появляются в его стихах строки, которые еще в прошлом веке успели стать банальными, такие, например:

А ночью, ужасом томим,
С подругой рядом, недвижим,
Лежал я. Смерть крылом своим
Мой обвевала лоб...

Впрочем, такие трюизмы при современной «моде на старомодность» стали сейчас привычным явлением. И хорошо хотя бы то, что у А. Кушнера — это по крайней мере не дань моде, а издержки уже успевшей стать устойчивой ориентации на старые образцы.

Это сказано не в оправдание поэта. Трудно, да и не стоит оправдывать попытку уклониться от выражения в стихах собственного существа. Тем более что такая попытка говорит о том, что в данном случае ослаблены связи с жизнью.

Словом, есть свои недостатки и в поэзии А. Кушнера. Но в лучших стихах поэту удался «совсем иной» (по сравнению с только что приведенными строками) разговор с читателем. В них поэт честно рассказал, что он думает о себе и о своей современности.

Г. КРАСУХИН.

Политика и наука**В. И. ЛЕНИН — ТЕОРЕТИК ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ**

Н. В. Хессин. В. И. Ленин о сущности и основных признаках товарного производства. Издательство Московского университета. 1968. 192 стр.

Автор рецензируемой книги ставит вопрос: является ли социалистическое производство особого рода товарным производством? И тут же справедливо замечает, что в нынешних условиях «произошла довольно ясная размежевка экономистов на две противоположные группы (так называемых «товарников» и «нетоварников»), которые дают на этот вопрос едва ли не взаимно исключающий ответ.

Основные позиции спорящих сторон сформулированы Н. В. Хессиним так: «Товарники», — пишет он, — считают... что при социализме имеет место товарное производство особого рода, а следовательно, в практике использования товарно-денежных форм необходимо опираться на специфические законы товарного производства, в первую очередь на закон стоимости. «Нетоварники» полагают, что сохранение и использование товарно-денежных форм при социализме отнюдь не означает, что социалистический способ производства является особым родом товарного производства. По своей сущности он является антиподом товарному производству и представляет собой непосредственно обобщественное производство...» Сам Н. В. Хессин отстаивает «нетоварную» точку зрения.

Кто же из спорящих ближе к истине? Ответ на этот вопрос представляет для нас отнюдь не только академический интерес.

Сильной стороной книги Н. В. Хессина следует считать то, что он отбрасывает традиционные попытки объяснить товарное производство из отношений собственности. Дело в том, что некоторые «товарники», как и их оппоненты, строят свои выводы, в сущности, на одной и той же предпосылке. Только «товарники» считают, что существующие у нас две формы собственности — государственная и кооперативная — чуть ли не в первую очередь среди ряда других причин вызывают необходимость товарного производства, а «нетоварники» утверждают, будто товарное производство рождается из частной собственности на орудия и средства производства и должно исчезнуть с ее уничтожением.

Н. В. Хессин высказывает иной взгляд. «...при научном определении сущности и основных признаков товарного производства, — пишет он, — совсем не обязательно говорить о той или иной форме собственности. Более того, введение той или иной формы собственности в научное определение сущности и основных признаков товарного производства может создать неправильное представление о действительной сущности определяемого предмета.

Опираясь на факты экономической истории и на высказывания классиков марксизма, Н. В. Хессин выводит товарное производство из того, что является наиболее важным в экономических отношениях — из характера труда.

Всякий человеческий труд есть труд общественный. Но это его качество в разных условиях может раскрываться по-разному. Так, первобытное племя объединяет людей, чтобы совместными усилиями защищаться от врагов, бороться со стихией, добывать пищу. Здесь общественный характер труда очевиден; здесь труд каждого включается в труд всех прямо, без каких-либо посредствующих звеньев, а мера его общественной полезности определяется без помощи рыночного механизма. Пользуясь принятой в науке терминологией, труд в этих условиях носит непосредственно общественный характер. «Непосредственно общественное производство, — писал Энгельс, — как и прямое распределение, исключает всякий товарный обмен, следовательно, и превращение продуктов в товары (по крайней мере внутри общины), а значит и превращение их в стоимости... Чтобы определить при этих условиях количество общественного труда, заключающееся в продукте, нет надобности прибегать к окольному пути; повседневный опыт непосредственно указывает, какое количество этого труда необходимо в среднем»¹. Признаком непосредственно общественного труда является, таким образом, — и это следует запомнить —

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 320—321.

отсутствие необходимости в торговле, в деньгах и всем том, что с ними связано (банки, кредит и т. п.).

Непосредственно общественное производство имело место в период крайне низкого уровня производительных сил, когда человек лишь в составе племени или общины мог едва-едва создавать то количество продуктов, которое было необходимо ему для собственного пропитания. Но как только производительные силы развились настолько, что человек получил возможность производить больше, чем нужно для поддержания жизни, в характере труда происходят существенные изменения. С углублением разделения труда все большая часть продукции начинает производиться для обмена, на продажу. Это также труд для общества, и в определенном смысле даже больше, чем прежде: ведь потребителями продукта, который для самого производителя уже сплошь и рядом не имеет непосредственной пользы, оказывается все более широкий круг людей. И в то же время каждый человек или группа лиц работает сама по себе, на свой страх и риск. Общественный характер труда обнаруживается здесь уже не прямо, не в момент совершения той или иной трудовой операции, а опосредствованно, косвенно, лишь после того, как изготовленный продукт найдет своего покупателя, согласного заплатить за него большую или меньшую цену. В этом постоянно таится возможность противоречия между общественным и частным трудом — несовпадения индивидуальных затрат труда с общественными, опасность того, что частные затраты не будут признаны обществом — целиком или частично.

В противоположность непосредственно общественному такой индивидуальный труд, включающийся в труд всего общества через механизм обмена и через него обнаруживающий свою общественную необходимость, Маркс именуется частным трудом.

«Предметы потребления,— пишет он в «Капитале»,— становятся вообще товарами лишь потому, что они суть продукты не зависящих друг от друга частных работ. Комплекс этих частных работ образует совокупный труд общества. Так как производители вступают в общественный контакт между собой лишь путем обмена продуктов своего труда, то и специфически общественный характер их частных работ проявляется только в рамках этого обмена. Другими словами, частные работы фактически осуществляются

как звенья совокупного общественного труда лишь через те отношения, которые обмен устанавливает между продуктами труда, а при их посредстве и между самими производителями»¹.

Это очень важное положение марксизма раскрывает главную причину возникновения и сохранения товарного производства. Она состоит в том, что из-за относительной неразвитости производительных сил производители оказываются разобщенными, обособленными друг от друга. Технологический процесс их не связывает, и они ведут достаточно автономное существование. Эта обособленность, вызываемая частным характером труда, как раз и породила товарно-денежные отношения как форму связи между производителями.

В своей книге Н. В. Хессин особо подчеркивает это. При этом он убедительно разъясняет читателю несовпадение понятий — частный характер труда и частная собственность. Частный характер труда исторически протяженнее частной собственности: он и возникает раньше нее, и исчезает не сразу с ее устранением. Достаточно вспомнить, что товарный обмен возник еще на стыке общин, то есть уже общинный труд, потраченный на производство продукции, идущей на обмен, имеет частный характер. То же самое, подчеркивает Н. В. Хессин, можно сказать и про труд кооперативной, акционерной, государственной организаций, выпускающих продукцию на продажу: «Политико-экономическая обособленность производителей, составляющая сущность товарного производства, может возникнуть при самых различных юридических формах собственности — частной, коллективной, государственной, общенародной. Сама по себе юридическая форма собственности еще ничего не решает».

Таким образом, Н. В. Хессин в соответствии с марксистской методологией различает два вида обособленности товаропроизводителей: юридическую, правовую, административную — и экономическую. Экономическую обособленность он справедливо считает главной причиной сохранения товарного производства, в том числе и для наших условий. Н. В. Хессин так формулирует задачу: «Чтобы доказать наличие товарного производства при социализме, нужно доказать, что у нас сохранилась сущность товарного

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 82—83.

производства — обособленность производителей, его основное противоречие, основное свойство и все остальные признаки».

Автор книги упрекает «товарников» за то, что этого никто из них еще не доказал. «Напротив, — отмечает он, — большинство из них признает, что при социализме нет обособленности производителей, противоречия между общественным и частным трудом, свободной конкуренции, стихийности и анархичности развития, господствующей роли вещей и рынка. Иначе говоря, фактически все они признают, что у нас нет сущности товарного производства, нет его основного противоречия, основного свойства и других существенных признаков. И тем не менее продолжают настаивать, что товарное производство сохранилось при социализме и что надо действовать в соответствии с его законами».

По поводу якобы неизбежной в условиях любого товарного производства «свободной конкуренции, стихийности и анархичности» с Н. В. Хессиним нельзя согласиться. Не прав он и в том, будто все «товарики» отрицают противоречия между частным и общественным трудом при социализме. Но, действительно, тот, кто признает непосредственно общественный характер труда в наших условиях, кто отрицает в той или иной форме диалектическое противоречие общественного и частного труда, вряд ли имеет право говорить о товарной природе социалистического производства, если только не играть в термины и названия, а вкладывать в эти понятия тот научный смысл, который разъяснен приведенными выше словами Энгельса. Об этом же очень категорично говорил и Маркс, указывая, что непосредственно общественный труд предполагает «форму производства, диаметрально противоположную товарному производству»¹.

Правильно сформулировав проблему, убедительно разъяснив принципиальное различие между правовым и экономическим обособлением, Н. В. Хессин, однако, и сам впадает в непоследовательность, определившую все дальнейшее содержание его книги: из того факта, что главные средства производства в нашей стране национализированы, обобществлены, он делает вывод об отсутствии экономической обособленности и, следовательно, о невозможности товарного производства при социализме. Тем самым он

удивительным образом путает те понятия, которые только что разграничивал.

В свое время в полемике с «левыми коммунистами» В. И. Ленин говорил, что «...недостаточно даже величайшей в мире «решительности» для перехода от национализации и конфискации к обобществлению»¹. Весной 1918 года, обобщая первые итоги практической деятельности советской власти, Ленин писал, что «главная трудность лежит в экономической области: осуществить строжайший и повсеместный учет и контроль производства и распределения продуктов, повысить производительность труда, обобществить производство на деле»².

О каком обобществлении идет здесь речь? Что это значит — «перейти от национализации к обобществлению»? Что это значит — в условиях проведенной уже национализации «обобществить производство на деле»? Н. В. Хессин не задает себе таких вопросов. А между тем эти ленинские слова полны глубокого смысла. Ленин, как видим, проводит четкое различие между обобществлением правовым и экономическим, что подразумевает сохранение экономической обособленности производителей даже в условиях национализации, общенародной собственности. Вместе с тем он указывает направления развития нашей экономики — дальнейшее повышение уровня экономического обобществления, которое представляет собой объективный процесс.

В условиях товарного производства наряду с экономическим обособлением производителя издавна существует и противоположная тенденция — ко все расширяющемуся и все более многостороннему экономическому обобществлению производства. Н. В. Хессин не отметил названной тенденции, хотя без этого нельзя правильно понять и само обособление. Ведь один уровень обособления производителя можно наблюдать на базе лопаты и кирки как орудий производства, лошади и парусника как средств связи, и со всем другим — на основе автоматических линий, электронно-вычислительных машин и межконтинентального телефона.

Развитие производительных сил все более увеличивает взаимосвязь и взаимообусловленность разных производственных еди-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 104.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 293.

² Там же, стр. 171.

ниц и целых отраслей производства. Одно дело, когда разрозненные ткачи объединяются в мануфактуры, иное — когда на базе этой мануфактуры возникает современное крупное ткацкое предприятие, входящее в состав какого-то объединения родственных ему предприятий. То есть существуют разные уровни экономического обобществления, обусловленные тем или иным уровнем развития производительных сил. Высшим из них является тот, который все отдельные предприятия, вернее — все отдельные объединения предприятий, органически сольет в единый механизм, где каждый вид производства будет взаимосвязан с другими так, как ныне естественным образом связаны цехи одного завода или бригады совхоза либо колхоза. Тогда не будут нужны и товарно-денежные отношения для связи отдельных частей производства, тогда будет преодолена обособленность предприятий.

Экономическое обобществление производства является, конечно, причиной и предпосылкой обобществления правового, административного. Однако эту зависимость нельзя понимать упрощенно: в определенные моменты истории правовое обобществление может и «опережать», более или менее далеко отрываясь от своей экономической основы. Именно такая ситуация сложилась у нас после Октября, когда нужно было увязать существование общенародной собственности с объективной необходимостью сохранения товарно-денежных отношений (в их подлинном, а не только учетном смысле).

Созная возникшее противоречие, Ленин уже в первые годы советской власти нашел способ его разрешения. Как известно, переход к нэпу означал не только временное оживление капиталистических элементов в строго очерченных рамках, но и вызвал к жизни новую форму управления народным хозяйством — коммерческий, хозяйственный расчет на социалистических предприятиях, выступающих со своей продукцией на рынке. Отдельные предприятия и тресты получили широкую самостоятельность, обусловленную признанием их, как отмечалось на XII съезде партии, «менового характера». О степени автономии предприятий, представленной им в годы нэпа, можно судить по такому замечанию Ленина: «...некоторые наши тресты могут в ближайшем будущем **оказаться без денег и просить нас ультима-**

тивно о том, чтобы мы их национализировали»¹.

О какой национализации могла идти речь в эти годы? Ведь почти вся промышленность уже была давно национализирована. Легко догадаться, что в данном случае речь шла о том, что обеспеченная социалистическим предприятиям обособленность, соответствующая товарной их природе и заставлявшая на свой страх и риск принимать решения о том, что, как и сколько производить, была кое-кому слишком тяжела. По инерции предыдущего периода некоторые хозяйственники хотели было спрятаться опять под крылышко государства, покрывающего все их грехи и неумение работать. Ленин предвидел это и предостерегал от мягкосердечности.

Ленинская экономическая политика означала последовательное приведение в соответствие уровня правового и экономического обобществления. Само собой разумеется, признавая экономическую природу обособленности социалистических предприятий, В. И. Ленин не забывал о том, что это — обособленность в рамках целостной народнохозяйственной системы. Поэтому он резко выступал против анархо-синдикалистского уклона. Значит, когда мы говорим о преждевременности управления народным хозяйством по принципу «единой фабрики», то имеем в виду лишь преждевременность нетоварных форм связи между отдельными предприятиями, по типу тех, что существуют на заводе между цехами — звеньями единого технологического процесса. Так был решен Лениным один из сложнейших теоретических вопросов, продолжающих волновать экономистов и по сей день.

За годы советской власти уровень экономического обобществления нашего производства неизмеримо возрос. Однако практика показывает, что и этот возросший уровень еще недостаточен для превращения нашего труда в непосредственно общественный и отмирания на этой базе товарно-денежных отношений. Вот почему у нас и в других социалистических странах проводятся ныне хозяйственные реформы, направленные на развигие и более полное использование товарно-денежных отношений, а многие экономисты приходят к выводу, что характеристика труда при социализме как

¹ В. И. Ленин Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 150.

уже непосредственно общественно не соответствует реальному положению вещей. Так, профессор В. П. Корниенко в журнале «Экономика Советской Украины» (№ 9 за 1966 год) писал: «До сих пор, например, без всяких оговорок утверждается, что труд при социализме носит непосредственно общественный характер, и поэтому получила большое распространение мысль о том, что абстрактный труд является непосредственно общественным. Это — бессмыслица».

Ту же мысль высказывает и ученый из ГДР Г. Майер: «...совершают ошибку, когда новый характер труда при социализме трактуют таким образом, будто труд здесь является непосредственно общественным, как понимал его К. Маркс в теории стоимости».

К такому же выводу приходят и венгерские экономисты. «Общественный характер труда в значительной степени может осуществляться только косвенно, подчиняясь последующему контролю рынка,— писал Томаш Морва.— Значительным остается частный характер труда, вытекающий из обособленности предприятий». С фактом «экономической обособленности хозяйствующих объектов» считаются и академик Н. П. Федоренко, и некоторые другие экономисты представляемой им школы «оптимального планирования».

Таким образом, о непосредственно общественном характере нашего производства можно говорить лишь в том смысле, что при социализме каждый человек трудится непосредственно на общество, а не на частного-капиталиста. Но такое понимание непосредственно общественного труда не должно тогда смешиваться с тем научным смыслом этого термина, который вкладывался в него Марксом, Энгельсом, Лениным.

То мнение о характере труда при социализме, которое приведено выше, разделяют пока далеко не все наши экономисты. Но то, что в теории пока еще пробивает себе дорогу с немалым трудом,— то все более широко входит в практику и подкрепляется ею. Последние партийные решения по хозяйственным вопросам, подчеркивающие необходимость оценки работы предприятия не по «валу», а по реализованной продукции и прибыли и ориентирующие на переход от фондирования к оптовой торговле средствами производства, как раз и фиксируют это.

Н. В. Хессин не делает никаких теорети-

ческих выводов из признания необходимости проведения вышеназванных мероприятий. Он не видит — и это логично с позиций «нетоварной» школы — большой актуальности ленинских идей о коммерческом расчете в связи с экономической реформой. О хозяйственной реформе у нас и в других социалистических странах, о соотношении принципов реформы с ленинским учением о хозяйственном строительстве в рецензируемой книге не сказано по существу ничего. Две-три странички, посвященные этой теме в конце книги, не анализируют теоретического аспекта выдвинутых практических мер. Более того, всем ходом своих рассуждений автор как бы убеждает нас, что нынешние «увлечения» рынком, прибылью, рентабельностью и т. п. якобы противоречат марксизму.

Из тезиса, что труд в наших условиях еще не стал непосредственно общественным, совсем не следует того, что в характере труда не произошло никаких изменений. Пролетарнат из бесправного продавца своей рабочей силы, каким он был при капитализме, стал хозяином всех основных средств производства. Это не могло самым существенным образом не отразиться на всей системе экономических отношений, подорвав наемный характер труда. О значении такого явления автор этих строк подробнее говорил в своей предыдущей статье («Новый мир», № 5, 1969).

Если не проводить различий между понятиями юридического и экономического обобществления, то может создаться представление, будто судьба товарно-денежных отношений и закона стоимости зависит только от желаний людей, их программ и убеждений. С этих позиций может показаться, будто для отмены товарно-денежных отношений, собственно, достаточно — вне зависимости от достигнутого уровня производительных сил — лишь принятие законодательного акта. Эту ошибку, в которой как раз и гнездятся корни экономического волюнтаризма и субъективизма, как известно, делают в наше время некоторые «левые» силы в коммунистическом движении. Нельзя не понимать, что «отмена» товарно-денежных отношений возможна лишь на базе более высокого, чем сейчас, уровня развития производительных сил.

Для Н. В. Хессина же судьба товарно-денежных отношений, видимо, целиком определяется тем, будет ли нам угодно допу-

считать или не допустить их в производство, то есть обуславливается чисто субъективными факторами. Он так и пишет: «Если, например, в нашей стране мы допустим (разрядка моя.— Г. Л.) такое положение, когда каждое предприятие по собственному усмотрению будет решать вопрос о том, что, как и сколько производить, руководствуясь показателями рынка, то мы получим самый настоящий строй обособленных производителей, самое настоящее товарное производство со всеми его атрибутами, хотя с юридической точки зрения собственником всех средств производства и производимых продуктов будет общество в целом, а не отдельные лица или коллективы лиц». Все, таким образом, зависит от того, «допустим» или «не допустим».

Само собой разумеется, что общество не может оставаться пассивным к окружающей действительности, фатально подчиняясь экономическим законам. Познавая эти законы, оно как раз и может научиться направлять свое развитие. Но задача состоит в том, чтобы найти правильное сочетание между субъективными и объективными факторами. Подход с позиций «допустим» — «не допустим» весьма далек от марксистско-ленинской методологии и помочь делу никак не может.

Обращает на себя внимание и такой любопытный факт: хотя книга Н. В. Хессина посвящена, как видно из названия, взглядам Ленина на товарное производство, нэповский период их развития в ней фактически отсутствует. Вообще следует заметить, что нашим «нетоварникам» всегда почему-то больше нравилось цитировать работы Ленина раннего периода, а также периода военного коммунизма, взгляды же и высказывания его по экономическим вопросам с октября 1917-го до лета 1918 года, его деятельность в этот период, а особенно его мысли на сей счет после перехода к нэпу как-то выпадают из их поля зрения. А ведь без этого не может быть целостного представления об экономическом наследии ленинизма: на основе накопленного опыта Ленин уже тогда «разработал такие принципы социалистического хозяйствования, которые полностью сохраняют свое значение и в наши дни» (Л. И. Брежнев). Мероприятия, осуществляемые в связи с хозяйственной реформой, как раз служат убедительным доказательством актуальности ленинских идей управления экономикой.

Для Н. В. Хессина понятие рынка является синонимом анархии, беспланоности, диспропорционального развития и вообще всего отрицательного. План и рынок — для него категории взаимоисключающие. А ведь широко известны слова Ленина в записке к Г. М. Кржижановскому о том, что «...новая экономическая политика не меняет единого государственного хозяйственного плана и не выходит из его рамок, а меняет подход к его осуществлению»¹. Следовательно, В. И. Ленин не считал, что план и необходимость развития товарно-денежных отношений — явления несовместимые. Он придерживался на сей счет мнения, прямо противоположного тому, которое приписывает ему автор монографии. На XII съезде партии было также отмечено, что отношения пропорциональности между отраслями народного хозяйства могут быть установлены «лишь при правильном соотношении рынка и плана».

Ошибка при анализе соотношения между плановостью и товарным производством допущена Н. В. Хессиним, на мой взгляд, потому, что он никак не может увязать между собой два, по внешности противоположных, ряда высказываний на этот счет классиков марксизма. С одной стороны, хорошо известны многочисленные указания Маркса и Ленина о взаимной противоположности этих категорий, об анархии капиталистического производства. С другой стороны, наблюдая за тенденцией развития современного производства, классики марксизма отмечали усиливающееся в нем плановое начало. Ленин, ссылаясь на Энгельса, прямо говорил о вступлении капитализма в период плановой экономики². Н. В. Хессин не находит лучшего способа разрешить это «противоречие», как попросту игнорировать вторую группу высказываний. Между тем оно разрешается довольно легко (и гораздо более научно), если мы поймем, что в разных случаях Маркс, Энгельс, Ленин говорили о разных типах планов, о планировании в двояком его понимании. Ведь одно дело — планировать, скажем, сельскохозяйственное производство, исходя целиком из представлений о чистой целесообразности, о медицинской полезности тех или иных продуктов для человеческого ор-

¹ В. И. Ленин Полное собрание сочинений т. 54, стр. 101

² См. там же, т. 31, стр. 444.

ганизма, а другое — сочетать, увязывать и ограничивать эти соображения в соответствии с экономической реальностью.

Один тип плана — это тот, о котором говорили классики марксизма, имея в виду условия, когда естественным путем исчезнет стоимость, когда будет осуществляться такое производство, по отношению к которому человек станет лишь его надзирателем и регулятором, пребывающим, по выражению Маркса, «по ту сторону материального производства». Здесь человек действительно сможет свободно планировать производство, целиком подчиняя его своим естественным потребностям, а не приспособляясь к регулирующему воздействию закона стоимости. Пока же сохраняется в нашей жизни такая категория, как стоимость (а она не может, как мы видели, не сохраняться при современном уровне производительных сил), такое планирование, свободное от действия посторонних факторов, остается невозможным.

Однако может существовать планирование и на базе товарно-денежных отношений — нам оно хорошо знакомо. Оно в корне отличается от того планирования, которое станет реальным после исчезновения стоимости, — и по возможностям своим, и по средствам, но при данном уровне развития производительных сил никакого другого планирования быть не может. Так что оба положения классиков марксизма — о возможности и невозможности планирования на базе рынка — остаются в силе и вовсе не противоречат друг другу.

Книга Н. В. Хессина написана, как легко заметит читатель, с позиций, противоположных тем, которые близки автору этих заметок. Однако выход ее, на мой взгляд, должен оказать помощь спорящим в экономической науке сторонам, заставляя каждого вооружаться новыми аргументами, отбрасывая без сожаления те, что оказались ложными, слабыми.

Г. ЛИСИЧКИН.

★

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И РАБОЧИЙ КЛАСС

Научно-техническая революция и общественный прогресс.
«Мысль». М. 1969. 400 стр.

О социальных последствиях научно-технической революции последнее время пишут все больше. Среди публикаций на эту тему заметное место занимают рецензируемый сборник, подготовленный кафедрой философии Академии общественных наук при ЦК КПСС, а также серия статей в журнале «Вопросы философии», начатая во второй половине 1968 года. Эти материалы рисуют впечатляющую картину социальных изменений, которые в наше время, в последнюю треть XX века, происходят все быстрее.

Быстроту перемен особенно подчеркивает Э. А. Араб-Оглы, автор первой статьи в сборнике. Используя диаграмму из книги Джона Бернала «Мир без войны», он показывает, что со времени возникновения земледелия социальная структура общества четыре — шесть тысячелетий оставалась в основном неизменной. В ту пору почти все самодельное население было занято в так называемой «первичной сфере» экономики, имеющей дело непосредственно с богатствами природы. Промышленная революция XVIII—XIX веков передвинула массы

людей во «вторичную сферу» — обрабатывающую промышленность. Начался этап, который длился около двух столетий и сейчас заканчивается, уступая место третьему великому перемещению работников — в «третичную сферу». По некоторым прогнозам, уже к концу XX века в развитых странах останется в промышленности и сельском хозяйстве, вместе взятых, не более 15 процентов самодельного населения, остальные будут заняты в науке и образовании, в управлении и на транспорте, в торговле и сфере социальных услуг. «Иначе говоря, — пишет Э. А. Араб-Оглы, — в результате научно-технической революции в обществе со временем будет больше учителей, чем крестьян, больше ученых, чем строителей, больше врачей, чем шахтеров». И на эти перемены история отводит лишь десятилетия.

Другой факт. За десять лет, с 1950 по 1960 год, число научных работников в СССР удвоилось. Следующее удвоение заняло всего шесть лет, с 1960-го по 1966-й. С 1960 по 1968 год удвоилось количество специалистов с высшим и средним специальным об-

разованием в составе промышленно-производственного персонала предприятий.

Столь же глубоки и скоротечны современные сдвиги в квалификационном составе рабочего класса. Ю. А. Васильчук («Вопросы философии», № 1, 1969) сообщает, что в середине XX века почти половина рабочих США была занята в производстве и продаже товаров, которых в 1900 году даже не знали. Двадцать пять лет назад насчитывалось не более половины тех специальностей, которые существуют сейчас. Средний срок «моральной амортизации» квалификаций составляет восемь лет и продолжает сокращаться. Профессиональная подвижность рабочей силы стала законом.

Советские исследователи, однако, выступают против распространенного представления о том, что в современных условиях усиливается зависимость человека от машины, что «век автоматов» уменьшает значение человека в производстве и т. п. Э. А. Араб-Оглы пишет: «...сельскохозяйственный инвентарь, который передавался от деда к внуку, или же парусный корабль стоили в средние века в общем дороже, чем современные орудия производства и средства транспорта стоят для нас. Иначе говоря, современный человек в высокоразвитом обществе и экономически и психологически находится в меньшей зависимости от ста лошадиных сил, спрятанных под капотом его автомашины, от электрической или газовой плиты, от автоматического станка и реактивного самолета, чем его предки от пароконной упряжки, от печи, от их жалкого, с нашей точки зрения, производственно-го инвентаря».

Больше того, удешевление вещей и удорожание знаний, квалификации приводят к тому, что человек становится самым дорогим элементом производительных сил — не только в моральной оценке, но и в прямой денежной. По подсчетам американского экономиста Денисона, не менее трех пятых общего прироста продукции в США после 1929 года следует отнести за счет роста квалификации работников, лучшей организации производства и внедрения научных знаний и лишь две пятых, не более, — за счет роста занятости и увеличения основного капитала. Ю. А. Васильчук упоминает, что удельный вес накопленных прямых денежных затрат на образование по отношению к национальному богатству США возрос с

20 процентов в 1940 году до 40 процентов в 1960 году.

Появилось и все чаще употребляется понятие «вложения в человека». Доказано, что они все более эффективны по сравнению с вложениями в машины и оборудование и растут гораздо быстрее последних. Удвоение знания в сфере науки происходит за десять — двенадцать лет, в накоплении капитала такие темпы не достигаются. По расчетам И. Г. Куракова («Вопросы философии», № 10, 1968), в нашей стране в годы семилетки (1959—1965) каждый рубль затрат на повышение уровня производственных знаний обеспечивал дополнительный национальный доход в размере около 53 копеек в год, в то время как «отдача» капитальных вложений в дополнительные производственные фонды составила за тот же период около 39 копеек на рубль фондов. Все это подтверждает вывод, сделанный французским ученым А. Сови в 1960 году: «Внимательное изучение экономической эволюции за последние пятнадцать лет показывает, что главным фактором развития, прогресса является не капитал, как полагали долгое время, а знания людей, их способность создавать богатства».

Наука становится непосредственной производительной силой — такова важнейшая черта научно-технической революции. Но если меняется соотношение науки и производства, то одновременно меняется и соотношение научно-технической интеллигенции и рабочего класса.

Прежде всего это количественные изменения — обширные данные о них приведены в сборнике А. Останиным, В. Кузьменковым, И. Басмановым. Быстро и устойчиво уменьшается доля населения СССР, занятого в сельском и лесном хозяйстве: с 80 процентов в 1928 году до 30 в 1967-м. Доля занятых в промышленности и строительстве сначала увеличивается очень быстро: с 8 процентов в 1928 году до 24 в 1937-м. Но за последующие тридцать лет она возрастает лишь до 36 процентов. Здесь, таким образом, рост резко замедлился. Зато доля занятых в просвещении, здравоохранении, науке и искусстве растет с неизменной быстротой и вместо двух процентов в 1928 году достигла 14 в 1967-м.

Меняется характер труда рабочего и, следовательно, требования, предъявляемые ра-

бочему современному производству. В автоматизированном производстве главной фигурой становится наладчик. Это рабочий нового типа, для которого умственный труд является определяющим. У станочника обычно около 85 процентов рабочего времени поглощают функции физического труда. У наладчиков более половины времени уходит на умственный труд и около трети занято функциями, сочетающими умственные и физические операции. А вот данные зарубежных исследователей: в США в 1965 году среди работников наемного труда 62 процента занимали лица нефизического труда.

Какие же выводы следуют из этих фактов? Порой пишут о формировании особой социальной группы рабочих-интеллигентов как особого слоя рабочего класса, выполняющего специфические социальные функции и обладающего устойчивыми социальными свойствами. О. И. Шкаратан («Вопросы философии», № 11, 1968) приводит факты, показывающие, что такая точка зрения по меньшей мере недостаточно обоснована. Крайняя подвижность социальной структуры общества в современных условиях вообще затрудняет категорические выводы. Но если уж пытаться выделить основную тенденцию развития, то это — сближение, даже слияние некоторых ранее обособленных социальных слоев. Это относится к определенным слоям интеллигенции и рабочему классу даже в развитых капиталистических странах и уж тем более — в социалистических.

Вот как формулирует этот вывод автор заключительной статьи сборника Б. Н. Бессонов: «В этих условиях, естественно, понятие «производительный работник» расширяется. Еще К. Маркс писал, что «самый кооперативный характер процесса труда неизбежно расширяет понятие производительного труда и его носителя, производительного рабочего. Теперь для того, чтобы трудиться производительно, нет необходимости непосредственно прилагать свои руки; достаточно быть органом совокупного рабочего, выполнять одну из его подфункций» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 517). В результате преобладающая часть инженерно-технических работников и служащих непосредственно сливается с рабочим классом или приобретает с ним все большую социальную и экономическую общность».

Следующий шаг в этом анализе (применительно к буржуазному обществу) делает Ю. А. Васильчук, поставивший проблему изменений «в социальных формах проявления современного промышленного пролетариата». Он показывает, что ушли в прошлое условия первой ступени крупного машинного производства, когда служащие и производственная интеллигенция в целом представляли собой часть класса буржуазии, непосредственно участвующую в производстве. Научно-техническая революция резко увеличивает удельный вес умственного труда. Намного возрастает общая подготовка рабочих. Создалась необходимость и возможность для части пролетариата посвятить себя умственному труду. С другой стороны, меняется и положение служащих. Их труд механизмуется. Жизненный уровень их нередко даже ниже, чем у некоторых категорий рабочих. Их прежняя функция контроля качества и скорости труда рабочих перемещается на машины, регулирующие ритм работы. «Эти процессы,— пишет Ю. А. Васильчук,— сдвигают классовую границу поточно-конвейерного и ремонтно-технического пролетариата все дальше в глубь слоев интеллигенции и служащих, образуя рабочую техническую и административно-техническую интеллигенцию и превращая эти части «совокупного рабочего» во внутриклассовые группы пролетариата». Нетрудно понять, какую новую угрозу власти буржуазии несет такое расширение рабочего класса за счет многочисленных слоев интеллигенции. Поэтому не удивительно, что, как сообщает далее автор, «современная буржуазная пропаганда часто намеренно игнорирует эти процессы и цинично сводит «марксистское» понятие «пролетариат» к людям простого физического труда с низким уровнем оплаты, «некомпетентным в современных сложных производственных процессах», якобы «консервативным и не заинтересованным в развитии техники и производства», стремящимся только к росту личных доходов и к «освобождению от труда».

В социалистическом обществе научно-технический прогресс порождает и некоторые внешне сходные социальные последствия, и другие, в корне отличные. О. И. Шкаратан анализирует их в главе «Границы рабочего класса и его роль в жизни общества». Он также отмечает расширение рамок «совокупного рабочего», размывание границ между производительным и непро-

изводительным трудом. Теряют свою определенность и границы между умственным и физическим трудом. «В связи с этим,— пишет автор,— возникают новые аспекты в постановке вопроса о ведущей роли рабочего класса в жизни советского общества. Как бы ни перестраивалась в дальнейшем его структура и ни менялся относительный объем рабочего класса, его доля в численности самостоятельного населения, его руководящая роль усиливаются за счет включения в его состав определенных отрядов инженерно-технических работников».

Добавим еще одну важную формулу: «Выросшая в условиях советского строя социалистическая интеллигенция является органической составной частью нашего общества. Ее удельный вес и социальная роль в условиях ускоренного научно-технического прогресса все более возрастают. Сбывается ленинское предвидение: «Сотрудничество представителей науки и рабочих.— только такое сотрудничество будет в состоянии уничтожить весь гнет нищеты, болезней, грязи... Перед союзом представителей науки, пролетариата и техники не устоит никакая темная сила» (Полное собрание сочинений, т. 40, стр. 189)». Это — из тезисов ЦК КПСС «К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

Конечно, речь идет о процессе далеко еще не завершеном, а в некоторых частях и недостаточно развившемся. В отдельных районах страны, в отдельных отраслях производства вовсю идут процессы, характерные для научно-технической революции. В других же не выполнены до конца задачи индустриализации, не завершена простая механизация тяжелого и неквалифицированного ручного труда. Это противоречие порождает своеобразные конфликты и проблемы — научно-технические, экономические, социальные.

Автор одной из статей сборника, В. Е. Судьбин, отмечает, что индустриализация как техническая база капитализма знаменовала несомненный прогресс в общественном развитии. Одновременно в самих ее технологических принципах скрыты отрицательные стороны, которые со временем проявляются все острее: дегуманизирующий характер труда, приводящий в условиях капитализма к «отчуждению» человеческой личности, крайний утилитаризм в отношении к природе и т. п.

При социализме индустриализация с самого начала рассматривается как необходимое, но вместе с тем и исторически переходящее явление, как переходный этап. На современном этапе развития нашего общества, отмечает В. Е. Судьбин, начинают обнаруживаться и теневые стороны процесса индустриализации. В связи с этим автор предлагает четко различать основные признаки индустриализации с одной стороны и научно-технической революции — с другой. Имеется в виду известное положение, не раз повторяемое в сборнике, что именно научно-техническая революция, и только она, создает материально-техническую базу коммунизма. Автор показывает, что научно-техническая революция придает труду творческий характер, заменяет узкую специализацию интеграцией профессий, обеспечивает освобождение человека от функций придатка машины. Все это в сознании людей создает новую систему материальных и моральных ценностей. Она вступает в конфликт со старой системой ценностей, с отжившими предрассудками. В статье Э. А. Араб-Оглы также отмечено, что все большую роль в качестве стимулов к труду в нашей стране начинают играть социальный престиж профессии, удовлетворенность трудом, совпадение личных стремлений с интересами коллектива и общества, возможность самовыражения и т. д.

В статье П. Ковача, одного из авторов сборника, приводятся результаты исследований, охвативших 11 тысяч американских работников. Была установлена следующая иерархия ценностей. 1. Уверенность в получении и сохранении службы. 2. Отдельные свойства и содержание работы (увлекательность, перспективы, признание, престиж и т. п.). 3. Зарплата. 4. Факторы человеческих отношений и рабочей среды. Зарплата — лишь на третьем месте. Здесь очевиден сдвиг в общественной психологии, прямо связанный с массовым удовлетворением простейших жизненных потребностей. Если так меняются жизненные представления массы людей даже в капиталистическом обществе, тем более остро стоит задача не отстать от времени в оценке новейших сдвигов в социальной психологии нашего общества, вызванных научно-технической революцией. Интересно, в частности, замечание В. Е. Судьбина о вреде утилитаризма, хотя в нашем обществе он и не похож на стяжательский утилитаризм при капитализ-

ме. Автор пишет: «И все же решения, принимаемые под благовидным предлогом «интересов предприятия» или даже целых отраслей народного хозяйства с позиций узковедомственных, с позиций «сегодняшнего дня», в конечном итоге расходятся с интересами общества». Другой автор сборника, И. А. Пурусов, критикует «ограниченную концепцию», «которая исходит из принципа, что личность должна отдавать обществу все свои силы и время, а общество может мало заботиться о самой личности. Такой подход означал бы, что труд является конечной целью деятельности личности, а не решающим средством ее развития и совершенствования».

Нечего и пытаться охватить здесь все, что заслуживает внимания в рецензируемых работах. Хочется только хотя бы назвать еще одну тему анализа, особенно широко

разработанную в статьях И. Г. Куракова и В. Е. Судьбина: социально-экономические последствия развития образования и науки, огромная важность предвидения этих последствий, ибо в образовании, например, задача отделена от затрат многими годами и даже десятилетиями. Много интересных фактов и мыслей содержит заключительная статья сборника «Духовное манипулирование трудящимися в условиях государственно-монополистического капитализма», написанная Б. Н. Бессоновым. Эти и многие другие проблемы затрагивают интересы широкого круга читателей, работающих в самых различных отраслях производства и знаний. Можно лишь пожалеть, что сборник выпущен крайне незначительным тиражом — менее десяти тысяч экземпляров.

О. ЛАЦИС.

★

ПОД ЛИЧИНОЙ СОЦИАЛИЗМА

Ф. Бурлацкий. Маоизм — угроза социализму в Китае.

Издательство политической литературы. М. 1968. 192 стр.

В. Сидихменов. Классы и классовая борьба в кривом зеркале.

«Мысль». М. 1969. 131 стр.

С возражающей тревогой следят советские люди за развитием событий в Китае. Нельзя оставаться безучастными и бесстрастными наблюдателями, когда группа Мао Цзэ-дуна, грубо попирая социалистическую демократию, порывая с ленинскими нормами партийной и государственной жизни, навязывает китайскому народу режим военно-бюрократической диктатуры, ведет фронтальную атаку против СССР и других братских стран, подрывает единство мирового коммунистического движения, играет на руку силам империализма и войны.

С трибуны Совещания коммунистических и рабочих партий прозвучали слова Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. «...Мы не считаем возможным обходить молчанием антиленинскую, антинародную сущность политических и идейных установок нынешних руководителей Китая». Большинство участников Совещания подчеркивало в своих речах необходимость вести последовательную борьбу с псевдосоциалистической идеологией пекинского руководства.

В нашей стране выпущен в последнее

время ряд книг, содержащих разносторонний анализ современного положения в Китае. Из работ Е. Ю. Богуша, А. Е. Бовина, Л. П. Дельсина, И. М. Надеева, Т. Р. Рахимова, Ю. В. Яременко и других мы могли узнать немало нового об авантюризме экономической политики маоистов, о печальных последствиях так называемого «большого скачка», о расправах с творческой интеллигенцией и судьбах современной китайской литературы, об ущербе, который наносит раскольническая деятельность группы Мао Цзэ-дуна национально-освободительной борьбе народов, об антимарксистском подходе пекинских лидеров к национальному вопросу и многих других аспектах политической теории и практики маоизма.

Хотелось бы привлечь внимание читателя к двум книгам, которые много дают для понимания того, что представляет собой современный Китай, для уяснения глубинных причин происходящих там ныне событий. Обе они хорошо приняты нашей общественностью (см., например, статьи А. Дымкова «Современники — истории» — «Известия», 8 августа 1969 года — и В. Кузьмен-

ко «Пагубный курс Мао. Обзор книг о событиях в Китае» — «Коммунист», № 13, 1969). В первой из названных книг советский философ и публицист Ф. М. Бурлацкий на большом фактическом материале показывает, что представляет собой маоизм, каковы истоки его идеологии и политики, характеризует огромный ущерб, который причиняет деятельность группы Мао Цзэ-дуна социалистическому строительству в Китае и делу мирового социализма. Автор второй книги В. Я. Сидихменов ставит перед собой на первый взгляд более ограниченную задачу — показать, как маоисты фальсифицируют марксистско-ленинское учение о классах и классовой борьбе. Но чем дальше следишь за развитием мысли автора, тем яснее становится, что его произведение ведет читателя к пониманию самой сердцевины «особых взглядов» Мао Цзэ-дуна. Знакомясь с личными наблюдениями автора, побывавшего в Китае, с приводимыми им материалами из хунвэйбиновской печати, мы видим, какими страшными для китайского народа последствиями обернулось воплощение в жизнь «гениальных» теорий Мао.

Книга Ф. М. Бурлацкого привлекает уже тем спокойным, рассудительным тоном, которым она написана. Автор отдает себе отчет в сложности стоящих перед ним проблем, он понимает, что, может быть, не на все вопросы ему удастся ответить так, чтобы это полностью удовлетворило читателя. В этой книге нет ни априорных выводов, ни скоропалительных рецептов. Я определил бы ее жанр так: это книга-размышление. Ф. М. Бурлацкий как бы предлагает задуматься вместе с ним над собранным в его работе материалом. Он делится с читателем своими мыслями, предположениями, а порой и сомнениями. И вместе с тем в его словах заключена большая сила убеждения.

Мы мысленно возвращаемся к тем годам, когда положение в Китае у многих еще не вызывало никаких опасений, но когда уже созревали предпосылки последующих событий, получивших печальную известность под названием «великой культурной революции». «Нам подчас казалось,— пишет Ф. М. Бурлацкий,— что с 1949 года Китай стал таким, или почти таким, как другие страны социализма: установил народную власть, проводит национализацию промышленности, индустриализацию, кооперирование деревни, провозглашает своей идеоло-

гией марксизм-ленинизм. Что же еще нужно? А в каком соотношении находятся день сегодняшний и день вчерашний, какие процессы подспудно развиваются в тех же внешне привычных для нас формах, как живет и что чувствует народ, во что он верит, какие цели ставят перед собой его руководящие силы — об этом думалось меньше...» Ко всем этим вопросам нельзя не вернуться сегодня, когда мы оказались перед лицом поистине парадоксального явления. «Страна, которую принято считать социалистической, проводит антисоциалистическую, шовинистскую внутреннюю и внешнюю политику», наносящую значительный ущерб ее международному влиянию и авторитету.

Чтобы объяснить этот парадокс, Ф. М. Бурлацкий подвергает обстоятельному анализу деформации в политическом строе Китая, в его социальной структуре. Он рассказывает, что при порядках, господствовавших в КПК, «возможности сопоставления альтернативных взглядов, мнений и решений из года в год постоянно уменьшались. А всякая попытка выступить с критическими замечаниями в отношении линии, выдвинутой руководителями КПК, с разумными предложениями и инициативой рассматривалась как политическое преступление и каралась со всей жестокостью». В результате две трети ЦК, избранного VIII съездом КПК в 1956 году, «были ошельмованы и отстранены от практической деятельности. Одиннадцать из пятнадцати членов и кандидатов в члены секретариата ЦК КПК, в том числе генеральный секретарь Дэн Сяо-пин, объявлены «черными бандитами», более половины членов и кандидатов в члены Политбюро также именуется «врагами идей председателя Мао» и подвергаются травле. В опале оказались и несколько китайских маршалов». Нельзя не согласиться с Ф. М. Бурлацким, который видит в этой расправе с инакомыслящими, а может быть, и просто с мыслящими политическими деятелями не что иное, как «контрреволюционный переворот в партии и государстве».

Анализируя причины и характер этого переворота, автор говорит: «Оставим в стороне вопрос о том, что произошло с Мао Цзэ-дуном, который в свое время внес определенный личный вклад в успех дела революции. Эволюция психологии человека, наделенного огромной властью,— тема, инте-

рисующая скорее писателя или психолога. Политика куда больше занимает другое: почему происходит так, что партия, народ, страна вынуждены расплачиваться за явно губительную линию руководителя, потерявшего способность самокритично оценивать свои действия, почему они не в состоянии сказать «нет» этой линии?» Как мы видим на многочисленных приводимых в книге фактах, это происходит потому, что в стране по существу ликвидированы демократические институты, грубо попорана законность, утверждён диктаторский режим непогрешимого «председателя Мао» и группки его безгласных приспешников. И хотя в Китае есть люди, понимающие пагубность нынешнего курса, они не могут не только реально содействовать его изменению, но «даже открыто высказаться против него. Нет ни традиций, ни норм и институтов, позволяющих сделать это».

Как известно, В. И. Ленин считал важным условием правильного функционирования органов социалистической власти гласность их работы. В Китае же важнейшие вопросы государственной и партийной политики решаются на закрытых совещаниях, о которых народ фактически не ставится в известность. Ленинский принцип подотчетности руководителя массам там игнорируется. А о том, чтобы подвергнуть деятельность самого Мао и тех, кто его окружает, критике в печати или хотя бы на собраниях, нечего и думать. Эксцессы «культурной революции», вызвавшие отвращение во всем мире, — лишь неизбежное следствие деформаций в политическом строе и нормах партийной жизни. Ф. М. Бурлацкий справедливо видит в них «расплату» за те порядки, которые годами складывались в партии и в стране.

Показательно, что в середине пятидесятых годов, когда в КПК еще шла борьба по вопросам внутривластной демократии и социалистического демократизма в целом, лакмусовой бумажкой, помогающей увидеть подлинное политическое лицо того или иного руководителя, явилось его отношение к XX съезду КПСС. В то время как многие видные деятели китайской компартии оценивали его как важнейшее историческое событие, Мао Цзэ-дун дал, говоря словами Ф. М. Бурлацкого, «очень сдержанную и, по сути дела, двусмысленную оценку значения решений XX съезда КПСС, не сказав ни

слова о борьбе с культом личности и другими аналогичными явлениями».

Но, может быть, явления деформации в Китае коснулись только надстройки, а базис, сложившийся в этой стране, можно считать в полной мере социалистическим? Ф. М. Бурлацкий убеждает нас в необходимости отрицательно ответить на этот вопрос. Основоползничники научного коммунизма неоднократно указывали, что простая передача средств производства в руки государства еще не означает победы социализма. Факты новейшей истории, и в частности развитие государственной собственности в независимых странах Азии и Африки, вновь подтвердили, что этатизация средств производства не равнозначна их социализации. По существу она представляет собой лишь переход средств производства под контроль или в коллективное владение представителей того класса, которому в данной стране реально принадлежит власть. Социалистическое преобразование собственности — это многосторонний акт, и чтобы он совершился, необходима последовательная демократизация всех сторон общественной жизни, приобщение масс к управлению хозяйством, распределение по труду и т. д. А что произошло в Китае? «Даже в лучшую пору, когда существовали и функционировали профсоюзы, трудно было обнаружить какие бы то ни было действенные формы участия рабочих в управлении или хотя бы в контроле на предприятиях. Руководство экономикой строилось на чисто бюрократической основе... Иными словами, в современном Китае государственная собственность в промышленности и кооперативная собственность в деревне пока ещe не носят подлинно социалистического характера».

Разумеется, маоистская пропаганда всячески пытается утаить этот очевидный факт. Спекулируя на популярности идеалов революции и социализма среди народных масс, она денно и нощно твердит о великих революционных задачах и защите социализма, которым угрожают сторонники «капиталистического пути». На деле никто из тех, кому приклеивали подобные ярлыки, и не помышлял о передаче промышленных предприятий в руки частных владельцев или о возвращении к единоличному хозяйству в деревне.

Полезно разобраться в маоистском понимании классов и классово́й борьбы, ана-

лизу и всесторонней критике которого посвящена книга В. Я. Сидихменова. Как известно, слова «классовая борьба» не сходят с языка пекинской пропаганды. С тех пор, как «великий кормчий» выдвинул лозунг «Никогда не забывайте о классовой борьбе», китайских рабочих, крестьян, служащих, учащихся и даже детей убеждают, что они всюду и непрестанно должны вести классовую борьбу. Но с кем? Оказывается, что классовый враг определяется по произволу «председателя Мао», по тому, в чем ему заблагорассудится усмотреть враждебность социалистическому строительству. «Подобное определение «врагов» позволяет зачислить в стан контрреволюционеров любого человека, если он осмелится выразить какое-либо несогласие со взглядами Мао Цзэ-дуна на проблемы социалистического строительства... Вчера человек соглашался с идеями Мао Цзэ-дуна», значит, он был революционером, сегодня он усомнился в правильности этих «идей», значит, он автоматически зачисляется в стан классовых врагов».

Мы знаем, как много «классовых врагов» выискали они в рядах КПК и среди ее руководства. «Мао Цзэ-дун и его группа,— пишет В. Я. Сидихменов,— игнорируют марксистское положение о том, что внутрипартийная борьба — это борьба мнений между членами одной партии... Если отождествлять борьбу мнений в партии с классовой борьбой, то это неизбежно приведет к свертыванию внутрипартийной демократии, к насаждению идеологии культа личности, потому что всякое критическое замечание в адрес вышестоящего руководителя будет рассматриваться как выпад классового врага; это породит произвол и субъективизм в руководстве партийными организациями».

Так примерно и происходило в действительности. Характерна судьба двух видных представителей китайской интеллигенции — директора Института экономики Академии наук КНР Сунь Е-фана и секретаря Пекинского горкома КПК, бывшего главного редактора «Жэньминь жибао», известного публициста Дэн То.

«Вина» обоих названных деятелей заключалась в том, что они поддерживали реалистическую линию в экономической политике, призывали учитывать закон стоимости, ставить своей задачей повышение эффективности производства и рентабельности предприятий. За это их сняли со всех

занимаемых ими постов, подвергли гонениям, объявили «рупором реакционных классов и правых оппортунистов в их нападках на партию». Рассказав о расправе группы Мао Цзэ-дуна с этими людьми, Ф. М. Бурлацкий ставит резонный вопрос: «В самом деле, о чем шла речь в выступлениях Дэн То, Сунь Е-фана и других научных и партийных работников? Речь шла лишь о критических замечаниях по поводу некоторых аспектов внутренней и внешней политики КПК, о попытках внести коррективы в эту политику. При нормальном течении дел эти вопросы должны были быть обсуждены в обычном партийном порядке: какие-то предложения могли быть приняты, какие-то отвергнуты. Но людей обвиняли вовсе не в том, что они предлагали альтернативу при решении тех или иных конкретных проблем. Их обвиняли во всех смертных грехах, объявили преступниками и «черными бандитами», покушавшимися на народную власть. Все эти обвинения сопровождалось демагогическими лозунгами защиты социализма, диктатуры пролетариата, марксизма, которым якобы угрожают сторонники «реставрации капитализма», находящиеся в партии».

Что касается действительной угрозы реставрации капитализма в Китае, то она исходит разве что от самих маоистов, компрометирующих социализм в глазах китайских трудящихся. И не только китайских. Нельзя не согласиться со словами В. Я. Сидихменова. «Уравнительный и казарменный коммунизм, который Мао Цзэ-дун и его группа выдают за истинный коммунизм и который они пытаются построить у себя в стране, не может завоевать симпатии трудящихся, живущих в условиях капитализма. Он может лишь опорочить великие идеалы коммунизма в сознании миллионов людей несоциалистических стран».

Обращаясь к нынешнему этапу политической истории Китая, современные буржуазные синологи нередко стремятся найти объяснение «великой культурной революции» и других событий недавнего прошлого лишь в национальных особенностях данной страны, они ищут аналогии этим событиям в явлениях, имевших место в ней столетия, а то и тысячелетия тому назад. Создаются новые вариации старого клипкинговского мотива, что Восток остается Востоком и развитие его идет по своим, исконным путям и законам. Подвергая подобные концепции

убедительной критике, Ф. М. Бурлацкий успешно избегает обеих крайностей: как игнорирования исторических традиций и их воздействия на современность, так и их переоценки, ведущей по существу к отказу от всестороннего анализа социального и политического феномена, который представляет собой маоистский Китай. «Да, несомненно,— говорит он,— в Китае очень много специфического, связанного исключительно с условиями исторического развития страны, ее традициями. Но в то же время там наблюдаются и некоторые явления, которые, пусть в иной форме, так или иначе спутствовались и сопутствуют революционному движению во всем мире, особенно в отсталых странах. С момента зарождения социализма и коммунизма за ними следовало, как тень, то, что сейчас так уродливо расцвело в Китае». В этой связи автор напоминает о решительной борьбе, которую вели в прошлом веке Маркс и Энгельс с анархистами типа Бакунина, указывает на сходство некоторых маоистских установок с идеями, которые в свое время отстаивал Троцкий.

Сегодня Китай, несомненно, переживает один из самых трагических этапов своей истории. Итоги бесконтрольного хозяйничанья в нем маоистов поистине плачевны. Искусственное раздувание психоза «классовой борьбы» привело к резкому обострению социальных противоречий: разные группы населения натравливаются друг на друга, растет национальная рознь и взаимное отчуждение населяющих страну народов, увеличиваются экономические трудности,

падает материальное благосостояние трудящихся.

Жадно цепляясь за власть, группа Мао Цзэ-дуна не только запугивает людей зверскими расправами с каждым, кто стремится сохранить право на собственное мнение, но и обрушивает на них потоки беспримерной лжи и клеветы. Как пишет В. Я. Сидихменов, Мао Цзэ-дун пытается не просто навязать свою политику китайскому народу, а изобразить ее «как политику, отражающую его кровные интересы. Всякая попытка критиковать ошибочные взгляды Мао Цзэ-дуна рассматривается китайской пропагандой как враждебное выступление против китайского народа, а борьба против ошибочных взглядов Мао Цзэ-дуна — как борьба против Китая. К сожалению, пока что в Китае немало еще одураченных лживой маоцзэдуновской пропагандой людей... Нужно время для того, чтобы люди освободились от дурмана этой пропаганды. Прозрение будет мучительным и нелегким, но оно придет».

Рано или поздно здоровые силы в Китае непременно возьмут верх и группе авантюристов, временно захвативших руководящие посты в партии и государстве, придется держать ответ за совершенные ими преступления. Чтобы приблизить это время, марксисты-ленинцы в разных странах, в том числе и в СССР, ведут последовательную борьбу против маоизма, разоблачают его идеологию и политику. Вносят свой вклад в это дело и авторы рецензируемых здесь книг.

М. ВОЛКОВ.

★

ТРАДИЦИЯ И НОВИЗНА

Ю. Л. Бессмертный. Феодальная деревня и рынок в Западной Европе XII—XIII веков. По северофранцузским и западнонемецким материалам. «Наука». М. 1969. 371 стр.

Ценность научной книги, и исторической монографии в том числе, состоит в ее истинности. Но если при этом под истинным подразумевать общепринятое (а применительно к исторической науке такой взгляд распространен довольно широко), то мы рискуем прийти к выводу, что сочинение историка тем лучше, чем оно банальнее, и что исследователю нужно стремиться к тому, чтобы в новой работе представить на новом фактическом материале

еще одно подтверждение общеизвестной истины, как, например: феодалы эксплуатировали крестьян, взимая с них феодальную ренту в силу права феодальной собственности и благодаря внеэкономическому принуждению, крестьяне же отвечали на это классовой борьбой. В свое время установление этой истины было выдающимся достижением историографии — сейчас это проходят в шестом классе средней школы. Истинность факта тем самым отнюдь не поколеблена, но его

научная ценность оказывается девальвированной.

В средние века понятие «новый» было синонимом слова «еретический». Обвинение богослова в новизне попахивало доносом. Мы же, напротив, видим в новизне достоинство научной мысли ничуть не меньшее, нежели истинность (кстати сказать, мы ведь реабилитировали и понятие «ересь» и не без основания видим в средневековых ересиархах — таких, как Иоахим дель Фьоре, Виклеф или Ян Гус — передовых мыслителей своей эпохи).

Кроме истинности и новизны, важным критерием ценности исследования (включая историческое) является, по-видимому, перспективность. Иными словами, не всякая новизна обладает одинаковой ценностью: установление нового, но элементарного факта может исчерпать задачу и, при всем изяществе доказательства, не оказать заметного влияния на последующие судьбы науки. Напротив, применение нового метода — даже если первое его приложение даст результаты неточные, шероховатые — часто оказывается особенно существенным достижением, ибо оно открывает возможность дальнейшего (и иной раз абсолютно неожиданного) совершенствования наших знаний.

Чтобы понять значение книги Ю. Л. Бессмертного, посвященной аграрным отношениям в междуречье Рейна и Сены в XII—XIII веках, мы должны представить себе состояние медиевистики — науки о средних веках.

Советская медиевистика достигла расцвета в середине тридцатых годов. Тогда работала целая плеяда выдающихся ученых, у которых учились и автор рецензируемой книги, и автор этих строк; многих из этих ученых уже нет с нами: Е. А. Косминского, Н. П. Грацианского, А. И. Неусыхина. Медиевистика тридцатых годов в силу особых причин (внимание молодой марксистской науки преимущественно к истории трудящихся масс, традиции русской общественной мысли с ее интересом к общине и пережиткам средневековья в деревне) сложилась прежде всего как наука об аграрных отношениях, и это, бесспорно, составляло ее силу: средневековье, как известно, «исходило» из деревни, подавляющее большинство населения жило тогда в деревнях, крестьянство было основным производственным классом средневекового общества. «Секреты» средневековья казались естественным отыскивать в деревне.

При этом не просто в деревне, не вообще

в деревне, но в определенном узле деревенской жизни: в противостоянии крестьянина и феодала, в отношениях господства, ренты, собственности. Крайне много было сделано в этой области! Благодаря работам Е. А. Косминского, к примеру, мы знаем, какие типы ренты преобладали в отдельных графствах Англии XIII века, а подчас даже в отдельных сотнях, на которые разделялись графства. С большими или меньшими деталями стали вырисовываться формы феодальной эксплуатации в Бургундии, Германии, Италии, Чехии, Византии...

Но на каком-то этапе развития нашей науки оказалось, что одни только рентные отношения (и тесно с ними переплетенные отношения собственности и внеэкономического принуждения) еще не исчерпывают всего многообразия средневековой жизни. Своеобразие политической структуры, идеологию, не говоря уже об отношениях между государствами, — все это не удавалось вывести из формы ренты, не впадая в вульгаризацию. Чем лучше мы узнавали феодальную ренту, тем больше бросались в глаза два обстоятельства: во-первых, основные типы ренты (барщина, натуральный оброк, денежные платежи) в тех или иных сочетаниях существовали почти во всех странах и почти на всем протяжении средневековья и, таким образом, не могли объяснить особенности национального характера или специфику национальной культуры; во-вторых, коренное различие рентных отношений в двух районах одного государства (так, в английском графстве Кент преобладали денежные платежи, а неподалеку от него, в графстве Гентингдоншир, — барщина) не приводило к созданию особого локального, «кентского» или «гентингдонширского», политического, морального, эстетического склада. Англичане были англичанами, несмотря на многообразие форм ренты.

Истина не просто потеряла свою новизну. Тривиальность истины, на подтверждение которой вновь и вновь уходили диссертационные силы, угрожала сделаться препятствием для прогрессивного развития медиевистики. Стала вырисовываться новая задача — комплексного, целостного изучения средневекового общества.

Работа Ю. Л. Бессмертного — одна из первых серьезных попыток перестроить аграрную историю средневековья.

В монографии отчетливо выделяются две линии исследования. Ю. Л. Бессмертный ус-

пешно продолжает традиционную тематику советской медиевистики тридцатых годов. В главе четвертой он рассматривает взаимоотношения крестьян и феодалов и прежде всего эволюцию форм феодальной ренты. (Впрочем, так ли уж велика была эта эволюция? По данным монографии, на рубеже XII—XIII веков продуктовая рента охватывала около двух третей всей суммы крестьянских поступлений. Через сто лет ее доля несколько сократилась, но все равно рента продуктами оставалась преобладающей.) В главе первой предмет изучения — влияние рынка, товарно-денежных отношений на деревню, в главе третьей центральное место занимают общинные связи. Все это сделано с большим остроумием и тщательностью. Историк-медиевисту приходится преодолевать большие трудности, чтобы получить статистические данные, позволяющие судить не об отдельных случаях, а о массовых явлениях; обычно эти данные удается получить лишь косвенным путем. Так, Ю. Л. Бессмертный тонко обрабатывает сведения различных источников (описей, грамот, поземельных контрактов) об извозных повинностях в рейнских поместьях и использует эти данные для характеристики товарности хозяйства феодалов. Ю. Л. Бессмертный не упускает из виду сложность, «зигзагообразность», как он сам говорит, исторического развития. В частности, он отмечает, что до середины XIII века роль экономического принуждения в феодальной эксплуатации крестьянства все более возрастала, а во второй половине XIII и в XIV веке вновь расширяется использование средств внеэкономического принуждения.

Огромный, изящно обработанный материал приводит автора к заключению, что общественное развитие в междуречье Рейна и Сены в XII—XIII веках представляло собой «попытку своеобразного приспособления феодальной системы к условиям роста товарно-денежных отношений». Мысль эта не вызывает каких-либо сомнений, — я боюсь только, что она несоизмерима ни с количеством затраченного труда, ни с совершенством исследовательской техники. В самом деле, когда Ю. Л. Бессмертный констатирует на последней странице книги, что рост товарно-денежных отношений выступал как важнейшая предпосылка социальной перестройки феодальной деревни XII—XIII веков, то разве не повторяет он слова, которые можно найти в элементарном вузовском учебнике, например: «Рост производительных сил в сфере

сельскохозяйственного производства, общий подъем экономики Европы и развитие товарно-денежных отношений с XI века имели своим следствием важные изменения в структуре феодального землевладения?»

До какой-то степени монография Ю. Л. Бессмертного — отличная иллюстрация традиционных суждений. Но только до какой-то степени. Он перешагивает через рамки традиционной тематики и вступает в сферу, которой до последнего времени не касалась советская медиевистика. Это относится прежде всего ко второй главе книги, где идет речь о структуре господствующего класса, о феодалах.

Значение этой главы — не только в том исследовательском мастерстве, которое здесь, как и в других частях монографии, проявил Ю. Л. Бессмертный. (Отмечу только один чрезвычайно интересный факт, им обнаруженный: из таблиц 8 и 9 на странице 98 мы можем узнать, что в XIV веке в Брабанте не менее 41 процента феодалов было мелкими и мельчайшими земельными собственниками, чьи фьефы не превышали размеров крестьянского надела, а в Льеже — не менее 72 процентов; цифры эти, можно полагать, даже несколько преуменьшены, так как размеры фьефов некоторой части учтенных брабантских и льежских феодалов неизвестны. Нищета феодальной вольницы была весьма ощутимой задолго до Крестьянской войны в Германии или Дон Кихота Ламанского, а еще раньше, в XI столетии, не она ли гнала рыцарей, владевших крестьянским по размеру наделом, в опасные крестовые походы?) Значительно существеннее, на мой взгляд, то, что Ю. Л. Бессмертный ставит в этой главе и такие для нас совсем новые проблемы, как степень «открытости» класса феодалов, то есть возможности проникновения в его состав лиц иного социального статуса, или межфеодальные связи, к числу которых принадлежал не только вассалитет, но также родственные и компаньонские отношения (компаньонаж — временное добровольное объединение группы лиц).

Структура господствующего класса — один из наиболее существенных показателей специфики данного средневекового общества. Попробую пояснить, что я имею в виду. Рентные отношения — краеугольный камень феодализма. Феодальная рента отличает средневековый мир как от античного общества, так и от капиталистического. Но если мы хотим понять отличие средневековой

Италии от Византии или Англии от Франции, то здесь, по-видимому, рентный критерий оказывается недостаточным. Сейчас, может быть, еще рано делать окончательные заключения, но работа Ю. Л. Бессмертного как раз и наталкивает на мысль, что внутренняя структура ведущих общественных классов (крестьян и феодалов) способна играть роль одного из важнейших критериев, определяющих указанные отличия. При этом обнаруживается, что характер внутренней структуры основных классов общества и взаимоотношения между ними тесно связаны. комплексное их изучение глубже раскрывает специфику социальных отношений в том или ином обществе. Наконец, пристальное внимание к внутренней структуре крестьянства и класса феодалов позволяет создать более полное и всестороннее представление о понятии «класс» применительно к условиям средневекового общества. В этом, пожалуй, более всего обнаруживается перспективность монографии Ю. Л. Бессмертного.

Рецензент не должен бы навязывать автору иную тематику. Это особенно бессмысленно после того, как книга уже вышла в свет. Но мне трудно не пожалеть, что книга обречена традиционными проблемами, тогда

как ряд сторон социальной характеристики класса феодалов вовсе не затронут (его место в государственной организации, его идеология и социальная психология) или затронут лишь вскользь (семейные отношения). Это можно объяснить тем, что Ю. Л. Бессмертный, по-видимому, начинал в традиционном ключе и уже в ходе работы пришел к новому повороту исследования.

В последние годы у нас все чаще проявляется тенденция к формализации исторической науки, к подтягиванию ее до уровня математики и с математикой связанных дисциплин. Ю. Л. Бессмертный тоже принес небольшую жертву на алтарь математического молоха. Вводя понятие «доверительной вероятности» и ссылаясь на формулы, он обосновывает право пользоваться для получения приблизительных статистических результатов выборочными подсчетами вместо сплошных. Думаю, однако, что такое простое и общеизвестное положение вряд ли должно было быть в данной связи так сложно аргументировано. Книге Ю. Л. Бессмертного присуща настоящая новизна — право, она не нуждается в красотах псевдоновизны.

А. КАЖДАН.

★

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ

И. М. Забелин. Лунные горы. Африканские повести. «Мысль». М. 1969. 342 стр.

С И. М. Забелиным я встречался не раз на съездах Географического общества СССР и совещаниях по ландшафтоведению. Его острые, порой задиристо полемические выступления всегда привлекали внимание. Монографии И. М. Забелина по вопросам теории физической географии хорошо знают специалисты и студенты географических факультетов. Позже состоялось знакомство с И. М. Забелиным-писателем. Запомнились его книги: «Листья лофиры» («Географиз», М. 1963), «И не будет конца...» («Советский писатель», М. 1964), «Через пороги» («Советский писатель», М. 1968). И вот передо мной новая книга И. М. Забелина — хорошо изданный, с оригинальными фотографиями автора томик «Лунных гор».

Каждый хороший писатель — это немного и географ. Ландшафт или пейзаж — неотъемлемая часть художественного про-

изведения; он занимает в нем порою очень большое, порою скромное место — в зависимости от склонностей автора и жанра произведения, но присутствует едва ли не во всех случаях. Многие места из произведений И. С. Тургенева, Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, С. Т. Аксакова, М. М. Пришвина прясются на страницы географических хрестоматий. Вместе с тем и каждый географ-ландшафтовед должен быть в определенной мере художником-писателем. Не случайно многие известные географы обладали большими литературными способностями. Среди них в первую очередь следует назвать А. Н. Краснова, П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. М. Пржевальского.

И географ-ландшафтовед и писатель заняты поисками наиболее выразительных «образов места» (это удачное, на мой взгляд, выражение принадлежит Н. Н. Ми-

хайлову), первый — глазом ученого, второй — художника. В тех случаях, когда ученый и художник сливаются воедино, когда научно достоверные факты о природе, населении и его хозяйстве воплощаются в высокохудожественных образах, мы вправе говорить о художественном ландшафтоведении.

Научное ландшафтоведение в его современном виде сформировалось в послевоенные годы. Между тем развитие художественного ландшафтоведения имеет более чем вековую историю. «Поездка в Полесье» И. С. Тургенева — разве это не пример, причем далеко не самый ранний, художественного ландшафтоведения? Читатель находит в этом произведении научно правдивую характеристику своеобразной природы Полесья — болот, сосновых лесов, рек со стоячей водой. «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» С. Т. Аксакова с его описанием степей, лесов и рек Заволжья в равной мере радуют любителей художественного слова и привлекают специалистов — геоботаников и зоологов. «Записки Степняка» А. И. Эртеля — своеобразная художественная география воронежского Прибитюжья. М. М. Пришвин и К. Г. Паустовский — несхожие писатели, но в одинаковой мере классики художественного ландшафтоведения.

Из географов непревзойденным мастером художественного ландшафтоведения был А. Н. Краснов. Есть у него одно произведение — «Под тропиками». Это путевые заметки его путешествия на Яву. Читаются они как самая увлекательная повесть, хотя никаких особых приключений в них нет. Зато есть исключительная образность в описании природы тропиков. Рассказ А. Н. Краснова о тропическом климате Явы многие десятки лет не сходил со страниц географических хрестоматий. Редкий сплав ученого-географа и художника-писателя представлял собой В. К. Арсеньев. Его книгами «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала» зачитывается не одно поколение советских людей. К художественному ландшафтоведению приближаются книги Н. Н. Михайлова, Э. М. Мурзаева, Г. А. Ушакова. Широкий читатель ставит их на полки с художественной литературой, а специалист нередко ссылается на них как на первоисточник. Книги И. М. Забелина стоят в том же ряду.

В Африку И. М. Забелин совершил

шесть путешествий. Шесть поездок, но каждый раз в новые места и страны африканского материка. Каждый раз он чувствовал в себе первооткрывателя, и это не могло не сказаться на характере изложения, отличающемся непосредственностью и свежестью.

В книге «Лунные горы» описаны три поездки в Африку (о других поездках рассказано в предыдущих книгах автора). Эти три поездки, совершенные в разное время, связаны единой нитью, рассказ ведется о ландшафтах и людях восточной половины Африки — от Египта на севере до Малави и Замбии на юге.

Первая глава — знакомство с Египтом — разочаровывает: отрывочные сведения о стране, о ее городах, о Ниле, сильно затянутое и малоинтересное описание истории Каира. Автор забывает сообщить, в каком году совершил он свою поездку.

Но не спешите закрывать книгу. Восемь глав ее из двенадцати составляют увлекательную повесть о Кении и Уганде 1964 года.

Путешествие туда было совершено И. М. Забелиным в составе небольшой группы советских географов, журналистов и художников. Летели в Найроби, столицу Кении, необычным путем: из Хартума, в Судане, «свернули» в Аден, в Азию, так как дальше по прямой на юг бастовали летчики авиалинии.

Найроби, лежащий всего в полутора градусах к югу от экватора, встретил путешественников ночным дождем и... холодом. Холод, понятно, относительный, приэкваториальный, но не подготовленный к нему автор вынужден был признать: «Давненько я так не мерз, как в этот свой, пятый по счету, прилет в Африку!»

Прямо к Найроби примыкает Национальный парк Кикиуйю — лавовое плато, покрытое саванной, с богатейшим животным миром: здесь и львы, и зебры, и жирафы, и страусы, и разнообразнейшие антилопы, и кабаны-бородавочники, и обезьяны-бабуины. Звери не испытывают особого страха перед человеком. Особенно обезьяны, которые нередко затрудняют движение машин на дорогах.

Из Найроби — бросок на юго-восток, к побережью Индийского океана. В живой рассказ о природе побережья естественно вплетается история древнего торгового центра Восточной Африки — города Момбасы.

От побережья — снова в центр Кении, на этот раз в знаменитую Рифт-Валли — Рифтовую долину. Это огромная, четко выраженная долина-грабен, возникшая в результате глубоких тектонических разломов, столь характерных для Восточной Африки. Богатый полевой опыт географа позволяет автору сравнивать, находить сходства и различия между Рифт-Валли и аналогичными впадинами в нашей стране на юге Восточной Сибири.

Нельзя забыть страницы, посвященные ночевке в отеле «Тритопс». Это совершенно необычный отель. Он размещается на деревьях, на территории Абердэрского национального парка. Отель — самый дорогой в Кении и без особого комфорта, но туда трудно устроиться из-за большого наплыва желающих. Из окон отеля хорошо видно полузаросшее озеро, к которому приходят на водопой или полакомиться солью на его берегах слоны, носороги, буйволы, водяные козлы.

Из Кении маршрут путешествия лежал на запад, в Уганду. На берегу озера Виктория, где из него вытекает многоводная река Виктория-Нил, между автором книги и Л. А. Михайловой, тоже географом, специалистом по Африке, разгорелась любопытная дискуссия об истоках Нила. И. М. Забелин высказывает обоснованные сомнения в справедливости признания за истоки Нила не Викторию-Нил, а реку Кагеру, впадающую в озеро Виктория.

Много хороших страниц в книге посвящено Национальному парку Мёрчисон-фолс. В сухопутной части его изобилие слонов: «Слонов было много. Очень много. Чем дальше углублялись мы в парк, тем теснее становилось от слонов в саванне». Они в последнее время так размножились, что администрация парка из-за отсутствия кормов вынуждена была принять решение об отстреле слонов. А Нил на территории парка поражает своей мощью, величественными водопадами, встречающимися на каждом шагу крокодилами и бегемотами.

На самом востоке Уганды, у подножий горного массива Рувензори, почти всегда скрытого за облаками, с шапкой вечных снегов, произошел интересный разговор автора книги с Дэвидом Сабулима, их проводником, представителем народа баганда. По утверждению проводника, местному населению Рувензори известны под названием Лунных гор. Но ведь Лунные горы в исто-

ках Нила рисовали еще античные географы две-три тысячи лет назад! Едва ли нам когда-либо станет известно имя первооткрывателя Лунных гор, но этот разговор — еще одно доказательство того, что народы Средиземноморья с глубокой древности хорошо знали внутренние районы Африки.

Три последние главы книги представляют путевые заметки о новом путешествии автора, на этот раз в Малави и Замбию. Не знаю, условия ли поездки сюда были иными или мешало что-либо другое, но от чтения этих страниц не получаешь такого удовлетворения. Записки отрывочны. Даже «чудо» Африки — водопад Виктория на реке Замбези, один из крупнейших в мире, известный у местного населения под названием «Дым, который гремит» (из-за гигантского столба водяной пыли) — описано как бы мимоходом. И неудивительно: осмотру водопада предшествовала многочасовая автогожка по грунтовой дороге протяженностью в полтысячи километров.

Автор книги — физико-географ, но «безлюдной» природы в наши дни нет, поэтому в «Лунных горах» описания саванны, рек, тропического леса закономерно прерываются зарисовками городских ландшафтов Каира, Найроби, Момбасы, Джинджи, ферм и деревень, чайных плантаций, гидроэлектростанций, сахарного завода в Лугази (Уганда), нефтяного завода в Момбасе. Словом, в книге дана Африка сегодняшнего дня, с ее заботами и нуждами хозяйственного и культурного строительства, сложными проблемами государств, только что получивших национальную независимость.

Многие страницы «Лунных гор» можно считать образцом художественного ландшафтоведения. Ограничусь одной маленькой выдержкой — о небольшом горном массиве Чоло в Малави, занятом под чайные плантации: «Чоло, как и Зомба, издали похожа на сахарную голову, которая особенно хороша на фоне полусухих зонтичных акаций, проросших на кирпичном ковре малавийской земли. Еще лучше Чоло вблизи, когда крутишься по его красным дорогам, влетенным в солнечно-зеленый лес, в мягко сверкающие плантации, в густые, чуть посеребрянные тени деревьев — по дорогам, проскальзывающим мимо прудов с черной водой и неизвестными цветами».

Высокая квалификация автора как ученого-географа обеспечивает его путевым запискам достоверность и точность. Но все-

таки некоторые утверждения хотелось бы оспорить. Пораженный отсутствием цветов и красок в лесу из древовидного можжевельника, И. М. Забелин ошибочно распространяет это явление на все тропики. По его словам, тропики «столь же беспощадны, жестоки, скудны на цвет и запах, как арктические пустыни. А если точнее, то на цвет тундра богаче, тундра полна ярких красок и тонких высокохудожественных переходов — там все продуманней, хотя тундра значительно моложе тропического леса».

Но тропики — это не только тропический лес, а и саванны, и редколесья, и степи, и пустыни. Даже попытку сравнения их с арктическими пустынями трудно принять, настолько это разные типы ландшафтов.

Среди интересных и неожиданных сравнений, которыми так богата книга, встречаются порой и надуманные. И почти нет сравнительных данных об абсолютной высоте

увиденных мест. А ведь именно значительная абсолютная высота — одна из первопричин своеобразия ландшафтов Кении и Уганды. Не случайно физико-географы эту часть Африки именуют *Высокой Африкой*, противопоставляя ее *Низкой Африке*, занимающей запад и северо-запад материка.

Можно было бы высказать и некоторые другие критические замечания в адрес «Лунных гор». Однако они не изменят общей хорошей оценки книги. И если у вас есть желание побывать в Кении и Уганде, а время, здоровье или какие-либо другие причины не позволяют вам осуществить такое путешествие, берите книгу И. М. Забелина — и вы увидите Восточную Африку глазами географа и художника.

Ф. МИЛЬКОВ,
*профессор, доктор
географических наук.*

Воронеж



КОРОТКО О КНИГАХ

★

В. В. ЯНОВСКИЙ. *Человек и Север.* Магаданское книжное издательство. 1969. 160 стр.

Книга «Человек и Север» написана крупным специалистом в области проблем народонаселения Севера на основе исследований, проводившихся под руководством и при непосредственном участии автора на Северо-Востоке, а также на основе итогов изучения его коллегами процессов формирования и использования трудовых ресурсов в других районах Севера. Живой, выразительный язык, содержательность материала делают книгу доступной и интересной для широкого круга читателей.

Проблемы народонаселения Севера принадлежат к числу наиболее актуальных и в то же время наименее разработанных в науке о народонаселении. Между тем с хозяйственным освоением Севера, ресурсы которого уникальны по величине и качеству запасов, в значительной мере связаны темпы развития всего народного хозяйства.

Имеются разные точки зрения на методы и организационные формы развития производительных сил в северных районах. Одна из них сводится к формуле «взять ресурсы». В. В. Яновский противопоставляет ей другой принцип — развитие территориально-производительных комплексов.

Методы освоения Севера имеют непосредственное отношение и к проблемам его заселения. Приживаемость новоселов — центральный вопрос в проблеме формирования населения Севера. Не случайно поэтому глава о «новоселах» и «старожилах» в книге — наибольшая по величине и наиболее интересная по мыслям и фактам. В отличие от других районов численность мужчин в районах Севера превышает численность женщин; удельный вес пожилых людей втрое, а в отдельных местах и в десять — пятнадцать раз меньше, чем в среднем по Союзу; семейные уступают в численности одиночкам, выше занятость населения в общественном производстве.

Движение населения на Севере естественно, но не оправдана его чрезмерная интенсивность. Число прибывших в г. Мирный и уехавших оттуда за последние шесть лет, например, превысило его население вдвое. Примерно такое же положение и в новых городах и поселках нефтедобывающих районов Западной Сибири и горнопромышлен-

ных районов Северо-Востока. Исследования показывают, что зачастую уезжают и опытные кадры, приспособившиеся к суровым условиям Севера. Это в немалой степени связано с тем, как убедительно показывает В. В. Яновский, что благоустройство городского жилого фонда, торговое, бытовое и медицинское обслуживание на Севере ниже, чем в обжитых районах.

Новые льготы, введенные для работников Севера в начале 1968 года, способствуют увеличению притока населения и большей «приживаемости» его в этих районах. Однако полностью решить проблему закрепления кадров в хозяйстве Севера можно лишь с помощью комплекса мер. К сожалению, в книге не сформулированы главные направления, с помощью которых на современном этапе можно решить эту проблему.

Есть возможности и в улучшении использования имеющихся трудовых ресурсов Севера. Политика в области капиталовложений должна быть направлена здесь на относительное уменьшение потребности в рабочей силе. Между тем, например, уровень механизации основных строительных работ на Северо-Востоке в два — два с половиной раза ниже среднего уровня по стране.

Книга многопланова. Интересна глава о городах. Мысль о необходимости строительства городов именно для Севера убедительно связывается с необходимостью наиболее полного удовлетворения материальных и духовных потребностей человека и успешной адаптации его на Севере.

Демографическое исследование проблем Севера только начинается. Книга В. В. Яновского — полезный шаг в этом направлении.

В. Моисеенко,
кандидат экономических наук.

★

АЛЕКСАНДР ПЕРЕГУДОВ. *Роман. Рассказы. Воспоминания.* «Московский рабочий». М. 1969. 576 стр.

Вступивший в восьмое десятилетие своей жизни писатель А. В. Перегудов известен многим читателям как летописец рабочего класса Подмосковья. Всю свою сознательную жизнь этот взыскательный художник посвятил теме труда, теме рабочего класса. В рецензируемый сборник его произведений

вошли завоевавший широкую популярность роман «Суровая песня», повествующий о том, как рабочие Подмосковья устанавливали и защищали советскую власть, новеллы, написанные им в разные периоды творчества, уже хорошо известные читателям, и новые, ранее не публиковавшиеся.

Раздел книги «Силуэты близких» содержит интересные воспоминания о С. Сергее-Ценском, Л. Сейфуллиной и А. Яковлеве, одаривших Перегудова богатством своей искренней, сердечной дружбы. Мемуары об А. Яковлеве — одном из самых близких друзей Перегудова (они познакомились в 1921 году) — публикуются впервые. Писатель тепло вспоминает своего друга, пишет о его удивительном жизнелюбии, о его больших творческих замыслах, которым не суждено было осуществиться, о провалах его в последний путь.

Думается, что читателю интересно будет и перечитать уже издававшиеся ранее рассказы «Накануне», «Первая любовь», «Человечья весна», «Сердце художника», «На медведя», «Сухмень», «Победа» и другие. Перегудов — писатель нежный и суровый, зорко видящий все новое в жизни и исключительно требовательный к себе. Влюбленный в жизнь, он находил сочные, колоритные слова о людях нашей страны, о родной пленительной природе. Природа у него неотделима от человека. Она гармонирует с его чувствами и переживаниями, мыслями и раздумьями, вся в вечном движении, в бесконечном развитии и изменении.

Послесловие к однотомнику «Об Александре Перегудове» написал В. Лидин. «Он как-то мудро и целеустремленно писал всегда свои книги, с величайшей бережливостью относился к человеку с его сложным внутренним миром, в котором так много доброго, но бывает нередко и злого, противоречивого, уродующего жизнь... Мне Александр Владимирович представляется лишь на восхождении, и немало троп по взгорьям прошел он с ружьем охотника, однако не столько охотничьей поживы ради, сколько для того, чтобы быть поближе к природе, порадоваться заходам и восходам, лишний раз ощутить все запахи полей и лесов, а особенно для того, чтобы лишний раз встретиться с новым человеком...» — пишет Лидин.

Однотомник произведений Перегудова, без сомнения, будет тепло принят читателем, ибо его автор — самобытный и оригинальный художник слова, наделенный редким поэтическим ощущением и видением мира.

И. Трофимов,

кандидат филологических наук.

★

ФИЛИП С. ФОНЕР. История рабочего движения в США. Том IV. «Индустриальные рабочие мира». 1905—1917. «Прогресс». М. 1969. 604 стр.

В переводе на русский язык появился очередной, четвертый том фундаментального труда по истории рабочего движения

в США известного американского исследователя-марксиста Филипа Фонера. Этот том содержит обстоятельный рассказ об «Индустриальных рабочих мира» (ИРМ) — боевой революционной профсоюзной организации, прожившей жизнь недолгую (практически 1905—1925 годы), но весьма богатую событиями. Советский читатель знаком с историей этого, по словам В. И. Ленина, «глубоко пролетарского и массового движения»¹ в самой общей форме, так как специальные исследования этой темы имеется мало. Уже поэтому появление книги Ф. Фонера — дело нужное и полезное.

Как всегда, работа Фонера отличается основательностью, привлечением и кропотливым изучением колоссального круга источников, многие из которых впервые вводятся в оборот. Автор подробно рассказывает историю возникновения и трудного развития ИРМ, рисует яркие картины героической, самоотверженной борьбы «убовбли» (как звали в ту пору членов ИРМ) за права рабочих, детально анализирует причины успехов и неудач этой организации. Фонер убедительно показывает, что «почти полная политическая свобода» в Америке была не для ИРМ, что американская демократия оборачивалась для них зверскими избиениями, убийствами, тюрьмами и в лучшем случае — заранее подстроенным судилищем, где преднамеренное убийство рабочих лидеров облакалось во внешне благопристойные, «законные» формы.

Книга Фонера не только «освежает» то, что мы уже знали об ИРМ, но и сообщает очень много нового. Автор буквально по крупицам восстанавливает многотрудную, сложную историю жизни и борьбы ИРМ, приводит новые интересные данные о малоизвестных стачках и боях «за свободу слова», о борьбе мнений в организации и т. д. Фонер по-новому ставит вопрос об идеологическом развитии ИРМ, изображает ее членов не только в борьбе, но и в их думах и размышлениях. Он впервые подробно и живо воссоздает картину образования и деятельности Организации сельскохозяйственных рабочих № 400, показывает усилия ИРМ по налаживанию широкой помощи безработным в период экономического кризиса 1913—1915 годов. По-новому ставит автор вопрос о причинах слабости ИРМ. Фонер приходит к выводу, может быть неожиданному для некоторых читателей, знакомых с историей ИРМ по нашей исторической литературе, о том, что «обычное представление об ИРМ как о решительном и настойчивом борце против вступления Америки в первую мировую войну основано больше на словах, чем на делах, да и слова эти весьма часто неправильно истолковывались». В новом свете предстает в книге фигура, пожалуй, единственного

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 400.

широко у нас известного руководителя ИРМ У. Хейвуда.

Уже сам материал книги, необычные судьбы руководителей и рядовых членов ИРМ, драматические и романтические вместе, делают чтение ее интересным, а временами (сцены суда над Хейвудом в 1907 году, события в Эверетте и др.) захватывающим. Этому способствует живое, образное изложение, многочисленные красочные выдержки из документов того времени и хороший, квалифицированный перевод.

Б. Козенко.

Саратов.

★

А. ШАРОВ. Мальчик Одуванчик и три ключика. «Детская литература». М. 1969. 127 стр.

У А. Шарова почти одновременно вышли в свет новая книга сказок «Мальчик Одуванчик и три ключика» и большая сказка «Человек-Горошина и Простак», которую журнал «Пионер» печатал в трех номерах прошедшего года (№№ 10, 11, 12).

Сказочный мир писателя, как всегда, необычайно богат, он полон чудес и таинственных превращений. А. Шаров полностью владеет этим миром лунных человечков, чудесных гномов, Добрых Черепах и Мудрых Уток.

Человек-Горошина, который был когда-то великаном, сказал однажды своему маленькому ученику: «Когда твоя матушка все смотрела и смотрела на ключик, пока не закрылась навсегда ее глаза, и загадывала одно-единственное желание: пусть в самую трудную минуту этот ключик спасет ее сына,— тогда ключик стал волшебным...»

В этих словах нравственная основа сказочности А. Шарова, а также, если можно эти слова отнести к сказкам, реалистический источник чудесного в его детских книгах.

Способность к чуду есть не только особенность фантазии или ума, но скорее свойство души его героев.

...Когда для Мальчика Одуванчика настал час идти в далекий жизненный путь, его позвали гномы и вручили ему три волшебных ключика. Но он прошел мимо добра и мимо страдания, бросившись к сундуку, набитому драгоценными камнями, и он сломал три своих волшебных ключика. «Это я во всем виновата,— горько думала его бабушка Черепаха.— Я рассказала моему дорогому мальчику слишком мало сказок, и он не узнал чудесного, когда оно встретилось ему на пути...»

По умению узнавать чудесное распознаются, делятся и объединяются между собой герои сказок А. Шарова. Они чувствуют себя неуютно в «мире одинаковых человечков»; но им привольно и легко среди птиц и букашек, грав и пушистых зверьков, божьих коровок и соловьев, мальчишек и взрослых людей, если только они понимают, видят и верят в чудо.

Эти чудеса в последних сказках А. Шарова максимально приближены к нашей повседневности. Действие «Сказки о трех зеркалах», например, происходит в современной однокомнатной квартире. Тут волшебными становятся не только старинные зеркала в кованых рамах, но и маленькое круглое зеркало «Главстекло ОСТ-1125». Эта грустная и вполне взрослая сказка о тускло прожитой, бескрасочной, «бескачественной» жизни естественно ложится в круг нравственных проблем творчества писателя. Такое соединение сказки с современностью, вообще-то чрезвычайно рискованное, возможно лишь при полной удаче.

Такая удача — в новой книге А. Шарова, умной и очень серьезной.

А. Берзер.

★

Г. М. ДОБРОВ. Прогнозирование науки и техники. «Наука». М. 1969. 208 стр.

Дерзкое желание знать свое будущее и планировать свои поступки сообразно с этим знанием было свойственно человеку с древних времен. Сейчас и в эту область человеческих интересов все шире проникает наука. Формирующиеся на наших глазах футурология, прогностика и т. п. в отличие от «окультиных наук» занимаются не предсказанием личных судеб, а предвидением хода развития общества и самой науки. Книга Г. М. Доброва выгодно отличается от многих других публикаций ясным представлением о самой природе прогнозирования. На этой основе автор выделяет три типа научно-технического прогноза: исследовательский, программный и организационный, отличающиеся характером предсказания, методами и дальностью действия.

Что вообще дает возможность предсказывать поведение сложной системы?

Тут возможны две существенно разные ситуации. Первая возникает в том случае, если это поведение целиком детерминировано. Таково, например, движение планет в солнечной системе: законы небесной механики дают возможность весьма далеких и точных прогнозов. В большей части реальных ситуаций детерминированная система подвергается множеству случайных воздействий. При прогнозировании таких систем приходится использовать теоретико-вероятностные (статистические) методы, позволяющие «сглаживать» влияние «случайных» причин. При этом предсказывается только некоторое «среднее» поведение системы. Методы сглаживания случайных процессов применяются, скажем, при метеорологических прогнозах, в системах автоматического управления и т. д.

Принципиально иная ситуация имеет место для систем, где существенную роль играет свободная воля. Прогнозирование таких систем основано на выявлении целей и средств участников ситуации. Долгосрочные прогнозы развития науки, показывает автор, основаны прежде всего на

осознании целей, которые сейчас ставит себе наука. Хорошо известно, что в науке достижением является уже сама постановка проблемы и формулировка гипотезы. Известно также, что когда наука осознает важность некоторой цели, то эта цель со временем достигается. Поэтому экспертная оценка важности научных направлений является хорошим методом прогноза.

В социальных системах, к которым сейчас можно причислить и науку, сама постановка целей непосредственно влияет на дальнейший ход развития. Так, сформулированные Д. Гильбертом в 1902 году математические проблемы послужили мощным стимулом к исследованиям, приведшим к решению этих проблем. С другой стороны, выдвижение ложных целей может надолго затормозить развитие системы. Поверхностные, просто формулируемые цели часто оказываются фиктивными, несмотря на их заманчивость (создание вечного двигателя или трисекция угла). Из таких легкомысленных попыток облагодетельствовать человечество ничего хорошего не получается. Возникает важная проблема поиска критериев состоятельности целей, критериев, отличающих полезные для исторического развития цели от произвольных и фиктивных, ведущих систему в тупик.

Ценность книги Г. М. Доброва существенно повышается тем, что методы прогнозирования науки и техники могут быть в дальнейшем развиты и для более широкого класса общественных прогнозов.

Г. М. Добров подчеркивает, что прогноз (и соответственно планирование) должен быть комплексным. Наряду с краткосрочными прогнозами, позволяющими проследить причинные связи между отдельными открытиями и их внедрением в технику, необходимы долгосрочные прогнозы и планирование перспективных работ.

Можно упрекнуть автора, что основной упор он делает на анализ массовой научной деятельности, рассматривая науку как своего рода «интеллектуальную индустрию». Между тем наука, кроме непосредственно экономической, имеет теоретико-познавательную ценность, а последняя в значительной мере определяется редкими открытиями первостепенной важности, в которых обычно участвует очень немного ученых. Другое дело, что эти открытия совершаются в настоящее время в условиях массовой научной деятельности, и если переворот в науке мы заранее не предскажем, то атмосферу, в которой он сможет произойти, мы в состоянии предугадать.

Рецензируемая книга дает конкретное представление об основаниях, на которых базируется прогнозирование тенденций науки и техники. К сожалению, издательство выпустило книгу тиражом, хорошим для специальной монографии, но явно недостаточным для книги, имеющей широкий общественный интерес.

Ю. Шрейдер.



ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ. Фортуна. Стихи. «Советский писатель». М. 1968. 112 стр.

О том, что Игорь Шкляревский работал литейщиком, разнорабочим, матросом торгового флота, можно было бы и не писать в краткой аннотации к сборнику. Из первых же стихов мы узнаем о молодом авторе гораздо больше. Да и профессий, к слову сказать, оказывается больше перечисленных. С удовольствием отмечаешь главное: и штампуя детали в цехе, и таская на пароходе тяжелые мешки, Игорь Шкляревский остается прежде всего поэтом, тонко чувствующим и наблюдательным.

Ну вот и кончилась работа.
Открыты черные ворота —
узконолейка и болото,
и два веселых оборота
глотают пиво у ларька...

«Веселый» — любимое слово Шкляревского. Оно много раз встречается в книге, а в одном из начальных стихотворений поэт объявляет себя «врагом» печали. Но этот азартный поиск «веселого», доброго в жизни, в ее прозаических и порою трагических буднях, это активное, свойственное молодости неприятие тоски и печали идет рядом с грустной уверенностью, что невзгоды все-таки неизбежны в будущем: «Еще настанет мой черед. Еще закружится солома. Еще беда не обойдет и не забудет номер дома». А беды и печали не только впереди. Они уже были в жизни. Разрушенный Могилев, голодное послевоенное детство, первые утраты. Все это живо в памяти. Отсюда, вероятно, и жадное стремление к радости и свету. И само слово «фортуна», ставшее названием сборника, как бы веселый, чуть иронический вызов судьбе, надежда, что в жизни будет все-таки больше удач, чем бед, больше добра, чем зла. Надежда эта согрета, освещена любовью к родной земле, ко всему, даже и горькому, что с нею связано.

Год 52-й
играет на трубе.
Поет над головой
в сиротской синеве.

Стена и двор пустой.
Мелькнул осенний лист.
В окне трубит отбой
детдомовский горнист.

Так журавли трубят,
когда в последний раз
внизу дубы горчат
и бредит желтый вяз.

И мы летим во сне.
Летим к себе домой
в сиротской синеве
над отчею землей.

Свежими, чистыми красками пишет Шкляревский природу отчего края. Это стихи: «Ночью гуси кричали...», «За лесопилкой и болотом...», «И шумели всю ночь тополя...», «Речная тетрадь». И первая юношеская любовь не пропадает бесследно, неожиданно приобретает иное качество, становясь чувством более объемным — лю-

бовью «к родине, к тихому полю». «Винная горечь стогов», «светлая каленая вода» и «клена красное тавро на полушубке у возницы» — таких находок, несколько проигрывающих при отрывочном цитировании, много у поэта.

Нельзя, однако, не заметить, что в некоторых стихах Игоря Шкляревского та активная уверенность в своей силе и удачливости, о которой уже говорилось, словно переходит некую грань и поэт начинает как бы любоваться собой со стороны:

Радостей жизнь для меня не избыла.
Что мне какой-то проигранный бой?
Вечером слава меня обделила,
утром уже открыли любови,
Юноши дуют в спортивные трубы.
Кружится мусор веселого дня.
Листья летят. И в разбитые губы
рыжая Мая целует меня.

Можно упрекнуть Шкляревского и в небрежных рифмах. Но в целом книга, несомненно, интересна, и лучшие ее стихотворения вызывают в душе радость, которая возникает при встречах с настоящей поэзией.

Анатолий Жигулин.

★

М. И. СКАРЖИНСКИЙ. Труд в непроизводственной сфере. «Мысль». М. 1968. 126 стр.

Социалистическое общество заинтересовано в наиболее полном удовлетворении потребностей трудящихся. Практика показывает, что спрос на услуги в областях просвещения, здравоохранения, бытового обслуживания и т. п. растет ускоренными темпами. В связи с этим перед планированием стоит задача выделения материальных и трудовых ресурсов на развитие непроизводственной сферы в объеме, обеспечивающем предоставление населению услуг в тех масштабах, которые соответствуют экономическим возможностям и требованиям общественного прогресса, потребностям трудящихся.

В книге М. И. Скаржинского рассматриваются вопросы занятости в непроизводственной сфере. Этот аспект проблемы разработан еще очень слабо и не получил достаточного освещения в печати.

Автор неоднократно подчеркивает общественную полезность труда в непроизводственной сфере. Во многих разделах своей работы он отмечает, что развитие этой сферы оказывает положительное влияние на рост производительности труда, увеличение свободного времени трудящихся и т. д. Однако его позиция непоследовательна. Об этом свидетельствует, в частности, такое высказывание: «Рост занятости в непроизводственной сфере осуществляется ценой отказа от максимально возможного в каждый данный период темпов увеличения объема общественного продукта...» Такое противопоставление трудно принять. Опыт хозяйственного строительства в СССР и других странах показывает, что развитие непроизводственной сферы происходит в со-

ответствии с объективными требованиями общественного прогресса, нарушение которых нежелательным образом сказывается и на темпах развития экономики. Доказано, что развитие таких отраслей непроизводственной сферы, как просвещение и здравоохранение, дает не только социальный, но и экономический эффект, а наука во все большей степени становится непосредственной производительной силой.

Непроизводственной сфере М. И. Скаржинский отводит роль резерва рабочей силы для других отраслей народного хозяйства — еще один «пережиток» тех времен, когда сферу услуг принято было рассматривать как своего рода неизбежное зло. В книжке есть немало и других утверждений, с которыми вряд ли можно согласиться. Так, например, на странице 61 утверждается, что развитие непроизводственной сферы приводит к обобществлению домашнего хозяйства и тем самым способствует преодолению частнобуржуазных и индивидуалистических пережитков в сознании отдельных людей». Рассматривая вопрос о состоянии непроизводственной сферы в капиталистических странах, автор утверждает, что спрос на услуги определяется главным образом потребностями эксплуататорских классов. В действительности дело обстоит не совсем так: анализ потребительских бюджетов по капиталистическим странам убеждает, что этот спрос растет сейчас во всех группах населения.

Практические предложения автора чаще всего малоценны. Так, на странице 79 М. И. Скаржинский указывает на разработанный им «особый метод определения количества и качества труда работников непроизводственных отраслей». Суть его заключается в том, что заработная плата специалиста, занятого в непроизводственной сфере, в принципе должна соответствовать заработной плате специалиста равной квалификации и примерно таких же условий труда в сфере материального производства. Но как же все-таки определить заработную плату отдельных категорий работников непроизводственной сферы? На этот вопрос автор так и не ответил.

В. Тришин.

★

ВЛАДИМИР ЛАЗАРЕВ. Хождение не за три моря. Приокское книжное издательство. Тула. 1969. 96 стр.

Давно ли работал в Тарусе Паустовский? Давно ли видели жители Ясной Поляны высокого старика с белоснежными волосами — последнего секретаря Льва Толстого Валентина Федоровича Булгакова? И вот уже эти люди отошли от нас, стали историей.

Я думаю обо всем этом, перелистывая прозаический сборник поэта Владимира Лазарева «Хождение не за три моря». Автор бросает вызов экзотике дальних странствий. Не обязательно ходить за три моря, утверждает он, чтобы лицезреть за-

мечательное. Оно рядом с нами. Надо только уметь различить его в мелькании дней, недель, месяцев, в непрерывной текучке будней и праздников. И поэт доказывает это, «путешествуя» со своим читателем в Ясную Поляну — к Льву Толстому и Валентину Булгакову; в Тарусу — к Паустовскому, по тульским улицам, на одной из которых живет и творит удивительный мастер гравюры Михаил Почукаев; к церкви Покрова на Нерли; на поле Куликово и в деревню Синявино, что возле незаметного среднерусского города Плавска. «За каждым поворотом старой дороги живут удивления. Путешествие в глубину не уступает путешествию в даль».

Короткие рассказы Владимира Лазарева, восемь маленьких «путешествий», расширяют диапазон понимания нами таких людей, как Паустовский или Валентин Булгаков, за полвека проделавший путь от «Христианской этики» до философского эссе «В споре с Толстым», и даже в какой-то мере — самого Толстого. Да, и его тоже! Ибо Толстой — это во многом Ясная Поляна. Лазарев удается добавить какие-то новые штрихи к, казалось бы, законченному портрету. Мы видим на страницах книжки Ясную Поляну в разное время суток и года, встречаемся здесь с разными людьми, о многом размышляем.

Владимир Лазарев не определил жанр своей книги. Может быть, это очерки, может быть, новеллы, а может быть, просто путевые записки — заметки о путешествии в глубину...

С. Норильский.

Тула.

★

РУКОПИСНОЕ НАСЛЕДИЕ АКАДЕМИКА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КРЫЛОВА. Научное описание. Под редакцией академика В. И. Смирнова. Составители М. Н. Глаголева, Н. М. Раскин, Н. Г. Скрынский и Л. М. Столин. «Наука». Л. 1969. 333 стр.

Работы Алексея Николаевича Крылова (1863—1945), одного из крупнейших ученых нашей страны, неоднократно издавались как отдельными книгами, так и в двенадцатитомном собрании трудов. Редкую популярностьнискали его «Воспоминания» — блестящий образец мемуарной литературы. В них настолько полно раскрывается облик автора, что, вероятно, именно поэтому о А. Н. Крылове написано пока что так мало. А вместе с тем книга о нем буквально прописана в серию «Жизнь замечательных людей». Он был и ученым самого высокого класса — механиком, основоположником науки о корабле, морским инженером, математиком, физиком, и поистине замечательным человеком.

В этом плане рецензируемая книга, вышедшая в виде 23-го выпуска «Трудов Архива АН СССР» (ранее Архив издал аналогичные книги о Л. Эйлерe, М. В. Ломоносове, И. П. Кулибине и других), представляет собой значительный интерес. Она

дает в руки исследователя (или писателя) богатейший материал, тщательно систематизированный и прокомментированный коллективом ленинградских ученых. Однако значение книги, конечно, не исчерпывается этим. В ней собраны материалы не только к биографии Крылова — это материалы и к истории отечественной науки и флота. Я уверен, что не найдется ни одного историка, занимающегося указанными вопросами, который не вынес бы отсюда ряд чрезвычайно важных сведений. А. Н. Крылов на протяжении своей долгой жизни был тесно связан с выдающимися учеными — русскими, советскими, зарубежными; его переписка, отзывы об ученых и их трудах, написанные им научно-биографические характеристики современников — все это имеет очень большую ценность. В других разделах книги помещены материалы к биографии самого А. Н. Крылова, характеризующие его педагогическую, организаторскую и общественную деятельность.

Все эти материалы представлены составителями книги в очень удобной для работы форме: документы, письма и т. д. аннотированы, причем размер такой аннотации (написанной лаконичным литературным языком) определяется значительностью содержащихся в документе сведений. Благодаря этому книга в большей своей части читается как своеобразная научная биография.

Весьма интересна вступительная статья к книге, в которой характеризуется отношение А. Н. Крылова к своим бумагам. «А. Н. Крылов, — читаем мы в ней, — был аккуратным и деловым человеком (выработка этих черт его характера несомненно способствовала полувекковая военная служба). Он придавал большое значение порядку ведения и хранения своих бумаг, желая иметь возможность быстро, без затрат лишнего времени навести нужные справки».

Одно из последних стихотворений Б. Л. Пастернака открывается строфой:

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись...

Нужно ли раскрывать мысль поэта? Известность должна приходиться к человеку естественным путем, когда его труд направлен не во имя ее достижения, а посвящен служению обществу, любимому делу. А архивы, которые не надо заводить, — это материалы (и прежде всего письма), собранные с оглядкой на будущего историка и исследователя.

Когда же речь идет о человеке масштаба и стиля А. Н. Крылова, помыслы и побуждения которого были отмечены печатью искренности и естественности, — его архивы, по счастью сохранившиеся, должны быть не только изучены, но и сделаны достоянием более широких читательских кругов.

В. Франкель.

А. НЕМИРОВСКИЙ. *Этрусское зеркало. «Детская литература». М. 1969. 176 стр.*

Есть на карте мира «вечный город». Это — Рим. Согласно преданию, он был основан в 753 году до н. э. легендарными героями Ромулом и Ремом на реке Тибр, протекавшей через сильно заболоченную местность Апеннинского полуострова...

Рассказ можно продолжить, но интересно его начало, а начало его — история этрусков.

Именно им, этрускам, принадлежат древнейшие памятники письменности на Апеннинском полуострове. Этрусски, вероятно, научили грамоте римлян, которые впоследствии стали учителями многих народов Европы. Этрусски были первыми в Италии скульпторами, актерами, художниками, музыкантами. Этрусские женщины наряду с мужчинами пользовались полными правами гражданства. Римляне заимствовали у этрусков также знаки государственной власти, одежды, древнейшую военную организацию, устройство дома, цирк и даже гладиаторские бои.

Откуда и когда пришел этот удивительный народ? Кто его предки и боги? Каков его язык и культура?

В круг этих и многих других вопросов вводит книга А. Немировского «Этрусское зеркало». Это книга о вещах, которые добыты во время раскопок в Этрурии, о древних гробницах, храмах, статуях, картинах, сосудах, украшениях. Рассказывая о вещах, было бы несправедливо забыть о людях, благодаря которым вещи обрели дар слова, об ученых, прочитавших этрусские надписи, понявших смысл изображений на зеркалах, сосудах, стенах гробниц. Об этом повествует первая часть книги.

Вторая же часть состоит из отдельных рассказов, написанных автором на этрусские темы. Металлическое зеркало, словно волшебная палочка древневосточного мудреца, переносит нас в страну мифов и легенд, страну жестоких войн и праздничных улыбок, страну, которая называется Этрурией. Путь до нее — не далек и не близок — длиною в две с половиной тысячи лет... Словно ожившие тени, в зеркале проходят этрусские цари и ученые, землепашцы и строители, воины и пираты. Мы путешествуем в их далекие времена, живем их мыслями, делим горечи неудач и радость приятных минут. И кажется, мы слышим снова чудное пение флейт и пронзительный свист нагайки, звон оружия и топот коней. А там, где Тибр несет свои мутные воды в море, этрусские воины готовятся к бою...

Иллюстрации, воспроизводящие дошедшие до нас памятники этрусского искусства, не только украшают, но и дополняют всю картину, созданную в этой интересной и занимательной книге.

Хочется сказать несколько слов об ее авторе. А. И. Немировский — не писательский профессионал. Он профессор Воронежского университета, известный историк и превосходный педагог. Его книга — не строчки,

написанные в минуты отдыха, а труд ученого и исследователя. Поэтому книгу «Этрусское зеркало» прочтут все, кто любит историю древних народов, их культуру и искусство.

И. Лисовой.

Запорожье.

★

А. М. КОНДРАТОВ. *Погибшие цивилизации. «Мысль». М. 1968. 310 стр.*

Книга А. М. Кондратова «Погибшие цивилизации» представляет собой своеобразное продолжение известной книги К. Керма «Боги, гробницы, ученые», в которой рассказывается об археологических открытиях прошлого века и об осмыслении тогдашней наукой открытий более раннего времени. В отличие от Керма А. М. Кондратов пишет о проблемах современной науки, причем не только археологии, но и истории, этнографии, лингвистики. Таким образом, его книга по тематике шире, чем книга Керма, хотя и значительно меньше этой последней по объему. Может быть, это последнее обстоятельство и предопределило ту излишнюю беглость изложения, которой иногда грешит рецензируемая книга, в целом полезная и интересная. Она разошлась моментально и сейчас переводится за рубежом. Неплохо было бы подумать о переиздании, заодно увеличив объем книги. Одновременно следовало бы исключить из нее разделы, прямо не относящиеся к теме: это дало бы автору возможность подробнее остановиться на наиболее интересных проблемах науки о древности. Так, без всякого ущерба можно было бы опустить всю вторую главу — «В поисках Атлантиды». Ведь автор повествует о реально существовавших цивилизациях прошлого, об их изучении нашими современниками. Что же касается Атлантиды, то на вопрос о ее существовании наука пока еще не дала окончательного ответа.

Стоило бы, в частности, подробнее рассказать о недавних раскопках Дж. Меларта на горе Чатал-Хююк (Южная Анатолия), в результате которых была обнаружена древнейшая цивилизация, относящаяся к седьмому тысячелетию до нашей эры, о древних цивилизациях Закавказья, о скифах, о меропитской культуре, о древних памятниках Египта и Нубии (в связи с работами по их спасению от затопления водами Нила; кстати, в ходе этих работ были обнаружены неизвестные ранее сооружения, надписи, рукописи).

«Европа еще не открыта...» — так называется последний раздел той главы книги, которая повествует о древних цивилизациях Европы. Действительно, многие древние культуры Европы еще очень слабо изучены; о некоторых таких культурах автор рассказывает. И все же нельзя на тридцати маленьких страничках сказать сразу и об этрусках и их загадочном языке, об автостонных культурах и языках древнего Крита, о проблеме басков — и одновремен-

но о соседних культурах Малой Азии, о языках хеттов, лувийцев, лидийцев. Кстати, то, что говорит автор на странице 173 об этрусском языке (возможная близость к хеттскому), как показали недавние исследования этрускологов, не подтверждается. Этрусский язык, видимо, вообще не относится к индоевропейским, хотя входит в большой круг так называемых «ностратических» языков, к числу которых относятся индоевропейские, семито-хамитские, уральские, алтайские, картвельские, дравидские и некоторые другие языки (обоснование древнего родства всех этих языков содержится в работах советских ученых В. Иллич-Свитыча и А. Б. Долгопольского).

Как и в предыдущих своих работах, А. М. Кондратов большое внимание уделяет дешифровке древних письмен. Такое внимание оправдано: ведь достаточно определить языковую принадлежность того или иного древнего языка — и мы получим ответ на вопрос, кем были носители данной цивилизации. К сожалению, пока нет ответа на вопрос о том, кем были, на каких языках говорили создатели древней цивилизации Крита, авторы надписи на Фестском диске. Несмотря на то, что принадлежность языка древних жителей острова Пасхи известна (это один из полинезийских языков), их письмо пока не поддается прочтению. О цивилизации острова Пасхи, о попытках проникнуть в смысл надписей на деревянных табличках автор рассказывает в главе «Загадки земли Хоту Матуа». Весьма интересны также главы, посвященные древним цивилизациям Черной Африки, древним культурам и письменностям Нового Света.

Отметим наряду с этим некоторые мелкие недочеты. На странице 149 французская лингвистка Омбюрже представлена читателю как месье Хомбергер; не понятно, что такое «тюркский язык», упоминаемый на странице 136; на страницах 117—118 неточно приведена датировка древнешумерской таблички с рисуночными знаками, хранящейся в Эрмитаже: по А. М. Кондратову, ей «минимум 6000 лет», тогда как она датируется 3200—3100 гг. до н. э.

Несмотря на подобные мелкие недочеты, книга «Погибшие цивилизации» — хорошее чтение для всех, кто проявляет интерес к прошлому нашей планеты.

В. Шеворошкин,
доктор филологических наук.

★

ЭМ. ВИЛЕНСКАЯ. Худяков. «Молодая гвардия». Серия «Жизнь замечательных людей». М. 1969. 176 стр.

«Жизнь замечательных людей» обычно воспринимается как жизнь людей знаменитых. Понятия эти действительно часто совпадают, но часто и расходятся, ибо людей замечательных несонизмеримо больше, чем знаменитых.

Иван Александрович Худяков, имя которого известно сегодня лишь узкому кругу историков и филологов, — один из них. А между тем деятельность этого человека и необычайна, и чрезвычайно важна. Один из ведущих деятелей русского революционного движения середины шестидесятых годов, И. А. Худяков был не только революционером-просветителем, но и блестящим фольклористом и лингвистом, оставившим после себя значительный след в науке. Умер он в сибирской ссылке, забытый и тяжело больной, всего лишь на тридцать пять лет жизни...

Автор книги о Худякове Эм. Виленская — историк. Она собрала и проанализировала всю литературу о Худякове (и о революционерах-шестидесятниках вообще), материалы московских и ленинградских архивов и рукописных отделений институтов и библиотек. Вот почему эта книга является не только жизнеописанием Худякова, но и научным исследованием о революционной и просветительской деятельности революционеров-шестидесятников.

Идейной основой книги стала ленинская концепция народничества, освобожденная от искажавших ее наслоений. Автор начинает книгу с уяснения прогрессивной для своего времени роли демократизма и утопического социализма народников. О прямой преемственности между социальными утопиями и научным коммунизмом говорили и Энгельс и Ленин.

Именно так, во всей широте и глубине сложного становления и распространения социалистических идей в России, и рассматривает автор своего героя — прямого предшественника революционных народников времен «хождения в народ». Во всей сложности и противоречиях, а не побывая героя-шестидесятника достижениями научного социализма в России более поздней эпохи.

Краткая жизнь Худякова проходит перед нами на фоне исторических событий того времени — студенческие волнения, возникновение революционных кружков, ишутинского кружка в частности, дебаты среди революционеров по вопросу о покушении на царя и выстрел Каракозова, палаческое следствие, следовавшее за выстрелом 4 апреля 1866 года. Широкий исторический фон этот не иллюстративен, он органически переплетен с жизнью, деятельностью и творчеством героя книги.

Автор хочет быть scrupulously точным в рассказе о своем герое, вот почему в книге нет места для «беллетризации» материала. Это, конечно, хорошо, но иногда при чтении книги возникает ощущение сухости, некоторой ее эмоциональной обедненности. Различные литературные пласты работы — научная биография и протокольное описание событий, публицистические раздумья автора и своеобразный литературоведческо-историографический детектив (история поиска рукописей и данных о Худякове) — не всегда сливаются в органическое целое.

Эм. Виленская сообщает много нового и

существенно важного и о Худякове, и об истории революционного движения шестидесятых годов — это оценят историки и литературоведы, рядовой же читатель, главным образом молодой, с большим интересом и пользой для себя познакомится с одной из героических, но мало исследованных страниц русского революционного движения.

Б. Яранцев,
кандидат филологических наук.

★

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО СОЮЗА ССР. 1917—1967. Авторы-составители И. Б. КОСТРИЦ и Д. М. ПИНХЕНСОН. «Мысль». М. 1968. 272 стр.

В центре Ленинграда, в переулке Гривцова, который еще не так давно именовался Демидовым, находится небольшой трехэтажный дом, где помещается Географическое общество СССР. Этой общественно-научной организации без малого сто двадцать пять лет. Более трети пути Общество прошло в советские годы, именно им и посвятили свой труд И. Б. Костриц и Д. М. Пинхенсон.

Книга состоит из нескольких разделов. В них прежде всего справочные сведения о Географическом обществе. Читатель узнает, что во главе Общества в разные годы стояли выдающиеся советские ученые: почетный академик Ю. М. Шокальский, академики Н. И. Вавилов, Л. С. Берг, Е. Н. Павловский, что в настоящее время его возглавляет академик С. В. Калесник. С интересом познакомится читатель с именами почетных членов и иностранных членов-корреспондентов Общества, лауреатами Большой Золотой медали Общества, медалей Ф. П. Литке, Н. М. Пржевальского, П. П. Семенова, премии имени С. И. Дежнева.

Центральную часть книги занимает летопись деятельности Географического общества с 1917 года. Это очень краткая летопись; полное описание деятельности Географического общества, его филиалов и отделов, разбросанных по всей нашей стране, заняло бы многие тома.

При ограниченном объеме летописи каждому году отведено несколько страниц. Авторы попытались вместить в них данные о наиболее важных событиях в жизни Общества. Здесь и экспедиции, и научные заседания, и международные контакты, и важнейшие ученые труды. Факты, имена, библиография... Особенно подробно освещены послевоенные годы, когда широко развернулась работа не только центральной организации Общества, но и его многочисленных ячеек, развивших активную научную, популяризаторскую, издательскую деятельность во многих районах страны.

Перелистывая страницы летописи, чувствуешь, как с годами, по мере развития нашей страны и роста значения науки, расширялся диапазон работ советских геогра-

фов и представителей смежных наук, росло их народнохозяйственное и культурное значение.

Ю. Дмитриевский,
профессор.

★

МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ АСТУРИАС. Глаза погребенных. Роман. Перевод с испанского. «Прогресс». М. 1968. 607 стр.

Роман «Глаза погребенных» — третья, заключительная часть трилогии Мигеля Анхеля Астуриаса, выдающегося художника слова современной Латинской Америки, удостоенного Международной Ленинской премии мира и Нобелевской премии.

Действие романа, который называют «позмой о гватемальском народе», относится к годам второй мировой войны, когда в стране господствовала деспотическая диктатура президента Хорхе Убико. При нем Гватемала отброшена в средневековье: владельцы латифундий освобождены от уголовной ответственности за убийство крестьян, индейцев продают, как скот, вместе с поместьями, массовые аресты стали повседневным делом. Судьба народа целиком во власти хозяев банановой империи — Мейкера Томпсона и его наследников. Непосильный труд на плантациях, принадлежащих «Юнайтед фрут компани», — это единственный источник заработка для лишенных земли крестьян. «Здесь истоки банановых рек, — пишет романист, — растекающихся по рынкам мира. Как рождаются эти реки? Где сливаются их течения?.. Бегут они по руслу человеческих тел, задыхающихся от одышки, страдающих от голода, по человеческим головам со взерошенными, нестриженными волосами, прилипшими ко лбу, к затылку, к ушам...»

Против произвола «Юнайтед фрут», против кровавых репрессий диктатора Убико ведут борьбу гватемальские патриоты. И среди них революционер Табио Сан и его подруга учительница Малена Табай. Их призывают к отщепенцу глаза погребенных, которых «больше, чем звезд», и которые «видят все на свете».

По мере того, как развивается действие романа, ширится круг героев, масштабы повествования. От столичного бара «Гранда», изрыгающего на улицы потоки джазовой музыки, пьяные выкрики и великосветские сплетни, писатель уводит нас все дальше и дальше — к хижинам на окраине города, где ютится беднота, к тесным улочкам, где когда-то вырос Табио Сан и куда он возвращается, чтобы повести за собой народ. Здесь он организует подпольную типографию, налаживает связь с рабочими плантаций.

Как могучий призыв звучат голоса тысяч тружеников плантаций банановой компании, поднявшихся на всеобщую революционную забастовку: «Земля и свобода!»

С темой борьбы за свободу связана и другая, не менее важная сюжетная линия романа, букет алых камелий, оброненный

Маленой Табай на далеком железнодорожном полустанке и поднятый Табио Саном, станет паролем революционеров, а тема любви, которая торжествует, пройдя через все испытания,— лейтмотивом заключительной части трилогии Астуриаса.

Непосредственный участник событий, описываемых в романе, экс-президент Гватемалы Хакобо Арбенс пишет в своем предисловии: «Когда я впервые прочитал этот роман, откровенно говоря, я был поражен правдивостью изображаемого, его реалистичностью, хотя в этом романе, как и во многих других своих произведениях, писатель ставит героев на грань реального и ирреального, на грань действительности и индейской магии, современности и древних легенд».

И действительно, проза Астуриаса представляет собой удивительный сплав самой жестокой реальности и вдохновенной мечты. Романист Гватемалы является представителем той реалистической литературы Латинской Америки, которая оказалась способной соединить в неразрывный узел революционную современность и традиции древней культуры.

Необычайно сложна задача переводчика прозы Астуриаса, в которой художественный образ несет большую смысловую нагрузку. Несомненной заслугой Юрия Дашкевича является то, что он сумел сохранить в русском переводе романа «Глаза погребенных» богатейшую гамму смысловых оттенков, поэтический накал слова, рожденного под пером выдающегося романиста Латинской Америки.

А. Винниченко.

★

Г. МАК-КОРМИК, Т. АЛЛЕН, В. ЯНГ. Тени в море. Акулы и скаты. Гидрометеиздат. Л. 1968. 296 стр.

Вильям Янг, охотник за акулами, на счету которого к восьмидесяти семи годам его жизни были многие тысячи акул, сказал о них с полной определенностью только одно: акула — это зловещая загадка, это не знающее страха существо, охваченное голодным безумием. Дикая ярость, с которой она нападает, неистовство, с которым пытается высвободиться, попав в плен, невероятная живучесть, полное безразличие к ранам и боли заставляет относиться к любой акуле с опаской и уважением. «В памяти моей встают тысячи акул... многие из них обладали чрезвычайно яркой индивидуальностью, какую не всегда встретишь и среди людей».

Вооруженная тончайшим обонянием, способностью воспринимать малейшие изменения давления и температуры, акула подобна вычислительной машине, настроенной на решение одной задачи — добывание пищи. Акула находится в движении с первого до последнего дня своей жизни, так как у нее нет плавательного пузыря и ей все время надо прилагать усилия, чтобы не уто-

нуть. Кроме того, нужно прогонять через жабры массы свежей, насыщенной кислородом воды. Высокая энергетика ее организма обеспечивается, в частности, тем, что обильные желудочные соки акулы настолько сильны, что способны, как полагают некоторые ученые, растворять даже металлические предметы.

Известно около трехсот пятидесяти видов морских, речных и озерных акул: от глубоководной светящейся акулы длиной в семь с половиной сантиметров до китовой акулы длиной до восемнадцати метров и весом в несколько тонн. До полусотни видов акул — людоеды. причем известны случаи, когда акулы разбивали лодки и плоты, переворачивали их, даже прыгали на борт...

Совторство океанолога, журналиста и профессионального охотника за акулами определило разносторонний характер (как, впрочем, и известную разностильность) этой книги, посвященной «пиратам морских глубин».

Ю. Моисеев.

★

КРАТКИЙ АНГЛО-РУССКИЙ ФИЛОСОФСКИЙ СЛОВАРЬ. Составитель П. В. Царев. Издательство Московского университета. 1969. 320 стр.

Рассчитанный на студентов философских факультетов, этот словарь станет необходимым пособием для более широкого круга читателей. Дополнительную ценность он приобретает еще и тем, что включает в себя значительное число терминов и понятий, не зафиксированных в «Философском словаре» (Политиздат, 1968): например, «агнология» (учение о размерах и условиях человеческого невежества), «пантархия», «соотношение происхождения и сущности» и т. п. Подробно раскрываются в словаре значения некоторых философских понятий: например, «субъект—объект», «относительность», «здравый смысл». Помимо «чисто» английской, в словаре представлена и философская терминология, пришедшая в английский язык из других языков, например, терминология индийской философии.

К сожалению, словарь не свободен от недостатков. К ним следует отнести отсутствие поясняющего толкования ряда терминов: таких, как «знак», «символ», «бритва Оккама». Если первые два еще можно найти в словарях, то третий встречается лишь в комментариях к некоторым изданиям.

Встречается в словаре и неточное понимание значений некоторых терминов и выражений. Выражения, которые в дословном переводе обозначают понятия «высший (верхний) класс» и «средний класс», составитель переводит как «крупная буржуазия» и «средняя буржуазия». Выражение «низший класс» в словаре не приводится, хотя вместе с понятиями «высший» и «средний» классы оно и образует систему деления, в которой в ряде случаев средний класс под-

разделяется еще на «высший средний» и «низший средний». Если применять эту систему только для буржуазного общества, оставляя в стороне феодальное и рабовладельческое, то и тогда значение этих выражений будет иным, чем представляется составителю. В средний класс или средние слои населения включают обычно наемных служащих и специалистов, мелкую буржуазию, а иногда даже и высококвалифицированных рабочих. Понятие «высшего класса» охватывает не только крупную буржуазию, но и высшие слои государственной бюрократии, генералитет. Сюда же, если применить эту систему классификации для стран со смешанной социально-экономической структурой, может быть включена и аристократия. Сама по себе эта система социальной стратификации может быть оценена критически, хотя, как известно, выражение «верхние десять тысяч» встречается у Ленина, а выражение «средние слои» (или «сред-

ний класс») часто фигурирует в трудах зарубежных социологов-марксистов.

Указанные недостатки были бы легко устранимы при переиздании словаря. И в этой связи стоит сказать еще два слова о тех терминах и выражениях, которые из-за краткости этого издания были опущены составителем. Среди них такие термины точных и естественных наук, вошедшие и в философский обиход, как «поле», «элементарная частица», «ген», «наследственность», «обратная связь» и т. д. Не включены в данный словарь многие выражения, пришедшие в философию из гуманитарных наук: «отчуждение», «пограничная ситуация», «комплекс неполноценности», «миф», «элита», «средства массовой коммуникации», «социальный слой» и некоторые другие. Между тем эти термины и выражения достаточно широко употребляются в философской литературе.

С. Бернадский.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Письма к родным. В трех книгах. Книга I. «...Я вполне освоился с Шушей» (Письма к матери. 1897). 109 стр. Книга II. «Всего важнее мне скорый выход книги» (К изданию работы «Материализм и эмпириокритицизм»). 110 стр. Книга III. «Соскучился я по Волге!» (Письма разных лет). 133 стр. Цена 3-х книг 5 р. 6 к.

Ф. Ваганов. Правый уклон в ВКП(б) и его разгром (1928—1930 гг.). 285 стр. Цена 64 к.

Г. Гочев. Бюро доктора Делюса. Перевод с болгарского. 158 стр. Цена 31 к.

В. Дягилев. Сестра Ильича (О М. И. Ульяновой). 149 стр. Цена 19 к.

Коминтерн и его революционные традиции. Материалы научной сессии, посвященной 50-летию образования Коммунистического Интернационала. Москва, 25—26 марта 1969 г. 303 стр. Цена 1 р. 22 к.

А. Костин. Ленин — создатель партии нового типа (1894—1904 гг.). 367 стр. Цена 1 р. 33 к.

«МЫСЛЬ»

Ленинизм и философские проблемы современности. Монография. 653 стр. Цена 3 р. 12 к.

Некоторые проблемы политической экономики капитализма. Сборник статей. 204 стр. Цена 73 к.

«ЭКОНОМИКА»

И. Быков. Организация научных исследований в промышленных фирмах. На опыте США. 110 стр. Цена 33 к.

В. Иванченко, М. Панова. Хозяйственная реформа и планирование. 214 стр. Цена 69 к.

Курс для высшего управленческого персонала. Сокращенный перевод с английского. 807 стр. Цена 5 р. 10 к.

Д. Правдин, В. Харин. Экономическое стимулирование в сфере обслуживания. 166 стр. Цена 53 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

С. Георгиевская. Родился человек. Повесть. 264 стр. Цена 39 к.

Д. Икрами. Двенадцать ворот Бухары. Роман. Перевод с таджикского В. Смирновой и Л. Вать. 399 стр. Цена 72 к.

Л. Карелин. Землетрясение. Роман. 279 стр. Цена 40 к.

С. Крутилин. Лейтенант Артюхов. Повесть. 302 стр. Цена 45 к.

П. Куусберг. В разгаре лета. Роман. Перевод с эстонского Л. Тоом. 332 стр. Цена 56 к.

М. Львов. В апреле, именно в апреле. Стихи. 143 стр. Цена 48 к.

Б. Можжаев. Дальневосточные повести. 384 стр. Цена 72 к.

Н. Рыбак. Солдаты без мундиров. Роман. Перевод с украинского Б. Турганова. 559 стр. Цена 99 к.

Я. Смеляков. Декабрь. Книга новых стихов. 120 стр. Цена 28 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

С. Алгерия. Золотая змея.— Голодные сабаки. Роман. Перевод с испанского. Предисловие Я. Света. 272 стр. Цена 76 к.

И. В. Гете. Поэзия и правда. Из моей жизни. Перевод с немецкого Н. Ман. Вступительная статья и комментарии Н. Вильмонта. 608 стр. Цена 1 р. 59 к.

Д. Гусаров. Три повести из жизни Петра Анохина. Предисловие Д. Гранина. 368 стр. Цена 75 к.

Б. Козьмин. Литература и история. Сборник статей. Вступительная статья и примечания Э. Виленской. 528 стр. Цена 1 р. 45 к.

М. Лалич. Облава. Роман. Перевод с сербскохорватского. 447 стр. Цена 1 р. 48 к.

М. Луконин. Избранные стихотворения и поэмы. В 2-х томах. Том I. Стихотворения. 335 стр. Цена 1 р. 54 к. Том II. Поэмы. 303 стр. Цена 1 р. 90 к.

М. Рауд. Каменные борозды. Повесть и рассказы. Перевод с эстонского. 288 стр. Цена 64 к.

Л. Ф. Родригес. Проклятое болото. Повесть. Перевод с испанского. 112 стр. Цена 31 к.

Рудак. Лирика. Перевод с фарси В. Левика и С. Липкина. 160 стр. Цена 1 р.

Руми. Притчи. Перевод с фарси В. Державина. 87 стр. Цена 1 р.

Г. Сенкевич. Потоп. Роман. Перевод с польского. Книга I. 720 стр. Цена 1 р. 26 к. Книга II. 648 стр. Цена 1 р. 15 к.

Ш. Сент-Бёв. Литературные портреты.— Критические очерки. Перевод с французского. 583 стр. Цена 1 р. 57 к.

Фирдоуси. Из «Шах-наме». Перевод с фарси В. Державина, С. Липкина. 103 стр. Цена 1 р.

А. Франс. Преступление Сильвестра Бонара.— Остров пингвинов.— Боги жаждут. Перевод с французского. Вступительная статья В. Дынник. 623 стр. Цена 1 р. 62 к.

Хафиз. Газели. Перевод с фарси. Составитель И. Брагинский. 88 стр. Цена 1 р.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

М. Бургхардт. Письма, которые никогда не были написаны. Перевод с немецкого. 143 стр. Цена 26 к.

П. Вад. Много ли человеку надо? Роман. Перевод с датского Е. Суриц. 127 стр. Цена 27 к.

А. Вознесенский. Тень звука. Стихи. Предисловие В. Катаева. 264 стр. Цена 65 к.

Х. Гутьеррес. Пуэрто-Лимон. Повесть. Перевод с испанского. 190 стр. Цена 45 к.

А. Кодру. Упрямство камня. Стихи. Перевод Н. Матвеевой. 96 стр. Цена 22 к.

М. Шагинян. Четыре урока у Ленина. 286 стр. Цена 60 к.

«ИСКУССТВО»

Гоя. Капричос. Альбом офортов. 160 стр. Цена 2 р.
Г. Полонский. Доживем до понедельника. Киносценарий о трех днях в одной школе. 96 стр. Цена 26 к.
И. Чуковский. Илья Репин. 141 стр. («Жизнь в искусстве»). Цена 1 р. 20 к.

«ПРОГРЕСС»

История персидской и таджикской литературы. Под редакцией Я. Рипка. Перевод с чешского. 440 стр. Цена 1 р. 67 к.
Д. Линдсей. Подземный гром. Исторический роман. Перевод с английского. 474 стр. Цена 1 р. 46 к.
Э. Янч. Прогнозирование научно-технического прогресса. Перевод с английского. 568 стр. Цена 2 р. 59 к.

«МИР»

Время и современная физика. Сборник статей. Перевод с французского. 152 стр. Цена 35 к.
М. Гринберг. Межзвездная пыль. Перевод с английского. 199 стр. Цена 1 р. 34 к.
А. Матейко. Условия творческого труда. Перевод с польского. 303 стр. Цена 1 р. 1 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Д. Галнин. Цымбалисты. Роман. Предисловие К. Симонова. 240 стр. Цена 55 к.
Т. Зурабян. Краски разных времен. Очерки. Предисловие М. Сарьяна. 206 стр. Цена 91 к.
И. Левыкин. Сельская молодежь. Социологический очерк. 159 стр. Цена 20 к.
А. Платонов. Волшебное кольцо. Сказки. 183 стр. Цена 1 р. 16 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

С. Баруздин. Повторение пройденного. Роман. 237 стр. Цена 36 к.
П. Белецкий. Одержимый рисунком. Повесть. 176 стр. Цена 1 р.
А. Воинов. Отважные. Роман. 319 стр. Цена 72 к.
Э. Дубровина и Е. Янишевская. Голубые города. Повесть. 142 стр. Цена 35 к.
Б. Полевой и Н. Жунов. Наш Ленин. 140 стр. Цена 67 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Дулов. Введение в судебную психологию. 159 стр. Цена 57 к.
А. Ключев и А. Маврин. Руководителю предприятия о трудовом законодательстве. 248 стр. Цена 58 к.
В. Смолярчук. Охрана трудовых прав рабочих и служащих. 118 стр. Цена 18 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

М. Борисова. Грибной дождь. Поэмы и диалоги. Предисловие А. Урбана. Лениздат. 79 стр. Цена 40 к.
А. Былинов. Улицы гнева. Роман. Днепропетровск. «Промінь». 280 стр. Цена 70 к.
Ехала деревня мимо мужина. Русские народные потешки. Собрал и обработал Н. Халатов. Художник В. Вагин. Пермь. Книжное издательство. 48 стр. Цена 28 к.
Н. Задонский. Жизнь Муравьева. Горы и звезды. Историческая хроника. Предисловие М. Нечкиной. Воронеж. Центрально-Черноземное книжное издательство. 431 стр. Цена 94 к.
Ленин с нами. Сборник стихов советских поэтов. Минск. «Беларусь». 109 стр. Цена 1 р.



Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Д. Г. Большов (первый зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорощ, А. А. Кулешов, А. М. Марьямов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
 Почтовый адрес: Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 23/1 1970 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 10/IV 1970 г.
 А 01038. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 27,6 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
 Зак. 362. Тираж 163 000 экз.

Набрано и сматрировано в типографии «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., д. 5.
 Отпечатано в ордене Ленина типографии «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16. Заказ 3442.

Цена 70 коп.

70636

15